

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

1968

12



1968

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIV

№ 12

Декабрь, 1968 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В. КАВЕРИН — Школьный спектакль, повесть	3
МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ — Продолжение следует, стихи. Перевела с грузинского Б. Ахмадулина	29
НИКОЛАЙ ВОРОНОВ — Юность в Железнодорожке, повесть. Окончание	31
МАКСИМ ТАНК — Из новых стихотворений. Перевел с белорусского Яков Хелемский	111
АНАТОЛЬ ВЕРТИНСКИЙ — Чудак человек, стихотворение. Перевел с белорусского Григорий Куренев	115
М. БЕЛКИНА — На реке, очерк	117
ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВСКИЙ — Австрийские встречи. Из путевых записок	138

ПУБЛИЦИСТИКА

А. БИРМАН — Суть реформы	185
--------------------------	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

А. МЕЛИК-СИМОНЯН — Страна тринадцати месяцев. Заметки журналиста	205
--	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	228
С. Бабенышева. Один человек.. это очень много.— Ф. Светов. Ночь после битвы.— И. Роднянская. К спорам вокруг Анискина.— Г. Березкин. По поводу одной поэмы.— Н. Анастасьев. Содержание — форма — содержание.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	249
Г. Ханин. Банки и народное хозяйство.— В. Хорос. Своеобразие необходимости в истории.— В. Нерсеяни. Этические раздумья.— Виктор Афанасьев. За пределами научного атеизма.— С. Фрейдлин. Серьезное демографическое исследование.	
В. Лакшин. Рукописи не горят! (Ответ М. Гусу)	262
КОРОТКО О КНИГАХ — Р. Самойлович. На спасение экспедиции Нобиле.— Николай Чуковский. Ранней ранью.— И. И. Трошев. Исторический опыт КПСС по осуществлению ленинской национальной политики.— Татьяна Гнедина. Беглец с чужим временем.— Вацлав Михальский. Семнадцать левых сапог.— А. Фурсенко. Династия Рокфеллеров.— Хосуан-Хьонг. Стихи.— Е. Л. Финкельштейн. Фредерик-Леметр.— Т. П. Кравец. От Ньютона до Вавилова.— Н. Успенский. Образцы древнерусского певческого искусства	267
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	275
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	277
ОТ РЕДАКЦИИ	279
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1968 ГОД	281



В. КАВЕРИН

★

ШКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Повесть

Предисловие

С Андреем Даниловичем Соловьевым я познакомился на лыжной прогулке. Давно заметил я высокого прямого старика с острой седой бородкой, обгонявшего меня на просеках и вдруг уходящего в лес по нетронутому снегу. Ходил он с одной палкой, почти не отталкиваясь, очень легко.

Мы разговорились на «скамеечках». Найти это место нетрудно. От станции надо пойти налево по дорожке, удаляющейся от насыпи под острым углом. Сперва покажутся молодые посаженные сосны, потом березовая роща — продолжение той, необыкновенно красивой, которая раскинулась по другую сторону железной дороги, — потом смешанный лес. А там близки и «скамеечки» на краю просторной поляны.

Я слышал, что эти «скамеечки», разбросанные здесь и там в здешнем лесу, делает какой-то отставной генерал, организовавший «Союз пожилых любителей леса». И действительно, каждое воскресенье, а иногда и в будни эти любители потихоньку плетутся со станции со своими кошелками и заплечными мешками.

Вот с этого генерала, о котором я спросил Андрея Даниловича, и началось наше знакомство.

Он жил в поселке, в собственном небольшом, но отлично устроенном доме. Поселок был кооперативный, и Андрей Данилович энергично занимался его делами, не забывая, однако, и о своих: его сад считался одним из лучших в поселке. Овдовел он давно и жил один, нисколько, как он утверждал, не скучая. Летом, а иногда и зимой на школьные каникулы к нему приезжала невестка с детьми, семейство старшего сына, военного инженера, работавшего где-то далеко на Востоке. Над письменным столом висел портрет младшего. Он пропал без вести, семнадцати лет, в самом начале войны.

Андрей Данилович был заслуженный учитель, много лет преподававший литературу в средней школе. Однажды мы разговорились о десятиклассниках, и я заметил, что для меня это — целый мир, такой же сложный и запутанный, как мир взрослых, да еще находящийся в состоянии неустойчивого равновесия.

Андрей Данилович вздохнул.

— Может быть, может быть, — сказал он. — Ну вот, хотите — я расскажу вам одну историю? Произошла она лет семь-восемь тому назад

в маленьком городке, очень старом и на редкость красивом. Угодно послушать?

Андрей Данилович назвал подлинные имена (они, разумеется, изменены в моей передаче), и впоследствии я добрался до одного из участников этой истории, который не только по-своему рассказал ее мне, но разрешил прочитать свой школьный дневник. Вот этот-то дневник и заставил меня взять в руки перо.

Андрей Данилович: лицо класса

Ну-с, начну я с того, что никогда не понимал весьма распространенного выражения: «лицо класса». Никакого «лица» у класса нет, а есть четырнадцать мальчиков и шестнадцать девочек, причем у каждого свое собственное лицо и, естественно, свой собственный характер. И если вы хотите понять, что собой представляет этот характер, извольте подобрать к нему ключ. Причем особенный, отдельный.

Ключ к целому классу мне удалось подобрать только один раз в жизни — об этом-то я и хочу рассказать.

Началось с того, что меня попросили «спасти» литературу в десятом классе после какой-то «бабуси», которая заболела и, к общему удивлению, не вернулась в школу.

— Класс сложный, — сказал мне директор, — и вам, дорогой Андрей Данилович, придется с ним повозиться.

Директор у нас был человек благожелательный, но глупый. Звали его Иван Яковлевич Белых, и занимался он главным образом своим сборником «педагогических афоризмов», о котором я еще расскажу.

Класс действительно оказался сложным. Все в нем так и ходило ходуном, как полагается, впрочем, в пятнадцать—шестнадцать лет. Ну-с, а с моим появлением эта сложная жизнь стала еще сложнее.

Прежде всего должен сказать, что я вернулся к преподаванию после длительного, вызванного тяжелой болезнью, перерыва. Многие оказались для меня неожиданным, и я должен был найти в себе некий душевный рычаг, чтобы на добрых шестьдесят градусов повернуть свой многолетний опыт. Конечно, в некотором смысле это была ожидаемая неожиданность. Ведь никакой «константы» юности, ее постоянной величины не существует. Достаточно, например, прочитать «Дневник Нины Костериной», чтобы убедиться в том, как подростки тридцатых годов поразительно непохожи на подростков шестидесятых.

Короче говоря, на первом же уроке я потребовал, чтобы отвечали они не по учебнику, поскольку они как-никак не поугаи. Стихи чтобы читали наизусть, а о шпаргалках забыли и думать. Выслушали спокойно. Кто-то сказал басом «ого!», где-то похихикали — и ничего не переменялось. Дал им тему, помнится: «Роль Чичикова в поэме «Мертвые души». Из рук вон! Поставил двадцать двоек — и вот тут началось: добрых полчаса весь класс гремел крышками парт, свистел, ревел, пел и мяукал. Сбежалась вся школа. Я закрыл дверь на ключ, дождался тишины, повторил свои требования и вышел.

Борьба — а это была именно борьба — продолжалась месяца три. А может, и больше. Заключалась она в том, что я неоднократно пытался, так сказать, перекинуть психологический мост между собой и своими учениками, а они этот мост преспокойно взрывали, отлично понимая, что за двойки отвечаю я, а не они и что исключение из школы — факт неслыханный, этого не допустит роно.

Задача моя — надо сказать, нелегкая — заключалась в том, чтобы сделать уроки интересными, то есть отучить класс от равнодушия к литературе. Это было чувство каменное, непоколебимое. Сложилось оно из скуки пополам с инстинктивной уверенностью, что этот предмет не только вполне бесполезен в школе, но никогда не пригодится им в жизни.

Ну-с, так вот, в конце концов литературой все-таки заинтересовались. Может быть, потому, что я читал им Блока, Есенина, Ахматову, которых, разумеется, не было в программе. А может, потому, что я рассказывал им о книжных редкостях, о литературных мистификациях — для шестнадцатилетнего ума все загадочное уже по самой своей природе заслуживает внимания.

Конечно, были в классе мальчики и девочки, которым не только были не нужны, но глубоко чужды эти уроки. Сочинения еще писались в духе «бабуси». Однако толстенная рыжая Зина Камкова в сочинении о «Мертвых душах» прежде не написала бы откровенно: «Может быть, у меня не все дома, но я так и не поняла, зачем Гоголь мучился над этой поэмой». Конечно, на такую Зину я не мог рассчитывать в своих попытках выстроить «психологический мост». Однако были и другие, которые вскоре стали моими любимыми учениками. Кстати, я никогда не понимал, откуда берутся эти ханжеские возражения против «любимых учеников». Что здесь плохого? Нелюбимый ученик — это другое дело! Нелюбимых учеников быть не должно, потому что это предполагает недоброжелательное пристрастие. Так вот, в этом классе были четыре мальчика, отличавшиеся не только необыкновенными способностями, но и той дружбой, которая если не сохраняется на всю жизнь, так по меньшей мере вспоминается долгие годы.

Сейчас я вам их представляю.

Порядок не имеет значения, поэтому назову первым хоть Мишу Крейновича. Это был остроглазый, сухой, как косточка, мальчик, в очках, очень сердившийся, когда его называли Райкиным, на которого он действительно был немного похож. Миша писал стихи и был великим мастером на розыгрыши и выдумки. Всех он передразнивал, над всеми подшучивал. Это не мешало ему серьезно заниматься историей русской литературы. Пушкинский период, например, он знал лучше, чем я.

У Саши Кругликова всегда был такой вид, точно его только что вываляли в пуху. Пиджак и брюки измяты, на щеках — пух, волосы — цвета цыплячьего пуха. Этот сонный, фантастически добрый толстяк трогательно любил малышей, всегда возился с ними, и его часто можно было увидеть разговаривающим с первоклассниками. Интересовался он археологией, и настолько серьезно, что выступил на кандидатской защите в Тартуском университете (он ездил в Тарту на каникулы), и едва ли не самыми вескими были признаны именно его возражения. Так что сонная внешность его была обманчива. Он как раз спал мало.

Третий член компании при своей внешней заурядности — он был узкоплечий, лопухий, с впалой грудью, с маленькой головой — обладал феноменальной памятью. Кажется, у Яблоновского одному из гимназистов достаточно один раз прочитать страницу учебника, чтобы запомнить ее на всю жизнь. Прочитав, он вырывал ее. Коля Громеко действовал в подобном же духе: перелистав все учебники в начале года, он возвращался к ним крайне редко, да и то на пять—десять минут. При всем том он был довольно ленив, цедил сквозь зубы саркастические замечания и, интересуясь всем на свете — от шахмат до династии Дин, — делал вид, что ко всему равнодушен.

Об этой компании можно сказать, что она была как бы психологическим центром класса. Но был в ней и свой центр — Володя Северцев.

Ну-с, к нему я буду возвращаться не раз и поэтому для начала расскажу только о первом впечатлении: он был, что называется, ладно скроен и крепко шит, высокого роста, черноволосый, с бледно-смуглым лицом.

Почти не занимаясь, он всегда шел первым, в спорах неизменно побеждал, в любой игре — от пятнашек до баскетбола — был сильнее, увертливее и находчивее других. На первенстве своем он открыто никогда не настаивал, однако же и делить его ни с кем не собирался.

Как-то поздней осенью вся компания отправилась кататься на лодках, и один из гребцов потерял уключину. Никому не хотелось лезть в холодную воду, и тогда Володя, выругавшись, разделся, нырнул — и вернулся с пустыми руками. Его стали отговаривать, он, не отвечая, снова бросился и нырнул до тех пор, пока, посиневший, измученный, не появился с уключиной в руке.

Он собирался на исторический факультет, причем интересовался, это может показаться странным, рыцарством XIII—XIV веков. Но на деле это не так уж и странно. Наш город в XIII веке принадлежал какому-то рыцарскому ордену, от которого остались хорошо сохранившиеся крепостные стены. Началось это увлечение в кружке юных краеведов, а дошло до того, что Володя выступил на комсомольском собрании, доказывая, что раз уж мы стремимся разумно воспользоваться всем предшествующим опытом человечества, почему бы в устав комсомола не внести некоторые пункты рыцарского кодекса средних веков.

Кстати сказать, таких ребят, как моя четверка, теперь много, и исключительность их не так уж исключительна, как может показаться с первого взгляда. Известный новосибирский педагог, в прошлом мой ученик, как-то показал мне альбом, который ему подарили выпускники в 1963 году, прощаясь со школой. Если судить по этому альбому, добрая половина его класса ни в чем не уступала моей четверке. Что вы скажете, например, о такой формуле: «Площадь оценки жизненных явлений равна произведению заложенных в них основ на высоту сознания»? Правда, это — Новосибирск, специальная школа, в которой занимаются будущие программисты! В нашем маленьком городе мои ребята были исключением. Много было и совсем других. На последней парте, например, сидел один парень, фамилию которого я, к своему стыду, долго не мог запомнить, хотя она была очень проста. Вызывая его, я с тоской слушал его тусклый, невыразительный голос. Томился и класс. Отвечал он медленно, с трудом, как будто стыдился того, что он говорил. Он был медвежеватый, с большим туловищем и короткими ногами. Всем своим видом он как будто просил об одном: «Оставьте меня в покое». Звали его Костя Древин.

Костя Древин: лицо класса

Вчера прочел книжку «Древняя Москва», в которой, между прочим, выясняется, что ели москвичи в XIV веке. Если исторически важно, что они ели, не менее важно, что они собой представляли. А когда я сказал, что если обрисовать жизнь обыкновенного человека, это был бы исторический труд, ребята подняли меня на смех и стали доказывать, что я спутал три науки сразу — археологию, историю и психологию. А я не соглашался, потому что, если человек «ест то, что он ест», меню москвичей XIV века является вкладом во все три вышеуказанные науки.

Андрей Данилыч тоже сказал, что я не прав и что факт меню отно-

сится к вспомогательной информации. А по-моему, в науке нет ничего вспомогательного. Если она вспомогательная — как, например, история литературы, она тем самым уже вообще не наука. Впрочем, Андрей Данилович в сравнении с другими преподавателями все-таки сравнительно полезная двуногая особь. Меня он интересует как модель среднего человека XX века, то есть личность, обладающая необходимым внутренним устройством, чтобы устоять в борьбе за существование. До него была бабуся, которая за сочинение «Моя комната» поставила мне тройку, потому что я не написал, что у нас в комнате стоит рояль. А когда я ей сказал, что если бы у нас был рояль, на нем пришлось бы спать и обещать, она ответила, что сочинение все равно «нетворческое и неинтересное». Другие ребята написали, что у них стоит не только рояль, но полубуфет, и получили пятерки.

В общем, Андрей Данилович занимается главным образом с нашими гениями, хотя и делает вид, что его интересуем мы все. А мне на них наплевать! Мне противно, что они как будто не замечают, что им подражает весь класс. Теперь организуются школы для одаренных — вот и шли бы туда! Или хотя бы в спецуху. Нет, им нравится здесь блистать. Они «сложные» — и мечтают перевернуть науку, а на деле все сведется к двум-трем кускам в месяц, хотя сейчас они, может быть, даже и не думают о деньгах. А мне кажется, что не быть, как все, это значит не отвечать ни за кого.

Конечно, я тоже не могу сказать о себе, что хочу стать обыкновенным человеком. Это было бы вранье перед самим собой, то есть без определенной цели. Но, во-первых, обыкновенному человеку все-таки приходится меньше врать, потому что ему почти ничего не надо. А во-вторых, он способен сосредоточиться на самом себе и таким образом изучить свою личность. Вообще же с враньем положение почти катастрофическое. Говорят, есть какой-то «детектор лжи». Если пристроить его в наш класс, машинка работала бы бесперебойно. И даже Андрей Данилович, который очень любит говорить об искренности, тоже задал бы ей работенку. В прошлом году, накануне сочинения по темам роно, он осторожно намекнул, какие будут темы, и вместе с нами разработал планы. А когда кто-то запустил ежика в роно о том, что у нас была «генеральная репетиция», он стал выкручиваться, и мы его покрывали. Ничего не поделаешь! Честь школы!

**Андрей Данилович: цветные ленточки
на левом рукаве**

Знаете ли вы, что такое школьный жаргон? Это когда вместо того, чтобы сказать «превосходно» или «отлично», вы говорите «железно» или «потрясно». Когда вместо «мы смеялись» говорят «мы обожались» или вместо «три рубля» — «три ре». «Катить баллон» — что это, по-вашему, значит? Ухаживать, как это ни странно! Ну, и так далее. Так вот, моя четверка к подобному языку относилась с презрением, и я, напечатав несколько статей против засорения русского языка канцеляризмами и вот такими полушкольными-полутюремными речениями, — не просто радовался, разговаривая со своей четверкой, но восхищался. И это было не случайно у них. В наш городок приехал к родным какой-то старик из Фиолетова, русской деревни под Дилижаном, куда еще с екатерининских времен ушли молокане, и ребята потащили меня к нему, просто потому, что он хорошо говорил по-русски. И я действительно услышал настоящую русскую речь — неторопливую, округлую, крепкую.

Короче говоря, я увлекся своей четверкой, а они, скажу без преувеличения, увлеклись мною.

Это ведь не часто встречается — такое полное взаимопонимание между учителем и учениками.

Случалось, что мы устраивали прогулки — зимой на лыжах, летом на лодке по Дужке, впадавшей в озеро Рекша, богатое рыбой. О прогулках этих я вспоминаю с наслаждением. Я из военной семьи, отец был офицером, и сам я много служил в армии — участвовал в первой мировой войне и в гражданской. Учителем служил в Иркутске, в Чернигове, в Ленинграде — словом, большая часть жизни прошла в городах, а между тем по своей природе я — человек сельский.

Меня всегда тянуло за город, и хотя я плохо знаю природу, не разбираюсь, например, в голосах птиц, путаю названия растений, но только в лесу или в поле чувствую себя... как бы это сказать?.. Ведь мы всегда тащим за собой то, что связывает нас с другими людьми, причем часто без необходимости. А в лесу никто ничего от тебя не требует и нравственно, я бы сказал, дышится легче.

Вот этот отставной генерал, который делает «скамеечки» и основал «Союз пожилых любителей леса», — ведь это мудрец, могу вас заверить!

Ну-с, и городок, в котором произошла моя история, стоял в лесу и даже был как бы его продолжением. Промышленность его заключалась в одном фанерном заводе, улицы вились среди зеленых холмов, и открывался он с поворота большой юго-западной магистрали, как заповедное место, — неожиданно и сокрушенно. Но вернемся к моей четверке.

Кажется, я рассказывал вам, что увлечения у каждого из них были свои. Но вот однажды до меня донеслись несомненные признаки нового и общего увлечения. Как будто какой-то вихрь подхватил друзей и они помчались неведомо куда с закрытыми глазами.

Что же это было за увлечение? Сначала они скрывали его, но как-то небрежно, может быть, нарочно, чтобы подогреть интерес. Потом стали подчеркивать, не обращая никакого внимания на подтрунивание и насмешки. Записочки стали скользить по полу между партами или лететь по воздуху в виде искусно сложенных стрел. Кроме адресата, их никто не читал — это был неписанный закон, соблюдавшийся строго.

Кто же был этот адресат? Чьи инициалы «В. С.» вырезывались на подоконниках и партах вопреки наставлениям директора, грозившего, что он привлечет виновных к ответственности за порчу казенного имущества? Каждый класс, как в любой школе, должен был в определенные дни работать в порядке самообслуживания — убирать вестибюль, коридор, кабинеты, залы.

Моя четверка ловко устроила так, что в этой уборке вместе с ними дежурила неизменно В. С. в паре с другой девочкой, на которую они не обращали никакого внимания.

В. С. была Варя Самарина, и все это означало, что моя четверка избрала ее своей «дамой».

Вот теперь пришло время сказать несколько слов о Варе.

Это была девочка хорошенькая, что для нее, кажется, не имело особенного значения. Только она одна во всем классе носила косы, и мне, например, эта прическа казалась куда женственнее и милее, чем «конские хвосты» и «вшивые домики».

Конечно, Варя ходила с косами не из духа противоречия, а потому, что они к ней шли. Впрочем, к ней и форма шла, и гладкое пальто в талию. Мать ее была учительницей музыки. Как-то я встре-

тился с ней у общих знакомых, и она мне тоже понравилась. Может быть, слишком сдержанная, но такая, что сразу стало видно, откуда взялась Варина чистота и порядочность: не от правил или наставлений, а от самой атмосферы семьи.

Без сомнения, она была очень привязана к матери. Более того: в одном отношении, а именно в своей любви к музыке, они вообще как бы представляли собой одно существо.

Варя прекрасно играла на рояле, не пропускала ни одного концерта областных гастролеров, не говоря уже о столичных, выступала на школьных вечерах и мечтала о консерватории.

Ну, что еще сказать вам о Варе?

Как-то ранней весной, когда класс с тоской слушал доклад Зины Камковой «Чехов в борьбе с мещанством», какой-то отблеск вдруг пробежал по комнате, и все преобразилось — доска с полустертой формулой, тени парт на полу. Не знаю уж, откуда он взялся. Должно быть, ветер налетел и солнце отразилось от обледеневших кленов в саду.

И вот я сразу заметил, что класс разделился: одни ждали, когда он повторится, а другие не заметили и не ждали. Ждали, конечно, мои мальчики. И уж, конечно, ждала с нетерпением Варя, для которой, подумалось мне, очень важно, чтобы этот отблеск непременно повторился, и как можно скорее.

Доклад был скучный. «В рассказе о любви Чехов бичует футлярность...», «Его эпоха всегда была эпохой замораживания. Людей засасывали мелочи жизни...» Я спросил, понравился ли доклад, и Камкову немедленно высмеяли. Крейнович оценил доклад как крупнейшее историко-литературное открытие:

— Это очень сильный доклад, Андрей Данилович! Из него мы узнали, что нехорошо, когда людей засасывают мелочи жизни. Это — преступление. Мы окончательно убедились в том, что Чехов бичевал футлярность. И вообще доклад сильно расширил наши представления о гениальном писателе. Например, Камкова упомянула о какой-то трилогии Чехова. Не может ли она сказать, о какой трилогии говорится в ее докладе?

Варя Самарина засмеялась — она одна, и вовсе не потому, что Камкова «сделала историко-литературное открытие». Отблеск повторился. Она ждала — и дождалась.

Как же отнеслась она к тому, что четыре мальчика, соблюдая строгую очередность, стали провожать ее из школы, танцевать только с ней на вечерах и посылать ей бесчисленные послания в стихах и прозе? Очень просто. С мягкой иронией, понимая, что это — игра.

До поры, до времени все шло прекрасно. Четверке немедленно стал подражать весь класс. Девочки, которые не обращали на своих одноклассников никакого внимания, стали относиться к ним весьма благосклонно. Дни рождения девочек стали отмечаться подарками и цветами, и атмосфера рыцарской вежливости, записочек, понимающих улыбок и т. д. стала всеобщей.

Но четверка моя в этой игре была, как и следовало ожидать, самой находчивой и остроумной. Однажды мальчики явились в школу с цветными ленточками на левом рукаве. Класс, разумеется, зажужжал. Они загадочно улыбались. Это были, видите ли, «цвета дамы». Они присягнули своей даме на верность и отныне намерены носить ее цвета всю жизнь.

А надо вам сказать, что школа наша отмечала в ближайшем году свой столетний юбилей, и по этому случаю мой класс назывался «выпуском века». К событию готовились весьма энергично — не только в

школе, но и в городе. Здание, в котором должны были происходить торжества, нуждалось в ремонте, и нас перевели в старый дворянский особняк чуть ли не конца XVIII столетия. Прежде в нем находилось какое-то политико-просветительное учреждение. Фасад его был украшен портиком из коринфских колонн. В большом двусветном зале потолок был расписан, и еще можно было различить двух ангелов и трубящую Славу с раздутыми щеками. В конце зала направо и налево открывались широкие, пологие деревянные лестницы, которые вели в темноватые комнаты. — здесь мы занимались. Были и другие лестницы — в антресоли, и наконец третьи — из одной комнаты в другую. Второй этаж легко было принять за третий. На стенах зала сохранились бронзовые бра хорошей работы. Короче говоря, дом совершенно не годился для школы. Но были в нем и достоинства. Я, например, воспользовался его характерным устройством, чтобы подогреть интерес к истории русского быта. В таком примерно доме жили Ростовы из «Войны и мира». Словом, вопреки своей непригодности дом играл в школьной жизни, так сказать, объединяющую роль. Но вот наступила пора, когда его старомодность стала не объединять, а разъединять — уж больно много было в нем гардеробных под лестницами и темных закоулков на антресолях! Теперь в этих закоулках обсуждалось то, что происходило между Володей и Варей.

Костя Древин: цветные ленточки на левом рукаве

Громеко принес в школу письмо своей бабушки и утверждал, что мы исторически отстали, потому что бабушке тогда было 16 лет, а у нас такое письмо не сможет написать даже студент литературного института. И действительно, оказалось, что многих слов я не понимаю и что оно для меня вроде письма греческого мальчика из книги С. Лурье под тем же названием. Например, что такое «кондиции»? Или «кондуит»? Причем бабушка, очевидно, знала или догадывалась, что происходит в ее душе. Например, она пишет: «Я всегда слишком себя показываю, это происходит оттого, что я часто в себе разбираюсь и очень откровенна и самолюбива». Это интересно. У нас никто не разбирается в себе. А мне хочется разобраться, потому что выбрать профессию — это еще не значит разобраться в себе. Вообще, что такое личность? По словарю русского языка С. Ожегова, личность — «человеческое я, человек как носитель каких-либо свойств, лицо». А я не знаю, какие свойства я в себе ношу. Причем интересно разобраться в них без помощи взрослых, потому что взрослые всем советуют одно и то же. Профессию, по-моему, надо выбирать после того, как ты разберешься в этих свойствах, которые иногда могут даже противоречить друг другу. Я думаю, что профессия вообще не очень важна. Ленин был присяжным поверенным, то есть защитником, и даже, кажется, помощником защитника. Почему же он стал великим? Потому что знал свойства своей души. Чехов был доктором, и это могло ему пригодиться, но ведь были великие люди, которым профессия даже мешала?

В этом отношении меня интересует Северцев, с которым мы один раз поспорили, может ли он что-нибудь украсть, то есть заставить себя украсть, потому что он, конечно, не профессиональный вор. И в прошлом году, когда у нас была экскурсия в городской музей, Володька на моих глазах стащил со стола маленькую лупу в кожаном футляре, принадлежавшую знаменитому путешественнику Козлову. Потом была, конечно, морока, как ее вернуть, чтобы никто не заметил, но Северцев

все-таки вернул, хоть чуть не попался. Следовательно, он отчасти знает себя, потому что способен управлять своей волей для несвойственной ему цели. Возможно, из него действительно выйдет великий человек, потому что все великие люди умели управлять собой, то есть приказывать себе делать даже то, что им не хотелось. В сущности, это та же тренировка, только в душе.

Наша школа существует сто лет, и по этому случаю старое здание будет ремонтироваться, а нас перевели в особняк какой-то княгини или графини. По этому поводу Андрей Данилович прочитал нам целую лекцию о том, что примерно в таком же доме жили Ростовы из «Войны и мира». Между прочим, ничего общего! У Ростовых, я сосчитал, было около двадцати пяти комнат. Какие-то задние, несколько гостиных, цветочная, официантская, большая мраморная зала, диванная и так далее. А в этом особняке первый этаж вообще похож скорее на театр, и есть даже эстрада, а занимаемся мы на втором. Комнат мало, старшие классы перевели во вторую смену, и это очень плохо, потому что, когда мама уходит на работу, я затыкаю будильник и продолжаю спать. Интересно, почему все равно спишь, даже когда не хочешь? Серега говорит, что это — месь организма, которому в течение ряда лет приходится вставать слишком рано.

Между прочим, больше всех выиграла от этого Серегина тетка, потому что прежде я ей колол дрова от случая к случаю, а теперь каждое утро и уже складываю на дворе, потому что сарай набит под самую крышу.

Серега ушел после восьмого класса и учится на вертолетчика. На днях я получил от него письмо, по которому видно, что, летая на своем вертолете, он стал сильно идейный. Вроде нашего положительного героя Пелевина, которому я однажды сказал, что он такой сознательный, что на все способен.

В общем, мы теперь «выпуск века». Это значит, что мы попадаем под закон показухи, потому что среди «выпускников века» непременно должно быть не меньше пяти-шести медалистов. О двойках вообще не может быть и речи, а тройков будут умолять, чтобы они учились на четверки.

Таким образом, повезло не только Серegiной тетке, но и мне, потому что некоторыми предметами я решил вообще больше не заниматься. Например, литературой. Андрей Данилыч кратко рассказывает про жизнь писателя, а потом начинает долго говорить «стилем» насчет его произведений. Во-первых, интереснее было бы идти обратным путем, то есть из произведений делать вывод о жизни. Может быть, это помогло бы тем, кто интересуется литературой, хотя у нас серьезно интересуется — не считая гениев — только Зина Камкова. Она как раз не гений, но из нее мог бы выйти толк, если бы Андрею Данилычу захотелось с ней заниматься. Во-вторых, девяносто процентов литературы — чтение, а для чтения программа вообще не нужна и практически не существует. В школе мы читаем «Что делать?», а дома — «Звезды смотрят вниз», где как раз написано, что делать, например, с бабами, и вообще, как надо в жизни добиваться успеха. Литературой можно заниматься дома, а потом только сдавать экзамен или несколько зачетов в год, чтобы Андрей Данилыч убедился в том, что у тебя хватило воли, чтобы прочитать «Что делать?». Из школьных предметов надо оставить только те, которыми невозможно заниматься дома, а из литературы — книги, которые могут пригодиться в жизни с исторической точки зрения. Гоголя, например, невозможно читать, но интересно, что ему удалось кое-что предсказать в отношении типов. Вот мы с матерью живем в коммунальной квартире, и персональный пенсионер Ухов провел во все места

общего пользования индивидуальные лампочки, а в своей комнате поставил пульт управления. Собакевич никогда не додумался бы до такой штуки.

Психологически тоже можно воспользоваться кое-чем из литературы. Например, любовь. Я написал сочинение на тему «Протест или слабость самоубийство Катерины» и получил двойку, потому что с точки зрения роно самоубийство — протест, а с точки зрения Андрея Даниловича — тоже протест, но отчасти и слабость. А я доказывал, что тут все дело в неправильном понимании любви. Конечно, если говорить о настоящей любви, а не когда парень просто начинает «катить баллон».

У Катерины все равно ничего бы не получилось, потому что из одного рабства — дома — она попала бы в другое — к Борису.

Вообще отношения между так называемыми любящими можно определить формулой неравенства. Это относится, между прочим, и к тому, что происходит в школе. Когда наши гении затеяли эту дурацкую туфту с ухаживанием за Самариной, весь класс стал им подражать, и даже щекастая Ленка Попова, у которой улыбка 6×9 и рот до ушей, получила кавалера. Причем некоторые девчонки прежде ходили с дядями, а на нас только кидали презрительные взгляды, а теперь из кожи лезут вон, чтобы их заметили. Девчачья порода! Что касается четырех гениев, так они вдруг явились в школу с цветными ленточками на левом рукаве. Оказывается, в средние века рыцари, когда они влюбились, носили «цвета своих дам». Для этого можно было даже не влюбиться, а как бы выбрать женщину, по возможности замужнюю, и ехать куда-нибудь сражаться за нее с неверными, даже если ей никто не угрожал. Неверные — это были турки или вообще мусульмане. Ленточки у гениев — голубая, коричневая и зеленая. Возможно, у Самариной есть такие платья или свитера. Не знаю, я видел ее только в форме.

По-моему, ей неприятна эта комедия, потому что она как раз непохожа на других девчонок, которые были бы в восторге. Она, по-моему, вроде Софы Перовской или Веры Фигнер, в общем, в духе тех, которые стреляли в царей.

Директор на другой день приказал снять ленточки, хотя Андрей Данилович, говорят, доказывал ему, что это романтика. У нас теперь всё — романтика. Кафе — «Романтики». Туристский лагерь — «Романтики», и даже целая серия книг называется «Тебе, романтик». А если я не романтик? Я, между прочим, всю эту романтику ненавижу, потому что считаю, что она — тоже вранье.

Интересно бы установить формулу соотношения бесцельного вранья с вынужденным — в течение одного дня, а потом, соответственно, в течение недели, месяца и года.

Андрей Данилович: три плюс один

И гимназистом и студентом я зарабатывал на жизнь уроками и, между прочим, всегда волновался, когда экзамены сдавали мои ученики. Со временем это чувство притупилось, в особенности когда выяснилось, что в хорошей оценке учитель заинтересован больше, чем ученик. Так вот, теперь я снова стал волноваться, да как! И не только будущие оценки моего «выпуска века» начали беспокоить меня. Нет, вся жизнь класса, налаженная мною с таким трудом, вдруг пошла вкривь и вкось.

Прежде всего перестали заниматься. И не только литературой — это бы еще полбеда, но и другими предметами, по которым день упу-

стишь — годом не наверстаешь. Развалилась дисциплина. Участились пропуски без уважительных причин. В кабинетах и залах полы оставались ненатертыми, подошвы грязными — некогда было шаркать тряпками и щетками, надо было поговорить о том, кто, где и когда видел Варю с Володей и как посмела Рогальская — была у нас такая модница, — гуляя с подружкой, сказать ей: «До шестого столба», потому что у восьмого или девятого ее ждал Пелевин.

Вместо физики, геометрии, алгебры и т. д. класс с головой погрузился в интриги, маленькие заговоры, сплетни. Новогодний вечер совсем не удался, аккордеонист играл в полупустом зале, а пары, забившись в уголки, усердно занимались «выяснением отношений».

Между тем в связи со столетием школы только что был составлен торжественный договор, принятый в присутствии всей школы моим классом. О нем, конечно, и думать забыли!

Кончилось все это тем, что директор вызвал меня и сказал, что по успеваемости «выпуск века» занимает последнее место в школе.

В чем же была причина? А причиной была, как выяснилось, цепная реакция. А толчком к этой цепной реакции были пошатнувшиеся внутри моей четверки отношения. А толчком к этому толчку было то обстоятельство, что Володя Северцев стал ухаживать за Варей не в шутку, а совершенно серьезно.

Сказалось ли здесь его стремление всегда и во всем занимать первое место? Было ли это отзвуком какого-то сдвига, идущего издалека и повлиявшего на дружбу четверки? Не знаю. Во всяком случае я сразу же и с негодованием отверг слухок, что это было сделано «на пари», то есть Володя держал пари, что заставит Варю влюбиться в себя, и даже предложил срок: один месяц. Произошло это будто бы после того, как на одном из танцевальных вечеров в школе Варя сказала, что она никогда и никого не полюбит. Она действительно сказала это — и даже при мне, но в том смысле, что не верит в безответную любовь и что можно полюбить от жалости, от горя, даже от ненависти, но только не по той случайной причине, что природа создала ее женщиной, а его — мужчиной.

Но какова бы ни была причина, никакие меры строгости, это я сразу понял, здесь помочь не могли. Надо было что-то придумать. Надо было придумать то, что и увлекло бы класс, и заставило бы его посмотреть на себя со стороны. Нечто интересное, ни на что не похожее и никогда прежде не происходившее в школе.

Кто же, кроме четверки, мог помочь мне решить этот ребус? Я пригласил их, но пришли только трое — Кругликов, Крейнович и Громеко.

— Северцев занят, — сказали они решительно и как будто защищая его от меня.

Ну-с, надо сказать, что это был странный разговор.

Крейнович пустился в рассуждения о том, является ли литература единственным верным способом постижения жизни, и, скорбно глядя на меня, три раза повторил: «Нет, нет, нет!»

Я сказал ему, чтобы он не дурачился, и тогда он стал доказывать, что дурачился в свое время даже Гомер.

— Андрей Данилыч, ведь иначе понять эту историю с троянским конем почти невозможно. Я вас уверяю, что Гомер в данном случае смеялся не только над глупостью троянцев. В самом деле: заклятые враги строят под стенами крепости деревянного коня, и, поверив первому попавшемуся проходивцу, троянцы тащат коня в город. Конечно, можно предположить, что это античный гротеск... — И так далее.

Толстый, неторопливый Кругликов убедительно доказал, что мы находимся в положении «философа в яме» (из басни Хемницера), ко-

торый рассуждает о качестве брошенной ему веревки, вместо того чтобы взять ее в руки и вылезти из ямы. Я не помнил этой басни, и Громеко немедленно прочитал ее наизусть.

Словом, я говорил о положении в классе, а они — черт знает о чем, однако с самыми серьезными лицами и даже на первый взгляд толково. Ясно было, что настаивать на серьезном разговоре — значит остаться в дураках.

Однако же я не сдался. Через несколько дней я опять позвал их и на этот раз с первого слова предложил инсценировать все, что происходило в классе за последние полгода, изобразить все эти сплетни и интриги на сцене. Короче говоря, сыграть самих себя, разумеется в замаскированном виде. Это произвело впечатление!

— Любопытно,— сказал Крейнович.— В самом деле, ведь если просто записать день одного человека, скажем, Пелевина, и то получится пьеса!

И подумав, они предложили инсценировать «Трех мушкетеров».

— То есть, собственно, четырех,— смеясь, сказал Кругликов.— Между прочим, это вполне соответствует роману. Там ведь тоже четыре.

Я почувствовал, что этот неожиданный сюжет чем-то связан с внутренними отношениями четверки. С тех пор, как Володя — вольно или невольно — вышел из «игры», в этих отношениях что-то изменилось. Может быть, выбор сюжета был мстью за нарушенное обещание?

Тогда почему, вдоволь насмеявшись над толстоногим, розовым, ленивым Кругликовым-Портосом, они единодушно сошлись на том, что Северцев будет играть д'Артаньяна?

Расспрашивать было рискованно, да и бесполезно. Остановились на «Трех мушкетерах», наметили шесть главных действующих лиц — автора (он же Человек без маски), королеву, четырех влюбленных кавалеров — и решили рассказать о нашей затее директору школы Ивану Яковлевичу Белых.

Иван Яковлевич был еще молод, лет сорока, и был, что называется, «на хорошем счету». Его главная мысль заключалась в том, что директор должен воспитывать педагогов, а уже они передавать его идеи школьникам в популярном виде. Он написал «Педагогические правила. Наставление для учителей» и подарил мне один рукописный экземпляр, который я бережно храню среди редкостей в своем архиве. Начинались они так: «Мечтаю написать, вымучить, выстрадать «Педагогические правила», которые должны быть, с одной стороны, такими же простыми, как правила уличного движения, а с другой — выражать великие мысли, поскольку местом движения учителя является не улица, а сложная и глубокая жизнь».

Далее шли афоризмы. Вот некоторые из них:

1. Хорошую музыку я называю «душевым пенициллином». Музыка — гениальный слепец, но речь — гениальный зрячий.

2. Выбросьте из своей практики слова: «вдруг, если, забыл, не могу, не хочу» — будьте максиплановы.

3. В первую же самостоятельную зарплату купите себе хороший радиоприемник.

4. Развивайте юмор, он на вес золота. Великая русская литература, насчитывая десятки гениальных писателей, может похвастаться только единицами юмористов: Гоголь, Чехов — и всё: буквально раз, два — и обчелся!

5. У моего отца было шесть инфарктов, и он давно умер бы, если бы лечился покоем. Не избегайте святого беспокойства, учитесь ему.

6. Педагог должен работать, как в кулинарии: каждое блюдо вызывает обильное слюноотделение и его хочется съесть.

7. Желательно, чтобы каждый учитель (учительница) был женат (замужем) и имел детей. Очень хорошо было бы, если бы среди детей были мальчики и девочки.

8. Осознайте сами и доказывайте другим, что людей нельзя лепить из глины и ваты и что их надо нагревать докрасна и потом крепко бить молотом, то есть ковать.

9. В нашей стране каждый должен в конце концов стать писателем. Для любого учителя это не только естественно, но необходимо.

Я привел эти афоризмы нового Козьмы Пруtkова (уверяю вас — подлинные) только для того, чтобы показать, каким ответственным делом является выбор директора школы.

Однако к нашей затее он отнесся с полным одобрением, может быть, потому, что в его «правилах» было и такое: «учитель должен быть артистом, и даже более того — режиссером (учебы)».

Но прежде всего нужна была пьеса — и Миша Крейнoвич написал ее в несколько дней, как Мольер своего «Дон Жуана», а Громеко с его фантастической памятью украсил цитатами, из которых пришлось выбросить добрую половину. Начиналась она в раздевалке, где автор, он же Человек без маски, невольно слышит вдохновенный «трёп» двух модниц XVII века о «междусобойчике» с коньяком, на котором был выдан «могучий твист», а потом действие переносилось в Лувр. Интриги кардинала Ришелье были забавно переделаны в школьные интриги. Впрочем, за последние полгода жизнь класса состояла из почти ежедневных больших и маленьких происшествий, так что соединить их было не так уж и трудно. А если они не соединялись, на сцене появлялся Человек без маски, который приглашал зрителей посмотреть сперва «выдумку», а потом «правду».

В пьесе не было ничего, что касалось бы отношений между Варей и Володей. Он пришел ко мне, когда мы обсуждали пьесу, и держался с той спокойной уверенностью, которая его всегда отличала. Мне почудилось, впрочем, что он угадал намерение друзей полусхутя отомстить ему и, так сказать, принял вызов.

Костя Древин: мы знаем жизнь

У нас был старый большевик, который рассказал, что его сын не хотел вступать в комсомол, потому что он нечаянно разбил в школе окно: «Я разбил окно, как же я могу вступить в комсомол?» Это уже вроде письма бабушки Громеко, потому что теперь многие вступают в комсомол только потому, что это как бы считается неудобным — не вступать.

Громеко загнал старика в тупик цитатами из Маркса, и тогда тот рассердился и сказал, что у нас нет идеалов. Это, между прочим, неверно. Идеалы есть, но когда о них так длинно и нудно говорят, начинает казаться, что их нет. Например, Пелевин считает, что они у него есть, потому что он — мастер спорта по плаванию, отличник и всегда говорит то, что хочется услышать учителям. Но думает он при этом не об идеалах.

Я еще не знаю, есть у меня идеалы или нет. Мой идеал — познать самого себя. Я уверен, что войну выиграли бы с меньшими потерями, если бы каждый десятый солдат знал самого себя. Но я еще не имею о себе никакого понятия, и это видно хотя бы по тому, что Андрей Да-

нилович попросил меня нарисовать костюмы и декорации для этого дурацкого спектакля, и я согласился. Во-первых, мне не хотелось, потому что они (гении) что-то не договаривают или просто врут, что этот спектакль — в честь юбилея школы. При чем же тут три мушкетера? А во-вторых, они мне до лампочки, за исключением Северцева, который интересует меня как личность. Он теперь старается закадрить Самарину. Средневековый маскарад он отменил, а чтобы показать, что они, то есть гении, занимались этой чепухой не на шутку, вдруг отколол на комитете комсомола речугу о том, что, поскольку мы обязаны воспользоваться всем полезным опытом человечества, почему бы не внести в устав комсомола некоторые пункты рыцарского кодекса средних веков? Я думаю, что он все-таки подлец, хотя у меня нет объективных данных. Кроме того, мне жалко Самарину. Ей уже трудно сохранять гордый вид, потому что она втюрилась, как кошка. Но жалею я ее не сознательно, а скорее как бы непроизвольно, то есть жалость к ней не входит в число контролируемых мной душевных свойств. Интересно, что я жалею ее совершенно иначе, чем маму, которая не может перенести, что нас бросил отец, и доказывает, что я похож на него, как две капли воды, то есть такой же нравственный урод. Ее мне жалко потому, что она сердится на меня от несчастья, а Самарину — потому, что она не находит себе места от счастья.

Вообще, что такое любовь? Доказано, что животные, например дельфины, вполне способны любить, а попугаи-неразлучники умирают в разлуке. Тут все понятно. Равенство или неравенство у животных не имеет значения для воспроизведения рода. А у людей необходимость воспроизведения исчезает и появляется необоснованная власть мужчины над женщиной или женщины над мужчиной. В данном случае командует, конечно, Северцев, и это плохо, потому что у Самариной как раз есть идеалы.

Вообще напрасно старый большевик уехал от нас расстроенный. Не знаю, как в других школах, а у нас комсомольская работа завалилась давно, потому что она нужна главным образом директору и еще кое-кому для карьеры, а чтобы она понадобилась нам — просто нужно хоть выдумать для нее какие-то другие слова, чтобы стало немного интересней. Есть, например, такая игра «во мнениях». Человек уходит в другую комнату, и о нем каждый говорит, что думает. И он потом должен угадать, кто что про него сказал. Такой представляется мне модель комсомольской работы. Во-первых, все мероприятия происходят у нас механически, то есть без мысли, а тут пришлось бы серьезно подумать. Во-вторых, появились бы открытия, потому что, если социологически комсомольская работа нужна, она не может происходить без открытий. Мне, между прочим, неприятно, когда Пелевин с восторгом говорит об Олеге Кошевом или Рогальская, у которой выщипанные бровки, лепечет, что ее любимая героиня — Любовь Шевцова. Но старый большевик разговаривал с нами, как вообще разговаривают взрослые, то есть с чувством превосходства, на том основании, что у него «неисчерпаемый опыт». А я считаю, что у взрослых свой опыт, а у нас — свой, хотя и не такой уж неисчерпаемый. Считается, например, что мы не знаем жизни, а мы ее знаем и научились ей, между прочим, в школе. Мы знаем, что не надо говорить и что надо и чем можно воспользоваться, а чем — нельзя. Если бы старый большевик заглянул, например, нашему Пелевину в душу, он в два счета загнул бы копыта. Если в жизни придется хитрить и ловчить — мы что, этого не умеем? Нам даже приходится изворачиваться, чтобы они, то есть взрослые, думали, что мы ничего не понимаем и не замечаем.

Сегодня снова попробовал сосредоточиться на себе с помощью воспоминаний. В прошлом году, когда я колол дрова Сережкиной тетке, в сарай зашел знакомый мальчишка лет девяти. Я ему в шутку погрозил топором, и он вдруг испугался. И тогда я стал ему еще больше грозить, именно потому, что он испугался. Это было, конечно, подло, но психологически интересно, потому что я не стал бы грозить, если бы он не испугался. Он показал, что находится в моей власти, и это немедленно разбудило во мне животный инстинкт. Тут любопытно разобраться, потому что эти понятия — власть и инстинкт, — по-моему, связаны. Например, Северцев, управляя своими инстинктами, уговаривает Самарину, и для последней это может кончиться плохо.

Андрей Данилович: театр

А надо вам сказать, что жил я тогда у Авдотьи Яковлевны, сторожихи на фанерном заводе. Комната была небольшая, с запахом теплых бревенчатых стен, приятным потому, что это напоминало мне лучшую пору моей жизни.

Мы с женой первые два года семейной жизни жили врозь — я в Глухове, а она — в сельской больнице, за двадцать пять километров. Каждую субботу я приезжал к ней, случалось, что в метель, зимой, иззябший, стосковавшийся, и она встречала меня в такой же точно бревенчатой комнате, прибранной, уютной, душистой... Так же пахло теплой сосной, какими-то травками, которые хозяйка держала за иконой.

Плохо было только, что в комнату, которую я снимал у Авдотьи Яковлевны, выходил оштукатуренный щит от шведской кухонной печи. Было жарко, и форточка у меня была всегда открыта. Впрочем, и это было недурно, потому что, взглянув через форточку, в любую минуту можно было убедиться, как стар и красив наш город.

Дом стоял на берегу узкой речки Дужки, и на другой стороне была видна крепостная стена, хорошо сохранившаяся, с башней, прикрытой черной деревянной крышей. Именно это уединенное место избрали для своих встреч Володя и Варя, и таким образом их свидания происходили буквально на моих глазах. Первым приходил Володя и задумчиво ждал на пристаньке — летом здесь был перевоз через Дужку. Потом на дорожке в своем гладеньком пальтеце показывалась Варя — она жила за рекой, — и он не бросался к ней, а тоже шел медленно, точно боясь испугать ее нетерпеливым движением. Они шли рядом, не касаясь друг друга. Мне казалось, что и говорить они должны были шепотом. Что-то беззвучное, строгое чудилось мне в этих встречах. Впрочем, глядя на них, я думал и о том, что не пройдет и полгода, как Володя у той же пристаньки будет встречаться с другой или Варя с другим. Но вернемся к моей истории.

Ну, что вам сказать? Театр — ведь это магия! Волшебство, обладающее неслыханной заразной силой. Сперва посмеивались, расквашивались довольно лениво, а потом увлеклись! Да как! Теперь собирались у меня каждый вечер, обсуждалась композиция, декорация, костюмы. Прилично рисовал один только Костя Древин, тот самый, дремучий, о чем-то сонно думавший Костя, который всегда был за тридевять земель от того, что происходило в школе. Миша Крейнович уговорил его, и хотя не бог весть как, однако же он нарисовал костюмы и даже придумал нечто вроде экспозиции — все это нехотя и стараясь показать, что его совершенно не интересует наша затея.

Пьеса, которая была названа «Так не было — так было», сложилась легко — ссоры, свидания, секреты были еще свежи в памяти, и актеры, репетируя, как бы натякались на почти готовые сцены. И все-таки сразу стало ясно, что в нашем спектакле нет самого важного — ансамбля. Конечно, было забавно слышать, как Портос, клянясь в верности королеве, говорит: «Железно!» Или Арамис, восхищаясь красотой госпожи Бонасье: «Потрясно!» Но в устах д'Артаньяна, например, этот язык, которым щедро воспользовался Крейнович, звучал фальшиво, особенно в сцене, где он объясняется в любви госпоже Бонасье. Он играл эту сцену с напряжением, без уверенности, как бы наугад. Наконец я сказал ему (воспользовавшись тем, что мы остались одни):

— Послушай, неужели тебе так трудно вообразить кого-нибудь другого на месте госпожи Бонасье?

Разговор оборвался, но он, без сомнения, понял, кого мне хотелось назвать. И не только понял: на другой день перед нами явился совершенно другой д'Артаньян. Прежде всего Володя выбросил из своей роли весь школьный жаргон. Когда в первой картине Человек без маски говорил об искусственности в любви, Володя неожиданно стал выражать ему — и оригинально, тонко. Тут же он принялся работать над своей импровизацией, отделявая текст, стараясь найти верную интонацию. Движения стали увереннее, голос тверже. Обсуждая свою роль, он незаметно входил в нее, и это тоже было естественно, просто.

Крейнович усложнил пьесу длинными, не относящимися к делу философскими рассуждениями и очень сердился, когда я настаивал на сокращениях. Володя заступился за него, и действительно — эти длинноты, которые он переделал, в его устах звучали не так уж длинно. Словом, все говорило, что перед нами актер с большим будущим, что, как известно, и осуществилось.

Женских ролей было только две — королевы Анны и госпожи Бонасье (не считая множества эпизодических), и вот тут мы столкнулись с затруднением: Варя Самарина, на которую была главная надежда, отказалась наотрез. Я сам разговаривал с нею. Она держалась вежливо, спокойно, но твердо, а когда я стал особенно горячо уговаривать, взглянула на меня смело, почти дерзко, сказала:

— Простите, Андрей Данилович, к сожалению, не могу, — и ушла.

Более того: она отказалась даже играть за сценой на роле — инсценировка проходила на музыкальном фоне. И вот тут я решил попытаться все-таки уговорить ее с помощью того же Володи.

Это было у меня после первой репетиции с музыкальным сопровождением, неудавшейся потому, что Камкова, игравшая гораздо хуже, чем Варя, все перепутала и ушла домой в слезах.

— Володя, а что, если мы все-таки попросим Варю? Ведь мы с музыкой просто горим.

Он вздохнул.

— Откажется. Она ведь вообще немного странная, Андрей Данилыч. У нее — теории.

— Какие теории?

— Ну вот она, например, считает, что наш спектакль — кощунство.

— Вот как!

— Она говорит, что ничего не сделала такого, что заставило бы ее смеяться над собой. Да еще перед всей школой! Я старался ей доказать, что если так, стало быть, каждый актер, играя комическую роль, смеется над собой. Но она утверждает, что это совсем другое. Она и меня убеждала не играть. В общем-то, она права, Андрей Данилыч. Она очень настаивала, но я сказал, что постараюсь сыграть так, чтобы надо мной не смеялись.

Костя Древин: что такое актер?

В общем, я нарисовал им разные дурацкие плащи и камзолы, а щиты предложил сделать из гладкой цветной бумаги. Щиты будут представляться на эстраде согласно месту действия. Скажем, Лувр — два золотых щита под углом, а раздевалка — несколько параллельных серых щитов с крючками. Но потом раздевалку они отменили. Главные сцены я предложил играть на лестницах. Лестницы справа и слева спускаются в зал. На одной можно играть «выдумку», а на другой — «правду».

Пьесу я не стал читать, потому что это не пьеса, а белиберда, и тогда Крейнович кратко рассказал мне, в чем суть дела. Как я и думал, это очередной выверт, который не имеет никакого отношения к столетию школы! Ведь гении не могут без вывертов! Но это — особенный выверт, который мне надо проанализировать, то есть понять, откуда он взялся?

Каждый будет играть самого себя, то есть на самом себе покажет всю глупость этой канители с ухаживанием по очереди и с «цветами дамы». Иными словами, это будет саморазоблачение под видом самопожертвования: «Смотрите, какие мы дураки и какие мы теперь хорошие. И подумайте над собой: как случилось, что вы стали нам подражать? Ведь для этого надо быть тройне дураками».

Когда я это понял, мне стало противно, что я сделал рисунки и посоветовал насчет лестниц и щитов, но было уже поздно. И я посоветовал еще кое-что насчет света. Но дело в другом.

Во-первых, я понял, что из гениев пользу человечеству может принести только Громеко, у которого феноменальная память. Как таковая, она, конечно, еще ничего не значит, поскольку ею даже пользуются циркачи (мнемонический фокус). Но она у него не только механическая, но и ассоциативная. Поразительно, что эта ассоциативность — отрицательная, то есть в его сознании одна мысль вызывает другую не по сходству, а по противоположности. Я думаю, что всю эту музыку с инсценировкой придумал он. Что значит: «Так не было — так было»? Одно и то же явление показывается одновременно со знаком плюс и минус.

Во-вторых, разберемся: зачем гениям понадобилась эта инсценировка? Допустим, они хотят помочь Андрею Даниловичу, который думает, что, если ребята увидят, какой кавардак они устроили в классе, они устыдятся и станут пайньками, как и полагается «выпуску века». Но Андрею Даниловичу они хотят помочь по касательной, а на деле это — внутренний ход. Между гениями какая-то свара, в результате которой четверка превратилась в три плюс один. Этот один, конечно, Северцев, которому они сговорились доказать, что он — лапоть. Но он как раз докажет обратное, то есть что лапти — они.

Что такое актер? По С. Ожегову, актер — это исполнитель в театральных представлениях. Актер не может играть самого себя. Таким образом, теоретически из этой инсценировки вообще ничего получиться не может. Но и практически не может, потому что Крейнович, Громеко и Кругликов не играют трех мушкетеров, а просто произносят слова, в то время как Северцев именно играет. Это — факт, и хотя он, по-моему, кажется, сволочь, из него почти наверное выйдет крупный артист.

Теперь, почему они — лапти. Он сделал вид, что даже не догадывается, что они ему завидуют (насчет Самаринной) и хотят отомстить. Это — раз. Два — он играет куда лучше, чем они, и будет иметь успех. Наконец третье и самое главное: он согласился играть, потому что для него это тоже самоиспытание. Если человек, не будучи вором, способен заставить себя украсть, он способен устроить публичный суд над своей порядочностью, то есть доказать самому себе, что ему на нее наплевать.

Тут он пошел гораздо дальше, чем с лупой. Насчет лупы знали только мы двое, и ее можно было, хотя и с трудом, вернуть на старое место. А на этот раз ему хочется, чтобы у всей школы потемнело в глазах. Теперь снова насчет любви. Я хочу сказать, что Северцев напрасно думает, что ему таким образом удастся доказать, что он ну просто как бог владеет собой. Почему? Потому что, если бы он действительно любил Самарину, ему даже не пришла бы в голову подобная мысль. Он прежде всего подумал бы о ней, а не о том, как поступил бы на его месте Печорин. А он поступает даже хуже, потому что Печорин только заставил княжну влюбиться в себя, а у Северцева насчет Самаринки можно не сомневаться, что все будет тип-топ. Правда, эти женщины черт знает что способны простить. Но Самарина, по-моему, не способна. Она все время двигается куда-то, но не физически, а в душе. И думает. Что у девочек встречается исключительно редко.

Между прочим, вчера на репетиции между гениями был интересный спор. Громеко утверждал, что мы являемся отпечатком действительности, но только в том случае, если относимся к ней пассивно. Человек невольно начинает видеть в других самого себя и таким образом незаметно начинает считать себя центром мира. Громеко считает, что политическая слепота, например, есть следствие пассивного отношения к действительности, потому что, не замечая в себе никаких перемен, человек не видит их и в других. Кругликов сопел — отрицательно или положительно, а Северцев набросился на Громеку и стал доказывать, что, конечно, надо относиться к действительности активно, но в противоположном смысле. Между ним и действительностью существуют его желания, они важнее для него, чем действительность, и он не видит в этом ничего плохого. Положение вещей в конечном счете зависит от нас, и глупо не воспользоваться этой возможностью, раз уж тебе повезло и ты волей случая появился на свете. Только лицемеры утверждают обратное. Ему, например, наплевать, что неведомая сила каждый год гонит угрей куда-то к Азорским островам для размножения. Причем угри по крайней мере безвредны и даже вкусны. А если бы мы могли реально представить себе все подлости, которые происходят на земле в эту минуту, нас бы стошнило от ужаса и отвращения. Нас должна интересовать внутренняя жизнь, а ее надо построить так, чтобы она была вооружена против внешней.

Крейнович передразнивал обоих, а потом бросился разнимать, потому что они чуть не подрались.

Насчет отпечатка — интересно, но не вообще, а в частности. По-моему, типичный отпечаток времени — это Андрей Данилыч, в том смысле, что он является величиной постоянной, а мы — переменной. Он стоит неподвижно, а мы двигаемся мимо с различной быстротой, так что ему, конечно, приходится туго. Между прочим, я думаю, что он сам мог бы играть кардинала Ришелье. Мужчина видный, с бородкой и довольно хитрый, хотя у него в голове не больше, чем у кардинала в пятке. Но он благородно-хитрый. Поведение у него такое: «всем сестрам по серьгам», «худой мир лучше доброй ссоры» и т. д. В общем, он все-таки в чем-то Молчалин, если бы Молчалину приходило в голову время от времени думать и говорить, как Чацкий. Но действовать, как Чацкий, который, между прочим, тоже только говорит, он не может.

Впрочем, его еще можно понять: ему остался год до пенсии. Но даже если наш класс «исправится», с грехом пополам кончит этот год, а на следующий покажет себя, как «выпуск века», — что изменится в школе? Ведь наш педсовет давно должен был обсудить, почему класс вдруг бросил заниматься и стал на практике изучать личную средневековую

жизнь? Но об этом никто не думает, потому что ответ на подобный вопрос нельзя выразить в процентном отношении. Педагоги вообще почти никогда не понимают, что то, что неинтересно для них, в еще большей степени неинтересно для нас. Я хочу сказать, что средневековые — муть, но интересная муть. То есть я хочу сказать, что в школе — зеленая тоска, потому что никто не умеет интересно показывать серьезные вещи.

В общем, я окончательно убедился, что можно получить образование, почти не пользуясь школой. То есть, конечно, пользуясь, потому что невозможно обойтись, например, без кабинетов и так далее. Короче говоря, я должен сам составить себе программу, а для этого надо посмотреть, чем занимаются студенты первого курса физмата. И я это сделаю. Я хочу на физмат.

Андрей Данилович: так было

Между тем время шло, и хотя занимались еще по-прежнему с грехом пополам, однако общая заинтересованность понемногу делала свое дело. Как-то само собой получилось, что спектакль стал готовить весь класс. Подобно Тому Сойеру, я занялся торговлей. Он продал мальчишкам право красить забор за бумажного змея, свистульку, пару головастика и т. д. А я продавал ребятам право участвовать в спектакле за приличные (более или менее) оценки, за самообслуживание и вообще за соответствующее «выпуску века» поведение.

Теперь для всех был ясен смысл названия: «Так не было — так было», и Громеко, игравший мудрого Человека без маски, написал даже для своей роли монолог, в котором доказывал, что зрители не должны чувствовать расстояния между действительностью и тем, что происходит на сцене. Каждый актер невольно играет самого себя. Чем дальше он от роли, тем легче для него найти в себе средства для ее воплощения.

Северцев стал возражать с такой горячностью, что спор чуть не кончился дракой, — и монолог в конце концов был единодушно отвергнут.

Дело уже шло к весне, когда подготовка была закончена и долгожданный день премьеры назначен.

Мне не хотелось показывать спектакль особенно широкому кругу, но директор, усмотрев в нашей затее глубокий педагогический смысл, настоял — и на премьеру явились не только родители и преподаватели, но даже один профессиональный режиссер, приехавший к нам в связи с предстоящими гастролями московского театра. Словом, двусветный зал с расписным потолком был полон. Осветители, у которых что-то не ладилось, бегали с мотками проводов, крича друг на друга, а актеры, загримированные и одетые чуть ли не с утра, сидели за сценой, на полу, с тетрадками в руках, повторяя роли. Щиты, оклеенные золотой бумагой, переставлялись под разными углами на эстраде — это был Лувр, а на лестницах, освещенных старинными бра, разыгрывались «заговоры и интриги». Костюмы, грим, музыка (с выпученными от усердия глазами за роялем сидела бедная Зина Камкова) — все, разумеется, было очень самодельное. Но именно это и придало естественность постановке.

Я был уверен, что, как всегда на подобных спектаклях, когда зрители видят своих друзей и знакомых в необычных театральных костюмах, в зале возникает ощущение легкости, веселья.

Ничуть не бывало! Уже пролог, когда Человек без маски сказал, что он решил под видом выдумки рассказать правду, был выслушан

серьезно. Потом появился Володя, и я почувствовал, что пародия на нашу школьную жизнь отступила на задний план — эти сцены как-то проговаривались, их слушали, но снисходительно, терпеливо. В центре вдруг оказалась история любви д'Артаньяна и госпожи Бонасье. Вот тут-то и показал себя Володя! По Дюма, д'Артаньян — веселый гасконец, смельчак, не лишенный житейской трезвости. Володя сделал из него человека не просто сметливого, но умного, размышляющего о любви с горечью, но и с надеждой. В сцене свидания с госпожой Бонасье он ждал ее на лестнице, опершись о перила, задумчиво глядя в зал. Она показалась на лестнице слева, но растерянно остановилась, не зная, как поступить, потому что свет вдруг замигал и кто-то за сценой громко сказал: «Держи, шляпа!» Никто не засмеялся. Все смотрели на Володю.

Он тоже помедлил, но совершенно иначе. Все как бы изменилось для него с появлением госпожи Бонасье. Он медленно, почти торжественно стал спускаться по лестнице, и я с изумлением понял, что именно так он ждал Варю на пристаньке, на той стороне Дужки, и именно так всегда шел к ней навстречу. Невольно я стал искать ее глазами. Она сидела на крайнем месте первого ряда. В зале было темно, но первый ряд полуосвещен. Напряженно выпрямившись, она смотрела на Володю.

Он спустился по одной лестнице, госпожа Бонасье по другой. Варя поднялась. Неудобно было сразу же уйти, она немного постояла у стены, рядом со своим стулом. Потом, стараясь не обращать на себя внимания, стала бесшумно пробираться к двери.

Так они шли все трое — д'Артаньян, госпожа Бонасье и Варя. И вдруг д'Артаньян остановился. Более того, он исчез, а на его месте оказался Володя Северцев с растерянным, неумело заgrimированным лицом. По-детски приоткрыв рот, он смотрел на уходящую Варю. Мне показалось, что сейчас он бросится за ней. Нет, удержался — и спектакль пошел своим чередом...

Костя Древин: так было

У нас вообще не понимают, как в старину объяснялись в любви, и любая девчонка, наверно, оборжалась бы, если бы ей кто-нибудь сказал: «Позвольте предложить вам руку и сердце».

Может быть, именно поэтому Северцева слушали, как говорится, не переводя дыхания. Я недавно перечитывал «Трех мушкетеров», там только одно объяснение в любви — когда герцог Бекингэмский прощается с королевой. В пьесе все перековеркано, объясняется д'Артаньян, и не королеве, а госпоже Бонасье.

Между прочим, я бы даже не пошел, но мне было интересно, что они делают с оформлением и светом. Конечно, все перепутали, фактически хорошо освещена была только эстрада. Но это было даже лучше, потому что на лестницах происходили совсем дурацкие сцены. Публика веселилась. Всегда смешно, когда знакомая девчонка или парень, которых ты каждый день видишь в классе, напяливает какое-нибудь тряпье и кривляется с намазанной мордой. Некоторых было трудно узнать, и это тоже было довольно смешно.

Я все время смотрел на Самарину, и хотя не верю в телепатию, поскольку ее практически доказать невозможно, чувствовал, что ей тоже стыдно за всю эту трепотню по поводу серьезных вещей. Когда Северцев начал свое объяснение, она встала и хотела уйти. Она была бледная и, очевидно, заставляла себя остаться и даже один раз улыбнулась кому-

то в зале, но это получилось неестественно, потому что было ясно, что ей хочется не смеяться, а плакать. И тогда вдруг я понял, что, объясняясь в любви, Северцев говорил госпоже Бонасье, которую играла эта дура Рогальская, то же самое, что он лично говорил Варе. То есть он действительно играл самого себя. Все другие просто молчали.

Если бы Самарина осталась еще хоть десять минут, никто, может быть, ничего бы не заметил. Но она стала осторожно пятиться к выходу вдоль стены. Пройдет шагов пять — и постоит. Еще пять — и снова постоит. Тогда все стали смотреть то на нее, то на сцену.

В раздевалке она долго искала свое пальто, хотя оно висело на видном месте. Я вышел за ней.

Конечно, я бы все равно ушел, потому что мне было противно смотреть этот цирк до конца. Но мне было ее немного жалко, и я не то что беспокоился, а хотел убедиться, что она дойдет до дома. Черт ее знает, она могла что-нибудь выкинуть, потому что явно была не в себе, и когда вышла, даже остановилась на минутку, точно ей было трудно идти.

На улице было тепло, март, даже жарко, но она застегнула пальто на все пуговицы и шла, опустив голову и как-то согнувшись. Я знал, где она живет с матерью, — на той стороне Дужки, недалеко от перевоза. Летом я даже иногда ходил, чтобы посидеть на пригорке за их домиком, потому что мне нравилось, как Самарина играет на рояле. В музыке я ни бум-бум, просто мне нравилось, особенно когда они с матерью играли в четыре руки. У нее мать еще молодая, и тоже одинокая, как моя, но некрасивая, с длинным носом, какая-то лиловая и в очках.

Так вот, Самарина пошла не домой. Похоже было, что она вообще не знает, куда она идет, потому что за крепостной стеной начиналось поле, на котором стоял памятник Жертвам Революции, и дорога через поле вела к фанерному заводу.

Вечер был лунный, и я боялся, что она оглянется. Мы были одни на этой дороге. Она могла заметить, что за ней кто-то идет, а может быть, даже узнала бы, потому что меня нетрудно узнать. Но она не обернулась. Она дошла до забора, остановилась и оглянулась, точно не понимая, как она сюда попала. Но не стала возвращаться, а пошла дальше, по улице, где стояли дома рабочих и было видно строящееся здание клуба. Короче говоря, я ходил за ней часа три. Мы обошли весь город. Было поздно, ее мать, наверно, беспокоилась и даже, может быть, сбегала в школу, потому что спектакль, конечно, окончился давно. Но Самарина все не шла домой, хотя несколько раз мы были на берегу, сперва рядом с одним мостом, понтонным, только для пешеходов (его построили во время войны, а теперь ремонтировали), а потом рядом с Каменным, который вел в Задужье.

Наконец, когда мы снова оказались где-то в районе завода, я догнал ее и сказал твердо:

— Самарина, это я — Древин. Надо идти домой.

Было уже, наверно, часа два ночи, но светло, как днем, и когда я посмотрел ей в лицо, я уже больше ничего не мог сказать — такое у нее было лицо. Она только сказала:

— Да, Костя.

И мы пошли. Я ее проводил. Она сказала:

— Спасибо.

В домике горел свет, и ее мать, конечно, ужасно беспокоилась, потому что до меня сразу же долетели охи и ахи и даже, кажется, плач.

Что касается моей матери, она тоже ждала меня и, конечно, не спала, а сидела в халате и вязала. Давно она меня так не язвила. Она даже

дотянулась кое-как — она очень маленькая — до моей морды и слегка двинула, а когда я спросил ее: «Ну, как? Теперь успокоилась?» — заплакала и сказала, что я — нравственное чудовище, и что она несчастна, потому что, кроме меня, у нее все равно никого нет.

Спектакль был в субботу, сегодня воскресенье, но я все равно проснулся рано и думал о Сережкином письме, которое я вчера получил. Он на меня сердится, дурак. Его тетка хотела мне всучить штаны на том основании, что они ему уже не понадобятся, а я отказался. Правда, она хотела всучить не за дрова и прочее, а просто потому, что я поборвался. Но я не взял из ложного самолюбия. Что это значит? Это значит, что я ложно люблю себя и обиделся, потому что мне якобы хотят заплатить штанами. Тетка расстроилась, а я остался без штанов, которые мне нужны. Впрочем, еще не известно, как отнеслась бы к этому мама.

Потом я стал думать о Самаринной, и у меня начинало как-то жечь в груди, когда я вспоминал, какое у нее было лицо. Но если рассуждать логически, все это значило прежде всего, что моя формула неравенства в любви только получила новое подтверждение.

По-видимому, все дело в том, что любовь — необъяснима и произвольна, а вообще все-таки существует, поскольку иначе о ней не были бы написаны тысячи книг.

Тут приходится идти от обратного: факт, требующий доказательств, оказывается не требующим доказательств просто в силу своего существования. Если же любовь объяснима и произвольна, то есть если она только надстройка к естественному влечению полов друг к другу, — отсюда прямой ход к подлости Северцева. По-видимому, по своей сути любовь неделима. Теоретически подлость заключается в том, что Северцев ее разделил, сыграв ее сперва в жизни, а потом на сцене. А практически он доказал, что это вообще была не любовь, а просто Самарина ему нравится и, как говорится, «почему бы и нет?». Интересно, как это называется по кодексу средних веков — всей школе выложить то, что он ей там нашептывал на ихних свиданиях? Что касается Андрея Даниловича, так он просто старый осел, который не видит дальше своего носа.

Понедельник. Вечер.

Сережкина тетка все-таки принесла штаны и прочее барахло, потому что вертолетная школа будет теперь армейская; представляю себе, как хорошо будет наш бык — як в военной упряжке! Мама ничуть не обиделась, поблагодарила и взяла, потому что я действительно фактически хожу уже в каких-то кисейных штанах.

Теперь тетка вот уже второй час рассказывает о какой-то старухе шестидесяти семи лет из Тбилисского института красоты, в которую влюбился турист-француз семидесяти трех лет, знавший ее, когда ей было семнадцать. Она уехала с ним в Париж, а теперь запросилась обратно. Женщины вообще разговаривают подробно, что, по-моему, связано с непоследовательностью в их ассоциативном мышлении. В данном случае она довела меня до полубессознательного состояния, потому что у меня сильно болит голова или, вернее, затылок.

Сегодня я дал Северцеву по морде на перемене перед пятым уроком. Мне хотелось дать, не волнуясь, но в конце концов я врзал, сильно волнуясь. Он меня измолотил. Падая, я ударился затылком об угол скамейки и, может быть, даже ненадолго потерял сознание, потому что очнулся в уборной, где ребята мочили под краном тряпки и клали их мне на

голову. Они испугались, что я вообще откинул штиблеты. Между прочим, Северцев тоже прикладывал, причем у него была виноватая рожа. Под глазом у него дуля, потому что я сперва сильно ткнул напрямик, как боксеры, а когда он растерялся, благополучно врезал еще раз, уже наотмашь. Но дальше пошло уже менее благополучно...

Разговора перед сражением не было, но он, конечно, понимает, в чем дело. Гении тоже понимают, тем более что утром он уже дважды бегал к Самариной. Первый раз не открыли, а второй вышла мама-Самарина, сказала, что Варя больна и чтобы он забыл дорогу к дому.

С пятого урока я смылся, потому что меня слегка шатало, а когда Андрей Данилыч выскочил из учительской и догнал меня в коридоре, я сказал ему, что мы поссорились из-за фараона Тутанхамона: Северцеву фараон нравится, а мне — нет.

У Андрея Данилыча теперь много хлопот. Надо сделать вид, что «так не было», то есть что я не врезал Северцеву. И что дуля у него хотя и есть, но тоже как бы и нет.

Интересно, что, когда я очнулся, у меня сразу стало хорошее настроение. И сейчас вполне приличное, если бы не болела шишка. Я положил на нее мокрое полотенце, но оно быстро нагревается, а часто бегать на кухню нельзя, мама заметит.

Словом, я, как говорится, дал шороху. Завтра контрольная по алгебре, но я не пойду. Между прочим, страшно хочется жрать. Это, кажется, верный признак, что у меня нет сотрясения мозга. Когда я шел домой, меня слегка подташнивало, и я думал, что сотрясение.

Самарина, конечно, тоже не придет. Вообще историю поскорее замнут, потому что надо, чтобы «педагогический эксперимент» удался. Теперь интересно разобраться, что происходило во мне подсознательно и почему еще утром, только продрав глаза, я уже твердо знал, что полезу драться.

Возможно, что я даже уже подрался во сне, а потом забыл, потому что утром сразу принял окончательное решение. По-видимому, пока человек дрыхнет, думая, что его вообще как будто и нет, на самом деле...

Андрей Данилович: самое главное

На этом историю мою можно было бы, кажется, и закончить. Однако самого главного я вам еще не рассказал.

Спектакль прошел с успехом, директор произнес на педсовете длинную речь с цитатами из Станиславского, режиссер обещал напечатать статью в журнале «Театр». Психологическое равновесие установилось в классе. Ссоры, размолвки, напряженность в отношениях — все это рассеялось, потому что было, так сказать, сценически изжито. Класс вспомнил, что ему предстоит стать «выпуском века», занятия возобновились, и все мало-помалу встало на свое место.

Можно и не говорить, что в следующем году вся моя четверка кончила с золотыми медалями. Столетие школы отпраздновали с размахом. На торжественном заседании ребята хором читали стихи, которые написал, разумеется, тот же Миша Крейнович. В отремонтированном здании состоялся банкет на сто пятьдесят персон.

Словом, все, кажется, удалось. Между тем можете мне поверить, что за сорок лет моей педагогической работы у меня не было более тягостного, мучительного года. Началось с того, что четверка почти перестала бывать у меня, стараясь одновременно подчеркнуть, что наши отношения несколько не изменились. Однако прежняя близость ушла. Более

того, подчас я начинал сомневаться — да была ли когда-нибудь эта близость?

Они жили деятельно, энергично. Но не от них я узнал, что Кругликов летом присоединился к археологической экспедиции, копавшей в Новгороде, а осенью сделал на собрании исторического кружка доклад о знаменитых грамотах на бересте. Что Крейнович написал сатирическую поэму, а Северцев с головой ушел в изучение театра. Я просто перестал существовать для них — и хорошо еще, если бы только для них. Какая-то «полоса отчуждения» образовалась между мною и классом, причем я не мог перейти ее, а класс не хотел. Психологические мостики, которые я старательно возводил в течение прошлого года, на первый взгляд остались на своем месте. Однако ни ко мне, ни от меня никто по этим мостикам больше не ходил. Уроки учили, сочинения писали, мои лекции — я читал в одиннадцатом классе нечто вроде лекций — вежливо слушали, но все это происходило как бы на экране немого кино, без сопровождения рояля.

Откуда же взялось это невидимое препятствие между классом и мною?

Допустим, размышляя я, все дело в моей «театротерапии», как назвал нашу инсценировку директор, любивший выражаться сложно. Но ведь не зла же я им желал, а добра! Их будущее зависело от того, как они закончат школу, и не кто иной, как я, заставил их задуматься над этим!

Допустим, продолжал я размышлять, я чего-то не заметил, не понял. Вскоре после спектакля произошло, например, совершенно неожиданное происшествие — Древин подрался с Северцевым, что само по себе показалось мне более чем странным: между этими мальчиками не только не могло возникнуть повода для драки, но вообще не было никаких отношений. Однако дрались они, по-видимому, не на живот, а на смерть, потому что Древин дня четыре просидел дома, а потом явился в школу, сильно прихрамывая, а Володя долго ходил с рассеченной скулой и синяком под глазом. Я тогда же попытался выяснить причину. Куда там! Древин сказал, что они не сошлись в оценке деятельности фараона Тутанхамона, а Володя очень серьезно объяснил, что это был дружеский бой между неандертальцем и неантропом. Вот и поймите тут что-нибудь!

Второе происшествие касалось Вари Самариной, которая вдруг решила подать заявление о переводе ее в другую школу. Тут уж, скажу без преувеличения, я приложил все силы, чтобы отговорить ее от этого поступка, неразумного хотя бы потому, что она была вероятным кандидатом на золотую медаль. И снова в разговоре, продолжавшемся добрый час, я потерпел поражение. Доводы мои она выслушала вежливо, за внимание поблагодарила, а потом весьма резонно доказала, что ей нет никакого расчета оставаться в нашей школе. С будущего года ее мать в другой, намеченной школе будет вести небольшую музыкальную группу, и Варе удобно совмещать учебные занятия с подготовкой в консерваторию. Но не эти доводы заставили меня замолчать. Разговаривая со мной ровным голосом, она не сводила с меня такого же ровного, внимательного взгляда, и я почувствовал себя... Ну, что вам сказать? Как бабочка на булавке в стеклянной витрине.

Конечно, думалось мне, я все же причинил ей невольное огорчение. В самом деле: разве не намекнул я Володе, кого он должен видеть перед собой, признаваясь в любви госпоже Бонасье? Но ведь смешно предполагать, что мой полусхотливый намек открыл в нем актера? Все равно он сыграл бы свою роль именно так! Не я подтолкнул его, а талант. Он шел ощупью, многое было для него каким-то озарением, наити-

ем... Мне кажется, он тогда переживал ту пору, когда человек готов чем угодно пожертвовать, чтобы найти себя. И он ведь нашел!

А потом, послушайте, в шестнадцать лет так все скользит, так забывается! Боже мой, сколько я выслушал признаний, сколько прочитал дневников и писем, в которых то и дело встречались строчки, размытые слезами.

Нет, тут что-то не то. Тут с самого начала было что-то не то. «Для нас прошлое не больше, чем учебник истории», — как-то сказал мне Коля Громеко. У них не только нет охоты, у них нет времени, чтобы интересоваться нами.

Автор: Варя Самарина

Возвращая Косте Древину его дневник, я спросил его о Варе Самариной, и он ответил, что она живет в Ленинграде.

— Я все ругаю ее за то, что она не кончила консерваторию. Но у нее мать заболела и пришлось уйти. Она работает в музыкальной школе.

...Я побывал в этой школе, познакомился с директором, встретился с десятым классом, и — как это уже случалось в других школах — на меня пахнуло дыханием сложного мира, в котором, как в глухом лесу, бродят, перекликаясь, взрослые, слыша только собственные, невнятные голоса.

Я спросил у директора о Самариной, и он показал мне бледную, красивую, молодую женщину, которая быстро прошла мимо нас по коридору.

— Познакомить?

Я поблагодарил, он представил меня, и мы поговорили с четверть часа. У нее была неприятная манера говорить, опустив глаза, а слушая, смотреть прямо в глаза собеседнику. Окончания нашего короткого разговора она ждала с вежливым нетерпением. Когда она ушла, директор (хотя я его не расспрашивал) сказал, что Варвара Павловна была замужем, но вскоре разошлась, одинока и живет с матерью где-то в Гавани более чем скромно. На работе ее уважают и немного боятся.

Я провел в Ленинграде около двух недель. Мне хотелось дожидаться концерта преподавателей, в котором должна была участвовать Самарина. Еще разговаривая с Древиным, я подумал, что непременно надо послушать, как она играет.

...Она вышла на эстраду немного боком и, может быть, слишком поспешно села к роялю. Она играла одну из прелюдий Шопена, и мне сразу же помешало, что незадолго перед тем я слышал эту прелюдию в другом, гениальном исполнении. Бог весть почему я почувствовал жалость к Варваре Павловне. Я вдруг понял, что так бывает всегда — она всегда неловко выходит на эстраду, всегда сидит далеко от рояля, протягивая к нему руки, но не сливаясь с ним. Я понял, что эта напряженность, «отдельность» мешает ей и что она знает об этом.

И энергия и вкус — все было в ее исполнении. Некоторые места, продуманные с особенной тщательностью, звучали прекрасно. Не было одного — свободы. Она не уходила в музыку без памяти, без оглядки. Какая-то внутренняя, не связанная с музыкой работа происходила в ней, и она с нервным напряжением старалась сделать ее незаметной. Вся прелюдия звучит, как одна взволнованная фраза. У нее эта фраза рассыпалась, потеряла цельность. И глядя на Варвару Павловну, которая была так красива в своем черном, отделанном черными же кружевами платье, я думал о том, каким головокружительным воспоминанием

осталась для нее та зима. Четыре самые умные мальчика в школе влюбились в нее, избрали ее своей «дамой», посвящали ей стихи, придумали, что у нее есть свои цвета — у нее, никогда не снимавшей скромного коричневого платья, — и с гордостью носили эти цвета. Потом влюбилась она — и безоглядно, как это бывает с умными, начитанными девочками, живущими воображением. Началось единственное, неповторимое время, когда бог знает что было открыто в душе и отдано без остатка. А потом Володя предал, отдал всем то, что принадлежало только им, и этот непостижимый, ошеломляющий, оскорбительный поступок навсегда лишил ее внутренней свободы.

Но, может быть, все это совсем не так? Может быть, она давно забыла о своей первой любви? Может быть, ей кажется, что никогда не было школьного спектакля в старинном, дворянском доме, не было мартовской ночи, когда она бродила по городу, терзаясь стыдом и отчаянием, не помня себя? Может быть, не было и самого города с его быстрой Дужкой под старой крепостной стеной?

1968.



МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ

★

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

С грузинского

Я говорю вам: научитесь ждать!
Еще не все! Всему дано продлиться!
Безмерных продолжений благодать
не зря вам обещает бред провидца:
возобновит движение рука,
затаявшая добрый жест привета,
и мысль, невнятно тлевшая века,
все ж вычислит простую суть предмета,
смех завершит улыбку слабых уст,
отчаянье взлелеет тень надежды,
и бесполезной выгоды искусств
возжаждет одичалый ум невежды,
дитя в себе преобразит отца,
свой тайный смысл нам разъяснит природа,
и одарит рассудки и сердца
всезнания блаженная свобода,
лишь истина окажется права,
в глазах людей взойдет ее свеченье,
и обретут воскресшие слова
поступков драгоценное значенье.

* * *

Когда б я не любил тебя — угрюмым,
огромным бредом сердца и ума,—
я б ждал тебя, и предавался думам,
и созерцал деревья и дома.

Я бы с родней досужей препирался
и притворялся пьяницей в пивной,
и алгебра ночного преферанса
клубилась бы и висла надо мной.

Я полюбил бы тихие обеды
в кругу семьи, у скромного стола,
и развлекался скудостью беседы
и вялым звоном трезвого стекла.

Но я любил тебя, и эту муку
я не умел претерпевать один.
О, сколько раз в мою с тобой разлуку
я бедствие чужой души вводил.

Я целовал красу лица чужого,
в нем цвел зрачок — печальный, голубой,
провидящий величие ожога,
в мой разум привнесенного тобой.

Так длилось это тяжкое, большое,
безбожное чудачество любви.
Так я любил. И на лицо чужое
родные тени горечи легли.

СЕВЕРНЫЙ ЭТЮД

Только степи и снег. Торжество белизны
совершенной.
И безвестного путника вдруг оборвавший след.
Как отважился он фамильярничать с бездной
вселенной?
В чем разгадка строки, ненадолго записанной
в снег?

Иероглиф судьбы, наделенный значением крика,—
человеческий след, уводящий сознание во тьму...
И сияет пространство, как будто открытая книга,
чья высокая мудрость вовеки невнятна уму.

Перевела Б. Ахмадулина.



НИКОЛАЙ ВОРОНОВ

★

ЮНОСТЬ В ЖЕЛЕЗНОДОЛЬСКЕ*

Повесть

Глава двадцатая

На время, пока заживает рана на ноге, Костю назначили военным представителем в ремесленном училище.

До него военпредом был майор. Он всегда смотрел поверх лиц; его прозвали Шпагоглотателем. На войне он не был никогда. Директор училища обыкновенно смотрел в пол, поэтому за ним укрепилось прозвище Миноискатель. Они со Шпагоглотателем дружили, и когда шли вместе — один с наклоненной головой, другой с задранной, — было потешно их видеть.

Вступление Кости Кукурузина на пост военпреда вызвало у нас прилив самопочитания: майор был чужаком, а Костя местный, нашенский, с тринадцатого участка; майор пороху не нюхал, а о Косте шла молва, что он поджигал танки, ходил в атаки, попадал в госпитали и, вылечившись, опять ехал на фронт. У него и сейчас открытая рана. У майора был только значок ГТО, а у Кости два ордена Боевого Красного Знамени.

Сначала я скрывал свою дружбу с Костей. Кто поверит? Попадешь в «хвальбуны». Но после того, как Костя разговаривал со мной на плацу, где училище готовилось к октябрьскому параду, и после того, как врали при мне пацаны из группы лекальщиков, привезенные в сорок первом году из Днепропетровска, будто росли в том же бараке, где живет Костя, я стал рассказывать о нем.

Слишком долго я сдерживался, чтобы не захотелось мне поведать о Косте что-нибудь, что восхитило бы моих товарищей. Но разве они поймут, какой он, если я буду рассказывать о нашем барачном быте?

Однажды — тогда мы проходили слесарную практику — вонзилась нашему мастеру в глаз чугунная крупинка. Он побежал в больницу. Мы бросили работу, уселись на верстаки, крытые толстым листовым железом, и, обсыпанные чугунными обрубками, опираясь локтями на тиски, завели разговор о новом военпреде, и я, увлекшись, стал рассказывать, будто слышал от раненых, лечившихся в госпитале у подножья Первой Сосновой горы, про какого-то генерала, приказавшего полку, в котором служил Константин Кукурузин, взять штурмом в лоб высоту,

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

мешавшую продвижению целого корпуса. Командир полка видел бессмысленность штурма, но все-таки выполнил приказ. Погибла чуть не половина полка, в их числе и сам полковник,— так я залихватски врал. Комбат-три Константин Кукурузин, контуженный разрывом мины, принял на себя командование, ночью повел полк через заболоченный лес, ударил по немцам с тыла; для защиты своих окопов он оставил только три пулеметных расчета и десяток автоматчиков. Когда генерал узнал, куда девался полк, он приказал доставить к блиндажу живым или мертвым старшего лейтенанта Кукурузина. Кукурузина доставили. Генерал расцеловал Костю за победу, затем, отступив на шаг, приказал адъютанту: «Кукурузина направить в штрафбат. Когда заслужит — представить к Герою». Костю судили и оставили на фронте. Он много раз отличался и снова стал старшим лейтенантом.

— Вот человек! — восхищенно вздохнула Зина Лапушкина, доверчиво слушавшая мое вранье, и тут же ее сипловатый голос взвихрило ожесточение: — А мы?! А там такие подвиги!

Не находя слов, чтобы выразить свое восхищение, она бросилась к двери. Немного погодя вошла обратно какая-то виноватая:

— Я когда выскочила из слесарной, военпред у окошка стоял. Он обернулся. Расстроен чем-то. Оглянулся, насупилс и пошел по коридору.

Я вышел из слесарной и уткнул локти в подоконник. Металлические звоны падения чугунных крошек на верстачную обшивку, голоса ремесленников пробивались в коридор сквозь растрескавшуюся, расхлябанную в петлях дверь. Кто о чем говорит, не разобрать — значит, Костя мог не слышать легенды, сочиненной мною. А вдруг да слышал?

Я прислонился лбом к стеклу и вдруг увидел с этой трехэтажной высоты Костю. Резко припечатывая к черному насту клюшку, обутую в желтую резину, и прихрамывая, он шагал от токарных мастерских к кузнице, из стальной трубы которой, ударяясь в испод ржавого чепчика, пучился дым. Ворота кузницы были распахнуты, и оттуда через их широкий зев выползал бурый чад. Костя быстро прошел в ворота, и за ним, свиваясь, сшибаясь, лохматясь, хлынул чад.

В кузнице были термические печи, в них обрабатывались круглые, с плоским дном и прямыми краями детали, попросту мы называли их ч а ш к а м и. Училищная молва отводила чашкам важную роль: они-де чуть ли не самая главная часть ракетного миномета «катюши».

В буром кузничном чаду промелькнули фигуры термистов, протаскивших щипцами жаропышущие чашки. Не видно было, как термисты опускали чашки в огромные жестяные противни, наполненные машинным маслом. Но я мысленно представлял себе шварканье каленых чашек при падении в противни и вскидывающиеся под потолок султаны гари. Представил себе и зоркие Костины глаза. Их не заставит зажмуриться и едкий дым. Они все схватывали: и действия термистов, и нагрев внутренних стенок печей, и летучую игру красок на чашках, и то, какой цвет принимали детали, захлебываясь в масле. Наверно, токаря, обтачивающие чашки, обнаружили в них какой-то изъян, и Костя тотчас отправился в кузницу, чтобы выяснить, в чем там дело. Нет, должно быть, он совершает обычный обход мастерских, выполняющих очень срочные военные заказы. Так быстро он бы не покинул кузницу, если бы по вине термистов токаря запарывали детали.

Костя постоял близ ворот и запрокинул голову. Я присел, чтобы он меня не увидел. Затем, обозленный на себя, вскочил. Чего я испугался? Что он увидит меня за стеклами третьего этажа? Виноват я перед ним, что ли?

Я опять приник к окну.

Через огромный черноснежный двор Костя шагал в литейку. Полы стираной офицерской шинели швырял ветер. Пластинки погон блекло золотели.

Возле приземистой литейки, над крышей которой торчали ржавыми кулаками огромные ваграночные искрогасители суетливо бегали одетые в суконную робу ремесленники. Они таскали из литейки кубастые кокили, переворачивали на треногу. Хлипкие на вид парни ударом кувалды вышибали из кокилей корпуса мин. Над треногами струилось марево: мины были иссиза-горячие, тускло-красные, огненно-багровые. Опороженные кокили уносились на разливочную площадку, мины, загруженные в железный ящик на колесах, увозились в токарные мастерские.

Костя остановился возле самого долговязого вышибалы мин. Удары его кувалды были настолько хилы, что ему приходилось тукать в центр кокиля несколько раз кряду.

Костя скинул шинель, хомутом надел ее на шею долговязого. И подносчики и вышибалы бегали за кокилями, но все-таки не успевали подтаскивать — Костя, переминаясь от нетерпения, ждал, когда будет поставлена на треногу очередная форма с жаркой отливкой минного корпуса.

Вскоре дело пошло споро: либо ребята приноровились прытче таскать, либо Костя, не желая простаивать, приспособился к их не такой ходкой работе, что была бы ему по плечу.

Парить его начало со спины, потом, постепенно, весь его торс, обтянутый гимнастеркой, как бы стал исходить туманцем, истаивающим в холодном до хрустальности воздухе.

Когда был полностью израсходован на отливку мин чугуна последней плавки, Костя, надев внакидку шинель, пошел в литейку. Он кивал хлопцам. Он кивал им сердечно, весело. С детства у него был обычай благодарить, окончив труд, того, кто работал вместе с ним. Они тоже кивали ему, но молча, неуклюже, смущаясь. Привыкшие к величественному Шпагоглотателю, который не брал в руки кувалды сам и даже не хвалил за старательность, они робели от дружелюбия Кости.

Он уходил, и они принимались восторгаться им, в нетерпении ожидали, когда разливщики опять побегут с ковшом, полным свежеслитного железа, и удивляли разливщиков своей непривычной серьезностью и прытью.

Глава двадцать первая

Вася Перерушев поворовывал с тех пор, как залез через подпол в комнату летчиков за шоколадом и ореховыми галетами. Васин ответ летчикам, спросившим, что он делает в их комнате: «Деньги сцу», — не только стал его прозвищем, но и как бы предопределил его судьбу: куда бы он ни забрался, он прежде всего шнырял в поисках денег.

Васька воровал редко, всегда в одиночку и рассказывал о краже не раньше чем через год. О том, что он ходил на дело, узнавали по вкусным мясным запахам, которые источала разошедшаяся фанерная дверь в комнату Перерушевых. В их обитой ржавым железом будке появлялись новые диковинные голуби. Кроме того, Вася вытаскивал из пистончика червонец, а то и тридцатку и подзывал кого-нибудь из нас, своих годков, помогавших ему на голубятне:

— Возьми эскимо на всю братву.

До того, как Васю отправили в детскую исправительную колонию, он дважды побывал в городской милиции: попался на краже кошелька

у немецкого инженера и на взломе железного ящика в квартирно-бытовом отделе. В знак особого расположения он каждый раз делился со мной миллиейскими впечатлениями. Про то, как его допрашивал следователь, он говорил вскользь и нехотя, но с гордостью.

Конечно, в моих глазах Вася не был вором, а всего лишь воришкой, но я считал, что у Васи есть резон хвастать и привирать: крадет он бесстрашно, притом с умом — никогда ничего не стащит ни у малого, ни у старого. Промышлял он больше по киоскам. От его поживы перепало и нам. Однажды он стащил десятикилограммовую гильзу с мороженым. Как-то он приволок сигар, толстых, коричневых, схваченных тисненными золотыми поясками. Одну сигару мы еле-еле искурили всей оравой за целый день, каждый раз обалдевая от ее крепости и отлеживаясь на мураве в тени будок. Сам Вася не курил.

Попытка обокрасть промтоварный магазин «Уралторг» привела Васю в детскую колонию.

Письма оттуда он слал редко и только матери. Ни на что не жаловался. Всем был доволен: товарищами, услугой, учителями. Все у него было добро и без никаких катавасий.

Вернулся он прежним, если не считать того, что он приохотился к табаку и кодеину. Правда, на свободе он бросил курить папиросы и глотать таблетки, вызывающие в мозгу дурман. Поступил в ремесленное училище и был выпущен оттуда формовщиком. Своей работой Вася кичился. Выходило, что на металлургическом заводе нет сложней и лучше его специальности.

Мать Колдунова работала сторожихой вагонного цеха. Когда она шла на дежурство, Толька Колдунов и я частенько увязывались за ней. Рядом находилось паровозное депо. Мы не забывали наведываться и туда. Подносили ремонтникам масленки, ветошь для протирания деталей, учились у слесарей шабровке и нарезке. Я водил Колдунова по цехам проката, на домы и коксовые батареи.

К нам привыкли, стали пропускать в проходные ворота со стороны тринадцатого участка одних, без Матрены. Мы решили воспользоваться этим и сходить к Васе Перерушеву в чугунолитейный цех. Было интересно: на самом ли деле у Васи самолучшая работа, как он ее расписывает?

Старик, который ввел нас в формовочную, заковылял к двери. Мы не могли поверить, что мрачное помещение и есть формовочная. Кинулись вслед за стариком.

— Ребята, вы чё? Формовочную спросили, формовочную и показал.

Мы двинулись, осторожно ступая, в сумрачную глубину помещения.

Васю мы заметили в углу. Он стоял на коленях, захватывая пригоршнями, как ковшом, битумно-черную массу и обкладывая ею деревянную зубчатую модель.

— О, пацаны! — сказал он, оглянувшись. — Подходите поближе. Садитесь на корточки. Будем разговаривать. Отрываться нельзя. Подходите и садитесь.

Мы продолжали стоять за его спиной.

— Опешили? Думаете, раз я хвалил, так у нас здесь тепло, светло и мухи не кусают? А ну, пацаны, присыпайте модель. Я буду гладилкой орудовать. На лету кумекайте, безо всяких катавасий. Да, и мы не лыком шиты. Тоже на фронт работаем.

Мы споро поддевали формовочную смесь, пахнущую пеком, кидали ее на модель, над которой мелькала гладилка. Увлёклись. Весело сопели.

Колдунов сказал:

— Когда я был в пионерлагере в Великопетровке, мы в песочек играли.

Вася рассмеялся:

— От той-то игры руки-ноги не скручивает.

— Я и не сравниваю. Я вспомнил. Сам расхваливал специальность, и сам же ревматизма боишься.

— Что бы ты, Колдун, понимал.

Только вскочил, отряхнулся.

— Я — Колдун, ты — Деньги Сцу. — И вышел из формовочной.

Я остался с Васей и работал в формовочной до конца смены. Потом поехали купаться.

Пристань была пустыня. Катера, давно не получавшие горючего, дремотно уткнулись в береговой песок.

Вася сел голяком на корму парома, я сиганул в пруд. Поплавал, покувыркался. Взобрался по якорной цепи. Сначала я не понял, почему вдруг мучительно исказилась физиономия Васи, но когда взглянул на его ноги, то ужаснулся: их свела судорога, большие пальцы напряженно загнулись вниз, остальные настолько растопырились, что казалось, вот-вот разорвутся перепонки между ними. Терпеливый Вася морщился, растирая покореженные ступни. Я отговаривал его купаться, но он не послушал, и, как только нырнул, ему сразу скрутило снова ноги. На корму он поднялся на руках по якорной цепи. Я колотл Васины ноги булавкой, щипал их, молотил по ним ребрами ладоней.

Осенью Васю отвезли в больницу: ноги совсем отказали. Я уже занимался в ремесленном училище и поэтому лишь изредка навещал Васю. Однажды он укорил меня:

— Обещал пойти на формовщика — пошел на газовщика.

В октябре он выписался из больницы, но ходил с костылем.

Обычно по-волоськи невозмутимый, он стал раздражительным. Как-то за пустяк (я неплотно прикрыл за собой дверь) огрел меня по спине. Я стерпел — знал: Васька свирепствует из-за того, что врачи велют ему переменить специальность.

Вскоре он забрался в комнату, где жили две поварихи. Поговаривали, что тумбочки у них заставлены банками с маслом, салом и сахаром, а сундуки набиты барахлом. Они ушли работать в ночь. Вася отомкнул ключом дверь, зажег свет, открыл одну из тумбочек (она действительно была полна лакомств), и тут его застал сосед поварих, слышавший, как кто-то с приступком прошел по комнате.

Суд приговорил Васю к году исправительно-трудовых работ. До января он лечился в тюремной больнице.

Как-то в синих сумерках я бежал на завтрак в столовую и увидел на шоссе небольшую колонну разношерстно одетых людей. Стоя в кюветном сугробе, я спросил шагавших поблизости:

— Перерушев Василий здесь?

— Не знаем.

Васю я увидел сам в конце колонны. Может, и Вася углядел, что я его заметил, а может, побоялся, что я сделаю вид, будто не узнал его, и у него вырвалось, как зов на помощь, мое имя:

— Сергей! Сережа! Сергуха!

— Я, Вась. Здорово!

— Сергуха, пусть мама валенки принесет. Дядю Федю глухого пусть попросит подшить и принесет.

— Ладно, Вась.

— Брюки бы ватные еще. Нет, не на что ей купить. Брюки не нужно. Как-нибудь протяну. Сережа, ноги у меня зажили. Врачиха попа-

лась толковая. Всюду люди встречаются. Сережа, приходи к вахте, если время будет.

— Приду.

— Покуда, друг.

Я попросился с ним, но тут же побежал вослед, проваливаясь в сугробы, ничего не говоря, а лишь глядя на Васю, с которым поравнялся. У меня было такое чувство, что больше мы никогда не встретимся.

Вечером я зашел к Перерушевым. Мы жили дверь в дверь. Полина Сидоровна стирала. Зинка, Ваня и Алеха сидели на койке, прикрывшись серым солдатским одеялом и привалясь к стене, беленной прямо по доскам и выпученной осевшим потолком. Дети были русые, стриженные, жестковолосые. Носы у них лупились и розовели там, где слезла кожа. Все они учились. Зина — в пятом классе, Ваня — в третьем, Алеха — в первом. Меньшой легонько разводил руки, указательные пальцы которых были обхвачены петлями из черных ниток. Нитки были продеты сквозь дырочки довоенной модной дамской пуговицы. Вращаясь, пуговица жужжала, фыркала, мурлыкала. Она походила на колесико с медным ободком. И Зина и Ваня клянчили у брата пуговицу, но он даже ухом не повел. Сладко жмурясь, Алеха слушал звучание пуговицы.

Я остановился у порога. На мои ботинки и на пол передо мной плюхались пенные ошметки, вылетающие из корыта.

Полина Сидоровна перестала выкручивать платице Зины.

— Чего скажешь?

— Васю видел.

— Еще что?

— Привет вам прислал.

Полина Сидоровна хлопнула на стиральную доску платице, зло повернулась к дочери:

— Бесстыжая! Накинься! Как при родной матери сидит.

Зина закрылась одеялом по шею.

— Выставилась.

Она шоркнула платицем по гофрированному, со стершейся оцинковкой железу стиральной доски и набросилась на меня:

— Видишь — стирка, не заходи! А зашел — не пяль zenки!

— Ладно. После зайду.

— Будешь шляться туда-сюда, комнату высуживать. Говори, где видал. На костылях?

— Поправился.

— Лечат еще! Я б головы таким отрубала да на помойку выбрасывала. Небось передачу просил?

— Нет.

— Врешь. Не будет ему передачи. Не хотел трудиться, не хотел жить по-людски — пускай теперь... Ну что я ему понесу? Откуда возьму?

— Он не просил.

— Кому другому заливай. Все вы одного поля ягоды: пока при матери — слова ласкового не молвите, а пришлось туго — сразу: «Мамочка, родименькая, соскучился по тебе. Принеси картошечки и сухариков».

— Он только валенки просил. Валенки, сказал, пусть дядя Федя глухой подошьет.

— И валенок ему не будет. Алеха! Пожужжал пуговицей — Ване дай. Зинка, веревки захотела? Ожгу — навек запомнишь.

Алеха нехотя отдал Ване пуговицу. Зина опять подняла одеяло до подбородка.

— Ты, Сережа, хитренький... — вдруг сказала Полина Сидоровна.

— Чего это?

— Хи-и-итренький! Не меньше Васьки шпанил и еще не судился. В горотделе, поди-ка, не бывал?

— Нет.

— Мой Василий вор, а ты — не вор?

— Тетя Поля, зачем вы так?

— Из-за товарищей он попал. Из-за тебя, может. Украдет, угощает вас. Простодырый, рад стараться. Вы в тени, в закулочке, он сам обде- лывает. Лис ты. Нет тебе другого прозванья.

Я стоял, подергивая дверную скобу. Подбородок уткнул в ключицу. И совестно, и обидно было, и понимал я: какой спрос с Васиной матери? Едва переехали Перерушевы в Железнодорожск (моя мама их перетащи- ла), Савелий Никодимович, кормилец, погиб. С грамотностью Полины Сидоровны (три класса, четыре коридора) да при ее здоровье еле-эле удалось определиться в кипятилку топить титаны. Девтора помогала дробить глыбы антрацита, колоть дрова, щепать щепу для разжига. Посиживала у оконца, отпуская по трубе горячую воду. Платили за кипяток талонами и мелочью — за гривенник целое ведро.

Тянули кое-как на хлебе-картошке. С одеждой было хуже, с обувью и в Ершовке бедовали, а здесь совсем подбились, но зимою они были с валенками по милости глухого дяди Федя — старшего брата Полины Сидоровны, оглохшего в солдатах на империалистической войне. Дядя Федя, старый холостяк, получал пенсию по инвалидности, поддерживался чеботарной работой. Он редко брался за мелкий ремонт. Поставить ко- сячки, сделать набойки на дамский каблук, наложить заплатки на пере- да — не терпел он этого. Обсоюзить сапоги, сменить подошву, полностью подшить валенки, отделать хромом задники чесанок, чтоб от калош не протерлись, — за это он брался охотно.

Валенки он умудрялся выгадать племянникам (правда, всегда под- шивные), да козловые ботинки сестре, да ее старшему сыну Дементию сапоги, тоже из ношенных-переношенных, но тщательно обихоженных им. Для грязи, если удавалось достать у кого-нибудь из шоферов камеру от пятитонки, дядя Федя клеил на валенки племяшей морковного цвета гладкие глубокие калоши.

Дементий, окончив девятилетку, подался в вальцовщики на мелко- сортный прокатный стан. Жалованьем Дементия, не ученическим, а ра- бочим, не пришлось долго попользоваться: призвали парня в армию. Накануне войны приезжал в отпуск. Высокий. Командирская форма с иголки. Война застала Дементия под Белостоком. С той поры ни од- ного письма. На запрос Полины Сидоровны Москва ответила: пропал без вести. Полина Сидоровна считала, что он убит, но, несмотря на эту свою уверенность, с полочки ходила на базар, и рябой слепец ворожил ей по книге, скользя пальцами по точечным страницам, и всякий раз предска- зывал, что Дементий забран фашистами, что на его долю падут лютые страдания, однако он все стерпит и возвратится на родину...

— Значит, отнесете, тетя Поля, пимы дяде Феде глухому?

— Не твоя забота. Сгинь отсюда. И чтоб никогда больше не захо- дил. Васька что передаст, подоткни записочку под дверь.

Я не утерпел:

— Зайду, так не к вам...

Она залепила мне в лицо платицем, только что намазанным жид- ким, синюшного цвета мылом. У себя в комнате, смывая клейкое и ед- кое вонючее мыло, я клялся отомстить Полине Сидоровне, начал даже придумывать, чем бы ей досадить, но осекся: становлюсь похожим на Колдунова. Что сердиться на Полину Сидоровну, если даже ее камен-

ное терпение иссякло... В праздники и то ее семья уминала бы по-обычному хлеб и картошку, кабы не радетельные барачные женщины, которые под предлогом: «На-ка вот, Сидоровна, отведай», тащили Перерушевым крендели, ватрушки, шаньги, пирожки с луком и яичками, куски пирогов со щучиной и солеными рублеными груздями, с толченой черемухой, половинки курников, морковников и капустников — в общем, угощали Перерушевых, чем сами к празднику разжились. На демонстрацию Перерушевы ходили без флажков и шаров, в чистой, прокатанной рубелем одежде.

Через несколько дней к нам заглянула, виновато потупясь, Полина Сидоровна:

— Простил бы ты меня, дуру.

Я ответил, что нет у меня на нее зла. Она вскинула свинцово-серые веки, робко улыбнулась.

Я показал ей ватные брюки, которые купил для Васи. Она было повеселела, но тут же нахмурилась:

— На какие деньги?

— Бутсы продал.

— Тогда другое дело.

Субботним вечером я отнес Васе вместе с брюками, буханкой хлеба, литровой чернотеклой бутылкой молока и валенки, крепко подшитые глухим дядей Федей.

Когда Вася принимал все это, от радости он ни слова не промолвил, только напоследок потряс кулаком — дескать, молодец, Сережа!

От меня до Васи был промежуток в три мужских шага, но, уходя, я чувствовал, будто между нами не меньшее пространство, чем между землей и облаками.

Не прошла и декада — Вася прислал письмо. В годы войны декада была основной мерой времени, потому что хлебные карточки, полученные на месяц, разрезались на три части. Делалось это на случай потери: повторно карточки выдавались лишь в исключительных случаях. И магазины давали хлеб только на талоны текущей декады.

Обычно Вася писал лишь матери, а тут вдруг изменил своему правилу. Раскрывая бумажный треугольничек, на котором красовался красный овалный цензорский штамп, я встревожился. Я не допускал, что Вася будет благодарить меня за передачу; мы, барачные, считали неприличным распинаться перед кем-то, если он сделал тебе добро. Я почти был уверен: у Васи случилась какая-то большая неприятность. Так и оказалось. У него украли ватные штаны и валенки. Для самоутешения и чтоб не очень огорчить меня, он нацарапал шутивную фразу: «Позапозавчера я дрыхнул под утро как пьянчужка, и к моим валенкам и ватыным штанам — не штаны, а печь! — кто-то приделал ноги».

Читая это, я обозлился и назвал его про себя «проклятым растяпой». Но потом впал в панику. Ну, все! Капут Васиным ногам!

Надо спасти Васю. Но где добыть денег? Продать футбольный мяч, гетры, щитки, хоккейную клюшку. Понемногу ребята должны дать.

Зашел к Косте Кукурузину. Мялся, ожидая, не выйдет ли куда Нюра Брусникина, переселившаяся к нему. Шепотом рассказал о Васиной беде.

Нюра стряпала картофляники, Костя, лежа на кровати, читал газету. Хлопковое масло, на когором Нюра пекла голопузиков, взрывалось на сковороде. Я надеялся, что пыханье и треск масла помешают ей разобрать, о чем я говорю, и все-таки она подслушала. Едва я умолк, жестко сказала:

— Ничего не можем дать. Да и с какой стати будем поддерживать вора? Освободится — нас же и обокрадет.

Она принялась переворачивать картофляники. Костя незаметно вынул из своих офицерских брюк сложенную ввосемьмо зелененькую полусотку, затолкал под мой широкий форменный ремень.

Я потопал к двери. Нюра задержала меня своей грудью.

— Ну-ка, что у тебя в кулаках?

Я сжал кулаки.

— Ничего.

— Разожми.

— Не хочу.

— Отдай деньги.

— Какие?

Схватила меня за руку, начала разжимать кулак. Пыхтела, лицо покрывалось пунцовыми пятнами злости.

В последние годы я перерос ее на голову. Отчаявшись открыть кулак, вонзила ногти в большой палец. Я терпел. И когда она отступилась, разжал кулак и стянул с большого пальца кровь.

— Довольна?

Я разжал другой кулак.

— Погоди.

Проверила карманы гимнастерки, без стеснения полезла в карманы брюк. Я отпрянул. Ударом спины распахнул дверь и выскочил в коридор.

У Колдунова денег не было, но прежде, чем об этом сказать, он нудно начал припоминать, чем Васька когда-то не угодил ему, в чем провинился перед ним. Он ждал, что я вступлю с ним в ссору, и не дождался. Я ушел.

Пройдя по бараку, я насобирав, не считая Костиной полусотки, около восьмидесяти рублей.

Глава двадцать вторая

Единственным человеком, на помощь которого я теперь надеялся, был Тимур Шумихин. У него всегда водились деньги. Осенью Тимур исполнилось семнадцать лет, однако он нигде не работал и не учился. Он был картежником, орлянщиком, лотошником, шашечником, бильярдистом. Играл только на деньги. Те, кто знал Тимура на вылет, никогда не садились катать с ним в очко. Сядешь — мигом облу-п и т. Пальцы у него на редкость чувствительные, прямо как у слепого с детства. Карты он крапил — накальвал иглой — и, банкуя, сдавал их с закрытыми глазами. Простаки верили, будто он играет исключительно честно — даже на карту не взглянет. На самом же деле при смеженных веках ему было легче нащупывать не ощутимые для других крапинки на глади карт, чтобы устроить своему противнику перебор или недобор, а себе набрать сколько нужно очков.

В орлянку брались с Тимуром играть лишь пройдохи вроде него самого или вертопрахи, наивно верящие в удачу, да еще парни и мужчины, не подозревающие, что он частенько мечет двухорловой монетой.

Из Тимура получился бы прекрасный слесарь-лекальщик, а может быть, и ювелир. Глухой дядя Федя, не пускавший на ветер слов, как-то сказал ему: «Бог дал тебе талант, а совестью обделил. Ты бы мог стать мастером на всю матушку Россию. Блоху бы мог подковать, как тульский!» Тимур хмыкнул: «Нам это ни к чему». Многотерпельник дядя Федя, ничего не слышавший, хоть ори, прочитал по губам ответ, и из его смиренных глаз вышибло слезу.

У Тимура были всякие тиски, напильники, брусочки, пинцеты, наждачные шкурки, шлифовальные пасты, бархотки. Он стачивал с одинаковых монет решки и так полировал чистые плоскости, что они, приложенные друг к дружке, плотно слипались. Чтобы они не распадались при ударе о камень, он соединял их столярным клеем. Прежде чем превратить двухорловую монету в метку, Тимур долго держал ее между никелевых пластин, прижатых гирей. Такой двухорловый никогда не разбивался и издавал звон, неотличимый от звука обыкновенной монеты.

Хитро играл Тимур. Заметит или догадается, что ставка, которую предлагает партнер, крупна, — метнет двухорловым. Перед тем как запустить вверх беспроигрышную метку, задурит голову своему сопернику: побросает простой гривенник низко над землей, словно приноравливаясь к такой скорости вращения, при которой монета падает гербом к небу. Гривенник падает то орлом, то решкой. Цель достигнута: Тимур усыпил бдительность. «Кручу!» — решительно, не без артистической дрожи в голосе объявляет он и, в мгновение ока выпустив из-под мизинца и безымянного пальца двухорловый и спрятав под них «казанный» гривенник, зашвырнет метку выше столба с трансформатором, а потом получит выигрыш от победившего партнера.

Случалось, что Тимура, поднявшего свою бесценную метку, хватал за руку кто-нибудь из проигравшихся орлянщиков и вскрикивал:

— Ну-ка, погляжу!

— Па-а-жалуста.

Негодую, Тимур выбрасывал на землю гривенник, и когда все кидались проверять монету, засовывал в пистончик двухорловый. Потом выворачивал карманы, набитые серебром и медью, и орал:

— Не веришь, подлюга! Ищи фальшивую метку. Чего не ищешь? Ищи, не то в лоб закатаю!

Все пристыженно смотрели на желтую и белую мелочь, рассыпанную по траве, и уговаривали Тимура не горячиться. Тот, кто усомнился в его честности, бормотал, оправдываясь:

— Я просто так...

Чтобы никто из присутствующих больше не дерзнул его проверять, Тимур все напирал:

— У кого есть писка! Дайте писку. Глаза подлюге вырежу. Писку!

Бритвенного лезвия, конечно, ни у кого не оказывалось. Скопом увещевали, успокаивали, собирали с травы и сыпали в карманы Тимура серебро с медью. Он унимался, и орлянка продолжалась.

В лото Тимур Шумихин играл еще артистичней. Самые заядлые лотошники брали только по шесть карт. Попробуй успеи проверить, есть ли на твоих картах номер, названный тем, кто кричит, а если есть — успеи его закрыть фишкой. денежкой или просто камушком. Трудно следить за шестью картами, особенно когда деревянные бочонки достаются из мешочка горстью, а цифры, вытиснутые на их донцах, провозглашаются чуть ли не в секунду раз.

Тимур берет десять, а то и двенадцать карт. Закрывает номера картонными пыжами. Руки его мелькают, как у жонглера. И следить он успевает, и закрывать, и курить, и шутки «отливать». Острозыкий, черт!

А как он кричит, то есть выкликает, номера — зычно, радостно, торжественно, сыплет прибаутками, насмехаясь над тем, кому номера не идут, и над тем, кто надеется услышать заветную цифру, чтобы забрать котел — все деньги, находящиеся в банке.

Чаще других закрывает номера сам Тимур. Его «зрячие» пальцы стремительно шныряют среди гремучих бочонков и выхватывают тот,

на котором нужный номер: уж если он улавливает на картах крап, то определить на ощупь резные цифры для него пустяк. К тому же он ловок косить глаз в мешок: молниеносно скользнет туда взглядом, приметит бочонок, требующийся для завершения кона, и тотчас выхватит.

Когда в котле изрядная сумма (на кон взнос за карту от рубля до червонца), Тимур выигрывает и а н и з — выкликнет все пять нижних номеров какой-то из своих карт. Мало в котле денег — он окончит и а в е р х: ему, значит, не платить за карты, всем остальным надо раскошелиться. На серединку он берет редко: взять полкотла — не ахти какое удовольствие.

Деньги Тимур засовывал под рубаху и к концу игры пузырился со всех сторон, как надутый.

В шашки и на бильярде с ним тоже хоть не играй: обставит, высадит. И карты, и лото, и шашки, и бильярд настольный, чугунные шары — все игры были у него свои и безотказно служили для поживы.

Мать Тимура, Татьяна Феофановна, как и Полина Сидоровна Перушева, зарабатывала не много, хотя с начала войны обе освоили лучше оплачиваемые специальности: Татьяна Феофановна стала токарем-операционником, а Полина Сидоровна — сверловщицей. Основным кормильцем в семье Шумихиных был, конечно, Тимур. Кроме матери, у него были еще две сестры.

Именно про Тимура я и вспомнил, собирая деньги на покупку валенок и ватных брюк для Васи.

Комната Шумихиных по-обычному была заперта изнутри. Чтобы открыли, полагалось пнуть в порог и поскрести ногтями по толю — им поверх старого стеганого одеяла обита дверь. Пароль паролем, но Тимур отворил, предварительно спрятав карты и разогнав бумажным китайским веером махорочный дым.

Когда входил с мороза в прокуренное помещение, диву даешься, как могут жить люди в таком ядовитом воздухе, а через минуту уже и сам дышишь им, не замечая никотинового настоя.

Войдя к Шумихиным, я с недоумением взглянул на Тимуровых сестер, спокойно сидевших на кровати. Дыму — хоть топор вешай. Старшая, Соня, прядла, веретено весело шуршало, вытеребливая прозрачно-серые нежные волоконца из пучка, привязанного к кровати спинке. Младшая, Дашутка, чесала козий пух широким деревянным гребнем, и зубья гребня звонко тренькали.

Поразило меня, что у Татьяны Феофановны хватало терпенья спать в комнате, где немилосердно кадили самосадам. Сегодня, как всегда, Татьяна Феофановна спала, накрывшись тулупом и засунув голову под плоскую подушку.

За столом, привалясь к стене, сидела незнакомая мне женщина. В ее лице, красивом и худощавом, поразила меня мужская твердость выражения. Она с досадой покрутила головой: не хотелось ей прерывать игру.

— Кагать? — спросил меня Тимур.

— Нет.

— Да, ты ведь бросил, — насмешливо вспомнил он.

— Важное дело.

— А...

Тимур сказал, что на минутку выйдет со мной. Незнакомка велела ему оставить деньги. Он ухмыльнулся, вытащил из-за голенища толстую пачку сотенных, из карманов по красному бруску тридцаток и сунул их под тулуп спящей матери.

В коридоре Тимур, ухмыляясь, кивнул в сторону комнаты:

— Выдает себя за воровку. Хвасталась, монтажи держала¹ в челябинской тюрьме. А по-моему, аферистка. Ну, а ты зачем пришел?

Я рассказал.

— Сейчас ни копыя не дам. Высажу аферистку — тогда па-а-жалуста. Я сам заскочу. Молись богу. Игра — лучше некуда! Выиграю — капиталист. Пельмени устрою. Буряковки тяпнем. Кроме перстня, у нее золотые серьги. На одежду играть не буду. На полудошку разве что. Полудошка беленькая. Я узнавал из чего. Песец, говорит. Соне полудошка будет личить. Белое личит черненьким. На полудошку сыграну. Ну, пан или пропал.

Он глубоко вобрал в грудь морозный воздух и скрылся в комнате, синей от самосадного дыма.

Дома я вдруг опять вспомнил о воровке, и почему-то мне захотелось, чтобы она обыграла Тимура: пусть хоть раз почувствует, что переживают партнеры, которых он обдирает. Васе я как-нибудь и без него насобираю на брюки и валенки.

Жители землянок брали воду из колонки близ нашего барака. На дорожку, по которой они мерно поднимались в гору, плескалось из ведер, хоть в них и плавали фанерные кружки: скользко, укатано. Я взошел до землянок, быстро покатился по склону.

Еще издали увидел Соню Шумихину, окликнул ее, но она не оставилась. За уборной я свернул в снег и упал чуть ли не под ноги Соне и лишь тогда увидел, что девушка, которую я принял за Соню, совсем непохожа на нее. Гордо повернувшись, на меня смотрела воровка с мужской злостью во взгляде.

— Человека можешь сбить, — строго произнесла она.

Пальто на воровке было Сонино: проиграла Тимуру песцовую полудошку, вот и получила на смену кудраное пальто его сестры.

Где она живет? Куда идет ночевать? Может, нет у нее присганица в городе? И, может, никакая она не воровка, а просто кассирша и проиграла казенные деньги?

Я и сейчас не стыжусь вспоминать свои тогдашние мысли. Кто знает, кем она была, эта молодая женщина. Мне хотелось верить, что она не такая, как говорил о ней Тимур, что она честная труженица, сбившаяся с пути. В каждом незнакомом человеке я предполагал не худшее, а лучшее. Почти у всех нас, барачных детей, было это спасительное свойство.

С барачного крыльца прыгнул Тимур и заорал:

— Наша взяла, Серега!

Во мне гудела ненависть к торжествующему Тимуру, и я не подошел к нему. Скользя по наледи подошвами своих хромовых сапог, собранных в голенищах гармошкой, Тимур сам пришел к водоколонке.

— Серега, я посадил авантюристку.

— Догадался.

— Высадил, а она: «Играю на себя». Я послал ее к бабушке в рай.

— Врешь ты! С таким губошлепом она под топором не согласится играть на себя.

— Ты что глотничаешь?

— А не лги! И так есть чем хвастать.

— Верно, я подзалил. Это я сказал: «Теперь сыграем на тебя». Она мне кулак под нос: «Не нюхал? Понюхаешь!» На, держи, Серега, остальные матушка забрала. Корову будем покупать.

¹ Держать монтажи — верховодить среди заключенных (арго).

Я подставил карман, и Тимур засунул туда кулак с деньгами. Я тут же развернул комочки спрессованных денег; оказалось всего-навсего сто двадцать семь рублей.

— Расщедрился. Отвалил.

Его ликующая физиономия потускнела:

— Я не виноват. Мама на корову забрала.

— Ты из нее вицы выешь, из своей мамы. «Забрала». Жадность раньше тебя родилась.

— Если хочешь знать, мать забрала у меня деньги. На курицу только оставила. Ради Васьки потерплю без курицы. Пойдешь с нами корову покупать? В базарный день. Ведерницу возьмем. Молоко будем дуть — от пуза.

— Кто будет дуть, кто слюнки глотать.

— Приведем ведерницу и, даю голову наотрез, обмоем буряковкой. На закуску пельмени закатаем. Из трех мяс. Из баранины. Из говядины. Из свинины.

Давно мне опротивели его посулы, произносимые таким искренним тоном, что невольно веришь, хоть и знаешь — врет.

Он причмокнул губищами (губастыми в бараке были он и Колдунов) и протянул червонец.

— На, а то еще ляпнешь Ваське: «Тимур жмотом стал».

— Вася сам знает.

Я оттолкнул Тимурову руку с червонцем, выхватил из кармана жалкие сто двадцать семь рублей, смял их, швырнул в лунку, где взморщивалась вода, подергиваясь струнами льда.

Чтобы он не подумал, будто боюсь его, пошел шагом.

— Мы люди без спеси. Поднимем. Купим табачку, — незлобиво бормотал Тимур у водоколонки.

Входя в барак, я уже прикинул, что сделаю, чтобы отомстить Тимур и спасти Васю Перерушева. Я стал продавать каждый день то свою обеденную горбушку, то ужинную и тратил хлебные деньги на покупку ученических перьев. Перышко стоило не меньше трех рублей. По нынешним временам это баснословная цена, а тогда — привычная. За перо «пионер» без шишечки платили трешницу, с шишечкой — пятерку, за маленький «союз» (он всегда с шишечкой) — тоже пятерку, за большой — червонец, за перо для авторучки, не торгуясь, давали четвертную.

Хотя коробка — поначалу я складывал перья туда — была довольно вместительная, из-под розовоголовых спичек, все же для игры с Тимуром перьев было еще слишком мало.

Целую неделю я съедал ежедневно только по двести граммов хлеба, пятьсот шло на продажу. Перья прибывали в жестянке. Мне доставляло удовольствие встряхивать их, слушать, как они шелестят и громяют.

Деньги, пожертвованные ребятами на покупку валенок и брюк для Васи, я не трогал: з а к о н!

Напоследок я решил прикупить крошечных чертежных перышек у запасливой Матрены Колдуновой, она пообещала взять с меня милостиво — по два рубля за перо.

Глава двадцать третья

Мастер отдал старосте талоны на ужин и ушел домой.

Ужинали мы первыми. Захватили стол напротив раздатки, откуда горько, но соблазнительно пахло хлопковым маслом.

Я боялся опоздать на базар, поэтому мгновенно выхлебал из же-

лезной луженой тарелки вермишелевый суп, и съел из глиняного черепка картошку. Засовывая за пазуху пайку, выбежал на крыльцо столовой. Чуть не столкнулся лоб в лоб с Костей Кукурузиным.

— Куда торопишься, Серега?

— На базар. Пайку продавать.

— И мне надо на базар. Подождешь?

— Загнать не успею, Константин Владимирович.

— Тогда дуй. Между прочим, перестань навеличивать.

Рынок разбросан был от самой подошвы до вершины крупного шишковатого холма. Я должен был продраться сквозь барахолку к макушке холма, окруженной парикмахерскими, мастерскими часовщиков, сапожников, жестянщиков, лавками утильщиков.

— Ка-ан-чай ба-а-зар! — кричал старшина милиции Вахитов. Кричал он протяжно, как мулла с минарета. Он будто бы и не замечал людей, гомонивших вокруг и опасливо-почтительно расступавшихся перед ним; между тем в его, казалось бы, незрячих глазах оставались, как рыбы в мелкочейистой сети, все, в ком он угадывал по одежде, жестам, мимике воров, барыг, шпану, шаромыжников. Он прямо-таки протраливал преступный мир. Его пытались отправить к аллаху — стреляли, резали, топтали. Его живучесть приводила в панику жулье, потрясала хирургов. Летом ему всадили в живот медвежью пулю. Весь город говорил: «Теперь уж Вахитову каюк», — однако поздней осенью он опять появился на базаре, кряжистый, прямой, как раньше, и ходил по земле на своих наезднически-кривых ногах легко и прочно.

Толкучка еще густо роилась, но ее постоянные обитатели — прописанные на рынке, как говорили о них, — поторапливались, чтобы не раздражать вездесущего Вахитова.

Однорукий и припадочный художник-кустарь Семерля скатывал на колене холсты, на которых глянцевели жаркие кони, прищпориваемые стройными всадниками, или краснощекие, в цветастых сарафанах бабы.

Широклобый мужчина по фамилии Кыргызы, называвший себя электротехником и хваставшийся своей редкой национальностью, которая даже в учебнике не упоминается (он был гагауз), складывал железные ножки штатива, на котором кубастился затянутый в черный чехол деревянный ящик с индуктором. Целыми днями гагауз Кыргызы торчал возле этой машинки, приглашая продающий и покупающий люд погреться электричеством.

— Эй, иди к динамо. Не пойдешь — воспаление легких. Крутну динамо — костер в тебе разожгу. От водки такой костер не горит. Иди! Три рубля — и как волчью доху набросишь.

Подойдешь, сунешь веселому гагаузу трешницу, он вложит в твои кулаки точеные никелевые стержни — и давай вращать ручку, торчащую из стенки ящика. Сначала чудится, будто ладони легонько покусывают муравьи, потом — будто в них горячие иглы врываються, после — будто ты сжимаешь угли, выхваченные из костра. С того мгновенья, как ты стиснул в кулаках никелевые наконечники, все твое промерзшее тело пронизывается толчками, воспаляющими кровь. Через несколько секунд жарко до боли, в голове туман хмельному сродни. Неверными ногами уходишь от машинки Кыргызы, и долго саднит в ладонях, и не чувствуешь холода.

Голубоглазый слепец Степан Степанович, по-базарному Пан Паныч, торопливо засовывал в сумку из мешковины затрепанную толстую книгу. По этой книге он гадал, вода пальцами по страницам. Бабы, ворожившие у Пан Паныча, утверждали, что он всегда говорит полную правду.

Распадалось гройное полукольцо торговцев, продававших разложенные на снегу обувные колодки, шарниры, диски изоляционной ленты, сапожные голенища, книги, умывальники, дрели со сверлами, деревянные гвозди, заячья шкурки.

Сутулый старик, увязывавший жестяные изделия, огрел меня самоварной трубой: шныряют тут, шпанята. Должно быть, за целый день не нашлось покупателей на его ржавый гремучий товар.

Вязальщицы укладывали пышные оренбургские шали, кроличьего пуха косынки, такие ярко-розовые, что глаза ломит, решетчатые гарусные детские шапочки и паутинки — шерстяные платки почти кружевной вязки, окаймленные острыми зубцами.

Ворота отделяли барахолку от продуктового рынка. Сразу за воротами кишмя кишели фуфайки, шинели, стеганые халагы, плюшевые полудошки, тулупы, крытые сатином, линялые башкирские бешметы. Тут был хлебный торг. Круглые, с наплывом верхней корочки буханки, ржаные кирпичики, деревенские караваи, просто ломти, лепешки в черных пузырях, спеченные на не смазанной жиром сковороде.

За ужином мне не удалось схватить горбушку (их лучше покупать), и я, не очень надеясь продать плоский кусочек, даже не стал разворачивать его, лишь высунул из-под борта шинели краешек занозистой бумаги.

Встал у стены парикмахерской, в заветрие. Слева от меня подпрыгивала, постукивая ботинком о ботинок, женщина-маляр. В каждой руке она держала рукавицами по одному скорченному морозом пирожку. Справа высился колокольной понурый узбек-трудоармеец, его халат был взбугрен на груди суточной восьмисотграммовой пайкой хлеба. Когда подходил покупатель, узбек отказывался вытаскивать хлеб из-под халата, а только бубнил: «Сто твацат руп», — боялся, что у него стащат хлеб.

Мой ломтик приглянулся девушке, одетой в фуфайку, ватные штаны и кирзовые, на крупного мужчину, ботинки. Ее одежда была осыпана кирпичной пылью и кое-где ушлепана бетоном. Девушка предлагала меньше, чем я просил, и я отрицательно мотал головой.

— Отдашь за двадцать пять, а, мальчик? — настаивала она.

— Тридцать, — угрюмо твердил я.

Она уходила и вскоре возвращалась.

Я, наверно, сразу продал бы ей хлеб за двадцать пять рублей, но меня рассердило, что она назвала меня мальчиком, к тому же, торгуясь, она так глядела своими черными глазищами, что у меня сердце прыгало. Хоть она и была одета по-мужски, от нее исходил соблазн, и это меня тоже сердило.

Девушка опять подошла:

— Войди в положение, мальчик. Позавчера вытащили хлебные карточки. С тех пор только два картофляника съела. Сегодня выпросила у подружки четвертную... Ты ведь не жадоба. Продай, а?

— Сказала бы сразу!

Она медленно выбиралась из толпы. Не оглядывалась. Но я знал: она заметила, что я двигаюсь за нею. Перед воротами обернулась, вспыхнула и направилась к ограде, шаркая подошвами огромных ботинок. Ее шаги не звали меня, нет — они как бы примагничивали. И я, вопреки робости и стыду, тоже свернул к ограде.

Она спросила.

— Ты в каком ремесленном?

— В первом.

— Я фэзэошница. Летом нас выпустили. Каменщицей работаю. Ты городской?

— Да.

— Я из деревни. Лебедянку слышал? Оттуда. Меня мобилизовали в фэзэо. И лучше. У нас два года подряд были недороды. Звать меня Аля, Алевтина, Алевтина Демкина. Городской, говоришь? Родные есть?

Я стал было говорить о себе, о бабушке, но вспомнил, что забрал у нее последние деньги, засовестился и смолк.

— Ты рассказывай. Я люблю, когда рассказывают.

В эту минуту я почувствовал, что эти деньги, лежащие в кармане гимнастерки, дают мне грудь. Вероятно, она не успела удивиться, когда я сунул ей в фуфайку ее деньги, а сам кинулся в толпу и проскочил мимо будочки, в которой сидел налоговый кассир, заставлявший покупать базарный талон каждого, кто ехал или шел торговать.

Идя по дороге вниз, я с досадой думал: как глупо! Надо было поговорить с Алей, позвать к нам. Обогрелась бы, поужинала, мы дали бы ей ведро картошки. До новой у нас своей не хватит, но бабушка, наверно, позволила бы спуститься в подпол, и я бы нагреб Але самой крупной, не белой, а розовой, шершавой, самой рассыпчатой. Вечером мать Тольки Колдунова уходит на дежурство в вагонный цех, я взял бы патефон, и мы могли бы устроить у Колдуновых танцы. Потом бабушка побоялась бы отпустить меня провожать Алю — опасно ходить ночами, — и Аля осталась бы у нас. Я бы уступил ей кровать, сам лег на полу. Из подпола несет ледяным холодом, подстилка ветхая, тонкая. Но я, как раньше, в детстве, выдюжил бы до утра. А может, Аля догадалась бы, что я колею от сквозняков, и позвала бы к себе. Бабушка с головой укрывается ватным одеялом, не услышит и не увидит. Снег выпал неделю назад, завод успел его закоптить, и ночью в комнатах темень. Мы бы обнялись. Аля спит, я — нет. Встанет бабушка будить в училище, а я не на полу, и выгонит Алю. Ведь бабушке не докажешь, что мы ничего плохого себе не позволили. Лучше уж я поднимусь раньше бабушки, подогрею картошку, вскипячу воды и заварю иван-чай. Потом пойдем — Аля на работу, я в ремесленное. Аля станет забегать к нам. Мы будем танцевать у Колдуновых. Аля будет помогать бабушке стирать, гладить, готовить. Бабушка предложит ей стать к нам на квартиру. Она перейдет. Я попрошу у бабушки разрешения жениться на Але. Она разрешит: дедушке ведь шел семнадцатый год, когда он женился на бабушке, и мне почти столько же. Бабушка была старше его. Аля тоже старше меня, не так старше, но старше. Бабушка разрешит, и мы с Алей поженимся. Но между нами не произойдет ничего такого, как у Кости с Нюрой.

За эти полтора километра от базара до шоссе, разделявшего первый и тринадцатый участки, я нафантазировал столько, что ужаснулся, как только пришел в себя: ничего этого не будет! Наверяд ли когда встречу с Алей, а встречусь, так не будет такого, как сегодня, счастливого случая для знакомства.

Я напился из родника трезвяще студеной воды.

Железистый привкус воды держался на зубах. Вспомнилось, как перед войной мы приходили в жаркие дни с цинковыми ведрами на родник и таскали воду на зеленый базар, где изморенная зноем толпа расхватывала ее у нас. Я согласился бы даже никогда больше не встретиться с Алей, лишь бы вернулось для нас счастливое время, которому имя «до войны».

Понурый побрел я домой. Меня догнал Костя.

— Ну, как, герой, загнал пайку?

— И да и нет.

— Загадки загадываешь?

Я ничего не утаил от друга. Он сказал, что мне повезло, потому что «любовь, чем бы она ни закончилась, всегда счастье». Но спросил:

— Не сочинил ли ты, парнище, эту историю? Нет? Так найдем мы ее, Серега, Алю Демкину. Только вот я удивлен твоим непостоянством.

— Наверно, я и вправду легкомысленный. Нравилась мне Валя Соболевская, а я на других девчонок заглядывался. Тебе хорошо...

— Ты знаешь, кому хорошо, а кому плохо? Вот как! Пойми: я завидую тебе.

— Не может быть!

— Еще как может быть.

Глава двадцать четвертая

Через несколько дней Костя Кукурузин объявил, что разыскал Алю Демкину: она живет на пятом участке. Костя предложил: на пятый участок идем вместе, в барак я вхожу один, дежурная вызывает Алю, и я говорю удивленной девушке, что привез из Лебедянки посылку от ее родителей: ведро картошки, кастрюлю капусты и кусочек сала (Костя обещал отрезать от полученного по аттестату). Аля приглашает в комнату, я отказываюсь: «У крыльца ожидает товарищ»,— она просит и товарища зайти. В разговоре, как бы между прочим, Костя заметит, что я—душевный, умный паренек, с большим будущим. Аля влюбится в меня, если не влюбилась на базаре...

Мы выпрыгнули из трамвая на остановке «Заводоуправление». Пересекли шоссе и пошли вверх по мостовой. Несся дым из труб аглофабрики. Его пригнетало ветром, падающим с вершин Железного хребта. Дым никнул к земле. Бараки сверкали стеклами из его прожелти.

В сенях Алиного барака я отдышался, перекинул мешок с плеча на плечо, перешагнул двугорбый—так он был сточен подошвами—порог.

Девушка, мывшая в коридоре пол перед той комнатой, на двери которой крестом лежала тень оконной рамы, резко разогнулась.

— Шлендрают тут! — запальчиво произнесла она, сердясь, что я застал ее в неловкой позе.— Прибрать как следует не дадут.

— Извините.

— Извиняться вы мастера.

— Если вас кто обидел, не все виноваты. Не скажете, где Аля Демкина проживает?

— Черти ее с маслом слопали.

— Хватит злиться. Я ей гостинцы привез.

— От родителей?

— Ага.

— Когда из Лебедянки?

— Сегодня утром.

— Плохо...

— Почему?

— Скрылась в понедельник, должна была попасть домой вчера.

— Как скрылась?

— Просто. Села, наверно, на поезд. Дом у них справный, и без деревни она не может.

Я был оглушен. Во мне никогда еще не сшибалось за какую-то долю минуты столько противоположных, притом безысходных чувств.

Когда девушка накинулась на меня: «Шлендраю! гут...» — я не оскорбился. Я ждал: через мгновение в коридор выйдет Аля. Неприветливость девушки я превращал поэтому в шутку и даже свой вопрос: «Как скрылась?» — задал еще без тревоги. Потом я взглянул ей в глаза и понял, как все это серьезно. Что же делать? Куда Але деться? Может быть, я съезжу к ней и упрошу ее вернуться в город?

Я машинально вошел в комнату. Слышал, что девушка легонько затворила за мною дверь и что в коридоре раздался шлепок — упала мокрая тряпка на пол. Но я совсем не обратил внимания на убранство комнаты, хотя впервые очутился в девичьем общежитии.

Внезапно я так устал, как будто целые сутки тащил тяжелую ношу. Незнакомка усадила меня на табуретку.

— Скорей бы уж она кончилась.

Ее вздох был печальным, как у человека, вдосталь хлебнувшего горя. Люди привычно говорили о войне: «Скорей бы уж она кончилась». Я слышал это множество раз, но еще никогда в этих словах не разверзалась для меня их всеохватная трагическая глубина и великая жажда победы.

— Расстроился?

Девушка шевелилась за ситцевой занавеской, поредевшей от стирки и линьки. Она переодевалась. Было видно, как она натягивала лифчик, надернула рубашку, поверх рубашки надела красное платье.

Я не был ни смущен, ни взволнован тем, что она переодевается, просвечивая сквозь занавеску. Меня защищало от ее наготы гнетущее настроение. К тому же я безотцовщина, на моих глазах мылись и одевались то мать, то бабушка (баня была на другом конце города), я привык к подобным вещам и относился к нагоде со спокойным безразличием.

— Вы с Алей давно знакомы?

Она спросила это еще из угла и вышла из-за ситца, как артистка из-за театрального занавеса. В коридоре, моющая пол в драной кофте и сшитой из ветхого байкового одеяла юбке, она выглядела лет на двадцать пять. Теперь я понял, что она если и старше меня, то всего года на два, на три.

— Я говорю: долго были знакомы?

— Нет.

— А сколь?

— Минут пятнадцать.

Она так рассмеялась, держась за сетку второго коечного этажа, что все железное кроватное сооружение, сварное в местах, где соединялись ножки со спинками, пошатывалось.

— И так переживаешь? А, ты влюбчивый! В Алю наповал влюбляются. Будь я парнем, женилась бы на ней. Погоди, что-то она мне три дня назад говорила. Славенький ремесленник продал ей хлеб, потом отдал деньги и убежал. Не ты?

— Я.

— Вот здорово! Я сама влюбчивая.

— Только про то и рассказала, что убежал?

— Гляди-кось ты! Все ему гайны вынь да положи. Ресницы у тебя и в самом деле длинные — вот бы мне! Алька так и сказала: «Махнул ресницами и кинулся в народ».

— Так и сказала?

— Стой, стой... Ага! В Лебедянке ты не был. Она тебе понравилась. Что потеряла свои карточки, она тебе сказала. Ты и допетрил под видом гостинцев принести кое-что...

— Правильно.

— Меня не проведешь!

Вдруг я вспомнил, что Костя остался на улице, выбежал из барака и увидел, как он, обволакиваемый аглофабричным чадом, уходит по мостовой. Я крикнул. Он оглянулся. Пятясь по обочине шоссе, вскинул сплетенные в единый кулак руки и потряс ими, давая понять, что выполнил свою роль, что уходит, радуясь за меня и желая счастья.

Я чуть было не ринулся догонять друга, но эта девчонка, которую я даже не знал, как зовут, припустила за мной по холоду в одном платье и, тревожась, что я не останусь, приговаривала:

— Идем. Хорошо будет.

От этого обещания я внезапно задохнулся.

— Замерзла.

Она сказала это глухо-глухо, как будто и у нее перехватило дыхание.

Мы побежали.

— Какие же гостинцы ты привез из Лебедянки? — засмеялась она, войдя в комнату.

Я скинул шинель и фуражку и стоял перед девушкой, расправляя репсовую гимнастерку.

— Шпику привез.

— Молодец!

— Бидончик капусты.

— Эх, закатать бы сейчас вареники с капустой да макать в подсолнечное масло. Из Лебедянки подсолнечного масла не передали?

— Неурожай, наверно, был на подсолнух.

— Пожалуй, горевать не будем. Потушим капусту. На свином сале тоже вкусно.

— Еще картошки передали.

— Лучше я картошку поджарю. Славно поужинаем. У меня кое-что припрятано...

Она достала из тумбочки бутылку темной лиловой влаги.

— Недавно отцов брат заезжал, смородиновой оставил. Я за тобой бегала, нахолодала. Чтоб не заболеть, выпью. И ты за компанию.

— Можно, — сказал я.

Прежде чем приняться за картошку, она постояла, запрокинув голову. Должно быть, приятно было спиртовое жжение в груди.

— Не зря ведь я обещала: «Хорошо будет!»

— Да.

— Меня Лелькой зовут.

Я ел бабушкину капусту и смотрел на Лельку. Татарскую тонкую смуглость ее лица накалило румянцем. Она не глядела на меня, но чувствовала — я это знал, — что я смотрю на нее.

Чтобы успокоиться, я подошел к окну, уперся лбом в стекло. Но и в нем не было спасительной остуды.

Позади раздался звук поворачиваемого в замочной скважине ключа. Наверно, возвращается после смены одна из обитательниц комнаты? Я даже обрадовался этому. Ждал, не оборачиваясь.

Но почему тишина?

Я представил себе, что пришедшая и Лелька разговаривают между собой глазами. Та спрашивает, кто я, — эта отвечает. Не утерпел. Оглянулся. Возле Лельки никого не было. В замочной скважине торчал ключ, вставленный изнутри. Кровь забила в висках. И теперь уже не голову, а всего меня охватило зноем.

Я налил в стаканы самогону.

— Леля, давай еще выпьем.

— Нарезу картошку.

— Сейчас хочу.

— Какие вы, мужчины, нетерпеливые.

Я усмехнулся про себя: оказывается, я мужчина! Схватил девушку за руку и потащил к столу.

— Пусти. Нож положу. И руки надо сполоснуть.

— Выпьем.

Она прыснула и закусила губы, сдерживая смех.

— Я думала — ты тюха. А ты не тюха. Ты торопыга. И чего захочешь, того добьешься. Выпьем за Алю.

— Выпьем. Хоть бы ее не разыскали.

Мы сшиблись стаканами, выпили.

Леля кинулась резать картошку на чугунную сковородку. На сковороде уже позванивало вытаявшее сало. Едва картофельный пластик падал в кипящий жир, раздавалось на сковороде громкое щелканье. Лелька вздрагивала, но продолжала резать картошку прямо на раскаленную сковороду. Она орудовала ножом, я кружил меж двухэтажных коек.

Я всегда стеснялся при девушках. Стеснялся своей долговязости, своей дубоватости. Теперь-то я понимаю: просто они были старше меня или чувствовали себя старше — вот как Валя Соболевская... И вдруг я не стесняюсь девушки! Трогаю ладонями то ее волосы, то плечи, не даю ей сполоснуть руки, верчу ее как будто в танце. Лелька просит остановиться, но я беру ее в охапку и кружусь. «Подгорит картошка!» — «К черту картошку».

Лелька прихлопнула сковородку алюминиевой тарелкой. Она сказала, что ей опротивело бояться чужих глаз, ушей и злых языков. Она хотела разлить по стаканам еще самогону, но тут я бросился к ней. Она двинула мне под ноги табуретку, я споткнулся и вдруг разобиделся. Собираясь уходить, потянулся к шинели.

Лелька ударила меня по руке, толкнула к столу.

— Ты сегодня мой. И уйдешь, когда отпущу.

— Что это значит — твой?

— Мой. И никаких разговоров.

В дальнем конце коридора возникли звонко-твердые шаги. Кто-то шел в туфлях на высоком каблуке и остановился возле комнаты. При стуке в дверь я встал. Леля грозно сверкнула на меня глазами — дескать, только посмей открыться! Та, что пришла к двери, была упорна. Стучала то вкрадчиво-тихо, то шептала, что побудет лишь полчаса и уйдет, не станет мешать. Я подумал: если Лелька не пустит подругу — уйду. Но она не открыла подруге, а приластилась ко мне, и я остался.

Около полуночи Лелька велела одеваться. Должны прийти ее товарки, работающие в третью смену. К тому же в трамваях пока что свободно, а через полчаса будет такая костюялка — к подножке не толкнешься.

Я заупрямился: не уйду, и все. Она уговаривала меня, как маленького. Шептала на ухо, что завтра встретимся еще лучше.

Я вышел в темноту. Снежная кора трещала под ботинками; каблуки я не ставил, а как бы врезывал в дорожку.

По пути до трамвайной остановки я ощущал себя и невесомым, как тополиная пушинка, — дунет ветер, подхватит, унесет, — и сильным, как борец Гомозов. Кичился: ведь никому из моих однокашников покамест не случилось испытать того, что испытал я. Но над всем этим, что я ощущал, главенствовало чувство какой-то значительной перемены, про-

исшедшей во мне. Я неожиданно поверил, что с этого дня буду все в жизни понимать глубже, свободней, вернее.

Придя домой, я вмиг уснул. Но во сне меня тревожили черные вязкие волны. Они катились высоко в небо, вздуваясь чернопенными гребнями. И когда погибали надо мной, падая, и я, сжавшись и зажмурив глаза, ждал, они почему-то не обрушивались. Было тягуче страшно. Лучше бы они падали и скорей утопили меня, чем ждать, а потом видеть, как они отступают и обратно прут к твоей отмели, грохоча у дна темными глыбами валунов. Наконец волны отхлынули совсем. Вместо них выстелилась трепещущая ослепительными бликами гладь. Блики тоже тревожили, длинно виляли по воде, вызвали в сердце щемящую тоску. Я барахтался среди бликов, которые взрывались в лицо, и когда отчаялся уплыть, пробудился и прислушался к себе. Снова захотелось уснуть. Пусть набегают волны, тащащие гремучие камни, или пусть виляют и взрываются блики, лишь бы схлынуло это чувство, будто вчера я наделал страшных бед. Но больше я не смог ни заснуть, ни задремать. Куда там! Разве забудешься?

Я калялся, что, войдя в барак, где предполагал найти Алю, забыл и о ней и о Косте и, даже спохватившись, дал ему уйти. Надо было мне сразу же попроситься с Лелей, сказать, что справлюсь насчет Али в другой день, и догнать Костю. Он бы ни за что не допустил, чтобы я остался у незнакомой девушки.

Я проклинал себя, что, оставшись в общежитии, пил самогон. Узнав о бегстве Али, я не ушел, я в этом видел теперь свою подлость. Не потому, что близость с Лелей казалась мне теперь иной (нет, она была для меня такой же, как вчера), а потому, что, оставшись, я совершил низость против Али.

Я робко надеялся, что, наверно, все-таки не навсегда отрезал себе путь к Але: полюбит, так простит. Но я уже верил, что от этого будет страдать она, ни в чем не виноватая, и, конечно, буду страдать я: вчерашняя радость сегодня обернулась горьким раскаянием.

Глава двадцать пятая

Накануне игры с Тимуром, как и в предыдущие вечера, я торчал до полуночи за нашим шатким столом — тренировался. До поступления в ремесленное училище я был завзятым перышником. С кем бы я ни играл в перышки — из школы или с тринадцатого участка, — всегда выходил победителем. Но за время, что я занимаюсь в училище, Тимур Шумихин насобачился играть в перья, и я, чтобы осуществить задуманное, по несколько часов кряду стоя коленями на табурете и навалиясь грудью на столешницу, выбивал перья, возвращая движениям пальцев прежнюю быстроту, точность, неутомимость, проверяя свои давние секреты, как какое перышко легче всего опрокидывать на спинку, затем переворачивать на брюхо. Моей излюбленной битой было «восемьдесят шестое»; его не нужно крепко зажимать меж указательным и средним пальцами, поэтому они не устают, размашисто летают, не дрожат.

В предвоскресный день я почувствовал себя таким же непобедимым перышником, каким был раньше. Я вышибал подряд все перья, которыми наполнилась расписная жестянка.

Перед сном я собрался было намагнитить чертежные перья-малютки. Намагнитенные, они льнут к кончику биты, не переворачиваются, юлой вертятся на спинке. Но, подумав, не стал доставать из сундука двурогий красно-синий магнит: постараюсь честно обыграть Тимура.

У Матрены Колдуновой было правило: никогда не продавать з долг. Держа под фартуком бутылку водки или еще какой-нибудь гайный товар, она, задевая зубы толстым, малоповоротливым языком, повторяла:

— На боцку деньги, на боцку.

В этот раз Матрена изменила своему правилу, узнав, для чего мне чертежные перья. Со словами: «Вдругорядь отдашь» — сыпанула на ладонь чуть ли не половину коробки.

Я сильно сомневался, вправду ли Тимур с матерью надумали купить корову: балаган тесный, холодный, сена нет. Однако утром, выйдя в коридор, сразу поверил в серьезность их намерения. Колдунов сообщил мне, что Шумихины всей семьей подались на базар.

Я истомился, ожидая возвращения Тимура. Сначала появились его сестры. Они тащили чемодан, набитый чем-то увесистым. Соня была в песочной полудожке, на ногах новые фетровые боты. Обычно хмурое, меловой бледности лицо ее теперь улыбалось, теплилось румянцем. И почти незаметно было, что у нее кривая шея (еще малюткой изувечила себе шею о косу-литовку). И хотя я тревожился за Васю и боялся, что проиграю Тимур, мне передалось счастливое настроение Сони и жаль было его портить.

Тимур нес за спиной большой, но, видно, легкий мешок. На Татьяне Феофановне, как и на старшей дочери, были обновы: чесанки с лаково-черными калашами и толстая, клетчатая, с кистями шаль величиной с доброе одеяло.

Татьяна Феофановна лузгала тыквенные семечки. Покачивалась: щедро угостил сынок!

— Колдун, ох и лепеху я отхватил...

— Покажь.

Тимур сбросил с плеча мешок, но залезть туда не успел: вырвала мать.

— Что ты, что ты, сынок?

— Не трусь. Ну, ладно. Идем к нам. Колдун, и ты, Серега, хочешь, дак тоже... Старые счеты из сердца вон.

В комнате он выхватил из мешка бостоновую темно-синюю тройку. Не снимая сапог, надел брюки, осмотрел штанины.

— Как юбки. Клинья не надо вставлять.

Брюки были широки в поясе, и, как языку в колоколе, слишком проторно было туловищу Тимура в пиджаке и жилете, застегнутых на все пуговицы.

— Личит? — спросил он хвастливо.

Мы понимали, что Тимуру нравится костюм и что скажи мы «велик», рассердятся и сам Тимур, и особенно Татьяна Феофановна, с умилением уставившаяся на сына.

— Личит! — ответили мы.

Тимур, прищелкнув пальцами, топнул, ударил ладонью по подошве, запел, похлопывая себя по груди:

Если малый при правилке,
Значит, малый при боках.
Если малый при шкаренках,
Значит, малый в прохарах¹.

Расхотелось мне играть с Тимуром: высажу его — и потонет его радость в перышной неудаче. Но мне вспомнилась «аферистка», одетая в

¹ Правилка — жилет, бока — часы, шкары — брюки, прохара — сапоги (арго).

заношенное Сонино пальто, шулерская безжалостность Тимура — и это решило все.

— В очкаря бы срезаться,— мечтательно сказал Тимур.

Мы не хотели играть в очко. Он погрузился и, когда Татьяна Феофановна попросила его нарубить мяса дляпельменей, вспылел:

— Деньги добудь да еще жратву готовь! Вас три бабы, сами сгосвите. Скучотища! Что будем делать, ребя? Девчонок, что ль, пойдем тискать?

— Бессовестный. Совсем уж спятил,— укорила брата строгая Соня.

— А что делать?

— Сыграем в перья.

— Ты ж поклялся: ни во что...

— Передумал.

— Много ль их у тебя?

— Целый воз.

Я щелкнул сквозь карман по жестянке. Он пощупал жестянку, взвел ее на пальце, прикинул, сколько в ней может быть перьев.

Стол был занят: Татьяна Феофановна рубила в лиственничном корытце говядину. Соня месила гесто. Как-то откровенничая со мной, она сказала, что живет без надежд, а сейчас по тому, как она вскидывала глаза к потолку, легко было понять, что вся она где-то там, в надеждах, в небесах, покамест достижимых только мысленно. Я сам иногда живу в послевоенном мире, который представляется отсюда, из сегодня, как земля после ливня — теплой, жмурающейся озерами, уставленной радугами.

Мы приткнули табуретку к табуретке, встали перед ними на колени. У Тимура было больше перьев, чем у меня,— целая бонбоньерка из-под лимонных долек. Не только я, но даже он волновался: кому из нас выпадет счастье бить первым?

В одном из своих кулаков Толька зажал пуговицу. Выберет Тимур кулак с пуговицей — ему начинать, выберет без пуговицы — мне.

Повезло, как всегда, Тимуру. Есть же счастливики! Я не на шутку испугался. А вдруг да Тимур выбьет сразу все мои перышки? Запросто выбьет!.. Я, случалось, подряд по тысяче перьев выбивал. Ему по тысяче не приходилось, но по столку, сколько у меня сейчас, он выигрывал за кон.

Я поставил маленького «верблюда». Кончиком «союза» — это была его излюбленная бита — он ширкнул по спинке перышка, и оно опрокинулось навзничь. Он чуть-чуть задел тонкую шейку «верблюда», и тот мгновенно оказался в прежнем положении. Я поставил большого «верблюда», его постигла участь маленького. Я знал: если противник приновился выбивать перья одного типа, разнообразь их. Я обычно так и поступал, но сегодня одолело меня упрямство, и я кидал под биту Тимура «верблюда» за «верблюдом», пока не проиграл весь «караван».

Я начал ставить «восемьдесят шестые», перемежая их «пионерами» и «рондо». Кисть Тимуровой руки действовала, как автомат: движение вправо, движение к груди — и перо, которое только что было моим, пришвартовывалось к борту его бонбоньерки.

Колдунов восхищенно чмокал губищами:

— Ч-черт! Вот щелкает!

У меня внутри, где-то там, где, по утверждениям бабушки, находится душа, возник озноб. И хотя спирало дыхание, я не решался кхекнуть: еще обнаружу перед Тимуром ужас, который занимается во мне... Скоро очередь дошла и до «союзов» — больших и маленьких, с шишечками

и без шишечек. Я старался убедить себя в том, что крах еще далек и моя игровая мощь велика.

Я называл маленькие «союзы» крейсерами, большие — линкорами; и вот с каменным видом я наблюдал, как мои «корабли» уплывали к Тимуру.

Теперь я все злей верил в то, что остатки моих «эскадр» будут спасены «торпедными катерами» — крошечными чертежными перьями. Слишком трудно выиграть эти перышки: они переворачиваются лишь тогда, когда прикасаешься к ним кончиком биты, как волоском.

Я пустил к руке Тимура звено «торпедных катеров», а через мгновение торжествовал: он не смог поразить ни одного из них.

Готовлюсь бить. Уголком пиджачной полы протираю «восемьдесят шестое», потом тщательно осматриваю его: не осталась ли где ворсинка. Проклятые ворсинки, они лишают точности удар!

В голове колоколом звучит: «Пирл-Харбор, Пирл-Харбор, Пирл-Харбор». Как ни мало мы могли следить за военными событиями, не имея радио и не читая газеты (только если успевали в столовой), все же о страшном поражении американского военно-морского флота знали, говорили об этом между собой. И вот Пирл-Харбор вспомнился мне.

Нет, явно на стороне Тимура какие-то магические силы: я не выиграл даже «рондо», широкоспинное «рондо», кривоносое «рондо», то самое «рондо», прорезь в котором походит на полумесяц и которое я всегда выбивал во время тренировок!

Три чертежных пера тоже уплыли к Тимуру. Я собрался швырнуть ему жестянку с остатками перьев, решив, что и эти он выбьет запросто, как и те, что я ставил раньше, но четвертое чертежное только вздыбило носик от скользящего прикосновения Тимуровой биты.

Он опять поставил «рондо». Я выиграл и почувствовал в своих пальцах, дубоватых и медлительных, как после сна, проворство и летучую точность.

Тимур еле успевал подкатывать перья под мою биту. Я выбивал и мерцающих белым никелем «верблюдов», и «лягушек», и «восемьдесят шестые», покрытые тусклой бронзой, и плечистые перья от самописок, и чертежных лилипутов, и плакатных великанов — выводы буквы сантиметровой ширины.

Он ставил, я выигрывал. Когда бонбоньерка заметно опустела, я потерял счет выбитым перьям.

Шумихины замерли, встревоженно следя за моей битой.

Татьяна Феофановна перестала тятать мясо, Соня — раскатывать тесто, Дашутка — тереть козий пух.

Колдунов теперь нахваливал меня:

— Р-р-разбойник, гр-р-ромит без лишних р-разговоров!

В конце концов у меня одеревенели пальцы от держания биты, и я не сумел перевернуть со спинки на салазки порыжелое от ржавчины «рондо». Хотя от великих перьевых запасов Тимура осталось всего ничего, я обозлился на себя: второй раз сорвался на самом легком для выигрывания перышке.

Но и Тимур даже не опрокинул большого «верблюда» с шишечкой — едва вскинувшись, этот «верблюд» щелкнулся на табуреточное сиденье, покрытое алой масляной краской.

— Перебиваю, — угрожающе сказал он.

— С кола сорвался?

— Двинул табуретку и еще хлюздит. Да ведь, Толька? Я должен перебить?

— Он не двигал табуретку.

— Чего ты еще! Он подтолкнул. Не видел — заткнись.

Я ссыпал перья в свою форменную фуражку. Они цокали об лаковый козырек и барабанили по натянутому стальным кольцом днищу тульи. Кто-кто, а я-то знаю повадки проигрывающего Тимура. Он испугался, что я уйду, и замолчал.

— Ну, ладно. Но точно: он двинул табуретку.

Я выбил перья, оставшиеся в бонбоньерке. Тимур слазил под кровать, где были спрятаны деньги, купил у меня перьев на пятьсот рублей. Я продолжал бить и отыграл эти перья. И снова ему пришлось раскошелиться.

— Вот видишь, Сергей, какой ты нехороший,— обиженно проговорила Татьяна Феофановна, наблюдая за руками сына, растасовывающего пачку бумажных денег.— Толкнул табуретку и сам же захлюздил.

— Не защищайте, тетя Таня. Вы к нам спиной стояли. Не видели.

— Что ж спиной? Наш Тимур зря не скажет. Честней его в бараке, считай, никого нет.

— Тетя Таня, давайте не будем рассуждать про честность. У нас игра. Вы мешаете.

— По-твоему, я бесчестный? — взъерепенился Тимур.— Отвечай, сучье вымя, куда мордovorот не произвел.

— Честный. Такой честный — дальше некуда.

— То-то. Смотри, чуть что — в лоб зафинтилю.

— Заслужу — ударишь. Ты заслужишь — я зафинтилю.

— Говорун нашелся. На грóши. Точно. Не проверяй.

Я все-таки проверил деньги, потребовал у него тридцатку, на которую он хотел меня нагреть, и опять возвратил проданные перья. Он швырнул на пол оставшуюся у него стопку трешниц, отсчитал положенное количество «рондо», и я начал действовать битой, в душе посмеиваясь над тем, что он возомнил, будто я трудней всего выбиваю «рондо».

Когда его последнее перышко очутилось возле моей жестянки, я поднялся с пола и отряхнул брючные пузыри. Я решил: если у Тимура больше не на что купить перьев, сразу уйду, чтобы успеть на базар.

Тимур тоже встал с коленей. Угрюмо уставился на меня:

— Сколько дашь за правилку?

— Нисколько.

— Охламон, жилеты сейчас в моде у блатных.

— Я не блатной.

— Выиграл — и удираешь. Совесть баранья.

— На барахло играть не буду.

— Дело покажет.

Он нырнул под кровать, вытащил оттуда сапожную лапу. Это была стальная коричневая труба, расплющенная и загнутая на одном конце и врезанная в круглую чурку другим концом.

Я знал, что Тимур любит стращать, но я знал и то, что иногда он становится неудержимо остервенелым. Стараясь скорчить самую жестокую рожу, он шел на меня.

— Будешь играть на тряпки?

Я молчал.

— Ты будешь играть на тряпки. И не в перья, а в очко.

Его рука с сапожной лапой поднималась к потолку.

— Отвечай, не то хвачу по башке.

— Буду.

Тимурово лицо разъехалось от ухмылки. Он повернулся, чтобы водворить на место лапу, и тут я вывернул ее из его руки.

— Ах ты негодяй! — закричала Татьяна Феофановна.— В чужой комнате — и дерешься. Тимур, Соня, Толька, свяжем его, свяжем.

Я сказал растерянному Тимуру:

— Шагнешь — оглошу.

Лапой можно было расколоть череп.

Вслед за мной в коридор вышел Колдунов. Сопя, он возмущался, что Тимур хотел силой заставить играть на одежду. Здесь-то, в коридоре, Колдунов справедлив, а там и не шевельнулся, когда Тимур замахивался на меня сапожной лапой.

Глава двадцать шестая

Весь путь до базара я пробежал, не останавливаясь. Оптом продал перья инвалиду с отрезанными по самый пах ногами. Купил валенки, ватные брюки, круглую буханку хлеба, пирожков с ливером, вареных яиц.

В базарной парикмахерской написал заявление на передачу. Листочек под заявление выпросил у парикмахера Мони. На листочке — он был вырван из книги «Физиотерапия» — сидел упитанный мужчина, принимая ножные ванны. Сначала показалось смешным, что пришлось писать заявление на этой картинке, изображающей ревматика во время лечебной процедуры. Потом я погрустнел: когда-то еще доведется Васе исцелять ноги в таких вот ванночках, к которым подключен гальванический ток.

От базара до лагеря было далеко. Покамест ехал в трамвае, чуть не околел от холода.

С утра среди туч кое-где сквозили голубые проулки. Но день так и не прояснел. Небо залепило мглой. И теперь из этой наволочи вытряхивался мелкий, кварцевой твердости снежок. Падая, он жестко шелестел, песком шуршал по шоссе, и когда ветер швырял им в трамвай, пассажиры заслоняли глаза: едва ли не половина окон в вагоне была выбита, выхлестали в часы пик люди, спешащие на работу. Лишь бы за что-нибудь уцепиться и успеть на смену. Тут не то что стекла выбьешь — рамы высадишь, только бы заступить на смену в аккурат с гудком.

Дом, где принимали передачи, стоял близ трамвайной остановки. Выйдя из студеных вагонов, люди — и стар и млад — торопливо трусили через шоссе, рассчитывая побыстрее попасть в теплень ожидалки. Зачастую надежды не сбывались: ожидалка была битком набита.

И в этот раз туда не протиснуться. Я собрал заявления у только что приехавших и просунул в приоткрытую дверь. Чья-то рука с кривыми, сучкастыми пальцами взяла заявления — и дверь затворилась.

Озябшая толпенка жалась к забору, сколоченному из длинных горбылей.

За забором была другая половина дома и примыкавшие к ней ворота, через которые проходили на работу и обратно заключенные и охрана.

Я зашнырял в толпе: может, найду кого из сверстников, побьемся по-петушиному, согреемся. Ни ребят, ни девчонок моих лет не оказалось — все взрослые.

Передачу у меня не приняли. Передатчица выкинула мое заявление из оконца. Я подобрал заявление и, разглаживая мужчину, принимавшего на нем ножные гальванические ванны, встал подле оконца.

Передатчица, что-то засовывая в кирзовую сумку, недовольно оглянулась:

— Иди, иди.

— Он просил...

- Только от близких родственников. Ворovali, наверно, вместе?
- Хоть хлебушек возьмите, яички...
- Поворачивай оглобли.

Выйдя из-за забора, я оказался на шоссе на обдуве. Ветер гнал перевальный — через Железный хребет. Рудная искрасна-желтая глина, окрашивая снег и пылясь в небо, летела по дороге.

Остановился. Как уйти?

Буро-красная снежная сечка посыпает рельсы, шпалы и щебень.

Как спасти Васю?

За платформой трамвайной остановки был откос. По откосу спускалась длинная-длинная лестница с перилами. Обочь лестницы ветвились по темному корундово-твердому насту тропинки. Под откосом, загромождая пути к поселку Северному, стояли во много рядов хопперы, наполненные коксом. Поселок Северный, устроившийся на отшибе от города, отапливал свои продуваемые бараки коксом из этих хопперов. Наведывались раздобыть кокса и жители других районов Железнодорожка.

На юг от Северного напрямик на гору-полуостров тянулся металлургический комбинат. Отсюда я редко смотрел на него. С этой стороны он начинался коксохимом. Мохнато парили градири. На нашей батарее готовились выдавливать коксовый пирог — открытые стояки кадили тускло-желтым газом, который прорезало багряное пламя. Неземными великанами, одетыми в панцирные черные скафандры, стояли домны. Казалось, они шли откуда-то по планете, остановились подумать и перекурить. Над их рогатыми шлемами несутся облака, и закат, раскаленный по горизонту, пронимает их красным жаром.

Почему я люблю завод? Оттого ли, что человек сродняется со всем, среди чего живет? Ведь когда я жил в Ершовке, мне нравился не только поворотисто текущий Кизил, не только серебристо-зеленые, дымно-легкие ивовые купы, но и выщипанная донельзя, ископыченная степь — обиталище ящериц, лишайные скалы берегов, кучи кизяка, черствого и колкого, и даже ручьи, вытекающие из-под скотных дворов. А может, потому я люблю завод, что в нем много тайн для меня, что он огромен, красочен, огнист, потому, что я знаю — он составляет мощь нашей страны, что каждый четвертый снаряд на фронте из его металла?

Трамвай катил споро, до отказа заполняясь молчаливым народом у центральной проходной комбината. Как и давеча, я не глядел, где едем, и отчего-то чудилось, что приедем неведомо куда, там кругом мертво — полынь в куржаке да мороз.

Вагон начало мотать на крутой дуге. Я пробурился к выходу, выпрыгнул в ночь. С остановочного бугра полностью был виден наш участок, но виден как сквозь рыбий пузырь: такая плотная скопилась изморозь.

К Перерушевым не пошел.

Бабушка уже спала, хотя был девятый час (она считала, что сон заменяет еду). В это время я обычно читал, но сегодня так утомился, что, придя домой, сразу лег в постель. Подхваченный скользящей дремой, я покатился меж призмами какого-то красного льда. Было приятно катиться. Беспокоило лишь, почему лед красный? От этого беспокойства я и спохватился. Сон долой. Ясно: надо идти к Полине Сидоровне. Пусть разбранит, даже ударит. Только она может передать вещи и спасти Васю.

Оделся, взял узел с вещами и сверток с едой. Барак, по выражению бабушки, «ушёмкался» — отшумел, затих.

Стукнул в фанерную обшивку двери. Не спросив, кто явился, открыла сама Полина Сидоровна.

От ее коричневых распущенных волос, свисающих до пояса, от подагрических, шишкастых ног с растрескавшимися ногтями, от всего ее облика наваливалась на душу тягость, угрюмость, изношенность.

— А, Сергей. Милости просим.

Запахнулась в солдатское одеяло. Стоит, не садится. И я стою, хоть она со стуком подвинула мне табуретку.

— Морочит... На непогоду, что ль? Буран, поди, собирается. Бабку-то Лукерью Петровну не морочит?

— Не жаловалась.

— Ее, надо быть, бог милует. Здоровá, уж здоровá! Износу нет. Правда, за войну мяса порастеряла. Все равно — не ходит, а все рысью. Старинный заквас, не нынешний. А меня морочит, дыханье стягивает, и сердце замирает.

— Тетя Польш, не взяли передачу. Мать, говорят, сама пусть придет. Я оставлю одежду и еду. Отнесете?

— Чего тут обсуждать?

— Заявление только перепишите на себя.

— Зинка перемарает... Ты вот что, Сергей. Передачу ты сам привези. С ношей утром в трамвай не залезу. Я прямо после работы туда проеду. Смена завтра трудная. Опять военный заказ. Точишь, точишь до синих мух в глазах. Раньше мне сказали бы, что с металлом буду работать, целые горы его в дело производить, не поверила бы. Силушку где взять? А нашлась, находится!

Глава двадцать седьмая

Когда я готовился к поездке с передачей, пришла Фекла Додонова. Принесла Лукерье Петровне стакан козьего молока и стопку драников, приготовленных из толченых картофельных очистков.

— Помяни моего папу, — сказала бабушке Фекла. — Не обессудь...

— Что ты, что ты? Знаю, как перебиваетесь. Спасибо, балуешь старую. То с этим, то с тем зайдешь. Всем говорю: «Фекла у нас Михаловна от ангелов зарожденная».

Фекла отмахнулась: дескать, придумает же! И невольно шире раскрыла рот в стыдливой и радостной улыбке. Минувшей осенью кто-то вырыл у Додоновых целый пай картошки, а с второго пая, находившегося на глинистом бугре, они накопили всего-навсего два мешка «гороха» — мелких клубней. С тех пор Фекла похудела, как обьяв (так говорила Лукерья Петровна), она сильнее стала сшибать на бурятку (тоже определение моей бабушки), и казалось, что ее редкие зубы («Телега проедет между ними», — шутил Петро) стали еще крупней.

Я только начал обуваться, как бабушка вдруг принялась меня корить: сами концов не сводим, а я из кожи лезу для Васи Перерушева. Нечего на него тянуться — пусть мать помогает. Он и не вспомнит, что мы ему добро делали.

— У бабуси бурки вот-вот протрутся да калошишки приносились, — жаловалась она, — а он чужому человеку и валенки купил, и ватные штаны. Мне как хочешь, так и выкручивайся.

— Полно, Петровна! — успокаивала Фекла. — Всю одежду не переносишь, всю еду не съешь. Приплыло — уплыло. Добро кому сделал, всю жизнь оно за тобой... Сережа, ты бы нашу Елю с собой взял.

— Зачем?

— Пока ты с тетей Полей ходить будешь, она коксу насобирает.

— Ладно.

— Никчемушный уголь дают на складе. Истопишь — голимая зола. Воздух в комнате не нагреет. Кокса-то положишь несколько кусков — на весь вечер. Ведра два насобирает — неделю будем в тепле.

Бабушка велела мне взять мешок, чтобы тоже привез коксу. Я было запротестовал: Елю поймают — ничего, малолетка, а я попадусь — могут посадить; но бабушка показала свои потрескавшиеся пальцы (каждый день копается на помойке в шлаке и золе, выбирая скоксовавшиеся крошки), и я согласился.

Фекла проводила Елю до крыльца, наказывала брать кокс только с земли, падалику, а на вагоны, боже упаси, не лазить: или расшибешься в прах, или заводская охрана словит. Еля насупленно молчала: ехать на трамвае далеко, идти с коксом тяжело — в гору и в гору. Наверно, была недовольна и тем, что мать послала ее со мной. Всегда мы с ней не ладили. Она совалась в мальчишечьи игры. Нечаянно подкуешь, вода футбольный мяч, а она тебя подкует нарочно. Заденешь палкой, отбивая деревянный шар от ямки, выберет момент и скрывается. Однако, при всей своей дерзости и смелости, она никак не могла преодолеть водобоязни и из всего барака одна не умела плавать. За это мы потешались над Елей, и злее всех, вероятно, потешался я. Как-то я так допек ее издевками, что она, грустно сидевшая на береговой скале, кинулась в воду, и мне пришлось ее спасать — глубина была большая. Вскоре после этого мы купали золотарских лошадей. Я доплыл на буланом мерине до катера, пришвартованного к парому, и, возвратясь на отмель, сказал Еле, что она скорей проглотит паровоз, чем доплывет на Гнедухе до катера. Еля сплавала на Гнедухе до катера, а выехав на берег, столкнула меня с буланого на береговой щебень и ускакала. Я разбил колено, однако не разозлился на Елю: остался доволен ее решимостью и злостью. Через два дня я встретил ее на углу барака. Она несла из своей будки глиняный горшок.

— Ага, попалась! — весело крикнул я и растопырил руки, будто собрался ловить.

Я был настроен посмеяться над тем, как летел с коня, но случилось неожиданное. Еля плеснула мне в лицо подсиненной извести. «Ослепну! Пропал!» Я мигом повернулся и наугад бросился бежать к водоколонке. Повиснув на чугунном кране гидранта, я вертел лицом под толстой, мощной, холодной струей воды.

С того злополучного дня мы долго не замечали друг друга, а впоследствии, примиренные ее отцом Петром Додоновым, не рисковали задевать друг друга. Безразличия между нами не было. Была бдительность. Мы очень опасны друг для друга, поэтому должны находиться в сдержанно-твердом мире и по возможности не общаться.

И вот вышло так, что мы шагаем вдвоем. Дуться не дуемся, дичиться не дичимся и все-таки идем в какой-то натянутости. Идти надо, и мы идем.

В трамвае было тесно. Еля юркнула под локтями женщин-электросварщиц, одетых в брезентовые, железисто-коричневые, в подпалинах робы. Я правую ногу утвердил на подножке и правой же рукой уцепился за поручень. Будь передача поменьше да полегче, я бы не оказался в опасном положении. Но перегон был длинный. Пальцы устали, вот-вот разожмутся, упаду навзничь и — под колеса: еду в головном вагоне. Выход был один — бросить передачу, перехватить руку, переменить ногу и спрыгнуть, но я из последних сил продолжал держаться за поручень. В тот момент, когда пальцы уже размыкались, а я, зажмурясь, пытался их крепче сжать, кто-то схватил меня за ворот и подтянул к

поручню. Как раз на уровне моего лица оказался веревочный узел (веревка, тянувшаяся к дуге, выгибалась на ветру), я вцепился в него зубами. Еще до остановки углядел, что держит меня за ворот Еля Додонова. Вместо благодарности я надулся на нее: пусть не думает, что я струсил. Она разобиделась и начала пробиваться меж пассажиров вперед. Я пустился за ней. Догнал только подле отсека вагоновожатой.

— Ель, а ты сильная.

Она скуксилась, как от зубной ломоты. Я передразнил ее. Она что-то пробурчала, смягчаясь. Я передразнил и то, как она пробурчала. Она смешливо фыркнула, потом и я фыркнул. Мы договорились отправиться за коксом вместе.

Полину Сидоровну я сразу увидел в толпе женщин: она была выше всех. Заявление на передачу уже сдала.

На шоссе остановился грузовик. Из кузова сходила женская бригада. Вставали в колонну по четверо. Одна, совсем молоденькая, прямо девчоночка, держась за борт и оскользаясь на сточенном скате, кого-то лихорадочно высматривала среди нас, пришедших с передачей. Я видел ее круглые глаза. Кто это? Никак не вспомню.

— Папа! — вдруг крикнула она мужчине передо мной.

— Тише, доча, — отозвался он.

— Мама где?

— Дома.

Да это же вроде Аля Демкина! Она или не она?

— Как там все?

— Шлют привет.

— Обними их.

— Ладно.

Мои глаза встретились с ее глазами, но она вдруг затуманила взгляд. Так поступал и я, когда делал вид, что не узнал или не заметил кого-то из знакомых.

Открылась дверь ожидалки, Полина Сидоровна суетливо приняла из моих рук узел. Заискивая, с мелкими поклонами протиснула его в окно. Передатчица выхватила у Полины Сидоровны узел. Его подхватил дылда в белом халате. Может, Вася в больнице?

До остановки мы шли вдвоем. Потом, мотнув головой на прощанье, я побежал по мерзло визжащей лестнице вниз, в падь, к Еле.

Поднял глаза к небу. Одиноко, неподвижно прямая Полина Сидоровна стояла на краю платформы.

Глава двадцать восьмая

Возле крайнего ряда вагонов с коксом слонялась горбунья. Она было побежала на тонких машистых ногах вдоль состава, приняв меня из-за черной суконной шинели за заводского охранника, но остановилась, пошла обратно и стала упрашивать, чтобы я забрался на хоппер и поскидывал коксу. Я посоветовал ей собирать на земле. Горбунья поразилась, что я взялся ей советовать: под вагонами и промежду путями весь кокс до крупинки собран огольцами Среднеуральского поселка.

— Мы за падаликой, — сказал я.

— Берегешься?

— Страховка.

— Будь рисковым, парень. Рисковые нынче времена. Без риска сгинешь. Я на что горбата — под вагонами рыскаю. Двинет электровоз — и готова. Ну-ка, живехонько на хоппер. Поскидывай маленько...

— Ловко, тетя, подстрекаешь. Мой друг в колонии. На нас двоих достаточно.

— Храни тебя Христос! Счастливым будешь, поскольку рассудительный.

Поволокалась, задевая кирзовой сумкой о черный снежный наст, и вдруг начала дразниться:

— Трус, трусишка, украл топоришко.

Еля, замкнуто молчавшая, встрепенулась, попросила горбунью подождать и вскоре уже кидала из хоппера звенящие куски кокса. Я едва успел кинуть в мешок десяток коксин, как под вагонами замелькали воровато-бойкие фигурки. Они возникали рядом, расхватывали кокс, я оставался ни с чем. Горбунья ошеломительно переменялась. Высоко, разлато подскакивала. В тот момент, когда ее ходулистые ноги отрывались от снега, она умудрялась поймать коксину и спрятать в сумку.

Сумерки, усиливаемые темнотой вагонов, не были помехой ни для горбуни, ни для опытных охотников за коксом, выскакивавших из-под вагонов. Тягаться с ними было бесполезно. Я влез на хоппер, нагреб до половины в мешок Ели, велел ей спускаться. Она протестовала: «Дай еще посбрасываю!», но спустилась.

Я нагреб коксу и себе. Когда натягивал на плечи веревочные лямки, подбрасывая груз спиной, вдруг услышал настораживающий шум, будто от вагона разбегаются врассыпную. Как только затих этот шум, вдоль состава раздался приближающийся редкий и громко бухающий топот. Бежал кто-то большой, в огромных сапогах. На четвереньках, обдирая ладони, метнулся к вагонному борту.

Пока я смотрел вслед убегающей Еле, охранник вскочил, хватаясь за бок. Должно быть, больно зашибся?

Раздались резкие хлопки. Стреляет, что ли?

Меня как подбросило. Я схватил коксовый ком. Мне, словно помимо моей воли, развернуло корпус и руки. В воздухе просвистел увесистый кусок кокса. Охранник охнул, ринулся в сторону и побежал туда, где была Еля. Я кидал ему вдогонку кокс и не сразу прекратил даже тогда, когда коксины перестали достигать цель. С момента первого швырка я почувствовал себя механизмом, внутри которого пустота, и в этой пустоте действует энергия вроде электрической, а тело мое не способно ни быть добрым, ни страдать, ни слушаться разума.

Позже я не раз испытывал опустошительность гнева, обездушивание яростью и такое состояние, когда чувствуешь себя механизмом, агрегатом бешенства, безрассудства, мести.

Слезая с хоппера, я потерял из виду охранника. Неужели он догнал Елю?

Взбугрения лежали в три волны; в дальней впадине между ними встретился охранник. Оторопело я узнал его — Харисов. Он волочил Елин мешок возле сапога. Он тащился, как во сне, хрипло дыша, и меня не заметил. Мы разминулись. Я было надумал отдать Еле свой кокс, но вдруг резко повернул и с разбега ударил Харисова головой. Он рухнул. Я вырвал мешок и трусцой побежал по впадине.

Еля спускалась в котловину. Плакала. Обрадовалась, что я выручил ее мешок; я увидел даже в темноте, как она просияла. Но через мгновение снова заплакала, с подвывом. Не могла простить охраннику, что увязался не за кем-нибудь, а за ней. Были большие дядьки, парни были, а увязался за ней, за маленькой.

Когда долго так вот обидчиво-чисто плачут, я почему-то начинаю улыбаться. Неловко, стыдно — и ничего не могу поделать, будто я сошел с ума и совсем неподвластен сам себе. Но когда я улыбаюсь слезам человека, в это время он становится мне очень дорогим, и я понимаю, что начинаю его любить.

Перед тем как всходить на лестницу, я остановился отдохнуть и поставил на ступеньку мешки. И тут меня прихватила улыбка. Я боялся, что Еля рассердится и обзовет меня идиотом, но унять улыбку не мог. И упорно росла во мне нежность к Еле. Я не выдержал, прикоснулся пальцами к ее мокрым щекам и внезапно поцеловал в напухшие от плача губы. Она оттолкнула меня и обиженно сказала:

— Чего целуешься?

Глава двадцать девятая

То, что впервые открывается нам в жизни, почти всегда кажется прекрасным.

Вот ночи...

Я карапуз четырех лет. С отцом на рыбалке. С нами учитель Пушкарев. Отец любит пироги из сомятины, Пушкарев никакой рыбы не ест. Пушкарев и охотник, но дичи и зайчатины тоже в рот не берет.

Пушкарев и отец поставили закидушки. На крючках жареные воблы. Концы шнуров привязали за макушки тальников. К шнурам привесили бронзовые колокольчики.

Тучи. Жужжа, горит костер. Вокруг ничего не разглядеть, кроме вихрастых раков по реке да, если приложить щеку к земле и смотреть пониже в степь, рощи тополей около далекого озера. Темнота — как вода. Мы будто на самом дне. Встань, подпрыгни — всплывешь к звездам.

Клюнет темноту звук колокольчика — Пушкарев и отец вытянут шею, как журавли в осоке, и побегут осторожной трусцой к тальникам.

Время от времени дотягивается до меня из малолетства звон бронзовых, крупчато-шершавых изнутри колокольчиков, и повторяется во мне та ночь с чернотой берега, с шаровидной над степью рощей, с водной плотью темноты. У всякого человека есть своя пора, когда впервые в него как бы вдохнется ночь и он ощутит ее красоту, необычайность, угрозу, вещественность... Потом будут новые ночи, западающие в душу, но они редко будут пролегать через всю жизнь.

Другая такая ночь выпала мне накануне проводов на фронт Кости Кукурузина и Вадьки Мельчаева.

Газовщик Кортуненков, в ученики к которому я был приставлен, не склонен был пояснять, что, почему и зачем он делает на коксовых печах:

— Виси у меня на хвосте, зырь, доходи сам. Вопросы в крайности. Уважаю самостоятельных.

У Кортуненкова было брюзгливое выражение лица, но в обращении к товарищам он не выказывал презрительности. Ни у кого из тех, кто с ним работал, не создавалось впечатления, что он живет, чуждаясь совместных забот и тревог. Напротив, большинство думало, что он гораздо ответственней, чем они, поглощен этими заботами и тревогами. Правда, по отдельности почти каждый считал Кортуненкова недоброжелательным, скупым мужиком, но когда судачили о нем в душевой, то получалось, что за любого он не однажды замолвил доброе слово и каждый брал у него взаймы, не всегда отдавал в обещанный срок, и Кортуненков ждал без укора и нетерпения.

Я догадывался, что Кортуненкова не беспокоит, справедливо о нем судят или нет, зато я видел, как этот запечатанный, по мнению коксовиков, человек страдал, если кого-то оболгали или неверно поняли.

В бараке я привык к понятным людям, хотя и подозревал, что некоторые из них, особенно Кукурузины и Авдей Брусникин, гораздо сложнее, чем открывают себя; соприкосновение с Кортуненковым ввергало меня в опаску и подозрение. Что-то плохое он, наверно, когда-то сделал. Может, служил у белых, или вредил на строительстве, или бросил жену и маленьких детей и они погибли. Но чаще я воображал: наверно, его втянули в воровскую шайку. И реже наступало мимолетом прозрение: просто характер порченый. Ломала судьба через колено. Да и вообще, говаривала бабушка Лукерья Петровна, «так простирала его жизнь, так выжала, что до сих пор он никак не расправится»...

— Пошли,— сказал Кортуненков.

Он взял оптический пирометр.

Мы поднялись на верх коксовых печей. Чугунные пробки, плотно закупоривающие смотровые шахточки топочных каналов, иначе называемых вертикалами, поблескивали вровень с кладкой. Кортуненков выдергивал пробки проволочным крючком, вращал движок реостата, припадал к окуляру: наводил пирометр на знойный круг вертикала. В ремесленном училище мы еще не проходили контрольно-измерительных приборов, которые применяются на коксовых печах, поэтому я не догадывался, как в конце концов Кортуненкову удастся определять температуру в топочных каналах. Благодаря своей долговязости я умудрялся заметить через его плечо затлевание волоска в крохотной лампочке, но волосок быстро скрадывало, словно он перегорал, и я не мог понять, для чего он накаляется, и почему исчезает, и какая зависимость между ним и шкалой гальванометра, на которую Кортуненков взглядывал, прежде чем переместиться к пробке очередного топочного канала и склонить голову над пирометром.

Раздались гонговые звоны. Нас догонял загрузочный вагон. Коксо-выталькиватель только что вытолкнул коксовый пирог из очередной печи. Гигантские воронки-бункера (в них вагон нес шихту) приближались. И звоны, звоны, гонговые звоны, наводящие ужас. Кортуненков дернул за рукав моей фуфайки: дескать, стой, не трись.

Вагон надвигался. Зазор меж бункерами довольно широк для того, чтобы не задело нас, и я видел — не заденет, и все-таки подогнул колени и сравнялся ростом с Кортуненковым, за спиной которого ожидал приближения вагона. Вагон прокатил над нами, дохнув холодом прокаленной морозом стали.

За вагоном бежал, волоча метлу, старший люковой Гнеушев. Остановился. Черные глаза с кровавыми узелками на белках. Клокочущее дыхание, словно легкие заложила мокрота. Когда мой отец устроился на коксохим рамповщиком, Гнеушев был уже дверевым; двужилый — все еще работает в газовом аду! Высох: сидеть жестко; ложась спать, между колен кладет подушку, а когда моется в душевой, мыльницу ему могут заменить впадины над ключицами.

— Что, Павлыч, насыпать мошку на закрутку?

— Уволь.

— Пошто?

— Ухайдакался. На два подручных меньше в бригаде, знаешь, как чувствительно?

— Да вижу. Похоже, новое наступление наши готовят. Кабы на фронте не нужда в бойцах, начальник бы не снял бронь с двух твоих орлов.

— Чего толковать? Фронт — не крупорушка. Тут крутишь, крутишь... заскучаешь, куда стакан намелешь. А на фронт новые дивизии бросают.

— Да, война...

— Да, жизнь, Борис Борисович... Я, значит, ухайдакался. Ты бы ученика своего дал на подмогу. Серёня — мой старый знакомец. Как на люках управляться нужно, мальчиком еще видел — быстро освоится.

— Бери, Павлыч. Согласен ли, Сергей?

— Его согласия пускай черт с дьяволом спрашивают. Ты над ним поставлен, ты и решаешь.

— Что не из согласия взшло, то, как ни слепливай, рассыплется.

— Старовер ты, язви тебя! — возмутился Гнеушев. — Мы сами диктуем и распорядки производим.

— Особенно мы с тобой.

— Все сразу не могут диктовать. На то мы и выбираем для руководства, кому отдаем функцию. Они, стало быть, регулируют, куда массу двинуть и сколько ее туда надо.

— Ох, мудер ты у нас, Павлыч.

— Для чего мне камера дадена? — Гнеушев постучал себя по лбу. — Для выработки ума. Иди за мной, Серёня.

Гнеушев побежал, я — за ним.

На бункерах загрузочного вагона отказали вибраторы. Угольная шихта смерзлась и не сходила из бункеров в камеры для коксования. То и дело приходилось бить кувалдой по бокам бункеров. Чтобы уложиться во время, отведенное на загрузку печи, мы спешили, шибали кувалдами по бункерам и снизу, и с площадки машиниста загрузочного вагона. Быстро выматывались.

Гнеушева сменял подручный — низкорослый башкир. Нас подгонял машинист Шкарбан. От нетерпения он полосовал матом и долбил сапогами бункера.

Когда мы наконец-то загрузили печь и закрыли и зачеканили ее люки, Гнеушев пошел пить и упал, не дойдя до фонтанчика.

Подняли его. Он был без сознания.

Кортуенков и начальник смены потащили его в здравпункт. Мы с башкиром бросились открывать стояки: в другой печи спекся пирог.

Еще вчера, видя, как непрерывны работы люковых в течение смены, я был уверен, что в эти часы им неволею не только думать, а даже воспринимать предметы, их перемещения, вообще все, лежащее вне их труда. Я был уверен, что от всего, чем заполнено их сменное существование, остается лишь впечатление чего-то пыльно-угольного, газово-желтого, огненного, звенящего, липкого, удушливого, торопливо-тревожного.

Ночью, когда унесли в здравпункт Гнеушева, когда грохот кувалд по бункерам отдавался в моем мозгу, когда до меня доставало пламенем, пыхавшим из печи вместе со свежезагруженной угольной смесью, когда, перевешиваясь через ограждения по бортам батареи, я удостоверялся в том, что коксовиталкиватель снял с камеры дверь, что двересъемная машина (это уже по другую сторону батареи) установила напротив печи ванну — стальную ажурную конструкцию, через которую выдавливают кокс, — что электровоз подогнал тушильный вагон, куда из ванны, распадаясь на золото-красные куски, будет низвергаться пирог, — тогда, после всего этого, я понял свое заблуждение. Поток работ не помешал мне думать ни о военных событиях под Сталинградом, которые, как я надеялся и как было в моем предчувствии, должны окончиться нашей решающей победой, ни о Косте, который, казалось, забыл про фронт и жил себе здесь военпредом и мужем Нюрки Брусникиной и

вдруг отправился к горвоенкому, прошел медицинскую комиссию и завтра уезжает в Москву, ни о том, будет ли прежней жизнь в нашей стране или сильно изменится, когда мы разгромим Германию.

Думая, я еще успевал и удивляться тому, что яростный мороз отчеканивает красоту заводских зарев. Лишь опрокинут чашу со шлаком, так и вскипит в небо алый луч — нет, не луч, а столб, такая в нем не-световая материальность!

Кроме того, я страдал за смологона. Он был опытен, но я все равно страдал за него, едва он принимался продвигать смолу по смолотоку или выворачивать из газосборника сгустки фусов. В маске он не выдерживал: жаловался, что сердце заходится. А без маски ему приходилось болтать головой безостановочно, лихорадочно — струя газа, как из брандспойта, лупила в лицо, и, чтобы не захлебнуться, он дышал, уворачиваясь от нее. И без маски он скоро начинал задыхаться, уже совсем не закрывал рта, и струя газа попадала ему в рот, расшибаясь о верхние длинные почерневшие зубы. Время от времени его верчение головой было таким мелькающе частым, что мнилось, он сошел с ума. Тогда я чувствовал головокружение и, чтобы не упасть, отворачивался.

При том, что я переживал маету смологона, мои глаза успевали следить за домной, громящейся близ батареи. Домна была в накрапах ламп-киловатток. От каждой лампы под самый купол комбинатского дыма стояли радужные столбы, в их спектре притягательно выделялись синий и оранжевый цвета, а наклонный мост, круто вознесенный к колошнику домны, лунно голубел. По рельсам, пришитым к плоскости моста, с заданной мерностью гладко, будто во сне, возносились и падали скиповые тележки, валя сырье в огненную ненасытную шахту.

Дрожание тросов, мерцающих маслом. Теневая невесомость во вращении шкивов. Клубы пыли, замутняющие радужные вертикали электричества.

Гнеушева увезла в больницу санитарная машина. К возвращению Кортуненкова из здравпункта я еще работал бодро, хотя и у меня частило сердце от торопливых ударов кувалдой. Он посоветовал мне умерить прыть — скоро, по присловию Гнеушева, могу ухайдакаться и до конца смены не дотяну. Потом он потребовал, чтобы я был осмотрительным: может так пыхнуть из люка после засыпки, что всего охватит огнем. А может и пострашней случится: в печь упадешь — усталость притупляет внимание и даже делает человека равнодушным к собственной жизни.

Едва загрузочный вагон установил под опустевшей печью бункерные телескопы, Кортуненков стал мерно бухать молотом чуть выше них. Шихта стекала в люки обвально, а он нисколько не запарился, разве что задышал слегка короче, да и то больше от угольной пыли и лютого холода. Кортуненков уважал Гнеушева за трудолюбие, но не одобрял его какой-то нервной, прямо-таки взвинченной старательности: если бы меньше нервничал, не угодил бы в больницу. Говорил он сухим тоном, но это не раздражало меня: такая за этим тоном угадывалась доброта и тревога.

В четыре часа утра Кортуненков дал мне галон на спецмолоко и два дополнительных — так назывались талоны, по которым можно было получить кашу и пятьдесят граммов свиного сала. Вкуса пшена я не заметил, зато всласть пожевал желтое и горьковатое свиное сало.

В раздатке было жарко, невыносимо тянуло в сон — выходя оттуда, хотелось упасть прямо перед дверями. Я остановился (мгновение — и уткнусь в пол), сделал над собой усилие — такое усилие, что показалось, будто что-то тяжелое перевернулось в груди, — и сон отхлынул,

и я взбежал на верх печей, и закрывал и открывал крышки люков и крышки стояков, и сметал шихту в люки, и зачеканивал пазы, чтоб не газовало из камер, и по-прежнему орудовал кувалдой.

Я не помнил за собой чувства значительности и не подозревал, что оно придет ко мне. После смены я чувствовал свою значительность в отяжелении век, в набухлости височных артерий, в смоляном запахе своего тела, который я вдруг уловил, едва разделся и вошел в парную притомленность дѹша. Я заметил неторопливость своих шагов по сварному мосту среди молча и валко шагающих рабочих. Еще вчера я был ремесло, весело сновал меж рабочими, удивлялся, что они слишком «внятно», как у нас говорилось о медлительности, ступают и я легко их обгоняю. Я и сегодня поначалу был «торопче», но скоро подчинился мерности их хода и едва начинал спешить, тотчас осаживал себя. Я не подозревал раньше своей однородности с ними, но уже стал причастен к ней минувшей ночью. И тут я обрадовался, что я уже взрослый и вполне рабочий человек.

Дома, прежде чем лечь спать, я посмотрел в зеркало. Ресницы и брови черным-черны. Мылил, мылил, и все-таки задержались в них смоль, копоть, угольная мука. Глаза смотрели чисто, зорко, роговица была зеленовато-сера, будто шелушенное семя конопли. И опять появилось во мне чувство значительности.

Как хорошо меняться. И почему-то грустно меняться.

Глава тридцатая

Как непохожи были эти проводы на проводы начала войны! Ни водки, запечатанной крепким бурым сургучом, ни разливного пива, ни браги на башкирском меду, ни щедрых закусок, когда без оглядки трагятся все до копейки деньги в дому и после чего хозяйки, одалживая у соседей хлеб, соль и спички, гордо оправдываются: «Очистились чище хрусталя».

Устроить проводы договорились совместно, но стол получился скучноватый. На всех была четвертинка самогона, кувшин кислушки, заделанной на сыворотке, гороховые оладьи, уместившиеся на блюде, картошка в мундире и тарелка кислой капусты. Компания подобралась обычная для тех лет: подростки, пожилые женщины и старухи. Из молодых, кроме Кости и Нюры, были Надя Колдунова и Соня Шумихина. Мастер домны Кукурузин и машинист турбогенератора Брусникин работали: их не смогли подменить. Глухой дядя Федя на приглашение Кости махнул рукой:

— Истукана вам не хватало. Добрый путь, сынок. Хорошенько застайвай Россию.

И Дарья Нечистая Половина, и Полина Перерушева, и Матрена Колдунова, и Фекла Додонова, и Татьяна Феофановна пить не стали. Первой закрыла рюмку ладонью великанша Дарья:

— Чего зазря переводить. Я свое взяла. А вы только в цвет входите.

Остальные женщины одобрили благородство Дарьи и скоро разбрелись по своим комнатам. Моя бабушка не отказывалась — напротив, все укоряла, что ей несмело лют, заставляла наполнить рюмку всклень, вкусно выпивала. Потом стала внушать Дарье, что, ежели подносят, надо пить — здоровше будешь. На ее слова Дарья отвечала: «Пей, бабушенька, на здоровье, но опрокидывай стопку осторожнее, кабы спитное не в то горло не угодило».

Не то чтоб бабушка не понимала, что всем неловко за нее, и особенно мне. Нет, она все это понимала, но это не стесняло ее, потому что она не привыкла и не хотела что-либо делать вопреки своему желанию и была уверена в необходимости того, что делает, пусть оно было неловко другим или возмущало их.

Пока Лукерья Петровна не ушла, нас одолевала та неохота общаться, которую вызывает неприятный человек. Но замечая, что мы ждем ее ухода, бабушка не торопилась. Под общее безмолвие сплясала на крышке подпола, выглотала стакан кислушки и пошла всех нацеловывать, и хотя все сердились, никому не удалось увернуться. А едва за бабушкой захлопнулась дверь, которую гут же закрыли на крючок, все повеселели, заговорили, загалдели.

Случается так, что начинаешь воспринимать своих знакомых, как будто долго где-то отсутствовал и вот вернулся и удивляешься перемене в них. В тот вечер такое удивление было главным моим чувством. Катя Додонова, когда готовили закуски и накрывали на стол, распоряжалась у Мельчаевых как хозяйка, и странно, что Вадька — ненадолго приехавший с фронта «сын полка», всегда любивший всеми командовать, — радовался этому и то и дело подсказывал к ней, чтобы самому спросить, что в какую посуду положить и куда поставить. Было ясно, что Вадька влюбился в Катю, а она вяжет с ним, как говорилось по-нашему, то есть принимает его ухаживания и отвечает на них, хоть и стыдится, что он моложе ее и ниже ростом на целую голову.

Обучавшаяся в ремесленном училище на электрика прокатных цехов, Катя не надевала праздничную форму — пренебрегала ею. И сюда она явилась в повседневной форме: гимнастерка, юбка, чулки бумажные с девчоночьим рубчиком, не модельные туфельки — свиной кожи ботинки.

Катя и Вадька, ничего не говоря, несколько раз, словно спохватившись, что о чем-то забыли, чего нельзя отложить, мигом надевали шинели, выскакивали в коридор. Возвращались жарколицые, как сквозь дымку и словно не наяву смотрели на нас.

— Гляди-кось, — шептал Лелесе Колдунов, негодуя и завидуя.

Припоздавшая Надя Колдунова вошла с Валею Соболевской и сразу проскочила в передний угол: я, мол, не хотела приводить ее, но она сама увязалась за мной. Валя никогда не бывала у нас в бараке, ее никто не приглашал, поэтому ее встретили недоумением и тишиной. Правда, мальчишки сразу засуетились, восхищенные ее красотой и одеждой, ошеломительной для обитателей тринадцатого участка: сиреневой блузкой с воланами на груди и запястьях, темно-синей бостоновой юбкой, подпоясанной алым кожаным поясом — широким, чуть не в ладонь, — лаковыми туфлями-лодочками.

Перед войной я как-то был в Уральских горах. Забрался в ельник. Мне там было хорошо. Взглянул на солнце — меня тотчас ослепило. Валин приход тоже ослепил меня. Да, она была прекрасна не по-барачному, а как будто пришла с Березок, где жили директор комбината Зернов и другие важные начальники. Но ослепление скоро прошло. Ясность внезапно обозначилась тревогой: «Зачем Валя сюда, если не ко мне?» — и растерянностью: я, кажется, не рад ей.

Костя сидел нога на ногу, опираясь ладонями о колено. Выражение беспечности, которое было на его лице, вдруг стало напряженным, неестественным. И я догадался: Валя к нему. Она не скрывала, что к нему, не собиралась скрывать. Она смотрела на Костю, ожидая, когда он взглянет на нее.

Недавно Костя получил по талону отрез креп-жоржета, и Нюра сшила себе платье. Оно шло Нюре. Цвет «ее» — стальной, он выделял нежную голубоватость ее шеи и лица. Почему-то, когда она садилась, платье соборилось к груди, поэтому, вставая, Нюра ощипывала его в талии и на бедрах. Ее это бесило, а Косте нравилось, и он просил ее с веселым бесом в глазах: «Нюрочек, ощипнись». Едва заметив, что Валя смотрит на Костю, и, наверно, заподозрив что-то, Нюра вскочила, ощипнувшись так, что щелкнули точеные ногти, и вылетела из комнаты.

Надя толкнула Костю, чтобы успокоил свою прыткую Нюру. Костя беспечно обернулся к Наде.

Я понял: значит, Аня — Костя один из всего барака называл Аней Нюру, большинство звало ее Нюрка Бормот за то, что она, когда к ней обращались, только бормотнет в ответ, — значит, гадай, Аня допекла Костю капризами до безразличия. Пусть Аня, значит, хоть на стену лезет, он будет здесь, попрашивается с друзьями, от которых она всячески его отделяла. И он никуда не станет отсюда отлучаться, вдосталь на них наглядится, чтобы реже тосковать на войне.

Пытаясь сгладить неловкость, вызванную ревнивым уходом Нюры, Костя попросил только, чтобы Надя побренчала на гитаре. Надя нехотя взяла гитару, потом звуки начали пересыпаться под ее пальцами, но когда уже казалось, что вот-вот зазвучит на тетивно-сильной огтяжке «Сербиянка», Надя бросила гитару на кровать и выбежала.

Мне велели притащить патефон — больше не у кого добыть. Я засомневался, сумею ли взять: бабушка держит его в шкафу под ключом. И в самом деле бабушка взъерепенилась. Скрутят башку патефону, кричала она, сорвут пружину, поколют пластинки! Я предупредил ее: если не даст патефон, взломаю дверку шкафа. Бабушка принялась меня срамить, будто я пьян, грозила прописать матери в Тюмень. В разгар нашей с бабушкой ссоры в комнате появился Костя Кукурузин. Лукерья Петровна захныкала. Причитала, что я ее тираню, что все тащу из дому без спроса. Костя сказал, что все слышал и винит в нашей сваре лишь ее. Но бабушка плакала и жаловалась искренно, неутешно, прямо-таки убивалась, и начало мниться, будто действительно я кругом виноват, к этому еще примешивалась жалость: и старенькая-то она, и судьба-то у нее слишком горевая, и ничего-то радостного у нее не было, покуда она живет у нас с мамой в Железнодорожке, разве что сытая еда, когда мама работала в магазинах и буфетах, и пшеничное вино, да и то она покупала и пила украдкой, чтобы дочь не ругала за трату денег.

Пока бабушка манежила Костю, прежде чем дать патефон («Подобному завсегда, пожалуйста, с голубой душой... Нахрапом ежели, так фиг, наперекосяк пойду, никакой музыки»), я вышел в стужу коридора.

Вышел ко мне с патефоном Костя. Я заметил вдруг: блеснули орден на гимнастерке. Не привинчивал, не привинчивал — и привинтил. Переход на армейский режим?

— Айда, Серега! Хвост морковкой!

Надсадная тягость была в душе весь день: куда, думал я, мне такому в компанию? А вошел к Мельчаевым — и настроение стало другое. Вадькина сестра Люда, сутулая даже в корсете, радостно глядит на всех. Бабушка Мельчаиха, сидя на кровати, улыбается. Вадька бесом вертится перед Катей — наверно, подражает кому-то из фронтовых пересмешников. Костя весело крутит ручку патефона. Им, казалось бы, кручиниться: Люде ложиться в костногуберкулезный санаторий, и, должно быть, надолго; Мельчаихе в другой город ехать. а ни пенсии, ни сбережений; Вадьке и Косте на войну, опять на край жизни... А они не горюют!

Любимое танго Кости — «Девушка играет на мандолине». Его он и поставил первым... Ну и хорошо. Пусть девушка играет на мандолине. Я одобряю ее игру! Подходит Валя. Станцуем? Я не против. Веду Валю к тумбочке, возле которой стоит Костя. Моей руке все-таки тревожно от ее ребрышек, а ее ладонь на моем плече бестрепетна, прохладна, спиг. Она оживет и проснется на Костином плече. Скашиваю глаза. Костины губы разводит улыбка. Зубы, какие зубы! И какая красивая синева у Кости на щеках после бритья! Вот бы мне такую.

Он рад, конечно, что я стал большой, что танцую. Он знает обо мне и Вале все. Он огорчился, когда наша с нею дружба прекратилась. Да, она красавица! Я волнуюсь, видя ее. Впрочем, я волнуюсь при виде любой привлекательной девчонки... Я любил ее. Неужели любил? А почему-то ведь не могу? Что случилось?

Костя уходит на фронт. Если бы он там уцелел, если бы развелся с Брусникиной и женился на Вале, столько бы на тринадцатом участке было радости!..

Костя переставил мембрану обратно, начал пластинку снова. Как раз в этот момент я сбился с такта, сделал неуклюжий поворот и отпустил Валю возле Кости.

Валя принялась просматривать пластинки, выбрала, подала Косте. Он закивал, приветствуя ее выбор, осмелел, и они под торжественный звон колоколов стали вышагивать вальс-бостон.

Возвратясь в комнату, Надя Колдунова отозвала Валю к окну. Кое-что я расслышал. Нюрка грозилась устроить скандал, если Валя не уйдет.

Валя оделась и вышла. Костя помешкал, щелкая в кармане портсигаром, потом схватил шинель и тоже выскочил.

— Заваруха — это по мне! — воскликнул Вадька. — Веселись дальше, народ!

Я подкрутил патефон, завел румбу. Катя и Вадька танцевали быстро, с подскоком. Расстроенная Надя согласилась было танцевать с Толькой, но он сопел, спешил, спотыкался об ее туфли, она рассердилась, оставила его на кругу. Толька подскочил к Еле Додоновой, однако Еля не захотела с ним танцевать.

— Ждешь своего Сереженьку? — отомстил он.

— Жду. Тебе что?

Давеча, когда я вошел к Мельчаевым, Еля приветливо меня встретила. Пока не появилась Валя Соболевская, мы то и дело встречались глазами. При Вале я как будто забыл про Елю, но все время был неспокоен и помнил: я должен кого-то найти. Во время танго, когда я рассматривал Валю и огорчился, что разлюбил ее и больше никогда не полюблю, Еля сидела на сундуке как-то поджавшись. Зверек, прямо зверек! Я догадался: В а л я! Но что это? Зависть к красоте? К одежде? Теперь же, едва Еля ответила Колдунову: «Жду. Тебе что?» — я подумал, что появление Вали раздосадовало Елю потому, что она решила, будто Валя пришла по мою душу.

Это растрогало меня. Позвал ее танцевать. Она отказалась. Наверно, не простила танго с Валей или скорее всего то, что я подошел к ней с ласковой снисходительностью, как к малолетке.

Вскользнул в коридор покурить. Мимо, остервенело двинув меня матрасом, пролетела Нюра Брусникина: перетаскивалась к своим родителям. Я обрадовался: может, Костя развяжется с ней? И вообще хорошо уже то, что она перетаскивается.

Чтобы успеть на поезд — до вокзала час езды трамваем, — мы вышли из барака с большим запасом времени. В муторной трамвайной

тряске я совсем потерял настроение. Еля не поехала на вокзал. Костя ушел из барака раньше нас, один. Сказал, простимся у поезда — наверно, зайдет к Вале. Вадька и Катя пробились вперед: уединились от своих среди чужих... Надя Колдунова мается — может, боится, что Нюрка подумает, будто она нарочно привела Валю Соболевскую. Мне было неприятно и то, что Соня Шумихина щеголяет в белой пушистой дошке, выигранной Тимуром у «авантюристки». Я всегда жалел Соню — кривошея. Но когда я видел ее в дошке, то сильнее, чем ее, жалел «авантюристку».

Выпрыгивали из вагона в снегопад. Трансформаторную будку и вокзал мгновенно запахло рыхло-белой завесой. Густота снега была такая, точно он находился в небесных бункерах, и вот открыли сразу все затворы, и снег мощно вываливается оттуда, а также сыплется втрагус от трепетного действия вибраторов. Не знаю почему — снег меня оживил. В тот момент, когда я следил за хлопьями, осыпаящими мою шинель, явилась отрада; пока мы брели к вокзалу, она укрепилась в душе, и меня не опечалил даже вид неподвижной толпы возле закрытой перронной калитки. Немного погода, уже в движении людей, хлынувших на платформу к зеленому пассажирскому поезду, я просто развеселился.

Вадька Мельчаев, который юркнул ко мне, приотстав от Кати, стал просить, чтобы я следил за Катей и извещал его в случае чего... А он ни на кого не посмотрит, если она будет ждать.

Я чуть не засмеялся. Чудно! Катя до его жениховского возраста наверняка замужем будет. Ну да ладно! Раз влюбились друг в друга, может, и подождет.

Перед тем как влезть в набитый пассажирами тамбур, Вадька погрозил мне маленьким самоуверенным кулаком.

Костя появился незадолго до отправления поезда. Шел расстегнутый, блаженный, даже забыл, куда дел билет. Весело обхлопывал свои многочисленные карманы, раздражая проводника, увещевавшего искать внимательно. Билета перед посадкой Костя так и не отыскал. А, не беда, в вагоне найдет! С нами, мальчишками, обнялся, девчонок поцеловал.

Часто я ловил себя на чувстве бесконечности этой войны — она, верно, уже без нас кончится.

Едва ушел поезд и образовался простор, в котором шуршал поредевший снег, я вдруг ощутил, что все скоро завершится — не совсем скоро, но все-таки скоро, — и жизнь начнется счастливая: без торопливо-жадных чувств, без неожиданных перемен в душах, без расставаний, не предвещающих встречи. Жизнь будет, конечно, еще лучше, чем перед са мой войной, когда железнодорожцы стали заметно радостней и добрей и можно было купить свободно не только черный и серый хлеб, но и белый, а также приобрести без давки отрез сатина, сукна или коверкота.

И что-то в то послевоенное счастье войдет удивительное, чего сроду не происходило!

Глава тридцать первая

Возвратясь из ремесленного училища, я сбросил бушлат и шапку — и сразу к Колдуновым. Думал: у них уже собрались девчата и ребята, сидят суеверно-тихо, в полутьме. Вздрагивает желтое пламя свечи, чугунно-темные лица склонены над фанерой, крытой лаком, пальцы легонько толкают по кругу цифр и букв нагретое, тонкого фарфора блюдце; Надя, вытягивая губы, шепчет: «Княжна Нина, ты не сердись, что часто вызываю»...

Я не верил в духов, но с удовольствием просиживал часами над спиритической фанерой. Занятно наблюдать за каждым, кто предается таинству общения с духами. Когда на донце блюдечка сгорала скомканная бумажка и все начинали вглядываться в тень, которую она отбрасывала, то обязательно видели силуэт того, кого вызывали.

Я постучался, как уславливались, и вдруг услышал плач. Открыл дверь. Лежа на кровати в чесанках, овчинной безрукавке и толстой клетчатой шали, горько плакала Матрена Колдунова. Навалюсь на кровать и уткнувшись русой головой в чесанки матери, вздрагивал плечами Толька.

Из переднего угла весело смотрел на меня сквозь стекло фотографический портрет парня в толстом танкистском шлеме. Екнуло сердце: наверно, на Макара похоронка.

— На кого ты нас...— голосила Матрена.— Как мухи, поколеем без тебя.

Я замер, прислонясь к печке.

— Господи милостивый, не хуже других себя ведем, не больше других грешим...

— Мамка, не реви,— глухо бубнил Толька.

— Уйди, губастый. Нет у меня теперь надежи. Макара убьют, Надя пропала, ты, балбес, не шьешь, не порешь. Уйди.

Матрена негодуяше шевельнула чесанками, в которые Колдунов упирался головой. Он отпрянул от кровати, начал горопливо утираться подолом рубахи. Лицо, только что плаксивое, стало злым.

— Чего надо?— закричал на меня. Зеленоватые жилы вздулись на его шее.

Я шагнул к двери и остановился, окликнутый Матреной.

— Сережа, погоди, может, присоветуешь.— И к сыну:— Ишь, буркалы-то вывернул. Без людей в горе быть — избави боже. Ну в кого ты? Отец золотой был. И Макар. И про меня сроду худого... Надюшка изо всех нас... Сережа, с Надюшкой у нас беда. Девушка забегала, в паспортном столе работает. Арестовали Наденьку. В капэзэ сидит.

— Девушка что сказала?

— Не знает. Надюшку привели в милицию. Девушка в коридоре была, Надюшка ей — записку. Не перевелись добрые души. Разыскала нас. Вот мы и узнали... Цо делать-то, Сережа?

— Пойти в милицию.

— Скажут?

— Должны.

Она заковыляла с авоськой по беззвучному жесткому черному снегу среди длинных серых барачков и дощатых уборных, побеленных хлорной известью.

Передачу у нее не взяли: только после суда.

На ее вопрос — за что?— следователь ответил: «По работе, мамаша... Разберемся. Узнается».

Она так отупела от горя, что даже не обратилась за помощью к добросердечной паспортистке.

Колдунов взял с высокого сундука сумку с едой, молча вышел. Передачу он отдал прямо в руки сестре. Зайдя в милицию, он подождал, когда в паспортном столе никого не было, и спросил девушку, как передать еду. Та сказала — как. Колдунов вручил сестре передачу, а она ему — тетрадные в клеточку листочки, заполненные крупными, разборчивыми, как у первоклассницы, буквами. Из этого письма мы и узнали, что стряслось с Надей.

У директорши Тамары Кронидовны сын заболел воспалением легких. Врач сказал: «Поддерживайте мальчика высококалорийным пита-

нием. Главное — сало, масло, сметана». Перед открытием столовой директорша зашла на кухню, поделилась горем и попросила у Нади пол-литровую банку сметаны («Сала Славику на дух не надо. Масло осточертело»). Надя растерялась. На первое сегодня щи со сметаной. На тарелку щей черпачок сметаны. Черпачок с наперсток. Пол-литровая банка — сто таких черпачков. Если отдать, придется почти не класть сметаны в тарелки.

С детства Надя привыкла благоговеть перед доменщиками. На знаменах, щитах, на газетных листах, расклеенных на заводе, постоянно красовались домны, горновые в шляпах с широкими полями, машинисты вагонов-весов, сдвинувшие на лоб защитные очки. Из громкоговорителей, серебрищихся над площадями соцгорода, то и дело падало тяжелое, гудящее слово «чугун». И вот Надя должна обманывать доменщиков.

— Тамара Кронидовна, как-нибудь с кладовщицей сделайте. Мы... — И поглядела на раздатчицу Фрузу, ища у нее поддержки. — Мы не можем...

Но раздатчица тоже стала ее уговаривать:

— Натяну, Надя. Комар носа не подточит.

Про Фрузу Надя довольно часто рассказывала. Она была беженка из Варшавы. Девчонкой, как говорила сама, «испытала все на свете». Осенью хотели ее отправить в молочно-овощной совхоз на копку картофеля, Фруза стала отказываться, а директорша ее увещевать: «У тебя не семеро по лавкам. Ты одиночка». — «Не одиночка, а одноночка», — сострила Фруза, не щадя себя.

Легкодумная Фруза все-таки уговорила Надю пойти на уступку: правда, вместо пол-литра сметаны директорша получила только стакан. Рассерженная этим директорша, уходя, саданула стеклянной кухонной дверью.

— Неужели ты ее не знаешь, Надя? — спросила Фруза со слезами на глазах. — Наделает она нам беды.

Через неделю Надю арестовали.

В разгар обеда на кухне не оказалось ни щепотки чая. Кладовщик уехал за продуктами. Надя вышла из положения, заварив жженую морковь. Прежде чем выдавать морковный чай, попросила директоршу:

— Тамара Кронидовна, скажите кассирше, пусть вычеркнет из меню грузинский чай и поставит морковный.

Директорша величественно кивнула головой. К концу обеда нагрянул рабочий контроль. Выяснилось, что кассирша берет плату за грузинский чай, а раздатчица выдает морковный. Надю позвали в директорский кабинет.

— Вы бригадир? — обратился к ней мастер домны Шibaев, он же председатель рабочего контроля. Он грозно смотрел из-под бровей, в бровях блестел графит.

— Я.

— Почему обманываете доменщиков?

— Как обманываю?

— Ловко прикидываетесь! — возмутился Шibaев. — Да вы знаете, куда можете угодить за обман рабочего класса?

— О чем вы, товарищ Шibaев?..

— Я вам не товарищ.

— Объясните, за что вы на меня напустились?

Когда Шibaев объяснил, Надю так и бросило в жар.

— Так это вы сделали. Тамара Кронидовна? Я-то забыла, что вы мстительная. Вы, значит, не сообщили кассирше, что надо вычеркнуть грузинский чай и поставить морковный, и вызвали рабочий контроль...

— Не имеет значения, кто вызвал,— сказал Шибаяев.

— Какая подлость! — вспыхнула директорша. — Шахер-махеры устраивают, а честного человека обливают грязью.

— При Фрузе говорили,— не сдавалась Надя.

Позвали раздатчицу. Фруза сказала, что ей было не до того, чтобы слушать, кто что кому сказал. Чай она разливала такой, какой приготовили, и не заботилась о переменах в меню: этим обязан заниматься шеф-повар.

Надю разобидело не столько вероломство директорши и уклончивость Фрузы, сколько то, что Шибаяев смотрел на нее недоверчиво и не пытался раскусить директоршу.

Милиционер в ремнях крест-накрест вывел ее из столовой на крыльцо. Над домами висела бурая рудная мгла. Сквозь нее просвечивал летучий, как выхлопы гейзеров, дутый, белоснежный, осыпающийся на землю, сверкающий градинами пар. Он вырывался из жерл широких круглых сушильных башен. Когда Надя уже спускалась с крыльца, продолжая глядеть в дымную высоту, в прозоре доменной главы мелькнула, запрокидываясь, скиповая тележка; потом и скиповую тележку, и коровидную главу окутало рыхловатой пылью.

И она пошла, оглядываясь на печи, одетые в черные стальные панцири, простроченные шляпками клепальных болтов, на паровоздушную станцию с ее старой, отваливающейся штукатуркой, цинково-серым высоким дымом, железным гулом дутья, подаваемого в кауперы. Наверное, все, кого уводят или увозят из родных домов, с чувством прощания — и потому так жадно — смотрят вокруг, стараясь запечатлеть все, чего коснулся взор.

Следователя ей дали тихоголосого — либо он спокойный был от природы, либо орать надоело. Допрос начал со слов: «Чем раньше сознаешься, тем меньше получишь!» Кроме Нади, он допрашивал директоршу, Фрузу и кассиршу. С директоршей и Фрузой Надя просила очную ставку, хотя и не надеялась, что они переменят показания.

В письме к родным она ничего не просила ей передавать — только махорку:

«Передайте через паспортистку. На курево здесь можно выменять что угодно: хлеб, гетры, пальто, пуховую шаль.

Не смейтесь. Нанимайте защитника. Лучше всех, говорят, председатель коллегии адвокатов Катрич. Снесите на базар мое шевиотовое пальто, умоляйте Катрича взяться за дело».

Матрена спрятала письмо в карман клеенчатого фартука, легла на кровать. Мы думали: она просто так прислонила к груди ладонь. Но когда ее пальцы начали скрючиваться, загибая в горсть конец шали, мы поняли: неладно с сердцем.

Я побежал к матери Венки Кокосова — она, единственная сердечница в бараке, могла дать лекарство. К счастью, застал дома: как обычно, стрекотала на швейной машинке, шила бурки на вате. Лекарство и пипетку она всегда держала наготове.

Матрена стонала, никак не разжимала зубы. Мы подняли ее, открыли алюминиевой ложкой рот и напоили валерьянкой, накапанной в кружку. Матрена мучительно мычала, не открывая глаз: все еще была в беспомощности.

Колдунов ревел в голос. Мы шикали на него, но он продолжал рыдать, будто обезумел.

Кокосова гладила его по жестким волосам и, едва его голос приутих, сказала:

— Кабы мать не померла. Беги, вызывай «скорую».

Он побежал к участковому Порваткину. Меня отправили на ручей — нарубить льду.

Канавы были толсто покрыты затвердевшим снегом. Покамест докопался до льда, я весь парил, как вода, которую сбрасывают прокатные станы в замерзший пруд. Набил резиновый пузырь морковно-красным льдом, отдающим терпкостью горной глины. Чем круглее становился пузырь, тем истовей верил я, что этот ручьевой лед целебней речного; есть в нем пылинки магнитного железняка. Старики не станут зря говорить.

— Крепкий лед, красный лед, терпкий лед, магнитный лед, — твердил я, — помоги Матрене!

Матрена очнулась, попросила убрать с груди лед и начала причитать:

— Лебедушка-свободушка, в каком небе летаешь, по каким морям плаваешь? Прилети-приплыви на денек. От порухи-несчастья, недоликривды ослобони... Надюшеньку мою выпусти, дите мое, в нужде рощенное, в холоде холенное, мыльнянкой-травой мытое, деревянным гребнем чесанное...

Кокосова сердито вытряхнула в ведро подтаявшие льдинки.

— Ты вот что, баба. Ты не распалай себя причетом. Лежи помалкивай.

Она отбросила дверной крючок, впустила заиндевелого Колдунова. Он дозвонился до «скорой помощи». Кареты не будет. Прибыл новый эшелон раненых, и кареты возят их в госпиталь. Диспетчер посоветовал отвезти мать на трамвае в заводскую больницу на соцгороде.

— Ты вот что, баба, — сказала Кокосова, — ты в поликлинику поедешь. Может, что лопнуло у тебя в сердце. Положат в больницу — срастется.

Начали прикидывать, как доставить Матрену в поликлинику. На трамвае не получится — едет со смены народ. Значит, везти на салазках. Но каким путем? По шоссе долго, напрямиком через горы — трудно.

Колдунов настоял: напрямиком.

Взяли у Лошкаревых маленькие розвальни со стальными полозьями. На этих санях они вывозили навоз. Полина Сидоровна принесла тулуп. Закатали Матрену в тулуп, вынесли, положили.

Поначалу идти было легко: розвальни скользили по наледи. Мы даже припустились бежать и с мальчишеским легкомыслием припрыгивали и гикали.

Когда землянки остались справа, мы сразу почувствовали тяжесть саней: подъем стал круче и тормозила заводская сажа.

Останавливались. Широко разевали рты.

У каждого прытко скачет сердчишко. А Матрена молчит. Страшно наклониться, чтоб послушать, дышит ли. Заметив парок, пробивающийся сквозь космы тулупного воротника, радостно переглядываемся, тянем сани дальше.

Перед войной Колдунов был почти таким же коротышом, как и Лелеся, он медленно подавался вверх — и все-таки перерос того на голову и заметно раздвинулся в плечах. В голосе его то пробивались, то пропадали басовые звуки.

С сестрой он старался не глотничать. Совсем не пререкаться не хватало терпения, но делал он это сдержанно, на полупшепоте: она как-никак окончила курсы поваров и работала в столовой.

Вечерами у них собирались девушки, парни, подростки и мелюзга лет с десяти. Своих врагов Колдунов не пускал. Он заранее готовился к

тому, как будет давать от ворот поворот кому-нибудь из недругов и что при этом скажет. Реплики отпускал ехидные, заковыристые, беспощадные.

Душой колдуновских вечеров была Надя. То сказку выдумает, то спляшет, то затеет игру в телефон.

Мы танцевали под патефон, а под гитару плясали. Заслышав звуки «Цыганочки» или «Вальса-чететки», Колдунов подтягивал соборенные голенища великоватых ему хромовых сапог (прислал старший брат), выпрыгивал на середину комнаты. Если был на нем пиджак, он швырял его на кровать, просил сестру повторить выход и поворачивался ко мне: — Сережа, сбачаем?

Не дожидаясь ответа, хлопал широкими, как блюдца, ладонями, обрушивал их, соединив клином, на грудь и, легонько, пружинно подскакивая, шел по кругу; потом руки, прищелкнув пальцами, скрещивались и пошлепывали по плечам, вторя перестуку.

Чуть помедлив, начинал хлопать ладонями и я. Выход уже заканчивался, поэтому после хлопков я бил ладонями то по одной подошве кирзового ботинка, то по другой.

— В темпе!— кричал, ярясь, раздумяившийся Колдунов.

Надя быстрее подергивала струны.

Не будь Колдунов противно самовлюбленным человеком, я раньше его сходил бы с круга и откровенно признавал бы, что мне с ним не тягаться. Однако я не оставлял круга и никогда не говорил ему, что он пляшет лучше, чем я. А плясал он хорошо. Не просто шелкал — щеголевато, картинно, жмурясь от страстности, которую вкладывал в эту дробь пальцев. Не просто хлопал — то стрелял, то шелестел ладонями, цокал, будто деревянными ложками. Несоразмерность его ладоней приземистой фигуре (как непропорционально ей было у него все — нос, уши, губы) наводила на мысль, что он специально создан природой для этой пляски.

Иногда Надя и Толька пели. Она сидела на высокой кровати. Так ей было удобней аккомпанировать и петь, и к тому же, возвышаясь, она видела всех, а все ее.

Надя всегда пускала по плечам и рукам розовый с зелеными звездами газовый шарф. Его взлеты, трепет и колыханье, а также то, что ее голые золотистые руки светились сквозь шелк, придавало очарование и ей самой — бледной, носатой, губастой, с пористой кожей, — а главное, ее пению и гитарным перегудам и рокотам.

Колдунов пел стоя, поглаживая хромированную кроватьную шишку. Как в пляске, он отдавался и пению без остатка, горячечно блестя глазами, никого не замечая, проникновенно слушая свой голос и придавая ему неожиданно берущую за душу силу.

Тянем сани, надрываемся. Вот наконец колючая загородка, бараки. Когда-то здесь жили немецкие инженеры и техники. Я видел их и здесь, на горе, и на прокате, где они работали. Почти все длинные, очкастые, холодно-молчаливые.

Недавно у Перерушевых зашел об этих немцах разговор. Полина Сидоровна работала судомойкой в их столовой.

— Всякие среди них были, — вздохнула она, — и люди и нелюди. Коммунисты были, ничего о них не скажешь худого. Ничего. Но и фашист был. Молодой, белобрысый, носил черную куртку из кожи. Наденет куртку, глазами верть-верть — чисто ворон.

Мимо бараков, среди пятистенников Коммунального поселка, мы спустились легкой рысцой. Розвальни скользили сами, мы бежали обочь.

Вот дорога, уходящая горбато к пруду. Новая цепь холмов, куда чаще облепленная землянками, чем наши Сосновые горы. Надо перевалить эти холмы.

Дорожка посыпана каменноугольной золой, сани туго волокутся, скрежешут полозьями. Шучу ради бодрости:

— Толик, я сейчас язык на плечо вывалю на манер английского сеттера.

— А я, как Бобик, выпялю язык. На нижнюю губу и промеж клыков.

Колдунов тянет пятясь, запинается о кирпич и, охнув, валится на тропинку.

— Сынок! Ай упал?— слышится из тулупа.

— Побаловаться захотелось... Мамка! Ты на вид сухонькая, а весу в тебе о-го-го.

В приемном покое заводской больницы Матрену принял бородатый врач и отправил нас домой.

Глава тридцать вторая

В утреннем полумраке, торопясь на завтрак в столовую училища, я встретил Тольку.

— От мамки иду. Из больницы.

— Совсем не спал?

— Боялся — умрет. Живая! Ты когда вернешься? Надино пальто продать хотел вместе.

— Не смогу. После завтрака у нас «оборудование коксовых печей», потом пулемет будем собирать и готовиться к параду. Будем рубить строевым.

Вечером, едва сбросив шинель, я стремглав выскочил в коридор барака. В комнате Колдуновых накурено. Тимур Шумихин играет на гитаре, Саня жужжит на расческе. Колдунов пляшет «Цыганочку».

— Серега, сбцаем?

— Устал.

— Выпей, и спляшем. Еля, где бражка? Для Сереги оставлял. Ай, далá-да-дú. Ай... Серега, загнать пальто Еля мне помогла. Были с ней у мамы и у сеструхи.

Еля Додонова поднесла мне ковш белесой, с зеленоватым оттенком жидкости. Я пил и глядел на Елю поверх ковша, а когда ковш, поднимаясь, заслонил мой взгляд, Еля щелкнула по донцу.

Я допил, отмахнул от себя ковш и опять поглядел на Елю. Недавно ей исполнилось шестнадцать лет. Бабы говорили: «Ельку уж можно выдавать: все при ней».

Когда она хотела, чтобы кто-нибудь залюбовался ею, то начинала тарашить свои серые глаза. У другой бы выходило глупо, некрасиво, у нее — нет.

С тех пор, как я помнил Елю, она всегда была опасная и строгая. Пацаны, презиравшие девчонок, были вежливы с ней, будто никогда не дрались, не матерились, не грубили. Каждый пытался подарить Еле что-нибудь занятное, лакомое, завидное, но она не была падка на подарки.

К мальчишкам Еля относилась с подозрением. Мы и стояли этого. К тому же за ней неусыпно следила мать и частенько нашептывала что-то устрашающее.

В последнее время Еля резко и непонятно изменилась: так просто и доверчиво ведет себя, что робеешь и стыдишься взглядывать на нее.

— В честь чего веселье? Надю, что ль, собираются выпустить? — спросил я.

— Кабы,— сказал Колдунов.— Нет, у Сани Колыванова кислушка поспела... А правда, это ничего, что мы веселимся? Скажут: «Мать в больнице, сестра в капэээ, а они...»

— Могут сказать.

— Не умирать же с горя. А-ла-да-дуй-да-да.

— Ерунда,— сказал Тимур.— И на фронте люди веселятся. Убитых друзей жалко, а повеселиться хочется. Веселись! Не стесняйся!

Накинули на дверь крючок. Пели, танцевали. Били чечетку.

Сыроегина, пожилая многодетная женщина, считавшая себя очень правильной и по этой причине позволявшая себе ораторствовать в коридоре, разорвалась:

— Что за молодежь! Ни стыда, ни совести. Догрешитесь, хулюганы.

От Колдуновых я хотел идти спать, но Еля попросила одеться и выйти на крыльцо.

Ждала, притаившись в барачных сенцах. Засунула ладони в рукава моей шинели, молчала, потупившись. Я стоял и оробелый и злобный: то, что она вызвала меня, было прекрасной обескураживающей неожиданностью, а то, что грела руки в рукавах шинели, распалило мою ненависть к себе: я грязный человек (вспомнилась комната с двухъярусными кроватями) и поэтому недостойн того, чтобы вот такая девочка стояла со мной в сенях барака.

На улицу пробежал Колдунов. Идя обратно, стал звать к себе, умоляюще смотрел на Елю, грозил наболтать на нас.

Мы остались в сенях. Еля вздохнула, едва затихли в коридоре его шаги.

— Тебе не мешают мои руки?

— Нисколь.

— Ты не подумай: я ни с кем так не стояла.

— Конечно, ни с кем.

— Почему сердито?

— Я плохой.

— Не может быть. Другие мальчишки могут, а ты нет.

— Я не лучше. Лучше всех Костя Кукурузин.

— Костя сам по себе, ты сам по себе. Костя притом не совсем хороший, раз женился на гулящей. Гулящая кем угодно может стать. Шпион познакомится с ней и подкупит.

— Ничего у шпиона не выйдет. Нюрка гордая.

— Спесивая, не гордая. Была бы действительно гордая... Мой папа сказал дяде Авдею: «Для вашей дочки удовольствия дороже России».

— Но Костя ведь порвал с Нюркой. Он же Валю Соболевскую полюбил.

Почудилось — крадется кто-то. Еля заглянула в коридор.

— Так и знала. Подбирается. Брысь отсюда!

Быстрый топот. Хлопок двери. Звучный Елин смех.

— Подслеживает. На парня бы хоть походил. Шпингалет. Ух, ненавидела я мальчишек. И на девчонок сердчала. Не думала, что какой-нибудь мальчишка понравится.

Я опять вспомнил, как был с Лелькой. Закрылись от стыда глаза. Проклятье: от чего пытаешься избавиться, то самое и морочит тебя. А Еля еще засунула руки в мои рукава.

— Рано вставать на смену,— мучительно промолвил я.

— И мне тоже. Выспимся, успеем.

— И бабушка ждет. А то заснет, перебью первый сон, потом уж глаз не сомкнет.

- Зареву.
- Не надо. Не стою твоих слез.
- Не желаешь дружить?
- Желаю, но... я...
- Валя Соболевская?
- Угу.
- Уходи.
- Спасибо.
- Погоди. Завтра к Тольке заглянешь?
- Посмотрю.
- Не нужно. Я нарочно. Балуюсь. Ты же знаешь, как я люблю баловаться.

Вечером следующего дня Колдунов не пустил меня в свою комнату: открыл дверь, вспыхнул ушами — признак мстительного настроения — и закрылся на крючок.

Бабушка ворчала, когда я ложился на ватное одеяло, которым была закрыта кровать («И так одеяльчишко еле дышит»). Но я все-таки лег на неразобранную постель.

В дурном настроении я беру книгу и читаю. Сквозь то, что происходит в книге, или под воздействием ее страстей и мыслей я думаю о своем.

Я показался Еле лучшим среди наших ребят, а Тольку это ожесточило. Я рад, что Еля нравится ему. Так и должно быть. Еля должна нравиться всем. По-настоящему, и Толька тоже должен был быть рад, что Еля потянулась ко мне. Полюби она Тольку, я бы радовался за него: ведь это значило бы, что он будет счастливым и станет куда лучше, чем сейчас; и еще это значило бы, что мы не видели того доброго, что есть в Тольке, а Еля разглядела... А может, и я не радовался бы, а завидовал?

Так я лежал, путаясь в своих мыслях, когда неожиданно постучались и вошла к нам Еля. Тихо спросила, о чем я думаю. Я ответил. Еля задумалась, и тут же я понял, что она и сама размышляла о чем-то похожем. Мы стали поперебой говорить, с восторгом отмечая для себя, что сходимся во всем.

В тот вечер я сказал Еле, что хочу с ней дружить.

Глава тридцать третья

Колдунов перестал ходить в школу, но целыми днями не бывал дома: то навещал мать, то ждал возле милиции, когда Надю выведут на прогулку.

Однажды он постучал в нашу дверь воскресной ранью и вызвал меня в коридор.

— Сегодня сеструху судят. Просила прийти. Пойдешь — так минут через пятнадцать будь на крыльце. И Елю позови.

Он был насуспен, бубнил простуженным голосом, губы двигались рыхло — наверно, от усталости и обиды. Мне стало жалко Тольку, я обнял его. Он хмыкнул.

Небо нежно розовело. Облака походили на гусей. Горы, мягко синие со стороны тринадцатого участка, светились на макушках. Погода — только бы восторженно переглядываться с Елей. Погода — только бы прыгать по сугробам и валяться в снегу от радости. Погода — только бы плести веселую несусветицу, хохотать до колик, шляться там, куда приносят ноги. Но мы трое шли понуро.

Впереди говорливой стайкой семенили барачные мальчишки-голубятники. Вожаком у них Саня Колыванов. Позади шли бабы, все в бай-

ковых мышастых полупальто. Выше других на голову — Дарья Нечистая Половина и Полина Сидоровна. Синевато поблескивали очки Пелагеи Кокосовой, она одна, хотя и жалела Надю, была веселая, потому что ее сын Венка, сбитый в бою после окончания летного училища, лежал в госпитале и поправлялся. У нее давно не было сердечных приступов — то ли потому, что Венка остался жив, то ли потому, что начала и днем иногда отрываться от стежки бурок и отдыхать — получила деньги по лейтенантскому аттестату сына. Мать Тимура Шумихина, Татьяна Феофановна, втихомолку плакала, кутаясь в башкирскую шаль, — эту шаль Тимур выиграл прямо на вокзале, возле эшелона, на котором вместе с другими призывниками уезжал в Челябинск. Третий месяц от Тимура не было известий. Татьяна Феофановна предполагала, что из Тимура сейчас готовят где-нибудь в полковой школе младшего командира или, может, даже его послали учиться в школу разведчиков, потому как он всем взял: и здоровьем, и храбростью, и умом, и умением выкручиваться из любого положения — его сам черт не перехитрит.

Дарья и Полина Сидоровна разговаривали друг с дружкой. Я прислушался. Молвила с ершовской певучестью Полина Сидоровна:

— А мой не курил на покосе. Среди сенов ведь... Пырхнет из самокрутки махринка — и почнут они пластать, когда — не заметишь.

— Мой не остерегался. Только успеваешь, бывало, козьи ножки скручивать. Сам резать самосад не любил. Все я! Вовремя не нарежешь, с кнутом налетит. Ох и всосался он в эту махорку. Ночью вставал курить. Другой для ласки проснется. У этого на главном месте курево.

К их разговору поближе подтянулись и Фаина, и Пелагея Кокосова, и Татьяна Феофановна. Они редко сходились кучкой, наши матери, но, очутившись вместе, обыкновенно перво-наперво говорили о м у ж и к а х. К тому дню, когда мы шли в народный суд, их мужья, кроме Платона Мельчаева, пропавшего без вести, покоились на станичном кладбище за прудом. И женщины вспоминали каждая о своем уважительно и строго. То ли потому, что не принято в народе плохо говорить о мертвых, то ли потому, что от долгой вдовьей тоски они привыкли постоянно находить утешение в счастливых воспоминаниях о замужестве. Те женщины, мужья которых здравствовали, не осмеливались хулить своих: рассердишь товарок, начнут срамить: «Зарылись, как свиньи. Считали бы за счастье, что парой живете. Плохой мужичишка, да от дождя покрышка».

Савелий Никодимович Перерушев, перебравшись из Ершовки в Железнодорожск, устроился в цех подготовки составов. В этот цех ему помог определиться Петро Додонов. Перерушев красил изложницы меркло-темным вонючим кузбасс-лаком. Лак чадил — горячи грани изложниц. Как-то угоревший Перерушев остановился передохнуть близ еще огненного бракованного слитка, который в наклон был поставлен на землю. В тот самый момент на Железном хребте взорвали руду. Содроганьем почвы свалило слиток, и он упал на Перерушева.

Отец Тимура работал составителем поездов. Однажды оплошал, и его раздавило вагонными буферами.

Таранина послали на конный завод купить племенного жеребца. Уехал он в конце апреля по чуть подталому снегу, когда полозья легкой плетеной кошевки оставляли в снегу глицериново-светлый след. Ему очень хотелось, чтоб на нашем конном дворе был красивый, могучий производитель. Покамест Таранин добирался до конного завода и пока жил там — весна растопила снега, слизнула прудовый лед: пруд, хоть он и огромен, тает раньше, чем озера, потому что горячие промышленные воды не дают в мороз замерзнуть полностью и помогают солнечному таянию. Должно быть, Таранин сильно соскучился по Дарье и ребятиш-

кам и хотел скорей показать жеребца начальству, конюхам и золотарям. Поэтому он и рискнул сесть на паром.

Паром — помост на двух смоленых плоскодонных баржах — был довольно велик и лишь слегка проседал в воду, когда на него съезжал с пристани грузовик. Но в ту весну одна из барж протекала, и воду из нее качали ручной помпой.

Паромщик загнал на половину помоста, опирающуюся на протекавшую баржу, две трехтонки, гусеничный трактор и несколько башкирских таратаек. Когда прыткий сильный катерок оттащил паром от пристани, оттуда предупредили, что у посудины крен на правую сторону.

— Сойдет. — Паромщик беспечно отмахнулся от береговых криков. Вскоре крен стал заметен и на самом пароме. Шоферы, трактористы, повозочные и просто пассажиры яростно качали медную помпу. Крен становился все заметней.

Грузовикам и трактору некуда было сдать: плотно к ним стояли брички и огромные возы сена.

И когда люди зароптали, заметусились, заплакали, что паром вот-вот встанет на борт и все находящиеся на нем рухнут в глубокий пруд, на гусеничный трактор взобрался рыжий водитель, зло приказал своему помощнику отодвинуть четырехгранную дубовую перекладину и включил скорость.

Сначала паром чуть не запрокинулся, но потом, едва трактор ухнул в черные воды пруда, выровнялся.

Племенной жеребец, испуганный колебанием судна и женским воем, оборвал повод, которым был привязан к задку щегольской кошевки, махнул через паромный барьер и очутился среди волн. Вслед за конем метнулся в пруд человек. Это был Таранин. То ли он хотел направить жеребца к недалекому уж берегу, то ли боялся явиться на конный двор без красавца производителя, стоившего столько же, сколько стоили пять автомобилей, — неизвестно. И Таранин, и вороной конь утонули.

Давно наши барачные вдовы знали все друг о друге, но непременно всласть вспоминали о своей жизни парой: надежд выйти замуж не было (кто возьмет с такой оравой?) и не верилось, что могут ходить где-то по земле мужики, похожие на их покойных супругов, — «а других нам и задаром не надо».

К концу беседы любая из них говорила обычно одно и то же:

— Не обидно было бы, кабы своей смертью умерли.

— И чуток не пожили с полной душой.

— Смерть, она везде найдет, от нее никуда не скроешься. В пещеры прячься — сыщет. Кому что на роду написано, того не миновать. Смерть не обойдешь, не объедешь.

— Бабочки, мы гордиться можем: ни у которой из нас муж не был лиходеем.

Глава тридцать четвертая

Надиных подруг не было видно ни впереди мальчишек, ни позади женщин. Если они не придут на суд, Надя расстроится.

Мы шли вдоль линии высоковольтной передачи. Ночной ершистый куржак ярко мерцал на красной меди, кое-где отпадая от проводов.

Молчание тяготило нас. Болтать о том, что не касается Нади и Матрены Колдуновой, неудобно: обидишь Тольку. Я отметил:

— Идем, как патруль военной комендатуры: ровно, в ногу и брови сдвинуты.

— Одним букой меньше!— обрадованно сказала Еля.— Толя, теперь ты улыбнись.

— Сама идешь букой.

— Ничего не остается делать: мужчины молчат.

Ох и хитрая Еля! Просиял Толька.

— Как мама?

— Лежит пластом. Нельзя двигаться. Сердце срастается. Пролежит до весны.

— Ой-ей-ей... Я пятидневку гриппом прохворала, и то надоело лежать.

— Мамка выдюжит.

— Она у вас кремень. А Надя как?

— Чё Надя? За Надю все обхлопотал. Освободят если — я добился. Глядишь, и отблагодарит меня сеструха папкиным ремнем. Она может. В третьем классе меня оставили на второй год. Надька взяла ремень и не плоским — ребром отдубасила.

— Давно было и бываем проросло. Хорошее, Толя, не забывается.

— Хорошее не забывается? Сколь я из-за тебя шишек заработал. Сергей за тебя ни разу ни с кем не сцепился. И все-таки ты к нему... С ним дружишь.

— Лучше расскажи, где хлопотал за Надю.

— Где хлопотал, там след простыл.

— Толенька, славный...

Колдунов сызнова лицом зайчика пустил.

— К защитнику сколь раз ходил. Надя просила нанять Катрича.

— Толь, а ты разыскал Фрузу?

— А то нет!

— Что она скажет на суде?

— Правду.

— Превосходно.

— ...одно... одно.— Он зло передразнил меня.— Вам-то превосходно. Небось целовались. А мне не знай сколько пришлось реветь перед дверью этой самой Фрузы. Придешь — не застанешь дома. Застанешь дома — не пускает. С кавалером закроется. Ладно еще капитан помог.

— Какой?

— Погоди. Я заглянул в замочную скважину...

— И не совестно? — воскликнула Еля.

— Нет! — крикнул Колдунов, даже не повернувшись к ней.— Заглянул! На стуле китель висит. Я и завел: «Дяденька, мой брат тоже капитан и тоже танкист. Он бы нам с мамкой помог Надю вытащить, да он далеко. На фронте. Вы, дяденька танкист, в тылу, так вы помогите за него». Капитан оделся и впустил меня. Мы с танкистом и уговорили ее. Вам с Сергеем, конечно, превосходно было...

— Замолчи! — вспыхнула Еля и остановилась.— Еще раз заикнешься — повернусь и уйду. Бессовестный!

Колдунов промышал, пристыженный. Мы пошли быстрее.

Мостик через рудопромывочную канаву. Котельная. Мохнаты от инея железные растяжки воткнувшейся в небо трубы.

Колдунов бросился к ближней растяжке, ухватился за нее и начал подыматься вверх, подтягиваясь на руках и дрыгая ногами, обутыми в стеганые бурки с калошами.

Хлопья куржака осыпались на запрокинутое лицо, растапливались в струйки. Растяжка покачивалась, раскатисто каркала в месте соединения с трубой. Колдунов устал, ухватился ногами за растяжку, немного повисел, пополз дальше.

Растяжка состояла из длинных металлических прутков, на концах нарезанных плашками и свинченных с помощью вытянутых полуколец.

Едва Колдунов добрался до первого на его пути полукольца, к нам с Елей подошли бабы.

Дарья запричитала:

— Ах, батюшки, куда его несет. Расшибется, непутевый. И так горе в семье...— И своим грудным отвердевшим басом приказала:— Спускайся, нечиста ты половина.

Колдунов отцепился ногами от железа, повисел на руках под пугливые охи женщин, спрыгнул на кучу мелкого угля.

Когда он, торжествующий, обмахивал с бурок угольную пыль, Полина Сидоровна сказала:

— Без мужиков растут, бесы из них и получают.

— Гляди-кось какой...

— Храбрец... Давно ли без штанов бегал по бараку и, гляди-кось, уже выставляется перед народом,— сказала Татьяна Феофановна.— Мой Тимур игрок, зато уж не выставлялся. Не всякий умеет так себя вести.

— А что ж, вот и храбрец! — заявил Колдунов.— А кое-чи дружки только до ветру ходить не трусят.

Оскорбленная Еля шепнула мне:

— Покажи ты ему.

— Вот суд окончится хорошо, тогда его и отвалтужу.

— Дратья не нужно.

Я пропустил женщин вперед. Они оглянулись, когда каркнуло возле трубы; меня уж было не достать.

— Ну его,— возмущенно сказала Дарья.— Хочет сломать себе шею — пусть ломает.

— И правда,— поддакнула Шумихина.

Я поднимался между тем на руках. Железо леденило ладони, плохо прикрытые выношенной шерстью варежек. В глаза, ослепляя, осыпался иней. Я мог бы, как Толька, отдохнуть, зацепившись ногами, но решил не унижаться до этого довольно легкого муравьиного лазанья: поднимусь лишь на одних руках и обязательно до второго полукольца.

Показалось, что со смеженными веками двигаться легче: не отвлекаешься на промаргивание куржак.

Вот и полукольцо, которого достиг Колдунов. Красота! Правда, до ломоты нахолодали ладони и резко отдает в виски мышечная боль. Сорвусь или буду там, где второе полукольцо! Шаг. Перехватился. Еще шаг. Другой раз перехватился. Маловато силенки осталось, но дело идет. Потихоньку двигаюсь вверх. Невмоготу держаться. Почти ничего не чувствую ладонями. Лучше спрыгнуть, чем оборваться. Спрыгнешь — на ноги угодишь, оборвешься — можешь носом приземлиться.

Далеко ли второе полукольцо? Шевельнул веками — не раскрылись веки. Дурак! Смерзлись ресницы. Лучше бы промаргивал куржак. Как же теперь прыгать? Расшибусь.

Я повис на правой руке, стряхнул с левой варежку, размял ледок на ресницах и прыгнул.

Ступни я сильно отбил: долго провисел в воздухе, да и угодил на твердо притоптанный снег. Все-таки побежал, обогнал женщин и, чтобы не выслушивать упреки и насмешки, примкнул к ватаге Сани Колыванова.

Здание суда стояло у самого тротуара на полпути меж промтоварным магазином «Уралторг» и театром звукового кино «Магнит».

Здание это ничем бы не отличалось от барака, если бы не было построено углом. Его белили с синькой в небесно-голубой цвет. Издали оно казалось беспечно-милым, вблизи поражали решетки на окнах.

Летом с полудня до заката это здание, где, кроме суда, находилась еще и городская прокуратура, осеняли тополя. Прекрасны они были на солнце, особенно в те ослепительные дни, когда сшибались над городом горные и степные ветры, — листья походили тогда на качающиеся зеркала, и, когда кроны взметывало снизу вверх, тополя превращались в сполохи глянцевого белого света.

Эти судебные тополя были тогда еще в черте жилого квартала. С годами завод придвинулся к ним и отделил их от города крупнопанельной стеной. В утро перед судом тополя стояли чисты и бестрепетны, а солнце было красно, воздух хрустелен и тих.

Было обидно, что наши барачные бабы присмирели и кланялись, завидев судью — молодую черноглазую женщину. На тринадцатом участке говорили, что совсем недавно она работала мастером котельно-ремонтного цеха на производстве. Ее уважали за справедливость, и когда судья ушел на фронт, ее выдвинули в судьи.

Подъехала черная крытая машина, и выпрыгнувший из нее ефрейтор крикнул: «Отходи!» Бабы заплакали, когда со ступеньки машины скакнула на мостовую привезенная на суд Надя Колдунова. Тяжелей всего было видеть в это утро побледневшее лицо Нади с горькой улыбкой на губах.

Адвокат Катрич опоздал к началу судебного заседания. Он шумно распахнул двустворчатую дверь и пошел по узкому проходу между лавками, тяжело ухая при выдыхании. Он был огромен, гриваст. Хотя на всех лавках сидели и пол был массивный, зал отзывался дрожью на его шаги.

Возле Нади Колдуновой Катрич задержался. Надя стояла перед скамьей подсудимых, отвечая на вопросы гладко причесанной, пришепывающей Черноглазки — так Еля назвала судью. Черноглазка спросила Надю: «Национальность?» Как раз в этот момент появился в зале Катрич, и прежде чем пройти к своему столику, остановился возле Нади и неожиданно погладил ее по маслянисто поблескивающей голове.

— Не волнуйся, девочка.

После он сел за столик, грохнул на него портфель и, скрестив пальцы, кивнул головой: дескать, продолжайте, — хотя никто его позволения не ждал. Черноглазка ждала, покамест милиционер закроет створки двери, и тогда второй раз обратилась к Наде:

— Национальность?

Слабо прозвучал голос Нади:

— Русская.

— Девочка, — журиющим тоном промолвил Катрич и, повысив голос, словно оратор, говорящий с трибуны перед целым собранием, провозгласил: — Русский народ велик и могуч! Ты не шепчи. Ты громогласно: «Русская!»

Как и в тот миг, когда он шумно ворвался в зал, так и сейчас, когда заметил Наде, как она должна сказать «русская», Катрич не вызвал неодобрения ни у судьи с заседателями, ни у прокурора. Напротив, они смотрели на него, будто им гордясь: он был железнодольской знаменитостью.

Про него рассказывали, что он уже давно «выучился на адвоката», жил до войны чуть ли не в столице, принимал участие во многих процессах и часто «выигрывал дело». Кроме того, ни судья, ни прокурор, полу-

чившие юридические знания лишь на краткосрочных курсах, конечно, не могли сравниться с ним по части знания законов и процессуальных тонкостей.

Я впервые почувствовал тогда, что значит быть знаменитым. К нему восторженно относились не только те, кто знал о нем по изустным преданиям, но и те, кто лично с ним был знаком. Я предположил тогда, а сейчас уверен, что судья, прокурор и заседатели видели в Катриче не одни лишь достоинства — возможно, что им даже претила его и гра на публ и к у,— но тем не менее они глядели на него с нескрываемым восхищением.

Мы не столько наблюдали за ходом суда, сколько за тем, как Черноглазка, заседатели и прокурор следят за поведением Катрича. Нормально катится заседание — он сидит тихо; но как только кто-нибудь допустит промах, поторопится — он кхекнет, забарабанит пальцами, гулко сморкнется, и каждый раз тот, кто ошибся, сильно досадует на себя.

Барачные тревожно загудели, когда Черноглазка велела позвать из коридора свидетельницу Фрузу: все знали, что судьба Нади зависит от показаний этой девушки.

Зал загомонил, когда Фруза заявила:

— В милиции я неправильно показывала на Колдунову. Боялась, что выживет директорша из столовой. Я одумалась. Не могу губить Колдунову. Говорю по чистой совести: на кухне кончился грузинский чай, бригадир Колдунова заварила морковный и сказала директорше, чтобы она предупредила кассиршу.

— Товарищи судьи, вы слышите, а?!— воскликнул Катрич.— Из страха перед начальницей милая девушка чуть не пустила под откос судьбу подруги. И это в нашей стране. Милая девушка, больше никогда не берите за образец тех, кто разменивает совесть на зоологическую дрожь перед начальством, на рабское поклонение чинам. Я не удивлен, что вы наконец-то показали правду. Чистый, проникающий в душу взор судьи вернул вас на путь истины и добра. Ваша нынешняя правда — ваше искупление. И не называйте вашу подругу «бригадир Колдунова». Это жестко и ложь. Надя, Надежда Михайловна — вот как...

Еля шепнула мне:

— Странно говорит... Тут же хвалит и тут же издевается.

— За правду хвалит, за вранье колет.

— Точнее скажу,— не согласилась Еля,— рука об руку ласка и насмешка. И бесцеремонный. Захочет — ораторствует, даже не спросит разрешения у судьи. А ей, видно, неудобно останавливать: ведь пожилой человек и культурный...

Действительно, манера Катрича обращаться к человеку или говорить с ним и власть его нахального обаяния держались на сплаве высокопарности с иронией, лести с пренебрежением, и все подпирала уверенность, что он-то до ка, а «они» м е л к о п л а в а ю т, хотя и порядочные люди.

Я оглянулся на женщин. И Полина Сидоровна, и Дарья Нечистая Половина, и Фаина Мельчаева, и Шумихина, и Кокосова — все распахнули свои мышастые полупальто, скинули на спины шали и влажными от обожания глазами уставились на защитника.

Дарья не утерпела и, рискуя быть выведенной в коридор, пробормотала громкой скороговоркой:

— Ильно чурбаки секет, в самый расщеп рубит.

Черноглазка постучала карандашом по чернильному прибору, и в зале стихло.

Молодой светловолосый прокурор, всего лишь месяца три как выпитый из госпиталя, офицер, никогда не думавший о юридической работе, что-то неуклюже записывал левой рукой: вместо правой руки у него

был протез. Прокурор стеснялся — впалые щеки его то и дело прожигало румянцем. Наверно, из-за этого он не стал задавать вопросов Фрузе, и Черноглазка вызвала другую свидетельницу.

Милиционер пригласил из коридора директоршу.

Директорша, как и Фруза, крепко надушилась, но одета была гораздо богаче: длинное, черного бостона пальто, воротник из чернубурки, подол тоже в лисьей оторочке.

Подлая она, директорша. И дура. Как на блюдечке видно.

Прокурор, с разрешения судьи, хотел что-то спросить у директорши, но Катрич движением пальца попросил его чуть-чуть помолчать, и тот готовно опустил лобастую голову.

— Простите, душенька,— то есть я хотел сказать «свидетельница». Я далек от мысли сомневаться в вашей чистосердечности, но ход судебного следствия обязывает. Раньше вы показали, что подсудимая Колдунова попала с поличным...

— Да, да, я досконально обрисовала.

— А вот первая свидетельница обрисовала иную картину.

— Ей пригрозили, а может, и подкупили.

— Не нужно столь легкодумно бросать тяжелые обвинения. Вы, судя по положению, глубокомысленная дама. И удивительно, что торопитесь...

— Товарищ адвокат,— крикнула Фруза, открыв дверь из коридора, где ей велела подождать Черноглазка,— пусть она срамит меня. Это ничего, лишь бы правда победила. Я своими ушами слышала...

— Ничего ты не слышала. Я без тебя заходила.

Милиционер закрыл дверь.

— Так вы все-таки заходили до обеда на кухню?

— По-моему, я говорила.

— Нет.

— Значит, упустила из виду.

— И не упустили из виду. На предварительном следствии вы показали, что в тот злополучный день совсем не заходили на кухню. Товарищ судья, мне хотелось бы уточнить, что записано в протоколе допроса на предварительном следствии.

— Не надо,— потерянно попросила директорша.— Я действительно заходила на кухню, но не разговаривала с Колдуновой. Я боялась, что суд подумает, будто повариха говорила мне насчет чая.

— Зря, душенька, не доверяете суду. Перед вами судьи, совершенно не страдающие подозрительностью,— возмутился Катрич.

— Так какому же вашему показанию верить?— возмутился и прокурор.

— Гражданин прокурор...

— Только без эмоций. Отвечайте.

— Заходила на кухню, но ни единым словом не обмолвилась с Надеждой Михайловной.

— Вы так резко настаиваете на том, что ни слова не сказали моей подзащитной, что перестаете вам верить. С какой же вы другой целью заходили на кухню?

— Руководишь... Наблюдаешь... Зашла посмотреть, что делается. Посмотрела. Ушла.

— Так-таки ничего не спросив, ушли? Хорошо же вы работаете.

— Я не хотела заступать директором... Меня...

— Нас это не интересует,— гневно сказал прокурор и сжал кисть протезной руки.— Вопрос поставлен предельно четко. Отвечайте. При чем не забывайте, что кодексом предусмотрена ответственность за дачу ложных показаний...

— Не грозите, — вспыхнула директорша. — Что было, про то сказала. Досадливое «ах» вырвалось у Катрича, и жестом возмущения он открыл крышку портфеля.

Лицо прокурора налилось кровью. Я понял, что он не вовремя напомнил директорше о статье, карающей за ложные показания.

На несколько минут сникли, замолкли и прокурор (от стыда) и Катрич. Допрашивать директоршу принялась молчаливая Черноглазка. Директорша разобиженно отвечала, хлюпала носом, воткнувшим в пышный мех.

На Черноглазку и заседателей не производил рассчитанного воздействия тихий плач директорши: на их лицах отражалось решенное отношение к этой свидетельнице.

Когда Черноглазка прочитала нараспев и чуть-чуть пришепывая, что суд постановил выпустить Надю из-под стражи и оправдать, я радостно притиснул к себе Елю, а она тоненько засмеялась. Но тут же мы опомнились, и я убрал с плеча вольную руку, а Еля стыдливо потупилась.

Дарья перекрестилась, с великим облегчением выдохнула:

— Слава богу!

Сердечница Кокосова, прижимая ладони к груди, села на лавочку.

— Не защитник — уpekли бы девчонку, — сказала Полина Сидорова.

— Фрузина заслуга, — возразила Дарья.

Едва Черноглазка положила бумаги в папку, Колдунов кинулся к сестре, припал к ее груди, заревел. Слезы посыпались из глаз Нади, но, плача, она улыбалась, ласково ероша иглистые, русые, с золотинкой волосы брата.

— Ну что ты, малышка? Стосковался? Я сама до смерти истосковалась.

Круто наклонив голову, Катрич внимательно глядел на Колдуновых. В его крупном лице с мясистым, слегка приплюснутым носом, в гриве волнистых волос, в жировом холме на стыке шеи и спины улавливалось сходство с бизоном.

Черноглазка, покинутая заседателями, тоже глядела на брата и сестру. В ее глазах было сострадание.

Глава тридцать пятая

Мы катались с горы на лыжах, радуясь своим прыжкам с яра на лед рудопромывочной канавы.

В тот памятный день мы, как всегда, катались вчетвером: Саня Колыванов, Лелеса Машкевич, Колдунов и я. На гору мы всходили неприятко: бил лобовой ветер, задевал по щекам, будто наждачной шкуркой. Путь был обычен: маяк, колючая, под током, изгородь полигона, край обрыва и твердый снег над красно-желтым льдом рудопромывочной канавы.

Я первый поехал по запорошенной лыжне, стремительно набирал разгон. Увидел вдалеке над металлургическим комбинатом крахмально-белое облако. Каждодневно, кроме воскресенья, на моих глазах вертелись такие же вот блистающе-нежные облака, осыпающиеся то градинками, то радужной моросью на угольные турмы, на гвардию домен, на каменный куб воздуходувки.

После прыжка лыжи плотно щелкнули о снег, и я помчался по ущелью. Мои лыжи-коротышки встали торчком; на карельских лыжах,

которые недавно продала бабушка, я бы устоял — они были двухметровыми... Поднялся и услышал свист. Колдунов летел над ущельем и свистел, прося освободить дорогу. Я отскочил к стене обрыва, и Колдунов пронесся ветром мимо меня. Вслед за ним, запахнув на лету фуфайку, приземлился Саня.

Лелесю пришлось ждать. Но и он прыгнул с обрыва. Перед самой посадкой он разъединил скрестившиеся лыжи и удачно стукнулся на наст.

Подъезжая к нам, Лелеся сказал:

— Хлопцы, человек ползает.

— Где?

— На тропинке.

— Заливай... — не поверил Колдунов.

— Честно.

— Я б увидел с горы.

— Не всегда же ты все видишь.

— Я? Из наших ребят у меня самые большие глаза...

— Кто ползает? — прервал Саня Колыванов.

— Не знаю.

— Ну, тогда пошли, Лелеся. Пошли, Саня.

Я, Лелеся, Саня побежали по дну ущелья. Обрывы пестрели разноцветной глиной.

Удивительно, как уживаются в человеке такие чувства. Колдунов дорожит только своей матерью и сестрой Надей, а ко всем остальным людям, даже к нам, близким товарищам, нет у него ни сострадания, ни уважения.

Человек, которого Лелеся заметил с горы, ползал неподалеку от крутояра. Видно, хотел взойти по ступенькам, вырезанным в глине, но упал и скатился на берег — ноги не слушались, да и ступеньки обледенели... Зачем-то снял ботинки. Наверно, попытался оттереть ноги и не оттер, а только обморозил руки.

Он ползал вокруг своих ботинок. Руки и ноги были белы. Портянки — их шевелила поземка — валялись на тропе. По этой тропе, начинавшейся от барачных общежитий на том берегу пруда (километров пять отсюда), он и дошел до крутояра. Куда его несло в такой мороз? Да еще в бумажных портянках и расплзающихся ботинках? Сидел бы в общежитии возле печки.

Ему было лет двадцать пять, и похож он был на казаха.

— Малшики, малшики... — В сиплом, дрожащем голосе слышалась надежда на спасение. — Малшики, деньга дам... На карман.

Мы бросили лыжи. Перевернули его на спину. Стали тереть снегом ноги. Никак не проступала на них обнадеживающая краснота.

— Бессмысленно, — сказал Лелеся. — Не ототрем на холоде. И сами обморозимся.

Связали лыжи. Взвалили его на них. Я быстро сообразил, что катить такого здорового дядьку будет страшно трудно: толкать можно лишь с боков и низко наклонясь. Вот бы сейчас лыжи Колдунова: широки, длинные, прочны, притом в их высоко загнутых носках просверлено по дырке.

Я бросился к ущелью. Колдунов стоял на выходе из него. Повезло! А я уже думал, что придется за ним бежать до водопада. Я толкнул Колдунова в плечо. Верткий, как кошка, он успел упасть на руки. Это связало его. Покамест я, навалясь на его ноги, расстегивал крепления, он корячился, отрывая грудь от наста. Наверно, он все-таки ушибся.

Между лыжами Колдунова положили лыжи Сани Колыванова — тоже длинные. Связали обе пары. Саня и я вцепились в фуфайку под мышками лежащего на спине казаха, Лелеса придерживал его ноги.

Тяжел! Мы скользили по лестничной наледи, скатывались вниз, отдыхали. Он тревожился, что бросим его.

— Малшики, денъга дам на карман.

Мы молчали. Саня натянул на руки мужчины рукавицы зеличиной в штык лопаты. Колдунов продел в носы лыж тонкий сыромятный ремень, а кончики завязал узлом. Лелеса обмотал своим широким вязаным шарфом его ноги. Я притащил пласт толя, поверх положили казаха.

С пруда по пути к тринадцатому участку был крутой спуск в глубокий ров. На покатою краю рва я и Колдунов, натянув сыромятный ремень, встали с боков. На всякий случай нацелили лыжи правой железно-дорожного тупика: поперек колеи — штабель шпал с двумя жестяными фонарями.

Хотя мы яростно тянули на себя ремень, нас поволокло и расшвыряло по склону.

Молодчина Колдунов! Не выпустил из кулака сыромятный ремень, а то бы казах мог убиться о шпалы. Лежа неподалеку от штабеля с фонарями, он копошился, что-то страдальчески бормоча. Наверно, решил, что уж теперь-то мы бросим его: мол, хватит с нас падать, надрываться.

— Меня не надо оставить. Денъга дам.

Я разозлился. Нелюди мы, что ли, чтобы кинуть тебя? Вслух сказал ожесточенно:

— Всем дашь?

— По сколько? — врезался в разговор Колдунов.

— Правда, по сколько? — спросил и Саня.

— Замолчите! — крикнул Лелеса.

Колдунов шибанул Лелесю плечом.

— Еще строит из себя Исусика. Зачем нам тащить задаром вон какого бугая? Гроши у него есть.

На шее Колдунова надулись вены. Я вырвал у него ремень. Подтянул лыжи на ровное место. И что он за человек? То веселый, добрый, уступчивый, то взъерепенится и может целый месяц вести себя мстительно, нахально, драчливо...

Вечерний воздух синел, а в нашем тридцатишестикомнатном бараке еще не горели лампочки. Невелик электрический паек военного времени! Перерасход тока — провода обрежут.

Мы посадили казаха на санки под лампочкой, она висела посреди коридора на толстом от извести шнуре.

Притащили газ снега. Саня с Лелесей оттирали руки, я и Колдунов — ноги.

В коридор выскакивала детвора, за нею, набросив на плечи платки или фуфайки, выходили женщины.

Дарья Нечистая Половина помяла пальцами снег.

— Ых вы, без соображения... Кожу парню снесете.

Она принесла мелкого, как мука, снега.

— Вдругорядь брать станете, поглубже в сугроб задевайте, пуховенький! Дай-ко, Толя, смену тебя. Шибко усердно ты. Легонечко надо — вишь, парню больно. Дай-ко.

— Сам.

Меня удивил обидчиво-злой ответ Колдунова. Но, едва взглянув на его лицо с помидорным накалом щек, понял, что и он, как Лелеса, Саня и я, проникся состраданием к человеку, который стонал и просил теперь об одном — дать ему умереть.

— Тетя Дарья, меня смените,— сказал я.

Она встала на колени, оглаживала огромную твердую стопу. Снег подавал пятилетний Коля. Как всегда зимой, в барачном коридоре был холодище. Дарья просила Колю, одетого лишь в белую рубашонку да валенки, уйти домой, но он только улыбался, держа наготове снег.

Учительница начальных классов Наталья Георгиевна, стоя возле своей комнаты, долго наблюдала, как мы стараемся, и внезапно проговорила:

— Ему впору сосны с корнем вырывать, а он, нате вам, обморозился. У ребятишек хоть бы у кого мизинчик прихватило, а этот... великан ведь! Бывают же великаны...

За Натальей Георгиевной захлопнулась дверь. С потолка посыпались ошметки извести.

Она часто голодала со своей дочуркой, зарплата маленькая, скудный паек.

Я сочувствовал Наталье Георгиевне: ей предлагали сытную работу в столовой, но она наотрез отказалась оставить школу. Но тут я вдруг так вознегодовал, что готов был закричать: «Чего зря говорить?» Каким-то чудом все-таки сдержался и только про себя костил Наталью Георгиевну лютыми ругательствами.

Барачные печи топили пыльно-мелким бурым углем; получали его по талонам коммунально-бытового управления — КБУ. Перед засыпкой в печь пыльно-мелкий уголь намокро поливали. Он медленно разгорался, зато, запылав, долго гудел лохматым огнем — сырой уголь спаивался в единый красный кус. Должно быть, за полчаса до нашего прихода Дарья завалила в барабанную печь ведро смоченного угля. Он тлел, тлел, да и запылал. Из дырок внутренней дверцы барабана высовывались в коридор котки пламени; сама дверца, раскаляясь, становилась арбузно-алой.

Поначалу, когда казах увидел огонь, нам показалось, что он рехнулся. Он умоляюще мычал, не сводя горячечных глаз с дырок в чугунной створке.

— Тетя, малшишки, пусти печь... А-а-а. Миня типла надо. Типла нет — пропал.

Мы знали — к печи ему нельзя, и хмуро молчали, но нам было очень горько, что не можем посадить его к огню. Он хотел вскочить и тут же, едва привстав, сел на санки. Зажмурился, закачался от боли и снова, волнуясь, тянулся к печи.

Я подошел к барабану, закрыл и крепко-накрепко привинтил к чугунной раме наружную, без отверстий, дверцу. Он зарыдал.

Тут-то мы и узнали, как велики его деньги. Плача, он просил меня забрать из внутреннего кармана фуфайки, застегнутого на булавку, сто рублей, но только посадить к печи...

— Трите, ребятики, без остановки,— сказала Фаина Мельчаева.— Одного так же угораздило... Вовремя не оттерли — руки-ноги отняли. Теперь с ложечки кормят. Трите.

Мы попеременно бегали за снегом и не уступали своих мест женщинам, кроме Дарьи Нечистой Половины.

Начала наливать малиновостью левая рука, мы торжествовали. Вскоре опять погрузнели: правая рука и ноги никак не отходили. По-видимому, не будет пользы от наших усилий и все закончится ампутацией? А мы так уже устали.

— Может, поздно? — не без надежды спросил я Фаину.

— Пустое, — ответила за нее Дарья. — Самогону бы сейчас! Первача самого! Натерли бы парня — мигом бы зардел.

Возле Дарьи мялся Коля, так и не пошедший в комнату, и удивленно смотрел на казаха. Он-то, Коля, привычный бегать по снегу босиком, никогда не обморозивался.

Подходили малыши и взрослые. Глазели, перешептывались, толкались. Некоторые из них, едва взглянув, исчезали с постно-безразличными лицами. Фаина Мельчаева тоже скрылась в комнате. Я чуть не заревел от обиды. Но через минуту Фаина вышла в коридор, держа перед грудью четвертинку с прозрачной жидкостью. Пшеничная, что ли? Откуда? Пшеничной не бывает в магазинах: все свекольная, мутноватая, с никотиновым оттенком — буряковка.

Фаина протиснулась к нам, присела на корточки.

— Вадька гостинец прислал с фронта. Спирт. Мол, папка когда объявится, разведете и выпьете на радостях. Что беречь? Вернется Платон — найдем, что выпить.

— Вот это по-моему! — сказала Дарья. — В беде человек — все отдам. Разве что крестик нательный — мамин подарок — пожалею.

— Ну-ка, Сереж, подставь варежку.

Едва из горлышка четвертинки полилось на варежку, казах вымолвил:

— Са-па-сибо, тетя. Деньга на карман возьми.

Мы заулыбались: каждому, кто пожалеет, он сулит деньги. Дарья печально покачала головой. Мелет и сам не знает чего. Перестал бы трясти сотенной бумажкой. И то бы сообразил: литр сивухи стоит на рынке две тысячи пятьсот рублей.

Не помню, тогда ли, позже ли я понял душу нашего барака: он носил черные и серые одежды, считал великим лакомством кружок колбасы, кусок селедки и ломоть ржаного хлеба, политого водой и посыпанного толченым сахаром, но никогда не измерял деньгами человеческие поступки.

Спирт заметно убывал из четвертинки, зато ноги и правую руку казаха начала покидать жуткая молочная белизна и на смену ей проступал малиновый оттенок. Вскоре он растворился в знойно-густой красноте.

Казах уже не стонал. Блаженно улыбаясь, он смотрел на свои спасенные руки-ноги. У всех, кто наблюдал за ним, лица озарялись счастливой ласковостью; такое выражение бывает на лицах людей, вышедших после тяжелого сна в теплынь утра с солнцем, россыпями росы, с криком горлана-петуха.

Саня Кольванов достал из пачки папиросу «прибой» и прятал ее в рукаве фуфайки, стесняясь закурить при женщинах. Когда он в счастливом состоянии — выиграет ли голубей, осадит ли чужака, сделает ли кому-нибудь что-то доброе, — он всегда сладко затягивается махорочным или папиросным дымом, растроганно вертит выпуклыми глазами. Я шепнул ему, чтоб он не боялся и закуривал, но он только двинул бровями в сторону женщин и сглотнул слюну.

Лелеса скатывал рулончиком теплый шарф. Как разахалась Фаня Айзиковна, увидев сына голошеим!

Радостный Колдунов рассказывал Фаине Мельчаевой, как мы добрали обмороженного. Конечно, он не упомянул о том, как вел себя, узнав от Лелеси, что на прибрежном льду ползает человек.

— Сейчас бы парню шерстяные носки, — вздохнула Дарья. — Мой муж тоже крупный был. Лапищи во! — Отмерила чуть ли не полметра. — До прошлой зимы лежали мужиковы шерстяные носки. Распустила на варежки детям. Может, у кого найдутся носки?

— Нет, — сказала Фаина Мельчаева, заматывая постиранные руки в концы головного платка.

Женщины завели казаха в комнату Дарьи Нечистой Половины. Там стащили с него янтарно-рыжий треух и фуфайку. В комнату набилось великое множество мальчишек и девчонок, однако Дарья выдворила всех в коридор, кроме Сани, Колдунова, Лелеси и меня. Спирт закрывал донце четвертинки на палец. Фаина развела спирт водой, слила в жестяную кружку, заставила казаха выпить. Он задохнулся и долго кашлял. Потом захмелел. Виновато-благодарно вглядывался в лица присутствующих. Вдумчиво осматривал комнатное убранство: тощие кровати, лавку, умывальник, отштампованный из красной меди, грубо сколоченный табурет, ядовито-синий от кобальтовой краски стол. Вероятно, он пытался постичь это несоответствие между обстановкой жилища и заботливостью многодетной женщины, обежавшей все барачные комнаты в поисках еды для него.

Он съел печенные в поддувале картофелины, вяленого карасика, половник салмы — кругляков теста, сваренных в воде, — вычерпал ложечкой и выскреб хлебной коркой граненый стакан розового кислого молока. Фаина Мельчаева, склонившись над печью, кусала сахарными щипцами плитку закаменелого черного чая, и крупинки падали в парящий кра-тер эмалированного кофейника.

Казах показывал на плитку чая и прищелкивал языком.

— Уж знаем, чё вы любите. Вы бы все чай дули, а наши все бы глушили водочку. Зовут-то как?

— Тахави.

— Мудрено. Забуду. А как по-нашему?

— Ти-ма.

— Тимка? Хорошо! Так куда тебя, Тимка, в такой мороз несло? Да в эдакую погоду волк из логова носа не высунет.

— Миня друг шел. Друга ночевал, завтра вместе работу бежал.

— Не из-за работы, поди, шел, чтобы вместе на нее идти? Покушать у друга надеялся? Так?

— Ага, тетя. Карточки миня тащили. Хлебный карточки.

— Продал, поди?

— Тащили.

— Ах, беда с вами. Жил ты, Тимка, небось у себя в жарких краях, как туз.

— Миня арыки рыл.

— А сейчас где работаешь?

— Домна... Пути...

— А, пути возле домен в порядке держите. Работенка не сахар. Ну да на войне еще хуже. Да чё ж ты, голова садовая, жизнь не берегешь? И карточки потерял или там продал, и в плохих обутках по крещенскому морозу поперся? Посмотри, ботинки-то твои чуть дышат. И в одних тонюсеньких портяночках... Голова! А так ты, Тимофей, видный из себя мужчина. Почто не на фронт взяли, а в трудовую?

— Из-за угла кривым ружьем стрелять? — съязвил Колдунов.

— Стоишь, дак стой. — Дарья строго взглянула на него. — Или выдь из квартиры. Тима, ты не обращай... Он еще сопляк. Про что я тебя спросила?

— Миня верблюдов падал. Спина ломал. Два года больница...

— Ясно, Тима. Беречься тебе надо. С морозами не шуткуй. Россия! Воробышки вон — выпорхнули из гнезда и хлопаются в снег.

Железнодорожск обслуживало всего несколько карет «скорой помощи», приезжали они в особо тяжелых случаях: расход горючего был строго ограничен. Послали мальчишек в милицию. Пока втолковывали им, что надо сказать оперуполномоченному, да пока они ходили, Тахави в досталь напился чаю.

На вызов явился сам оперуполномоченный Порваткин. Его сопровождал рослый младший сержант Хабиуллин. У обоих был вид людей, привыкших вести себя по-хозяйски в любом жилище тринадцатого участка и в какое им угодно время дня и ночи.

— Где здесь жареный-пареный? — бравым голосом спросил Порваткин, уставясь на Тахави, разомлевшего от тепла, сытости и женского внимания. — Надевай, джалдас, меха. И пойдем. Смотрю, загостился у баб, как медведь в малиннике.

Пальцы рук плохо слушались казаха — с трудом завязал тесемки треуха. Портянки ему накручивали и ботинки натягивали Саня и я.

Полностью одетый, Тахави вспомнил о деньгах, попытался засунуть руку под фуфайку. Дарья Нечистая Половина засмеялась:

— Подь ты к лешему, беспонятливый. Заладил: «Деньга, деньга». Завтра хлеб не на что будет выкупить. Пригодится тебе твоя сотенная. Шагай с богом и с товарищем Порваткиным.

У Тахави подгибались и дрожали ноги: было больно стоять. Порваткин и Хабиуллин повели его, взяв под мышки.

Когда спускались с крыльца, Тахави оглянулся на провожающих его женщин и детвору, но Порваткин приказал ему не вертеть башкой, и тот, ступая, как водолаз в свинцовых башмаках, пошел дальше.

Милицioneры довели Тахави до водоколонки и почему-то вздумали бежать с ним. Либо захотелось поразмяться, либо решили, что, медленно шагая, он снова обморозится. Едва ноги Тахави поволоклись по льду, мы прыгнули с крыльца, припустились за Порваткиным и Хабиуллиным, взахлест обкладывая их злыми ругательствами. Милицioneры остановились, поставили Тахави на подгибающиеся ноги и опять повели тихо и мерно.

Лелеса, Саня, Колдунов и я стояли плечом к плечу.

Снег сухо скрипел под обувками бегущих в ночную смену заводских рабочих. То сжимались, то расширялись вокруг луны радужные кольца.

Глава тридцать шестая

День был белый от снегов и солнечного мороза. От деревни вниз, к наглухо замерзшей реке, мерцала дорожка. Я скатывался по ней на санках, жмурясь от веселого страха и стеклянного света. Мать стояла на краю обрыва, под осокорем и, когда я, волоча санки, наверно, в сотый раз взошел к дереву, сказала с надеждой:

— Скоро жаворонков встречать.

Мне хотелось, чтобы он длился вечно, этот день, а ей почему-то надоела зима. Перед сном я вспомнил, как мать сказала о жаворонках, и отчего-то захолонуло в груди и затосковалось.

Через короткое время, когда вытаяли из-под сугробов холмы вокруг Ершовки и трава взялась пропарывать свалывшийся старник, мать напекла поутру пшеничных жаворонков, нарядилась, как на свадьбу, и повела меня за околицу. Мы бегали по волглой земле, держа над собой хлебных птичек, кричали-пели, что радуемся жаворонкам, ищем и не находим их в вышине, но зато слышим, как они звенят в свои золотые бубенчики.

С той поры из зимы в зиму, едва повеет от снегов подталостью, я жду весен. Правда, до тысяча девятьсот сорок третьего перевального года войны я ждал их без такого жадного желания перепрыгнуть через апрельские бураны, последние заморозки, через разливы — прямо на

околобарачные поляны, где греется старость и скачет, играя в «замри», детство, в овраги с ящерицами и необклеванным шиповником, к озерам, еще студеным и мутным, на которых разве что поймашешь ерша, да и то на скудную ушницу, но у которых охота топтаться хотя бы из-за того, что щемяще отраднo видеть набегн ветра на линзовую гладь и выпуклость вод. А тут напало такое нетерпение, что мне в буран грезилось, как на Сосновых горах нежатся под солнцем мальчишки с нашего участка, с восьмого, одиннадцатого, с Коммунального и думать не думают о захвате гор; как по луговому поймам бродят толпы людей, рвут и едят щавель, называемый у нас кисляткой, и лук-слезун, плоскоперый, сочный, жгучесладкий; как отец Кости Кукурузина идет берегом заводского пруда, стреляет из бьющей кучно «ижевки» по чайкам-мартышкам, а они не убывают, все летят откуда-то и летят. В этих грезах я видел и себя: бултыхался в солнце, ел неприедающийся слезун, посылая его крупинками бурой соли, пек в песке чаек, обмазанных рудопромывочной глиной. И когда тепло осадило за день снега, я почувствовал себя так, будто должен был умереть, но по случайности спасся и бродил, как хмельной, повторяя себе: «Неужели дожили до весны? А ведь дожили!»

Прошлая зима казалась длиннее всей моей жизни.

Голодней еще не бывало. Почти не выдавали по карточкам ни круп, ни жиров, ни мяса, ни сахара. Ели картошку, кто запасся. К февралю в подполах у многих не осталось и клубня. Тощали. Пухли. С завода протаскивали колотый бочковый вар, жевали его, лишь на ночь вынимая изo рта черную блестящую щелкучую жвачку.

Умерли запахи в бараке. Выйдет бабушка в коридор, постоит, нюхая воздух, вернется обратно: живым, скажет, не пахнет. И если вдруг из какой-то комнаты заблагоухает луком, поджариваемым на хлопковом масле, или по коридору растечется аромат жаркого, начнут отворяться двери, чтобы ловить, позабыв о береженем тепле, — откуда изливается чудо?

Петро Додонов, отдохавший дома после больницы, вспоминал о мартеновской столовой, где обычно кормился, как о самом изобильном месте на земле. Хотя у него была девятисотграммовая хлебная карточка, выдаваемая только рабочим горячих специальностей, и хотя ему было предписано врачами есть калорийную, витаминизированную пищу, он голодал. Его жена Фекла, Еля да две последние дочери — Валя и Нина, родившиеся накануне войны (гнал на счастливо до сына, но не повезло), — получали иждивенческие триста граммов хлеба. Пацанки все жоркие — отрывает Петро от себя еду, отдает им, а они всё не сыты. И Катя объедает, несмотря на то, что харчится в ремесленном училище. Отощал Петро, но не унывает да подсмеивается над собой:

— По мне, уборные пора заколотить.

— Хватит тебе, отец, шутки шутковать, — ласково шеригся Фекла.

Она сама отошала не меньше Петра, но свету в душе хватает и на заботу о семье, и на барачных страстотерпцев (чем-нибудь да наделит), и на пришлых бедолаг, и на смех с улыбкой. Иная одинокая женщина нет-нет и позавиствует Фекле: «Чего ей не жить? За мужем, как за каменной стеной!..» А у Феклы ни дня, ни ночи без заботы. Во сне и то думает, как девчонок обуть-одеть, похлебку спроворить или напечь драников.

Непомерной, неизмеримой длины зима! Голодно. Да зато мы хоть не под пулями, не под бомбами и больше в помещении, чем на холоде.

Костя Кукурузин писал с фронта: «Спасу нет, как я здесь промерзая. Доведется вернуться, так, пожалуй, летом тулуп буди носить».

Беспокойно было думать, как они там, наши? Одолевала

тревога из-за медленности войны («Если еще несколько лет протянется, вконец откажем»). И все-таки над этими переживаниями, неизбежными для той тяжелой поры, главенствовало чувство, что для нашего народа, как говорили в городе, перешла перевалка: самое трудное позади, мы тесним своего заклятого врага, и теперь уж, как бы он ни сопротивлялся, будем неотвратно теснить, пока не добьем окончательно.

Ожидание весны — как ожидание спасенья. Всеобщего и своего.

Едва схлынуло половодье, потянулись за город люди — на огороды и живнью. Слабые промышляли по окраинам, кто покрепче — брели дальше.

Моя бабушка ходила вместе с Матреной Колдуновой и Феклой. Бабушка все дивилась Матрене: «Сердце лопнуло, а возьми ее за рупь двадцать, окостыжилась. Ни в чем от меня и Феклы не отстают». Они копали по копаному. Возвращаясь, сваливали на листы жести, настеленные напротив печных дверок, заплечные мешки с промерзлой картошкой, свеклой, репой. Спины их полупальто были мокры и в слизи, просочившейся сквозь холстину. Дарья Таранина и Полина Перерушева, обе шагистые, приносили колоски. И овощи и зерно сушили в духовках, толкли на муку.

На майские праздники Дарья Нечистая Половина взяла Колю и поехала на трудовом поезде. Чтобы собрать Колю, ей пришлось обойти барак: всего-навсего у мальчонки и было, что ситцевая рубашка. Поехала наобум. Сойдет где-нибудь на остановке и подастся по деревням собирать милостыню — в деревне еще подают, притом Коля с ней. Мордашка красивенькая, глаза синие. Скупая хозяйка и та подаст. Уехали они на рассвете, к полуночи уже обернулись. В торбе пуда два пшеничных колосков. Повезло! Сошли с поезда наобум Лазаря, подались первой попавшейся дорогой. А там — поле, суслоны, пшеница лежит вповал, почти нетронутая — правда, редкая. Должно быть, только начали косить — и упал снег, да так и не растаял. Иль рабочих рук не хватало. Покуда брали с Колей колоски — никто не проехал. «Бросовое, подика, поле, потому объездчик не следит. Иль его нет, объездчика. Выбрали на фронт мужчин».

Разожгла она Додоновых своей легкой удачей. Собрались они втроем по колоски: Петро, Фекла, Еля. Подался с ними и я, но не за колосками — на охоту. Ружьем и патронами меня снабдил Владимир Фаддеевич Кукурузин.

Над вокзальным многопутьем волоклась мгlistая сырость. Поезд тускло и зябко смотрел из нее. Настроились мерзнуть, но едва зашли в вагон, бодро загалдели: докрасна накаленное круглое железо печки-саламандры освещало вагон. Фекла сразу приникла к окну, вполношенно и восторженно призывала мужа взглянуть на семафор, на спускавший пары большеколесный паровоз, на элеватор, хотя Петро сидел рядом и тоже глядел в окно.

— Чего, мать, шумишь? Эка невидаль...

— Молчи. Пропустишь.

И Фекла оборачивалась — проверить, глядит ли Петро. Он успевал соорудить безразличную физиономию. Фекла тузила его локтем, забыв, что он недавно из больницы, и не соображая того, что удары могут отдаваться ему в еще не зажившую грудь и спину.

Мне нравилось и девчоночье-дикарское ликование Феклы, и дразнящее притворство Петра. Я хмыкнул и тоже получил локоть в бок от Ели: Еля стыдилась материнской восторженности.

Поезд огибал Железный хребет. Из прожелтой смрада, смешанного с туманом и притянувшегося к горам, едва выпутывались отдельные огни рудника и аглофабрик. В дни ветра алмазный свет электричества

весело сверлил предутренний сумрак над Железным хребтом — казалось, то близко опустилось звездное скопление и стоит дойти до него — причастишься ясно-чистой жизни уголка вселенной, где нет стуж, престоуплений, нужды, смертоубийств, однообразия ожиданий: ведь и беспрепятственность душит, как заводские газы...

С выездом в степь увидели над тучей у горизонта розовый край солнца. Обрадовались так, будто с восходом кончится война и наступит бесконечный мир.

Это настроение продолжалось весь путь, поддерживаемое новой красотой, которую выносила навстречу нашим глазам родная земля: серебряным сиянием сон-травы на буграх, голубизной полынков, полудой луж, оставленных водопольем, сквожением прутьев краснотала из свежей листвы.

Нужную дорогу мы узнали сразу. Приметлива Дарья! На обочине крыло сенокосилки да зуб от конных граблей.

Жарко цвела куриная слепота. Гортанно гикая и синев маховым пером, тянули под облаками гуси. Вдалеке, в прозоре меж колками, веерно чеканились лопасти ветродвигателя. И было такое разлитое солнце, что все, на чем держалась хоть росинка, сияло. Мы замерли. Не верилось, что все это наяву. Колдовские чары, да и только. Ступишь шаг-другой — и пропадет волшебство цветов, птиц, простора, солнца, и очутимся у своего барака, облупившегося за войну, где зияет меж штукатуркой дранка, где на свежей мураве копать: трубы комбината еще гуще выбрасывают в небо дым и пыль, чем до войны.

Проходит минута, мы оттаиваем от неверия и оторопи, вздыхаем.

— Отец, сколько нам еще жить? Много, чувствует сердце!

— Миллион, Феклуша.

— Скажет!.. А что, и проживем!

— И я про то.

Еля снимает со своей фуфайки пушинку, дует на нее; светясь, пушинка взлетает вверх. Я вытаскиваю из мешка дробовик, примыкаю к ложу ствол, пристегиваю цевье.

Неторопливо шагаем, но скоро начинаем спешить: Додоновым мерещатся навалы колосков, мне — озера сплошь в утках и гусях. Петро не выдерживает спешки, ругает нас «несознательными», «торопыгами». Неловко: забыли, что человек не окончательно поправился.

В конце февраля у Петра случилась беда. Весь месяц в цех подготовки составов подавали лишь изложницы со сталями, из которых делают снаряды и танковую броню. Зачастую слитки привозили двенадцатитонные, не всегда полностью застывшие внутри. От толчков «кукушки» металл в слитках болтался, хлюпал, их составляли с платформ, студили, прежде чем послать в прокатку.

Петро работал ночью. С мартена привезли очередную плавку. Кран Петра снимал с изложниц крышки-колпаки. Если слиток приваривался к изложнице, кран выдирает его оттуда или продергивал слиток, приподнимая изложницу за ушки клещами, а в голову слитка давая винтом-выталкивателем. Так он давил в голову огнедышащего слитка, давил осторожно, однако проломил ее, и в этот пролом фыркнула жидкая сталь и, угодивши в окно кабины, обожгла Петра.

— Не прошу себе оплошку,— казнилсЯ Петр.— Фронт самое жмет, тыл ему спину подпирает, я — из строя...

Не такое уж редкое это было дело — пропор макушки; не реже отрывались и головы свежеприготовленных слитков. Но Петр, как большинство рабочих, видел свое человеческое назначение только в том, чтобы бесперебойно нести положенный ему труд, от которого зависит спасение страны, поэтому так и терзался из-за простоя.

Все вместе мы шли по проселку недолго. В степной ровни, сизо-коричневой от старой травы, обрисовалось зеленое кольцо кочкарника — то ли болотце, то ли озерко. Я сказал Додоновым, что догоню их, и победил, а за мной Еля. Фекла велела ей остаться: скоро пшеница, отцу трудно рвать колоски, но Еля мчалась за мной, на бегу обещая матери скоро вернуться.

Блеснуло и распахнулось озеро. На ближнем берегу темнели птицы. Я упал на краю кочкарника. Колени холодила сырость. Выпугнул дупеля. Все как оборвалось в животе от взрывного взлета и панического ора дупеля, будто его схватили и жулькали в кулаке. Испугался, как бы дупель не насторожил уток. А может, они уже снялись и сели на серединке, где их не возьмет даже картечь?

Позади чихнула Еля. Я только озверело обернулся: нельзя было браниться вслух. Но едва занял прежнее положение и приготовился выглянуть из осоки, Еля засмеялась, уткнувшись лицом в ладони. Я почувствовал, что сейчас вскочу и стукну ее прикладом. Какое-то внутреннее напряжение удержало меня, а когда оно спало, как в землю ушло, я ощутил почти смертельную слабость во всем теле, с трезвым ужасом понял, что есть во мне злоба, которая может довести до убийства, и из-за чего? Из-за смеха, естественного, невинного и даже милого. Но понял я тогда же, что есть во мне и спасительные силы, действующие самопроизвольно; однако, если на них только и полагаться, злоба однажды их преодолет.

Я встал. Страшное открытие обесценило для меня, казалось мне тогда, весь мир — коль он создал меня непонятным для самого себя, страшным для самого себя...

Кряковный селезень косолапя спустился по берегу, оглядываясь, поплыл. Широконоски, выстрив шею над песком, сторожили мои движения. Чирки боязливо нахохлились. Поганка вскинула свою кобровую голову. Отмелью, шагая, словно на ходулях, удалились кроншнепы.

— Чего ждешь? Стреляй! — зашептала Еля. — Сорвутся, Сережа.

Нашарил между кочками переломку и едва понес ее вверх — птицы взмыли, сделали разворот, потянули куда-то за курган, где и свалились либо в овраг с водными отметинами разлива, либо на другое озеро. Только поганка осталась на этом озере, ухнув рядом с гагарками, которые тотчас унырнули, помелькали среди тростника и опять возникли на чистой воде, уже недостижимые для ружейных выстрелов.

— Разве так охотятся? Дай-ка ружье. Я умею.

Я было отступил на шаг, не желая отдавать «ижевку», но Еля прыгнула через кочки и вырвала ее.

Поганка кружилась на одном месте, словно запутала ногу в сети: не прочь поганка поиграть со смертью и поизмываться над охотником-простофилей, а тут девчонка с переломкой — как не потешиться! Чуть не черпая ботами воду, Еля прошла на берег. Поганка перестала метуситься, когда Еля приткнула к плечу приклад, и мгновенно провалилась в озеро, едва чакнул спущенный курок. Дробь вспушила воду как раз там, где плавала поганка; она быстро вынырнула поблизости и взялась потягиваться и трепетать крыльями. Еля поверила, что теперь-то уж срежет утку, и прибежала за патроном. Оставалось всего пять патронов. Лежали они в карманах брюк. Достав один из них, картонный, залитый воском, я попросил ее лучше выстрелить по куличкам, прилепившим на песок, чем зря палить по красноглазой, воняющей рыбой поганке. Еля не согласилась, снова промазала и потребовала третий патрон. Я рассердился. Владимир Фаддеевич велел стрелять по стаям и по благородной утке, а не по такой дряни. И тут мы рухнули в кочкар-

ник: из-за увала показался верховой. У меня был не свой охотничий билет — Кости Кукурузина. Владимир Фаддеевич предостерегал, чтобы я хоронился от объездчиков, милиционеров и охотников, не то отберут ружье, потом его не выручишь без траты времени и нервов. Там любят душу накручивать на коловорот. А жизнь у него таковская: работа и сон — на другое не остается. Так и пропадет «ижевка»...

Озирался. Всадник был в ушанке, шинели и тяжелых сапогах, всунутых в стремяна. Он задержал коня. Конь заржал, будто огромные монеты осыпались на степь, щеголеватой рысью подался наискосок дороге.

Когда объездчик ушел за горизонт, я не беспокоился за Петра и Феклу: наверняка они покамест еще плетутся по проселку — не дотянули еще до пшеничной полосы.

Я взял у Ели ружье, пошел берегом. В тростнике обнаруживал одиночных нырков, лысух, гоголей, но не стрелял. На той стороне озера пырхнул из-за молодой, круглой, как покалиброванной, куги, селезень-шилохвост. В момент, когда он завис крестом в высшей точке взлета, я бабахнул по нему. Треск дрови по крыльям, выбитые перья. Срывающимся движением он скользнул к заливу, выправился у самой поверхности, потянул через бугор. Над макушкой бугра шилохвост внезапно закосокрылил и упал. Мы ринулись вверх по склону.

Озеро, которое лежало за бугром, было крупнее прежнего, богаче дичью. За ним, на возвышении, белел какой-то с виду нежилой домик. Близ домика по клеверищу сбитно ходило крохотное коровье стадо. Среди него великански выделялся золотой бык. Он, судя по вскиду и неживности головы, зорко глядел оттуда.

Здесь мне сразу повезло. Я подкрался к стае чирков, выбил четырех. Еля прямо в одежде бросилась их доставать. Куда пропала ее водобоязнь? Правда, влетев в воду до колен, она вернулась. Я прогнал ее, чтобы сушилась и не смотрела — стыдился своей наготы.

Сушить боты и чулки Еля не стала: на ней высохнут.

Когда я, одевшись, подошел к Еле, она сидела на мшистой кочке и улыбалась. Свободно, довольно улыбалась.

Почему-то почудилось, будто она мне родная.

Глава тридцать седьмая

Додоновы, когда я и Еля оторвались от них, скоро свернули на пшеничное поле, где побывали Дарья Нечистая Половина с Колей. Начиналось поле необширным участком стерни. Петро, крестьянствовавший в Сибири до того, как приехал на строительство Железнодорожного завода, мигом определил, что косили пшеницу вручную, что никто из работавших не умел вязать снопы и составлять их в сулоны. Стебли, как попало сваленные в копешки, колосьями вразброд, сопрели до темной сизины.

Петро вышелушил на ладонь щепотку зерен. Зерна были плосковаты, корявы: летошняя непогода помешала налиться.

Молотили пшеницу ладонями — было очень сухое колосье. Обильно текла полова. Петру не терпелось ответить ее. Фекла сердилась, силой останавливала его, но он снял фуфайку (не замерзнет, много бинтов накручено на туловище!) и начал сыпать из горсти обмолот. Но на обдуве ветер-понирик относил с мякиной и зерно. Бросил провевать. И тут как раз увидел объездчика — военная форма, черный конь... Неподалеку был бурьян, ржавый, будто диковинное железо выросло из увала и перепуталось ветками, нитями, засохшими цветами. Потрусили в бурьян,

да встали: объездчик скакал прямо к ним. Петро сбросил поклажу со спины. Сел.

Объездчик рывком осадил скакуна. К седлу приторочен был убитый гусь. Выжидательное молчание. Под навислой скалой лба в маленьких глазах объездчика — угрюмость.

— Ничейную землю обнаружили? — зло спросил он.

— Какую такую «ничейную»?

— На фронте был?

— Бронь.

— А. Тогда скажем так: бросовую.

— Бросовая и есть. Бесхозная, по-рабочему сказать.

— Вставайте.

— Отпусти ты нас, милок. Голодуем. Вынуждены...

— Ленинградцы — вот кто голодает. Вы как у Христа за пазухой.

Поднимайтесь.

— Друг, поймей терпение... Лихо лиху в укор не ставь. Слазь давай.

Покурим.

— Некогда.

— По-твоему, пусть гниет, а не трожь? Сдохни, но не смей взять?

Во-он грачи шастают.

— Ну?

— Скоренько выберут зернышко по зернышку. Водоплавающая жи- ровать прилетает. Птица объедайся, человеку нельзя крохами попользо- ваться?

— Хватит рассуждать. Незаконно—баста.

— Про закон нам не надо. Закон до тонкостей изучили. Главней все- го разумение. Какой прок народу, ежели поле сгниет?

— Верно, проку нет. Но не тронь. Не ты посадил, не тебе убирать. Кто сгноит, тот и ответит. Анархию только допусти... Разграбят. Ре- волюционный правопорядок, иначе труба.

— Для кого революционный, для кого никакой... Ладно, сейчас ты нас поведешь. А покуда слазь. Покурим, покалякаем. Я на металлурги- ческом заводе работаю. Машинист стрипперного крана. Сейчас на боль- ничном листке. Сталью облило. Из слитка сикнуло. Еле-еле заживили. Со здоровых мест кожу на обожженные перемещали.

Объездчик спрыгнул. Зазвенело стремя. В папиросную бумажку закрутил табак-мошок. Когда сигарка хорошо раскурилась, нюхнул носом дым. Удовольствием просветлело лицо:

— Тяжелая задача быть человеком.

— Да... Подлецом куда как проще. Или таким—что хотят, то и вьют из тебя. Или этим, ну, который словно паровоз по рельсам... Как его? Фанатиком, во! А человеком жить—сложней сложного. Самый лучший пусть будет, а отношение худшее. Мозгами шурупит? Ишь ты, какой муд- рец выискался! Больно ты самостоятельный... Таких жалуют нарами и де- ревянным бушлатом.

— Отец, чего-то ты разошелся. Проси отпустить. Табачок отдай. Всю банку: еще дадут на заводе. С фронта. Видать, тоже знает, почем фунт лиха.

— Не бузи, Фекла. Ну, что, друг, сдашь или отпустишь? Понравился табак — возьми.

— Не обессудьте—сдам. О человеке заговорили. Тяжело, мол. А на- роду легко? Ради народа переступаю сердце.

— Народ тебя об этом не просил. Всяк от имени народа. И нас ты из народа не отчисляй. Мы не сбоку припека. Мы и есть народ. Да что я на тебя слова грачу! Идем.

-- Петро, ведь посадят. Девчонки-то как?

— Нас не посадят. Я докажу судьям. Бабу, слышь, отпусти. При детях останется. Дочек поднимет. После войны нацию надо восстанавливать. Русских, слышь, много гибнет. Сынов будут рожать.

— Жену отпускаю.

— И на том спасибо. Идем. Мешок, однако, я не понесу. Спину ссажу. Не зажила окончательно.

Объездчик спешился. Завязал мешок, положил на коня впереди луки.

Фекла заголосила вослед Петру, бросилась через дорогу найти меня, чтоб догнал их, чтоб пристрашал объездчика ружьем и отбил Петра.

Петро шел вяло. Ноги как пристегнутые. Когда оглянулся и увидел Феклу, бегущую по направлению к озеру, и догадался, для чего она туда бежит, то пошел ходко, чтобы вся эта история не закончилась выстрелами.

Петро не верил, что объездчик не отпустит его. Проведет для острастки до березников, в просвет между которыми видна стальная ромашка ветродвигателя, и отпустит. И он был убежден, что объездчик все же поймет, что он, Петро Додонов, рабочий редкой и высокой специальности, что для государства сейчас важно не то, чтобы он был наказан по закону, а то, чтобы он оставался машинистом: ведь путь стали от мартена до блюминга, где из нее катают танковую броню, проходит через штанги его крана. Вместе с тем Петро угадывал в облике верхового что-то сильно знакомое, словно когда-то знали друг друга.

Беззаботным тоном осведомился, куда его собираются доставить. В деревню под ветродвигателем, оттуда с попутной подводой в район.

— Нельзя ли без пересадки? Чего зазря мытарить?

Молчание.

— Встречались мы где-то. Не то в Сибири, не то в Железнодорожье?

— И там и там могли встречаться. В Сибири Колчака давил, у Железного хребта работал.

— Общая, значит, судьба.

— Судьба, может, общая, да взгляды разные.

— Отца бы родного застукал на поле, тоже бы арестовал?

— Арестовал.

— Из прокуратуры кого иль райисполкома?

— Все равно арестовал бы.

— А не боишься угодить, куда Макар телят не гонял?

— О собственной шкуре меньше всего забота.

— Ну уж, ну уж. Ох-ох. Ладно. Что делал в Железнодорожье?

— Кокс.

— Из металлургов! Человеком должен быть.

Молчание.

— Нет, слышь, не родня мы теперь. Ты прокатился, гуся стрелил. Махан! Я в ремне новые дырки прокручиваю, кабы брючишки не потерять. Не одобряю я таких, как ты. Затмение души у тебя. Производство ты учитываешь, агрегаты, руду, бетон, зерно-овощ, проценты выполнения... Волю только свою ломишь. Желание не спрашиваешь. Потребности не берешь к вниманию. Человек — не механизм: сделать проще.

— Вредные твои взгляды, товарищ машинист. Меня ими не демобилизуешь.

— Погоди, слышь. Сердце заходится. Пусть ты убежденный, а у меня хаос в голове. Однако, слышь, бедствие иль еще что не приму за геройство. Хватит на то умишка. И, слышь, обязанности перед родиной и перед заветами Ильича не хуже тебя знаю.

— По твоему разговору получается — ты патриот и все понимаешь, а я не патриот и бестолочь.

— Про то я и толкую: слушать надо собеседника, разобраться, почему он такие или иные соображения высказывает. Затыкать глотку — на это мудрости не нужно. Распорядитель...

— Передохнул, машинист? Давай-ка, садись на коня. Болен ты, машинист, и измотан. Садись, садись. Конь добрый, не скинет. Да ты, видать, ездил в седле! Кавалерийская посадка! Ты на полную справедливость, машинист, претендуешь, а ведь шибко промахиваешься. Не перебивай. Довольно! Ты гуся увидел... барство, махан. Я нервы успокаиваю от фронта. Проедусь, поохочусь — полегче. Не споры-раздоры теперь нужны. Обоюдность, дисциплина. В сложностях после войны разберемся. Правильное сильнее утвердим, ненужное отрубим.

Раздался свист. Петро задержал иноходца. Суходолом бежал я. Плы шинели пластались за спиной. Чуть позади бежала Еля. Фекла поотстала от нас, заметно перекашивалась туловищем, ступая на хромую ногу.

Объездчик сдернул с плеча двустволку. Петро крикнул, чтоб я остановился, но я не послушал его. Тогда Петро преграждающим жестом выкинул ладони, и я встал — правда, больше из-за недоумения: как Петро оказался на коне? И что-то страшно знакомое поразило и меня в лице объездчика, каком-то испитом и странном.

Всего ожидал Петро, но того, чтобы я и объездчик внезапно бросили ружья, кинулись друг к другу, обнялись—этого никак не ожидал. Еле, только что умолявшей меня выручить ее отца, показалось, что мы схватились врукопашную. Фекла, которую согнула одышка, пропустила начало этого неожиданного события. Когда она подняла голову, четыре человека стояли около лошади и чему-то радостно удивлялись.

Глава тридцать восьмая

— Маленького он тебя любил! — говорила мать. — Посадит на ладошку и носит высоко-высоко.

Я верил ей, хоть и не помнил этого. Но, веря матери — она никогда не обманывала меня, — я почему-то хотел убедиться в этом, заодно и в том, скучает ли он по мне.

От шестого участка, находившегося на задах доменного цеха и коксохима, осталось всего-навсего два шлакоблочных барака. В том, который утыкался своим тамбуром в железнодорожную насыпь, жил (по его выражению, к у к о в а л) отец, пока не переехал в город Усть-Каменск. Я изредка появлялся на шестом. Обратного уходил понурый. Всегда-то получалось, что я приходил не вовремя: устал отец или в таком настроении, будто накануне какой-то беды. Сетовал на воздух — нечем дышать, — на плохое снабжение, на безденежье. Чужая тетка, его новая жена, стрелочница Александра, и та все-таки спросит меня, как учусь, с кем дружу, бьет ли меня бабушка. Отцу ни до чего дела нет.

Железнодорожск он покинул неожиданно. Бабушка уверяла, что он бежал от алиментов. Может, и так. Мать через милицию послала на розыск. Через несколько месяцев сообщили: он в Усть-Каменске. И меня туда потянуло к отцу — увидеть, попытать прежнее.

В день моего приезда он переходил с квартиры на квартиру. Его имущество уместилось в круглобокий фанерный баул и в солдатское одеяло, завязанное крестом. В Усть-Каменске он развелся с Александрой

потому якобы, что она продала хромовые заготовки, которые он купил, собираясь отдать в перетяжку сапоги. Мои приходы на шестой были для Александры как праздник. Переоденется у соседей в цветастое сатиновое платье, в коричневые туфли с пуговкой, лепит пельмени, поет. То, что отец ушел от Александры, меня потрясло. Очередная женитьба отца казалась возмутительной.

Его новая жена Глаша стояла на квартире у вдовы, дом был вместительный, но об одну комнату. Сюда и перешел отец. Глаша работала на фабрике, где вязали пуховые шали. Она была тоже вдова. Ее дети — мальчик и девочка — задохнулись в пожаре, а муж, районный прокурор, умер от туберкулеза. В деревнях под Усть-Каменском жили родственники Глаши. Она перебралась поближе к ним. И она, и ее родственники еще до революции переселились с Украины на просторные степные южноуральские земли, и хотя называли себя хохлами, все походило на турок: маслинно-черные глаза, смолевые волосы, небольшие носы с округлой горбинкой. Повязав черную катетку, в платье до пят, при ее тоншине и высоком росте, Глаша напоминала татарочку Диляру Султанкулову, которую давно, еще на третьем участке, брат наотрез отказался выдать за моего отца.

Мое неожиданное появление в день, когда они сошлись, озадачило Глашу: отец представился ей как бобыль. За время, пока я гостил в Усть-Каменске, я видел Глашу только печально-безмолвной. Однажды хозяйка укорила ее: раз переменяла судьбу, то и настроение меняй.

— Я и не знаю, зачем переменяла судьбу. Не нужно мне никого.

В верхний угол настенного зеркала была воткнута Глашина карточка. Отец взял и вправил в противоположный угол зеркала свою карточку, на которой он молод, в белом кашне и пиджаке с атласными лацканами. Мне хотелось узнать, когда он был таким, но время фотографирования на обороте не было обозначено, только вдавилась твердая надпись химическим карандашом: «1939 г.»

Я все надеялся, что он поговорит со мной, но так и не дождался. Возвращаясь восвояси, зарекся ездить к нему.

Письма он писал, как говорится, раз в год по обещанию, и я забывал его настолько, что, когда кто-нибудь напоминал о нем или он сам напоминал о себе, мне казалось, словно он умер и вот воскрес. Но когда он был призван в армию и стал воевать, мое сердце часто сжималось от мысли, что он попал в плен или где-то лежит мертвый, непохороненный.

Известий от него не было почти год, и я уже думал, что он сложил голову за Ленинград, и втайне гордился этим, и вот мы встретились. И хотя я невольно бросился к отцу и обнял его (такой детской несдержанности я не ожидал от себя), ощущение невероятности этой встречи, наверно, с полчаса не покидало меня: ведь он не известил меня о своем возвращении с фронта. И встретились мы среди незнакомых полей, и он тут объездчик, и забрал не кого-нибудь, а Петра Павловича Додонова. Все это было так невозможно, что я подумал: нет-нет, я просто заболел, и все это мне прибрелось — и озера, и охота, и отец, и арестованный им Петро на гудроново-черном коне. Но по мере того, как мы двигались к деревеньке, где к концу первого военного лета обосновалась Глаша, я все тверже уверял себя, что случившееся — явь. Тем более что отец вдруг стал словоохотлив и на восклицание Петра: «Вы прямо как с неба свалились!» — отозвался рассказом о Глаше, а потом и с себе: его перехитрил немецкий снайпер, пуля попала в каску, пробила и ее и череп и остановилась возле пленки мозга. Пулю и осколки каски извлекли, санитарный самолет вывез его из Ленинграда в куйбышевский госпиталь.

Вернулся к жене, в деревню. Глаша дояркой на молочнотоварной ферме колхоза, его, как мужа и когда-то председателя колхоза и директора МТС, поставили заведующим.

— Кстати, пшеница, на которой вы и ваша жена лутили колоски, принадлежит не ферме, а психиатрической клинике. Подсобное хозяйство у клиники немалое.

Дом был закрыт на палочку. Отец завел нас в комнату и отправился за Глашей. Горница, где мы присели на длинную лавку, казалась пустой. Сундук, кровать, ножная машинка «зингер», стол, в углу икона да на стене, над нами, гиревые часы моего детства фирмы «Roi de Paris» — корпус резного дерева, римские цифры на белой эмали, отчеканенные из меди узорные стрелки. Вот и все убранство.

Томимый скованностью (Додоновы молчали) и ожиданием, я вышел в прихожку. Огромный сусек, доверху насыпанный пшеницей. Сепаратор привинчен к лавке. Чугуны. Решето с отрубями. Мешок, набитый овечьей шерстью. Из прихожки дверь в плетеный сарай, обмазанный снаружи.

Ход в чулан через сени. Тут громоздился ларь с мукой. В долбленной кадке, закрытой клеенкой, каравай. Со вчерашнего ужина я ничего не ел и почувствовал себя как во хмелю — веселым, бестолковым, потерявшимся. Наконец сообразил, что нужно возвращаться в горницу.

Додоновы раздували перо уток, отыскивая, куда попала дробь. На их лицах было восхищение.

— Люди! — блаженно сказал я. — У хозяев дома еды хватает.

— Что это у тебя расширение глаз на личную собственность? — возмутился Петро. — Деревенские хребтину ломают похлестче нас, день и ночь у них мешается.

Еля растерялась: увидев в чулане запасы продуктов, она даже подумала, честно ли они нажиты. Я уверил ее: наверняка честно, Глаша держит скот и птицу, старательная, вырабатывает много трудодней, им двоим нужно совсем немного продуктов — вот и скопились.

— Куда им столько? — панически спросила Еля.

— Я откуда знаю...

— А вы с бабушкой впроголодь сидите. Неужели отец не догадался? Он ведь знает, что Мария Ивановна на войне... Неужели он сдал бы моего папу в милицию?

— Без промедления. Он очень правильный. А может, еще и теперь сдаст.

— Постыдится! Он богач, а у нас ни одной картошки, ни горстки муки. И у вас пусто...

— То — он, а то — мы.

Печальные, мы вернулись в горницу, и Еля внезапно крикнула:

— Несправедливо, несправедливо!

— Молчок, — предупредила Фекла.

За плетнем палисадника мелькнула женщина.

То была Глаша. Она обрадованно перешагнула порог комнаты, но тут же потупилась, подала мне руку, глядя мимо. Знакомясь с Додоновыми, немножко осмелела. И совсем освоилась с нашим присутствием, едва занялась хозяйством.

В печи томился борщ. Глаша переставила чугуны ухватом с горячей золы на чистый под, на сосновых чурках зажарила на сковороде пышную яичницу. Длинным ножом напластала хлеба.

Обедали мы одни: две коровы должны были телиться, Глашу подменила возле них опытная доярка, но Анисимов все-таки остался на скотном дворе; все ему кажется, что без него не обойдутся. «Такой догошный заведующий, прямо зло берет».

Убегая, Глаша пообещала погнать Анисимова домой, однако он явился, когда мы уже поели, убрались и загрустили от неловкости и одиночества.

Фекла упросила Анисимова покушать, ухаживала за ним. Он молча принял миску, полную борща, в котором попадались золотисто-розовые крупинки молозива, и без удовольствия, в отличие от нас, выхлебал его. Так же сумрачно, как что-то безвкусное, съел яичницу. И все о чем-то думал, покуда Фекла наводила на столе чистоту.

— Что, забот невпроглот? — спросил его Петро.

— Порядка мало. Поразбаловался народ. Сейчас дойка. К выгону соберутся и детишки и взрослые. Не меньше полсела. Валом валят на дармовое молочко. Доярок родные. Конечно, многие на одной картошке перебиваются, и та к концу. Знатная выдача была на трудодни прошлый год, да не рассчитали: что продали, что съели сами. Теперь ферму опивают. Урон основательный. Пойду гонять. Пусть привыкают фермское отличать от своего. Пусть учатся распределять заработанное.

Волосы на голове отца чуть сбоку от макушки то западали, то поднимались в том месте, где удалена часть черепной кости.

Отец прикрыл голову вязаной шерстяной шапочкой, поверх шапочки надел суконную кепку. Когда он хотел уходить, велел нам отдыхать, Петро поблагодарил его за гостеприимство, но сказал, что мы все-таки пойдем. Тогда отец спросил, не задержусь ли я на денек-другой. Я сказал, что завтра утром мне заступать на смену. Он одобрил мою ответственность перед работой, закрыл на палочку дверь и спешно зашагал к загону. Петро крикнул, чтобы он передал жене нашу благодарность. Он кивнул, не оглянувшись.

В прогале между березовыми колками нас догнала Глаша. Под ней был давешний вороной конь. Она подала мне солдатский вешмешок, набитый чем-то тяжелым, и когда я надел его на плечи, попросила не обижаться на отца — такой уж он ретивый и чумовой — и почаще навздываться в деревню. Ее забота вызвала во мне чувство стыда и горечи. Боясь растрогаться (еще слезки выскочат на глаз), я пробормотал, что обязательно буду навздываться, и пошел по резиново-упругой степной почве.

В мешке оказался пшеничный каравай, банка топленого сливочного масла, нутряной, гроздьями бараний жир, кус свиного сала, пампушки, вяленые караси и узелок сушеного молозива. Все это и уток я разделил с Додоновыми.

Глава тридцать девятая

Ожидание весен, ожидание весен... Надежды на продление жизни. Предвидение тепла. Приток воды. Приток сини. Приток воли. Пусть ноги вподлом, жилы наразрыв, кровь горлом — трудиться, жертвовать, страдать! Мечтам сбыться: будет ликованье, радуга над всей землей и счастье — надежное, вечное...

И наступило это время. И пало оно именно на весну. И не было раньше никогда долгожданней, счастливей весны. И уже не было и после.

Лучи буравят лед пруда, и ветер лудит лужи на нем; снегири, сидя на заводских акациях, пьют воздух зубчатым свистом; язи плывут на шум широко открытых шлюзов, до крови трутся о коряги, пуская икру и молоку; бабочки, невесть откуда взявшиеся, метелью осыпаются на прибрежную гальчатую дорогу, трепещут крыльями.

На земле у нас радостный непокой. хоть и свалился под откос поезд с агломератом — просела насыпь, — хоть и заливают водой подполы с жалкими остатками овощей, и рушатся вязы с подмытых яров, и шквальные ливни сшибают с верб и уносят в потоках пчел; хоть зверье и скот, случается, тонут, застигнутые вероломством половодья, и грузнут по брюхо буксующие машины, и молнии поджигают сеновалы, и скворцы гонят от скворечников зимовавших в них синиц... Но чего земле печалиться? Явилась весна!

В ночь окончания войны я работал. Верней, это была ночь после подписания в Берлине акта о безоговорочной капитуляции Германии, но мы еще не знали об этом. Никакие исторические уточнения не изменят того, что время от нуля часов 9 мая 1945 года до рассвета — ночь окончания войны, потому что в эту ночь народ дождался выстраданных, счастливых известий.

Перводекадные дни мая, переменчивые, гонкие, сохраняли волокна закатного огня вплоть до полной темноты. Мгла, начинавшаяся в сумерках с канавных и овражных туманцев, постепенно накрывала город, грузнела, обдавала промозглым холодом. Несдуваемая стена пара, как и в зимние крутые морозы, клубилась над заводским прудом.

Вечер перед этой ночью установился безветренный и как бы отворил ворота в тишину, где были протяжны, безмятежны, по-деревенски уютны звуки. Никогда раньше не сливались в моем восприятии голоса завода и живые голоса. Как ладно, соединенно в тот вечер катились в воздухе свист «кукушки», крик кочета, гортанный зов барана, дыдыканье пневматического молотка, детская песенка на холме, звоны вращающихся рольгангов, мычание коровы, альтовый сигнал электровоза!

Ночь поразила меня теплыню, а когда я шел на смену и поднимался на верх печей — звездами. Сколько их было! И светились совсем близко.

Работу газовщика, которую обычно выполнял с тщательной сосредоточенностью, я делал машинально: ожидали, что вот-вот объявят окончание войны. Но сказывалась привычка судить не по слухам, а по сообщениям Совинформбюро; война длилась слишком долго, верилось и не верилось, что она окончилась; кроме того, было ясно — пока Германия не сдастся официально, будут гибнуть наши солдаты.

Часа в два пополуночи, балагуря с люковыми и смологонями у питьевого фонтанчика, я заметил в проеме входа на верх батареи лицо старшего газовщика Кортуненкова. Проем смотрелся плоско, будто от косяка к косяку было натянуто полотно мрака. И вдруг оно как прорвалось, и возникло лицо Кортуненкова. Казалось, оно озарило весь проем. Мне сделалось даже жутковато.

Кортуненков, задыхаясь, сказал, что, когда он разговаривал по телефону с углеподготовкой, до него по индукции донесся чей-то женский голос, который кого-то уверял, что еще вчера под Берлином подписан акт о капитуляции фашистской Германии. Мы стали кричать и обниматься. Мною овладел такой восторг, что я поднял Кортуненкова в воздух. Он возмущенно толкнул меня кулаками, очутившись на ногах. Я еле устоял, однако не обиделся.

Люковые побежали открывать стояки: коксовыталкиватель готовился выпихнуть из камеры коксовый пирог. Потом они открывали люки, сметали в печь уголь, зачеканивали круговые пазы крышек. Вернувшись к фонтанчику, послали меня проверить, верно ли то, что донеслось по индукции. Кортуненков был со странностями — от него не мудрено услышать и о голосе, исходившем из уст господ-бога.

Я пошел к начальнику смены. Тот сказал, что звонил диспетчеру цеха, справлялся, нужно ли верить тому, что донеслось по индукции.

Диспетчер отшутился: он не склонен верить голосу, доносящемуся по индукции, тем более женскому.

Я вернулся на верх печей. Смологонны прогнали меня: разузнаешь, тогда придешь.

Домну «Комсомолку» освещали гигантские электрические огни. Она была на ремонте, и я знал, что сейчас на ней работает множество людей. По высотному мосту я бежал в доменный цех. Электровоз, весело названивая, влек за собой тушильный вагон, из которого вилась рубиновое пламя. В нутро ненасытного рудного двора втягивались гондолы с агломератом — над ними стекленел, змеясь, зной. Скиповая тележка мелькнула железным вытянутым задом, запрокидываясь над колошниковой площадкой, словно ухнула в домну.

Парень, волочивший сварочный аппарат, сказал, что кто-то из комбинатского начальства звонил в Министерство черной металлургии и узнал, что фрицы капитулировали.

Сообщение, которое я принес, было встречено на батареях новым приливом радости. А когда пришла утренняя смена, тут уж началось всеобщее ликование.

Я наскоро помылся в душевой: не терпелось попасть на площадь перед центральными заводскими проходными. Пешеходов было еще мало. Сварной мост громко отзывался на мой топот. Я бежал навстречу солнцу, взошедшему над Железным хребтом. В детстве я представлял себе, что за хребтом есть колодец вроде нагревательных колодцев блюминга, только во сто крат глубже и жароустойчивей, вот из этого-то колодца и всплыло солнце и летело над хребтом в желтом дыму аглофабрик.

Посреди огромной площади плясали фэззошники, обутые в колодки, воздух над нею молотили веселые деревянные стуки, дробы, стрекоты. Звучное эхо повторяло их возле стен заводоуправления и гостиницы. Фигурки пляшущих мальчишек мелькали в ярком свете солнца силуэтно-темными, по-чертячьи прыткими. Перламутровый трофейный аккордеон вертелся в руках большого мужчины. Приближаясь к плясунам, я узнал среди них Тольку Колдунова. Он как раз хлопал ладонями по своей широкой груди. Он тоже заметил меня и, наверно, решил «вжарить» чечетку понейшовой, позвончей, но чересчур сильно ударил рукой по подошве, отшиб пальцы и принялся дуть на них. Я засмеялся, Колдунов заорал: «Чего ржешь?» — и тут же как ни в чем не бывало поздоровался и велел приземистому пареньку, чтобы тот постоял в моих ботинках («Из тебя плясун, как из моего носа паровоз»), а мне отдал колодки. И мы с Колдуновым «бацали» до упаду, но без соперничества, как обычно бывало на барачных посиделках, а с чувством радостной победной обоюдности.

Покамест мы плясали, подвалили с завода рабочий люд. Охотников поплясать в колодках было великое множество. Уморившихся фэззошников разували нарасхват. Только аккордеониста никто не сменял, и он играл без устали. Это именно он, мастер штукатуров, в группе которого учился Колдунов, и придумал вывести на площадь целое мужское общежитие, обув его в башмаки на деревянном ходу.

Среди толпы я углядел Васю Перерушева и Надю Колдунову. Они работали вместе на складе заготовок. После суда, хотя он оправдал ее, Надя побоялась вернуться в столовую. Она работала контролером в отделе технического контроля: помечала мелом на стальных заготовках, приплывших по рольгангам на склад, поверхностные изъяны, которые затем вырубались с заготовок пневматическими зубилами и выплавлялись горячей струей газового резака.

Вася Перерушев не смог возвратиться в формовочное отделение чугунолитейного цеха, хоть и мечтал об этом: болели ноги. Полина Сидоровна лечила его муравьиным спиртом. Выхаживая Васю, подыскивала ему работу, не вредную для ног. Добрый совет подала Надя: устроить его клеймовщиком к ним, на склад заготовок, — клейми себе и клейми проплывающие блюмы и слябы. Забежала Полина Сидоровна на склад, постояла поблизости от клеймовщика. Воздух — чисто огонь, когда плывет с блюминга очередная плавка. Тó здесь лишь ей показалось полезно, что всю хворь из костей прогонит жаром. Похлопотала Надя перед начальством, оформили Васю клеймовщиком.

К огненному воздуху Вася привыкал с трудом. Иногда являлось ощущение невесомости: вот-вот поднимешься от жара в простор здания и нисколько не ушибешься, если нанесет на опору или ферму, а если попадешься на пути карусельного крана, таскающего на стеллаж заготовки, тебя погонит впереди него воздушной волной. Постепенно Вася привык на новом месте, притерпелся, и когда кто-нибудь говорил, что не мешало бы ему получить настоящую специальность, он отвечал, что пока погодит, а там посмотрит, куда податься. Васино лицо стало изжелта-коричневым: такой загар, грязноватый, грубый, прижигается на лице у всех, кого постоянно в часы труда опалает зноем черных металлов.

Толя Колдунов остался на пляшущей площади. Надя, Вася и я пошли домой.

Нас догнал Авдей Георгиевич Брусникин. Он был по-прежнему машинистом турбины. Когда вводили в действие очередной турбогенератор на новой паровоздушной станции или на самой электростанции, то центровку, наладку и пуск этих машин главный инженер завода поручал Брусникину. За время войны он дважды был награжден орденом Ленина. На торжественных собраниях всегда был в президиуме. Однажды я видел, как Брусникин разговаривал с директором комбината Зерновым — запросто разговаривал. А ведь Зернов был не из тех руководителей, которых тяготит трепет подчиненных. Рабочие уважали его и за то, что дело знает, и за то, что, обходя цеха, здоровался с ними и распекать предпочитал не их, а начальство...

Я никак не мог определить, что притягивало меня и что раздражало в облике и поступи Брусникина. Бабушку Лукерью Петровну это чувство не мучило: проваяжая взглядом Авдея Георгиевича, она умиленно вздыхала: «Умственный человек! Не наш брат, ошарашка». На этот раз, идя рядом с Брусникиным, я определил его суть, проявлявшуюся в поступи и облике: достоинство, независимость. И вдруг полностью принял Брусникина, прогнав раздражение; оно, как заподозрил, было из-за прежней, еще детской, неприязни к Нюре: дочь-то она ему дочь, но такая непохожая на него, что только руками разведешь!

Я шагал, крутя на пальце выгоревшую до коричневы черную ремесленную фуражку. То, что я улыбался и крутил фуражку, веселило встречаемых. Но не у всех в глазах сияла радость сегодняшнего утра...

Перед кинотеатром, из которого выходили с инструментами и питрами музыканты джаз-оркестра, теснились школьники попеременно с железнодорожниками, вразброд тянули «ура».

Школьников поддерживали басы железнодорожников, к ним подключились Брусникин, Надя и я, лишь Вася Перерушев крикнул:

— Ба-анзай!..

Брусникин в момент двинул его плечом.

— Снова, гляжу, тюрьма плачет по тебе, — сказал он Васе, когда мы выбрались на тротуар.

— А чё? Банзай — значит «ура».

— Не притворяйся.

— А чё? Нельзя?

— Ну, хватит. Предупредил дурака, усвоил — и помалкивай. А то я поворачиваю, поворачиваю, да так поверну!

Навстречу прошла девушка. Вздрагивали золотые полумесяцы сережек, и волосы, завитые в спирали, пружинили за спиной. Вася восторженно щелкнул языком. За девушкой лихо прошла молдаванка, концы косынки вились над плечами, полотно вышитой кофты никло к груди, трепетал подол юбки. Пока мы не свернули с тротуара на тринадцатый участок, нам попало навстречу еще много было девушек, шли они поодиночке, как будто для того, чтобы можно было хорошо любоваться ими.

Я попридержал Васю Перерушева за хлястик френча и шепнул, что сегодня почему-то все девушки красивы. Вася обрадовался: и он был поражен тем же. Даже «страхилатка» Надя Колдунова кажется ему сегодня миловидной.

Глава сороковая

Расходясь по комнатам, мы с Васей условились отправиться вечером на заводскую площадь.

Бабушка Лукерья Петровна красила детские шапочки. Гарус ей поставляла Матрена Колдунова. Вагонный цех, где она по-прежнему работала сторожихой, получал изрядное количество обтирочных концов. В кипах из смеси ваты, пеньки, хлопка, кордовых нитей попадались мотки гаруса; их-то и выуживала из кип и приносила бабушке Матрена Колдунова, — деньги от продажи шапочек они делили поровну. Пальцы у бабушки были растрескавшиеся, почти не заживали, их щипало от соприкосновения с водой. Погружая шапочки в краску, она постанывала от боли, а когда обтирала пальцы фартуком, то плакала. Я сперва смазал ей руки вазелином и тогда уже сказал, что окончилась война.

— Слава господу, — молвила она, укачивая пальцы. — Отлились в рогу слезы. Божья мать, — она поглядела в угол нашей комнаты, который был пуст, если не считать паутинки, бившейся под потолком от движения подпольных сквозняков, — милостивица, неужели опять допустишь, чтобы родились на Россию новые враги? Не допусти, матушка, замори их в завязи. Слава господу и тебе, пресвятая! Поди-ка, скоро Маруся вернется. Трудно мне без кормилицы, а ее сыну без материнской ласки.

Я лег в постель. Голову засунул меж подушек: по коридору гоняли на самокатах ребятишки — их шарикоподшипниковые самокаты, жужжа, подпрыгивали на сучках и шляпках гвоздей. И я со своими друзьями гонял на самокате по коридору, и от нашего шума закрывались подушками, возвратясь из ночной. С тех пор плахи пола повытерлись, повыбились, и катание стало совсем не гладкое, но, может, еще заманчивей, увлекательней из-за пущей громкозвучности.

Слышен голос Коли Таранина, летящего на самокате. Бабушка высовывается из комнаты, грозит оборвать ему все уши, вдобавок страшит тем, что дядя Сережа (это я-то дядя!) никогда не будет угощать его ни сахаром, ни картошкой. Коля увел ребят на улицу и помчался с ними к трамвайной линии: шурхали подшипники по каменной, шлаковой, коксовой крошке.

Дремотная память возвращала меня к прошлой ночи, к фэзэошникам, пляшущим в колодках, к красивым девушкам. Потом возвратила к приходу домой. И тут началась моя тревога о себе. Кажется, нет у меня чувства родства не только к отцу и бабушке Лукерье Петровне, но

и к матери. С того дня, когда отец задержал на колосках Петра Додонова, во мне почти потерялась тяга к нему. Правда, я изредка гостил у него. И хотя был равнодушен к работе отца, может, потому равнодушен, что за нею он не помнил обо мне,— я все-таки узнал от Глаши и от деревенских, что за два лета он по д н я л ферму. Скот обеспечен сеном и силосом. Падежа нет. Раньше из-за бескормицы со середины зимы коров отводили в соседние колхозы, лишались молока и приплода; теперь наоборот — сюда отдают коров на сохранение. Доярки поначалу ненавидели отца: запретил являться к дойкам с детьми. У иной пятеро ребят, куда набарабанытся молоком, ведра полтора выпьют. Летом три, а то и четыре дойки. В переводе на базарные деньги пятеро выдают молока не меньше, чем на две с половиной тысячи рублей. Вот какой урон ферме! Отец превратился в надсмотрщика. И не было ему среди доярок других прозваний, как кровосос, лютодей да кат. Позже, когда доярки стали получать за высокие надои премии тысячами литров молока, телками, ярочками и пыльновидным тростниковым сахаром, они прониклись уважением к его жестокому хозяйствованию, но нелюбовь к нему за то, что он р е з а л п о ж и в о м у, в их душах осталась: никогда не обращались к отцу по имени-отчеству — дядька Анисимов, и все.

Я понимал, что неусыпная честность дается отцу недешево. И все-таки я оставался чужд этой его честности, чего-то мне не хватало в ней — наверно, непоследовательности, а также моментов прощения, когда человек может погоревать над заботой и того, кто поступает не по закону. Не случайно это, и, наверно, это необходимо для души, что женщина, у которой муж на фронте, вдруг сунет кусок хлеба военнопленному, а мужчина, минуя запретную зону, где копают траншеи преступники, возьмет и внезапно для себя бросит им пачку сигарет. Но, пожалуй, самой существенной причиной моего отчуждения от отца было то, что рьяная преданность служебному долгу не совмещалась у него с думами об односельчанах. Его сознание учитывало их лишь как работников, и если их существование им облегчалось, то не только потому, что он пекся об этом, а помимо, в некоторой мере даже и против его направленной воли, благодаря труду доярок, телятниц и пастухов. К постижению этого отцава свойства я пришел через свой рабочий опыт на металлургическом заводе.

Чувство родства к бабушке было непрочно во мне с малолетства. В чем бы я ни провинился, единственной, притом молниеносной, ее реакцией была ярость. Из моей башки она сделала наковальню для своих кувалдистых кулаков, из спины — что-то вроде снопа для обмолота цепом. И, как уже взрослым догадался, она вымещала на мне и недолю молодости, проведенную в ожидании казака-мужа, и то, что оставила трех детей на погибель в городе, умирающем с голоду, и то, что я был сыном ненавистного ей зятя, и то, что ее старшой Александр спился, а также то, что она, по ее же присловью, ж о р к а я, к а к у т к а, а я хоть и плохой едок, все-таки съедаю часть семейной пищи...

Когда меня выпустили из ремесленного училища и я, получив первые на коксохиме хлебные и продуктовые карточки, принес их домой и положил перед бабушкой в знак того, что вот наконец-то наступило время, когда я могу перейти на совместное с ней домашнее довольство,— она наотрез отказалась кормиться вместе, к тому же потребовала, чтобы я отдавал ей половину зарплаты, триста граммов хлеба из ежедневного пайка и треть талонов на крупу, жиры, мясо.

Столовые мне опротивели за войну. Посетителей тысячи. Официантки, бегая к столам от раздатки, таскают на подносах тарелки, уставленные в три-четыре этажа. Тарелки — грубо оцинкованная железная штамповка да черепки, кое-как облитые глазурию. Суп чаще всего

овсяный и тот скуден. Есть начнешь — не столько жуешь, сколько плюешь овсяной шелухой. Вторые блюда были сносней — на гарнир готовили картофельное пюре, вермишель, горох. Но котлеты чуть ли не сплошь из сухарей, мясо — жила на жиле. Только закругля трапезу, немного поблаженствуешь, попивая глоточками «спецмолоко» или медленно разжевывая кубики шпика, полученного на дополнительный талон, дававшийся в награду за стахановскую работу или за то, что работа горяча и вредна. Шпик был на толстой шкурке, которую целую смену мутузишь не без смака во рту и никак не жуешь. Петро Додонов, любивший жевать эту шкурку, утверждал, что шпик нам дают не свиной, а носорожий.

Еще на первом году обучения в ремесленном училище я мечтал о той поре, когда смогу кормиться дома. Не получилось.

Я убеждал бабушку. Пытался усюветить: что будут думать о нас в бараке? Теперь-то уж можно питаться совместно. Бабушка отеклась: «Кормись поврозь». Почему она так? А! Выгоды ей нет, вот почему! Деньги по аттестату матери получает она, картошкой, которую вырастили вместе, распоряжается она, вещи, справленные мамой — ими был набит в начале войны сундук, — продает она. С трезвой отчетливостью я понял, почему она уцелела в голодные годы, почему и поныне ее «не стопчешь конем» и почему предстоит ей редкое животно-сладкое долготие...

Мать? Я, конечно, тосковал о ней и тревожился, как бы она не погибла на войне. Покамест она работала в тюменском госпитале, я был спокоен. Но с тех пор, как она добилась перевода в фронтовой госпиталь, нет-нет и дрожу.

Бывает такая явственность в снах, что долго не верится, что увиденное тобой не действительность.

Мать рано уходила на работу и тайком от бабушки подсовывала под подушку песочное кольцо, обсыпанное миндальными крупинками, или карамельки в обертках, или яблоко, а однажды даже подложила диковинный плод, набитый прозрачными кисло-сладкими красными зёрнами.

Приснилось мне, что мама дует в мое ухо, шепча что-то ласково, и вложила прямо в ладонь багряное яблоко. Я засунул яблоко под подушку, чтобы оно не очутилось у Лукерьи Петровны. Яблоко слегка колелось черешком. Очнувшись, я еще держал яблоко в пальцах, а когда вынул из-под подушки руку, ничего в ней не было. С маху перевернул подушку — и там пусто. Неужели бабушка сумела его ловко выхватить и по-лисьи неслышно улизнула в коридор?

Вскочил с кровати. Мама приехала! Демобилизовали! Бросился искать ее вещи. Ничего нет... Не может быть! Ведь шептала. И пахло гимнастерочной тканью. И яблоко, яблоко! Пальцы еще осязаемо помнили его гладь, упругость и твердый, неровно обломленный черешок.

Оделся, вышел на крыльцо. Бабушка несла от колонки воду в ведре. Сквозь трещинку в ободке выкатывались струйки. Бабушка ничего не сказала про мамин приезд. Я обошел вокруг барака. Ни Фаня Айзиковна с Лелесей, ни Соня и Дашутка — сестры Тимура Шумихина, копавшие грядки напротив своих окон, — и словом не обмолвились насчет ее возвращения. Я остановил Колю Таранина, лезшего на телеграфный столб. Сочувствием наполнились синие глазенки Коли. Кабы тетя Маруся приехала, кто-кто, а он-то бы знал.

Все еще не веря, что мать и яблоко приснились, я пошел к Перерушевым. Еле разбудил Васю (у него тоже был «отсыпной день»), и мы пешком отправились на заводскую площадь.

Смеркалось. С Сосновых гор кто-то стрелял из ракетниц. Гордо и весело переключались комбинатские паровозы.

По углам площади играли духовые оркестры, в центре звучал цирковой джаз. Мы пробивались через толпы к джазу, потому что возле него ритмично вращались в воздухе красно горевшие факелы.

С факелами кружились в вальсе девушки из женской средней школы. На всех — черные фетровые шляпы, на краях широких полей зубчики; недавно в город завезли крупную партию таких шляп — говорят, американские — и продавали их по промтоварным талонам. А еще на девушках были блузки и юбки «солнце-клевш», сшитые из синего шевиота.

Среди девушек я углядел Елю Додонову. Недавно мы поссорились; Толька Колдунов, ставший завсегдаем французской борьбы, передал мне, что Еля зачастила на последние цирковые представления, но что смотрит больше не на манеж, где борются борцы, а на рыжего горбоногого трубача из джаза. Я спросил Елю о трубаче. Она смутилась и вдруг дерзко заявила, что бегаёт послушать его игру. Я уточнил: «Бегаешь, чтобы обратить внимание трубача на себя». Она вспыхнула: «Хотя бы и так?»

Теперь я обрадовался Еле. Подлетел к ней, попросил факел у ее подруги, чтобы станцевать с Елей, но Еля велела подруге не отдавать факел. Я остановился потрясенный, но продолжал провожать ее глазами и увидел — она помахала кому-то факелом. Я перевел взгляд. Вон кому! Трубачу. Он стоял впереди джаза и, ведя соло, поворачивал трубу вслед за Елей, уплывающей в толпу.

— Не переживай, — сказал Вася, — первая любовь всегда неудачная.

Мы опять начали нырять между людей. Какие-то парни дали нам факелы, мы прыгали с ними, потом отдали доменщикам в спецовке горновых. Еще плясали и танцевали. На миг под карагачем в зеленом свете ракеты я увидел поверх голов Феклу и Петра Додоновых и с обидой подумал: как они могли допустить, чтобы Еля стала гоняться за джазовиком? Затем начал снова среди толпы, пытаюсь забыть измену...

Мы брели домой под утро. Воздух остановился, прежде чем потечь через котловины, в которых угнездился город.

И торжество и горе устали во мне, улеглись, как ветер, и в ясности, в тишине, установившейся в душе, начала всходить надежда, что весь наш народ ожидает великая жизнь.



МАКСИМ ТАНК

★

ИЗ НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

С белорусского

* * *

Я рад, что случай нынче выпал,
Что эту чарку поднял я
И за здоровье ваше выпил,
За вашу молодость, друзья.

Я в жизни испытал немало —
И славу знал, и горе знал.
Искатель истин, я, бывало,
Их находил и вновь терял.

Нет, я не жаден. То, что было,
Не мыслю повторить опять
И вашей свежести и силы
Не тщусь на время призанять.

Я, как Ронсар, скажу вам. дети,
В свой поздний, предзакатный час:
«Я первым буду на том свете,
Займу местечко и для вас...»

* * *

Красива ли ты? Затрудняюсь ответить,
Пока не прошла ты сквозь ливень и ветер,
Сквозь холод прощанья в степи снеговой,
На маленькой станции прифронтовой,
Сквозь боль ожидания — всю ночь, до рассвета —
И снова — до сумерек, до темноты...
Прости, но пока не прошла ты сквозь это,
Мне трудно ответить — красива ли ты?

ПЕРЕД СТАТУЕЙ ШИВЫ

Зачем, всемогущий Шива,
Дано тебе столько рук?
А мне их так не хватает,
Когда я голкаю плуг,
Когда я дроблю камень,

Когда оружие кую,
 Когда обнимаю любимую —
 Печаль и радость мою.
 Когда на жалейке играю,
 Когда я клевер кошу...
 Отдай мне лишние руки,
 Отдай свои руки, прошу!
 Ведь ты же ими ни разу
 Не касался веселых струн,
 Не боролся с разливом Ганга,
 Не укрощал гайфун.
 Ты слез не утер сиротских,
 Людских не уменьшил мук.
 Зачем. всемогущий Шива,
 Дано тебе столько рук?

* * *

Вся земля в цвету. И перед нею
 Оробел я. Столько прошагав,
 Замер вдруг. Ну как пройти посмею
 По устам ее певучих трав,
 По былинкам, влажным, как ресницы,
 И по звездам этих глаз живых?

Видно, я в рассветный тихий миг
 Понял, отчего летают птицы.

ПОЛУСКАЗКА

Решил Полудед
 Объехать Злобеду.

Запряг полугнедого
 В полутелегу-полусани.
 Надел полушубок,
 На одну ногу натянул полусапог,
 На другую полуботинок.
 Взял полмешка еды:
 Полкраюхи хлеба,
 Полгорсти соли,
 Половинку луковицы,
 Полкисета табаку.

Возвратился он с полдороги
 И признался, полушутя:
 — Я объехал бы Злобеду,
 Будь у меня гнедой,

Телега или же сани,
Валенки или ботинки,
Шуба или козух
И полный мешок харчей.

* * *

...И снова звездопад сосновых спелых шишек.
Трепещут иглы солнечных лучей.
Слеза живицы мой висок омыла.
А взгляд привычно тонет в густоте
Высокой кроны, где под самым небом
Темнеет аистинное гнездо,
Как облачко.

Но отчего ж не слышен
Знакомый с детства мерный шум ветвей,
Колблемых прибрежным влажным ветром?

Неужто я стою в тени сосны,
Которую давным-давно срубили?

* * *

Моя хата с краю.
Но именно поэтому
В нее, первую, стучатся
Ветры, сбившиеся с пути,
Тучи дождевые и снеговые,
Перелетные птицы,
Апрели и ноябри,
Базарные дни,
Трудовые будни,
Усталые путники.

Моя хата с краю.
И у живущего в ней
Все дни хлопотливы,
Все ночи бессонны,
Все скамьи заняты в доме,
И вовек не знают покоя
Ни печь, ни ухват,
Ни миски, ни ложки,
Ни чарки, ни цимбалы.

* * *

Что может сработать ветер из дробных капель дождя?
Он может прясть из них песни, веселые или грустные,
Свивать кнуты для подпаскѳв, чтоб с луга сгонять коров,
Ткать семицветные радуги, как пестрые рушники,
Застеклять колеи придорожные лужами-зеркалами
И нанизывать звонкие бусы на стебли июньских трав,
А в бессонные ночи на окнах расплывчато рисовать
Лица друзей, которым безуспешно писал я письма...
Увы, полевая почта возвратила мои посланья.

Перевел Яков Хелемский.



АНАТОЛЬ ВЕРТИНСКИЙ

★

ЧУДАК ЧЕЛОВЕК

С белорусского

Чудак человек...
 Глядит на росинку маковую
и целое солнце
 видит перед собой.

Чудак человек...
 Берет обычную раковину
и слышит в ней
 океанский прибой.

Чудак человек...
 Видит дорожку гладкую,
но жадно мечтает
 о терниях трудных дорог
с их крутизной,
 с их небезопасной загадкой
и будет идти,
 пока хватит натруженных ног.

Чудак человек...
 С утратами безвозвратными
не мирится он
 в глубине души,
с неправдой не мирится
 и с полуправдою
не хочет мириться —
 хоть кол ты на нем теши.

Чудак человек...
 Ему — Хиросиму, Освенцим,
ему вместо имени —
 лагерное тавро.
А он повторяет,
 что есть добро на свете,
что будет добро
 и что победит добро.

Чудак человек...
 Потери и неудачи
веру его
 сломить не могут никак!
Чудак человек...
 И это его чудачество —
спасенье его,
 его человеческий знак.

Перевел Григорий Курнев.



М. БЕЛКИНА

★

НА РЕКЕ

Очерк

День хмурый. Морось. Спускаться к пристани по обрыву не рискнула. Обязательно поскользнулась бы, измазалась в глине. Потом на пароходе, на людях, не показаться. Пришлось огибать косогор берегом. А река опять поднялась, подсекла обрыв так, что и берега нет. По воде надо идти, прыгая с камня на камень. И угораздило же поставить причальную баржу в таком месте, что и не доберешься! Да еще недавно выкрасили ее нежно-голубой краской... Кассирши в будке нет. И вообще на пристани ни души. Только тетка в резиновых полусапожках, в мужском пиджаке мокнет рядом с мешками.

— Глыбоко? — спросила она.

— В ваших не пройдешь... А вы на стройку приехали?

Не ответила.

Сходни — две доски без перил. Скользкие. Ведут вниз. Палуба намного ниже причала. В окне рубки матрос, кажется, настраивает проигрыватель.

— У меня билета нет! — стараюсь перекричать хрип пластинки.

Отмахнулся. Поправил фуражку, съехавшую на нос. А нос и скулы веснушками обсыпаны.

Ветер хлопает брезентом, натянутым над кормой. Палуба забита ящиками, бочками, бумажными кулями с удобрением. На связке канатов, накрывшись клетчатой деревенской шалью, как в шалаше, спрятавшись от ветра, молодая женщина заплетает в косицы бахрому. Подняла глаза, поглядела как-то особо и, опустив ресницы, снова принялась заплетать бахрому. Захотелось лучше разглядеть ее лицо, и, петляя между бочками и ящиками, я снова прошла мимо. Но она опять посмотрела в мою сторону, и опять я не разглядела ее лица. Только этот странный, привораживающий взгляд. Рядом с нею, прямо на палубе — другая женщина, постарше, замотанная по самые брови черным платком, обхватив колени руками, все что-то говорила... Поодаль на кулях спала старая цыганка, завязав цветастые юбки бечевкой у самых щиколоток. А рядом с клетками, в которых метались переселенцы-соболы, — одинокий пассажир, заросший седой щетиной, в мятой фетровой шляпе, натянутой на уши. Прислонившись спиной к борту, запахнув полы плаща и придерживая их руками, засунутыми в карманы, он горбился под напором ветра, курил коротенькую трубочку и, казалось, дремал. Остальные пассажиры забились в салон, где на окнах мотались плюшевые малиновые занавески с бомбошками. Ветер дул с моря. Гнал вверх по реке свинцовые валы с белыми гребнями. Валы шлепали о борт, и пароходишко каждый раз сотрясался. Река, как гигантский кот с мышью, играла с пароходишком.

Шлепнет и ждет. Жив еще, шевелится? И опять шлепнет. А он скрипит, трется о причал и гудит. Бодрится, что ли, или пассажиров сзывает... А пассажиров нет.

Уже собрались убрать сходни, когда наверху на косогоре показался вдруг человек в ватнике, с рюкзаком, перекинутым через плечо. Он ловко на каблуках съехал по обрыву, оставляя за собой в мокрой глине глубокую лыжню. Прыгнул с пристани на пароход, ответив на замысловатое приветствие матроса, убравшего сходни, столь же замысловато...

Это оказался водитель самосвала Замай. На берегу у нас с ним так и не состоялся разговор... Он прошел туда, где сидела молодая женщина. Оглянулся. Еще раз прошел. Еще раз оглянулся. Потом увидел старика рядом с клетками, подошел к нему, хлопнул по плечу:

— Снулый ты, батя! Как конь, стоя спишь! — И, вытащив из кармана ватника бутылку, щелкнул по ней пальцами. — Принимаешь еще во внутрь?..

— А кто от нее отказывался?

— Вот только закусить будет нечем. Я было сунулся к ларьку без очереди, а он гудки подает... И ларек-то рядом... — показал Замай на косогор.

А по косогору вверх по мокрой, скользкой тропке взбиралась тетка с мешками. Одной рукой она цеплялась за редкие кусты, другой тянула за собой два мешка. Ноги у нее разъезжались. Она добралась уже почти до середины косогора, поскользнулась и, распластавшись, съехала на животе вслед за мешками. Теперь она стояла внизу, вытирала косынкой испачканные глиной юбку, пиджак. Грозилась кому-то кулаками, что-то выкрикивала и плакала от обиды, размазывая косынкой грязь по лицу. Потом, не стесняясь, подняла юбку, подсунула ее под пиджак и, взвалив мешки на спину, на четвереньках стала снова карабкаться вверх, упираясь коленями в глину, хватаясь за кусты свободной рукой.

— Гады равнодушные! У самих моторы, на моторках в город гоняют. А на приезжих им... — ругался Замай. — Совещаются все, кому лестницу stanovить: пароходству или стройконторе...

— Русская баба — она выдюжит... — сказал старик.

— Что допрет, то допрет! Это факт. Да о человеке-то подумать надо. Все только лозунги пишем! Лестницу-то сколотить — раз плюнуть! А река каждый год в этом самом месте...

Старик достал из-за клеток деревянный чемоданчик и, присев на корточки, стал вынимать из него свертки в газете. Замай опустил рюкзак, примостился на нем, держа бутылку наготове. Глядел, как на крышку чемоданчика на смятую газету ложились жареные рыбины, буханка хлеба, огурцы, нож.

— С запасцем живешь! И сервируешь по первой категории, как в «Золотом роге»! А еще одного резервуара не найдется?

— Нету.

— Не поровну получается. — Замай примерился бутылкой к кружке. — Разыграем, что ли? — спросил он, наполняя кружку до краев.

— И достаточно. — Старик отодвинул кружку.

— Смотри, чтобы без обиды! Я уж как начну, остановиться характера не хватает.

— Достаточно.

— Ну, тогда поехали!..

Замай покрутил бутылкой и, запрокинув голову, влил в себя содержимое. Потом швырнул бутылку через плечо за борт. Разрезал рыбу. А старик колдовал над своей кружкой. Моргал коротенькими ресничками, подносил кружку к носу, нюхал сначала одной ноздрей, потом

другой. Отставлял кружку, снова подносил, снова отставлял. Потом одним махом наконец опорожнил, заглотив вместе с водкой и губы. Долго их жевал, морщился, причмокивая, и его небритое серое лицо съезжилось, как брезентовая рукавичка.

— С подходцем! — одобрил Замай, поднося ему на кончике ножа кусок рыбы.

— Не закусьваю.

— Силен! А ничего, что я на харч навалился? Пообедать не успел.

— Ешь на здоровье.

— Ты как брал ее, рыбку эту?

— Закидушкой.

— Это для слабонервных! А тебе доводилось когда телевизором форель брать? А?

— Нет.

— Эх, жаль, батя, не чуял я, что тебя встречу. Лучше бы я тебе телевизор оставил!.. Тут, на Седом ручье, форели этой тьмуца! Болотки натянешь, телевизор впереди себя на ручке ведешь. Скрозь него все дно видать, каждый камешек пересчитать можно! Да его сделать-то — раз плюнуть. Ящик поглубже возьми, вместо дна стекло вмажь. Ручку приделай. И вся техника! Только болотками надо приноровиться дно не мутить... Идешь по воде крадучись, а она, стервь, в яминах стоит, митингует! Ее — бац! — на трезубец или на вилку и в ведро за спину. Ведро в рюкзаке этом приспособил. Бац — и еще! И еще!.. Тут надо только вилкой научно орудовать. Быстрота нужна и сноровка, и чтобы без пузыря, без звука, значит, воду резать, а то разгонишь форель-то...

— Так это ж браконьерством называется!

— Ну и что?.. Я, когда на Камчатке, к примеру, работал, так там населению запретили рыбу брать. Ты ж представляешь, на реке в тайге жить и чтобы без рыбы! Смехота! И населения-то там раз-два и обчелся. Балык, значит, красная икра идут по спецназначению, а ты облизывайся... Говорят, губернатор камчатский, ну, словом, начальниж там ихний, сто лет, а может, двести назад, приказал всех собак перебить на Камчатке, потому как от собак людям голод получается! Ну, а теперь, значит, приказа по собакам, чтобы их перебить, не было, да охотники и сами их повывели! Собака ездовая без юколы не может. Не тянет она. Мы пробовали рыбными консервами, а она пить хочет, снега нажрется, отяжелеет и не везет. А пластину юколы дашь ей — цельный день бежит... Ну, а потому, как мы, значит, научное учреждение, за вулканами наблюдения вели, так нам одним по всей округе и был официально вылов определен, чтобы на двадцать пять ездовых собак юколы на зиму запасти. Ну, а где собачкам юкола, там, естественно, человеку и балычок. Как же без этого! Юколу коптим собачкам, балычок — себе. Место глухое, на островке. Собачка каждая к своему колышку привязанная, злые они, черти, перегрызутся, если вместе... Красную икру, значит, запасаем в банки. Крышки закручиваем машинкой по всем правилам. И совесть, между прочим, не гложет! Те, к примеру, кто по спецназначению икру эту потребляют, их же совесть не трогает. Они это за правило почитают. А нам-то чего стесняться! Мы ж хозяева, батя!.. Ну, а тут, значит, рыбконтроль на моторке! Ну, думаю, все! Накрылись!.. В юкольник взайдут, сразу балык от юколы определяют. А они, значит, с мешками прибыли. Рыбконтролю тоже и балычок и икорка на зиму треба! Тоже человеки! А самим-то им не положено... Или судья, к примеру, за браконьерство судит, а сам к нам на остров с ведрочком жалует! А он чего в этом ведрочке, воду, что ли, речную назад повезет?! Это тебе что, не браконьерством называется? А ты мне про телевизор! Так я, может, раз в лето и выберусь! Эх, снулый ты, батя, и есть!.. Я, почитай,

полстраны на колесах изъездил, так что ты мне про браконьерство не загинай!.. Давай лучше по второй? А?

И он вытащил из рюкзака бутылку.

— Куда торопиться?

— Может, у меня жизнь укороченная, потому и тороплюсь.

Старик взял у него из рук бутылку, поставил за клетки. Замай хотел что-то возразить, но в это время опять загудел пароход. Забил плицами по воде. И отчаянно, на всю вселенную завопила пластинка: «Помирать нам рановато, есть еще у нас дома дела...» Но капитан с мостика в рупор:

— Отставить музыку!

— Есть отставить! — ответил матрос из рубки, выключив проигрыватель.— Только так ведь по правилам положено, чтобы прибывать и отбывать с музыкой...

Замай перешагнул через чемоданчик с едой, пошел вдоль борта. Тетка уже забралась на косогор, сидела на мешках на самом краю, махала отходившему пароходу. Ветер рвал у нее из рук косынку. Замай снял кепку, ответил ей. Потом зашагал туда, где молодая женщина спряталась от ветра под клетчатой шалью. Там уже вертелся матросик с веснушками, тот, что возился с проигрывателем. В тельняшке, в белой фуражке с крабом, которая была велика, и ему поминутно приходилось скидывать ее головой. Он «травил анекдоты». Смеялся.

— Не твоей она масти, понятно?! — буркнул Замай и, вынимая из кармана пластмассовый портсигар, будто невзначай сбил локтем фуражку с головы матроса.— Извиняюсь!..

Тот вспылал, но, видно, соразмерив силы, решил не связываться. Молча поднял фуражку, отряхнул и, положив ее на ящик, с остервенением принялся перекатывать бочки. А Замай остановился, прикрывая полый ватника зажигалку, делая вид, что прикуривает, а сам смотрел на молодую женщину. Она чуть повернула голову в его сторону, но глаз не подняла и старательно натягивала пальто на голые ноги, вставленные в огромные мужицкие сапоги. Замай закурил наконец, хотел пройти между ящиками к борту и столкнулся со мной.

— А, корреспондент? — сказал он.— Значит, вместе отчаливаем... А я-то тебя, то есть вас, и не заметил было...

Пароходишко пятился задом. Миновал косогор. Стала видна стройка. Затопленные причалы, где раньше разгружали баржи. Кран одиноко торчал посреди воды. Будка диспетчера плавала рядом. В открытую дверь была видна табуретка, телефон на табуретке. Кто-то подгрел на лодке. Вскочил в будку и, привязав лодку к ручке двери, стал звонить по телефону. Две нефтеналивные баржи теперь служили причалами. С них шли на берег длинные мостки. По мосткам сбегали люди с мешками цемента на спине, грузили машины. А вверх по мосткам бежали люди без мешков, сторонились, пропуская тех, кто с мешками. Нагруженная машина отъехала от мостков, расплескивая грязь, переваливаясь с боку на бок. Забуксовала у какого-то бугра. Потом одолела его, двинулась по улице, где стояли в ряд лицом к реке деревянные одноэтажные дома, похожие на ящики. И мокрые крыши, стеленные некрашенным оцинкованным железом, лежали на них, как опрокинутые корыта... А за первой машиной уже вторая все на том же месте у бугра вертела вхолостую колесами. Но вот и ей удалось выдраться из вязкой глины, и, выехав на дорогу, она неслась мимо конторы, больницы, общежития, вверх, в гору, которая обрывалась к реке глинистым откосом.

А пароходишко все пятился, и теперь хорошо были видны на горе этой четырехэтажные коробки домов с пустым еще нутром, некрытые, и над ними лениво разворачивались краны. А ближе к откосу — ларек.

И перед ларьком круглые столы врыты в землю. А вокруг ларька и столов натянута на столбах сетка, как спортплощадка огорожена... И еще машина, отбуксовав все на том же месте, гнала по улице, обдав грязью каких-то девчат. Девчата бросились на крыльцо конторы. А в окнах конторы уже с утра тускло светились электрические лампочки.

Если бы бинокль, наверное, можно было бы разглядеть за мутными стеклами секретаря-машинистку Лялечку в пестром платье с голыми плечиками. Конечно, сапоги она засунула в ящик стола и носится из кабинета главного инженера в кабинет начальника стройки по грязному, заплеванному коридору, где всегда толкотня, где сидят на корточках, подпирая стены, курят и матерятся. И Лялечка, шлепая белыми босоножками без пятки, пробегая мимо, бросает на ходу:

— Ребята, не засоряйте воздух!..

И ребята смолкают, и никто не позволит выходки какой или даже шутки в ее адрес. Все знают, а кто не знает, тому объяснят, что она если не самый главный человек на стройке, то уж во всяком случае в этом дощатом бараке главнее ее нет. Только от нее и зависит, под какую руку и кого подпустить к самому Кавуну. А в угловой комнате сидит сам Кавун или, как его зовут за глаза, «Три кавуна», что вполне соответствует действительности. Он огромного роста и непомерно толст. Он, как всегда, мрачен и устал уже с утра. И забыл, конечно, снять свой соломенный брыль, который лет тридцать тому назад привез из Днепропетровска и который давно уже потерял всякую видимость шляпы и как ведро опрокинут на голову. Кавун орет сразу во все телефонные трубки. Напирает животом на стол. Стол отъезжает. Кавун придвигает стул. Стол опять отъезжает. Кавун опять двигается на стуле. И так, пока не натянутся шнуры и какой-нибудь телефонный аппарат не слетит со стола. Тогда Кавун, чертыхаясь, поднимается, толкает стол на место и опять начинает налегать на него животом...

— Хоть бы кирпичев ему понаклали бы в ящики! — ворчит тетя Шура, уборщица. — Это как же намаешься целый день взад-назад ездивши!..

Но никому нет до этого дела. Да и самому Кавуну до стола ли?!

— Пока ты там телишься, у нас воды с головой будет! И так по грудки в воде стоим! — кричит он в одну трубку, а в другую: — Чего? Три баржи с цементом?! Так то ж мне только позавтракать!.. Это я не тебе, Степан Иванович! У меня Соколенков на проводе. Опять налево сработал! Ты погоду, трубочку не ложь! А то к тебе не дозвонишься. Я с ним враз разделаюсь!.. Так я ж тебя под суд, по уголовной статье припаяю!.. Какие шесть барж? Ляля, погляди в окошко, сколько барж с цементом под разгрузкой стоят? Аллэ? Аллэ? Ты чего там в песок ушел?.. Девушка, не слышать, я с городом разговариваю, с базой... У меня с унитазами, понимаешь ты, опять петрушка получается, и раковин нет. Второй год дома стоят... Это я тебе, Степан Иванович, тебе, пока там Соколенкова налаживают... Будь другом и братом... Да в городе у них у самих дома законсервировали, в эксплуатацию сдать не могут все по той же причине унигазов. Фаянсом не обеспечивают... А мне народ некуда девать. Заселил. Воду на второй этаж поднимают, расплещут, зимой прихватит морозом! У меня сколько по бюллетеню — бытовые увечья — ходят!.. Ну, если унитаза не можешь, так ведь раковины чугунные сам на складе у тебя видал... Олифу-то я тебе дам, мое слово — закон, ты это знаешь! А про кровельное и не пытай, у самого нехватка... Да ты мне, Степан Иванович, на давление разговор не перебивай. Давление оно и есть давление. Я его при себе, как партбилет, ношу... Пиявка, она, конечно, вещь первостепенная!.. Да мне бы унитаза и раковины на кухню, я уж не говорю умывальники, так у меня люди бы,

почитай, как при коммунизме жили. И я, может, без пивки этой обходиться бы стал... Ляля, где накладные? Соколенков прорезался, орет — шесть барж отгрузил!.. Аллэ, Кавун на проводе...—И уже третью трубку схватил.— Это я тебя спрашивать должен! Кто на пятом участке бетономешалку запорол?! Ляля, где бригадир с пятого?..

А стол уже отъехал, и один из аппаратов почти на воздухе, на самом краю висит. Кавун встает. С трубками не расстается. Боком двигает стол. И опять кричит:

— Ты мне голову не морочь! Ляля, когда бригадир с пятого в декрет пошла?..

Ляля носится с папками, накладными, отстукивает на машинке форму номер один, форму номер два и без формы под копирку просто бумажки всякие. Звонит. Соединяет. Вызывает. И целый день громовый голос Кавуна сотрясает стены. Кавун, в общем-то, и не кричит, это у него разговоривать называется, просто голос ему по габаритам выдан. А звонку он не доверяет.

— Ляля!

И где-то вдруг в конце дня, уже охрипнув и тупо уставившись на голые Лялины плечики, словно только сейчас и увидел ее, говорит безнадежно:

— Слушай, так я же тебя, как друга и брата, просил: прикрывай ты их, за ради Христа, хоть чем-нибудь! Что у тебя каждый раз материи, что ли, не хватает?! Неудобно ведь, народ смотрит...

— Ну и пускай смотрит! Теперь мода такая! — передергивает Ляля плечиками.

— Мода?! Пережитки небось...— неуверенно говорит Кавун и, сняв брыль свой, вытирает платком круглую, без единого волоса голову.

— Не пережитки вовсе, а мода стран народной демократии,— возражает Лялечка.— Я вам журнал могу показать, там по-болгарски написано. Я уже все платья таким фасоном пошила.

— Ох, и пришью мне за твои фасоны бытовое разложение! Как пить дать, пришьют!.— И уже в телефонную трубку: — Аллэ? Кавун на проводе... Ну, и пушай жалобы пишут, может, до Москвы дойдет! Спасибо скажу... Ну, а что Степан Иванович? Степан Иванович два восьми-квартирных рядом поставил и под клуб оборудовал. А теперь его судить собираются. Не по назначению деньги расходовал. Ему на жилищный фонд средства отпущены были, а он, значит, в обход пошел... Чего?! Да льет, будь он неладный. Река опять на двадцать сантиметров поднялась... Да кабы бы лил, может, сразу и пролился бы! А то паморок сплошной. В окне дня не видать...

Окна грязью заляпаны. Самосвалы — мимо в одну сторону, в другую сторону. Брызги летят. И от каждого самосвала новые кляксы грязи по стеклу расплываются... И еще самосвал с мешками цемента буксует все у того же бугра. А машины, что порожняком шли навстречу, проехать не могут. Шоферы высыпали, раскачивают засевший самосвал.

А парходишко перестал пятиться задом. Застопорил ход и опять надсадно гудит. На этот раз объявляя наконец о своей решимости двинуться на самую середину реки, где река набухла, пенится гребнями. Где ветер гонит волны вверх по течению, а река стремительно гонит воду вниз по течению. Где парходишко будет кидать с волны на волну. И он гудит. Гудит... И вдруг гам на берегу шоферы бросили засевшую в глине машину и врассыпную к своим. Замигали сквозь морось жидкие огни фар. Мигнут и погаснут. Мигнут и погаснут. И те самосвалы, что порожняком стоят, и тот, что засел, сигналият. И не понять, что там стряслось... Но вот кто-то из водителей выскочил из кабины и машет

ватником, что ли. Стоит лицом к реке, машет... И тогда Замай срывает с головы кепку и высоко поднимает ее в руке.

— Трудяги прощальный салют подают!..— говорит он, стараясь усмехнуться.— Один на свете живешь, а все равно людьми, как ель лапами, обрастаешь...

Пароходичко умолк. Опять задрожала палуба. Захлопали лопасти колеса. На берегу перестали сигналить. Шоферы снова сгрудились у машины, что увязла в грязи. Навалились на нее.

— Интересно, кому это в голову пришло?— говорит Замай, натягивая кепочку обеими руками.— Не иначе, как Петька на радостях, что я отсюда сматываюсь. Я ему одному и успел сказать. Я к ларьку бежал, а он машину навстречу разворачивал. «Ну, счастливо оставаться,— кричу,— так и так... Мешать больше не стану. Выходи в люди»... Он на Первое мая аккурат после того случая такую речу толкнул, будь здоров! И откуда что берется?! Все «да здравствует» наизусть шпарил, без запиночки. Видать, далеко пойдет... Говорит, в депутаты его выдвигают. Поселковый Совет выбирать будут. «Ты ж пойми, говорит, я отсюда теперь в люди выйти могу! Что ж, всю жизнь так и крутить баранку да грязь колесами месить!..» А по мне что! Я с пятнадцати лет за баранкой... А, думаю, идите вы все... к бабушке на именины!.. Я как пароход увидел, так и решил. Вчера еще вечером не думал... За двадцать минут «по собственному желанию» оформил. Да чего там! Отчаливаю, и все. Точку поставил и завязал!

— Куда вы теперь?

— Да блатают меня в Якутию на алмазы. Никогда не был там. Интересно все ж таки, география!..

Щурится на берег, словно плохо видеть стал... А я не пойму, что это он гнев на милость сменил — на берегу чертом на меня глядел и нарочито был груб, а теперь вдруг «вы» и дальше чем «к бабушке на именины» при мне не посылает...

— Повстречаться бы с Петькой годов так через десяток...— продолжает Замай.— Выйдет из него человек или нет?.. Ведь как обернулось все! Когда вызвали меня тогда в контору, грузы эти в новый нанайский поселок по реке перебросить, ну я сразу согласие дал, хоть и рискованное это дело. Поздно уже по льду на машинах... Только за старшего не соглашался. Сам проведу, а за людей в ответе не буду. Посоветовать, кто, значит, поопытнее, выдержку имеет, это можно... Ну, двое шоферов тут же высказались. Они свои дома на Нахаловке рубили. В долгу по уши. Только просили в тайне держать, а то бабы крик подымут. Четвертый, значит, ни да, ни нет. Сомневался. Так ему намекнули, он на квартиру девяносто шестым в очереди стоял... Ну, а можно, значит, без очереди... А об Петьке и разговора не было. Это он сам пронюхал. У общезнания меня нагнал. «И я, говорит, еду!» — «Не поедешь!» Он в амбицию. «Мне тоже деньги нужны. Я ж понимаю, что не за спасибо едете! А я женюсь...» — «Вот потому и не поедешь». Я ж его жалеючи... А он канючить стал. «Раз они пройдут, почему же я не пройду? Да они что, тебе на лапу, что ли, обещались?! Раз про них ты советовал, а про меня нет!» Ну, я его чуть не стукнул... Прощения просил. «Мне, говорит, знаешь, как деньги нужны, позарез аж!» И тетрадочку из кармана вынимает. А у него там все расписано. Ему комсомольскую свадьбу играть готовились. Средства собирали. Так он в разведку пустился, наперед узнал, какие подарки будут, чтобы самому зазря не расходиться... «Два сервиза, говорит, обеденный и чай, значит, чтобы пить. На кухню там все, что требуется. Подарок молодой хозяйке. Занавески на окно кружевные. Стол. Шесть стульев. Клеенка импортная...» За нее бабы в очереди давились... Да я и не запомнил, чего там у него еще записано

было. Много чего... «Тахтой, говорит, сами обзавелись, и швейная машинка имеется, а вот на шифоньер с зеркалом аккурат капитала и не хватает... А без шифоньера какая же это комната! И Катька, говорит, шифоньер очень хочет, в городе приглядела...» Вы его Катьку-то видали? Дылдастая против него... Ну, думаю, черт с тобой!.. Противно мне это все слушать стало. Я ж его за другого держал... Мы, как выходной, ружья возьмем и в тайгу или на рыбалку закатимся. Мы с ним на пару лодку заимели, мотор, значит, на кооперативных началах приобрести собирались... Теперь-то небось каждый день рожу перед зеркалом бреет и думать забыл, чего ему шифоньер этот стоил!.. Он вам разве что про это рассказывал?

— Нет. Не рассказывал.

— Ясенько!.. С той поры, как тот гаврик про нас в газете написал, объяснил нам, значит, наш моральный облик, так Петька все как по писаному шпарит: «Верный своему патриотическому долгу...», «всегда помнил о высоких задачах, поставленных перед нами строительством коммунизма...» Даже когда с машиной под лед угодил, рыбам на корм!

— А кто же его из-под льда-то вытащил? — спросил старик, который вез соболей в клетках.

Он давно уже стоял рядом с нами и, опершись о борт, сосал трубочку.

— Да я его и вытащил...

— А чего ты сам-то согласился машину вести?

— Да потому, видать, батя, что лося бьют в осень, а дурака всегда!.. Рисковый я, понимаешь! Шутки с жизнью шуткую. Я бы, может, давно послал бы ее к этой... бабушке на именины... Да жаль, вроде бы одна она у меня, другой жизни не будет...

— Не будет... — повторил старик.

— Деньги-то мне что, плевал я на них! Сколько их у меня перебивало! А пожитков — рюкзак да что на мне. И сберкнижка, как решето, не задерживала! Ну, а машину я где хотишь проведу. Я циркач по этой части. Мне на Магадане, когда я на прииск гонял по реке, было объявлено: упустишь машину под лед — не выныривай!.. Так что я, батя, ученый! Школа пройдена...

— Пройдена.

— Ты чего это аукаешься? Эхом, что ли, нанялся работать? Ты ж пойми, что тут главное. Ты думал когда себе уяснить — сколько человек стоит? А? Я ж про то и талдычу все!.. Вот корреспондент не даст со- врать! Верно говорю?

— Верно...

Правда, мы с ним раз только и разговаривали в Лялином предбанничке, когда все уже почти разошлись. Он, как зверь по клетке, шагал из угла в угол.

— Почему нынче жизнь идет? А?..

И кулачищем по столу. Крышка на Лялиной чернильнице подскочила, покатилась по полу. Он поднял, шлепнул на чернильницу.

— Сколько человек стоит, я тебя спрашиваю?! Или такой кадр, как я, за металлолом идет?! Нет, ты ответь, вот когда Комсомольск, к примеру, строили... К нам тут лектор приезжала сознательность поднимать. Так тогда, значит, она рассказывала, человек за бочкой бензина в огонь сигал, чтобы эту бочку, значит, выручить!.. Так ведь бочка та на вес золота шла. Не было этого бензина, и доставить его в тайгу не на чем... Ну, а теперь что? За галочку в плане, получается?! Так ведь нас же, дураков, вязать надо было!.. Да чего с тобой говорить! Ну, что толку? Я тому гаврику, «Ледовый рейд» который написал, пол-литра поставил,

а газету получил — все наоборот напечатано!.. Чего ж тогда было вечер вопросов и ответов устраивать? Тебе факты известны? Ну и шпарь! Прибавь там чего, чтобы покрасивше получалось... Да пошли вы все...

Сузил свои рысьи, чуть зеленоватые глаза. В них злость. Вызов. И любопытство... Интересно, должно быть, как реагировать стану, «представитель» все ж таки...

— Ты к Петьке сходи...

Уже миролюбиво, без злости. С усмешечкой. Скрывая за усмешкой неловкость.

— Петька насобачился интервью эти давать. А со мной только точки на бумаге ставить придется... А того гаврика из газеты повстречаешь ежели, скажи: я до него доберусь, мол... Мне не пол-литра того жалко — мне себя жалко, что я душу перед ним выворачивал... А он еще поддакивал: ты, говорит, в самую точку попал!.. Ну, приветик, одним словом! Салют из космоса!..

Хлопнул дверью.

— Что, пообщались?! Я предупреждал! Вот с таким контингентом и строим!.. — сказал главный инженер, входя из коридора. — А кто еще сюда поедет? Сколько их прибывает, столько и убывает. Зря он, между прочим, в печать попал... Надо было прежде согласовать с руководством. Есть такое старое доброе правило, а вы теперь все норовите, минуя инстанции... Не та он фигура, чтобы его поднимать...

— Что значит та или не та фигура? Товарища-то он спас!..

— Не он, так другой! У нас человека в беде не оставляют... И, учтите еще, ничего ровным счетом не произошло! Все живы, здоровы! И главное — довольны. И машину уже подняли. А в нашей работе без риска нельзя... Но если каждый полезет рассуждать, кто же тогда выполнять будет? Работать кто будет, я вас спрашиваю? А ты еще обязан выслушивать. Философия пополам с матом!.. В демократию играем!..

И скрылся в кабинете Кавуна, откуда выскочила Лялечка с папками.

— А чем же они, интересно знать, виноватые?! Если только три класса всего и окончили... — вздохнула Лялечка. — И опять же культмассовая работа у нас не поставленная! Клуб от нанайцев остался на сто двадцать мест, а человеко-душ взрослого населения уже за четыре тысячи перевалило, я справку для Кавуна готовила... А может, вы еще с Федоркиным поговорите? — И не дожидаясь ответа, вскочила на подоконник и закричала в форточку: — Дядя Коля! Представитель тут, зайдите на минуточку!

Водитель Федоркин, тот, что поставил дом на Нахаловке (двух других водителей не оказалось в поселке), сказал:

— Петька бодягу тянуть, это он, конечно, способный... А нервы на нем тонко натянуты. Это да... Мы как шли? Мы интервалы, стало быть, держали... Первым — Замай. За ним вслед — я. За мной, стало быть, Петька, ну и дальше соответственно... Я аккурат на спидометр поглядел, засек, значит, до поселка нового, что нанайцам отгрохали, ровно восемнадцать километров осталось. А часов, должно быть, десять... Я по солнцу определил. Свои-то забыл завести. Ну, а тут сигналы, стало быть. Машины, что сзади шли, гудят... Я на лед выскочил — смотрю, две машины стоят, подалее которые, а Петькиной как и не было... Вот так, стало быть... С верхом накрыло. Места тут омутовые. Глыбоко... Полынья, значит, вместо Петькиной машины пузырится, и льдяшки по ней кругом идут. Да не в том месте, где мы с Замаем прошли, а чуток правее, к берегу ближе... Петьке, стало быть, померещилось — это уже он нам потом докладывался, — что лед под моей машиной, кажись, хряпнул и воды

по льду пошло вроде поболее, чем было! Крыльями, говорил, из-под колес бьет... Ну, он и вырुлил... А того, что там ручей подо льдом в реку, значит, лед и истоншал, этого он не знал, стало быть... Сперва, значит, заднее левое колесо осело. Ну и тут машина, стало быть, на бочок. Так бочком под воду и ушла. Петька, значит, хватанул за ручку, выскочить хотел, а ручка неисправная!.. Мы-то как на авосе живем, так на авосе и едим... Вот так, стало быть!.. Ну, а тут Замай бегом... «Давай, кричит, веревки с грузов разматывай! Чего рты поразевали, вашу... стало быть!..» Обвязался поверх ватника, сапоги скинул, лом прихватил — и в воду. А ежели бы Петька тогда, значит, слабака не дал — ничего бы и не было и никакого происшествия... А что в последнюю минуту давай, значит, жми на всю катушку, плану подсобляй, так то ж привычно, стало быть, чего ж тут такого, обстоятельства...

Дом Федоркин поставил штукатуренный. По фасаду двумя красками крашен. Три окна на розовой половине, три окна на желтой. И телевизионные мачты с двух сторон по краям крыши торчат. Это теперь мода такая пошла спаривать дома — два хозяина один дом ставят.

— Дешевше обходится. На стене экономя, на фундаменте и на крыше опять же... Я теперь, значит, корни пустил. Дом, стало быть, колова, огородишко... Ребятишки подрастают... А до того цыганили! Да. С места на место, значит, в балках, а то и как придется. И на Крайнем Севере бывал. И в Иманском леспромхозе, значит. И Находку строил. А тут пять лет опоры возил. Высоковольтку тянули... А опора та, стало быть, шестнадцать тонн весу имеет. Ее на прицепе волокешь... Да кабы бы по асфальту! А то просек прорубят — тут тебе и пни, и колдобины, и об корень какой запнуться можно. Особливо когда под горку да дождит когда или осклизло... Так ее, стало быть, тянешь на тормозе, тянешь. А она тебе в спину упирается! Вспотеешь весь... Глазами каждую кочку обшариваешь, как миноискателем. Потому как запнешься об чего — тут тебе и могила неизвестного солдата!.. И опора та, стало быть, вместо монумента!.. У нас водитель один работал — Витька Прохоров звали, отчаянный. Да. В какую-никакую погоду, по любой трассе гонял... Так ему по комсомольской линии вlepили... Он как из рейса вернется, так девку голую, которая в купальнике на пляже загорает или в речке которая, из журнала вырежет и в кабину наклеивает. Ну, ему аморалку и припаяли. А он говорит: «Имею на то право. И все!.. Это, говорит, мне вместо компенсации!..» А они постановили соскребать, стало быть, эту его компенсацию. А Витька Прохоров ни в какую!.. Так и гонял. Только новых уже наклеивать охоту отбили. «Спидолу» купил. Сто пятьдесят отдал, по государственной, стало быть, семьдесят пять... Пустит на самое громко и катит... А при нашей работе не положено этого, потому как слушаешься и запнуться можешь... Ну, и запнулся, стало быть... Кабину вместе с черепашкой и снесло... Да и уклон-то не так чтобы шибкий какой, градусов сорок... Ну, баба моя, значит, после такого случая и говорит: «Либо ты, стало быть, с работы уйдешь, либо я с ребятами...» Мы, значит, сюда и подались... А что до Лешки Замая, так все, стало быть, что в газете про него писано — это точно... Это я подтверждать могу. Баламутный он, может, малость и оседлости в нем нет, а так все точно... И Петька, стало быть, когда в больнице лежал, как помянут Замая, в слезы: «Если бы, говорит, не он...»

С Замаем я еще раз встретилась, когда проходила как-то мимо шалмана «Голубая волна» или иначе «Кузькина труба». Это тот самый ларек за сеткой на косогоре. Затея одноногого Кузьмы. В его заведении всегда полно. Вечером и вовсе не протолкнешься. Конечно, одни мужики. А бабы у сетки стоят, за сетку стесняются заходить, редко которая вовется, выволочет своего, а так больше переругиваются на расстоянии...

Кузьма говорит, потому он и добивался сетки этой, чтобы клиент, значит, мог спокойно закусывать...

— Ну чего тебя в тайгу носит? — кричал Замай, наваливаясь грудью на стол и сваливая пустые бутылки. — Мужиков, что ли, в Москве не хватать стало?.. Ты к Петьке-то ходила?! Он тебе про патриотизм вкалывал?!

У Петьки, у Петра Лободы, и правда в комнате стоит большой трехстворчатый шкаф с зеркалом. Петр живет в одном из тех кирпичных домов, что без унитазов и раковин. Второй этаж. Окна выходят на пустырь, где должны закладывать фундамент под нижний завод. А пока здесь воткнуты фанерные щиты в землю, и на щитах написано: «Из одной тонны сухой древесины можно получить 200 литров этилового спирта. Из 50 литров спирта можно сделать одну автомобильную шину». «Из одного кубометра древесины можно получить 200 кг. целлюлозы. Из 200 кг. целлюлозы можно получить 170 кг. шелка. Из 170 кг. шелка можно изготовить 5 тысяч пар шелковых чулок...»

Раньше здесь был нанайский поселок. Но проектировщикам представило это место наиболее удобным для строительства завода и порта. Здесь естественная бухта, сюда будет поступать лес по реке... И по договоренности с нанайцами им построили новый поселок. Перед Первым мая, как только уехали нанайцы, все их развалюшки и снесли. Еще последние вещи грузили на нарты, поднимали паруса, чтобы собакам было легче груженые нарты тянуть. К парусам привязывали разноцветные шаманские ленты. Счастье заговаривали. Духов своих добрых на новое местожительство переманивали... А бульдозеры уже наготове были. Только одну нанайскую избу на сваях с завалившейся крышей и оставили. Это и есть клуб на сто двадцать мест. Там каждый день в шесть часов, как откроется касса, — кулачные бои. Из города даже милиционера прислали. Совсем молоденький, его Малолетком окрестили, бегаёт вокруг дерущихся, разнимает. Никак порядка не установит. Тогда кассирша Зоя выйдет к народу. Красный джемпер на ней по швам трещит, хоть и пятьдесят шестого размера. В одной руке — огнетушитель, другой как хлопнет себя по правому бедру.

— Не скопляйся!.. Разберись по одному! А то вдарю из огнетушителя!.. Цельную неделю одно кино крутить будем! Обожретесь!..

А вечером в общежитии жалуется:

— Господи, и что это за народ ненасытный пошел! За подсолнечным маслом очередь. За керосином обратно очередь. Чулки безразмерные привезли — прилавок чуть не поломали. Дуська увидала меня, кричит: «Зойка, подсоби!..» И обратно из-за кина этого каждый вечер лаешься!..

Раз, говорят, когда хотели кассу разнести, спрятала билеты за пазуху.

— Сунься только! Десять лет за насилie! Вместо Брижитты на торфоразработки загремишь!..

До Зои кассирш десять сменилось, а Зоя ничего, держится. Когда у кассы поулягутся страсти — дружинники подойдут. Но Зоя и тогда не покинет своего поста и только покрикивает в окошечко:

— Смотри, Малолеток, деньги считай! Опять из зарплаты погашать будешь!..

А со второго этажа, из-за кружевной занавески, Петр Лобода ведет наблюдение. Молодая жена его не пускает.

— Если бы еще что джерсовое выдавали, так хоть бы смысл какой! А то потом ходит, фонарями светит и еще каждому объясняет, по какой причине... А есть которые и не поверят... А на Зойку хоть тигров напусти — справится.

Но в конце концов и Петр, конечно, спустится к кассе, если его очередь дежурить. А говорит он и правда, как по писаному:

— ...по причине крайней отдаленности нашей стройплощадки и отсутствия коммуникаций и средств связи, кроме водного транспорта в навигационный период и наледного тракта в зимнее время, мы и были поставлены перед необходимостью...

Или:

— ...сообразно тому, что наш коллектив стоит на втором месте в области по охвату учебой и ввиду высокой сознательности и романтического устремления, так сказать, как правильно отобразил товарищ корреспондент из областной печати...

И т. д. и т. п.

Пароходишко чапает уже по середине реки. Отсюда машины на берегу кажутся игрушечными, заводными, крутят колесиками... Тот самосвал, который засел в грязи, шоферы все-таки вытолкали, и он, пробежав по дороге, поднялся на косогор. Но не пошел туда, куда все машины с цементом, к недостроенным четырехэтажным домам, а свернул к шалману «Голубая волна» и встал.

— Так сколько же человек стóбит? А? — спрашивает старик у Замая.

— Я б тебе объяснил, когда бы вдвоем!.. Правду, видать, говорят: всяк умен, кто сперва, кто опосля... Ну так я, значит, всегда опосля!.. Почему меня тогда первым в контору вызвали? Потому что скажу — проведу машину и другие за мной! Авторитет имею... На машине, как на инструменте, играть могу. Ты мне хоть выпуска тридцать второго года «Газ» дай — отрегулирую! По радио управлять будет можно! Заливаю, думаешь?! У любого спроси. Ну, а что, значит, сукин сын я — тоже факт! Не без этого... Главное, хоть бы корысть какая! А то ж так... Инженер, ну тот, понятно, ему на повышение в трест. Смехота, ей-богу!.. Сидит за столом, карандашики точит — это у него привычка такая. Каждый раз, как планерка, все карандаши перечинит... И не знает, с какой стороны меня уцепить: дом, значит, не ставлю, квартиру не прошу, общежитием доволен! Ну так он на сознательность бьет: страна, мол, ждет, народ... Фундамент под завод закладывать надо... А фундамент-то и до сих пор не заложен, потому как арматуры нет и цемента недостача... Ну, а Кавун... У того-то голоса много, а характера ноль! «Алёкает» цельный день. «Понимаешь ты, петрушка какая!..» Он всю жизнь прорабом работал. «Тоже, говорит, должность собачья! А тут и вовсе загнешься. Никаких талантов не хватит!..» Уже, должно быть, раз шесть заявление подавал, чтобы освободили от должности... Кавун, значит, ни да, ни нет... Перед начальством робеет, отказать не может. И нас посылать боязно... Пивяки ему поставили, он шею полотенцем замотал, от телефона не отходит... А на него жмут. Каждые пять минут из треста звонок: давай, мол, машины отправляй, не тяни, ждать нельзя!.. Да куда уж там ждать, когда до последнего довели: грузы-то эти накануне только доставили. Последним рейсом из города больше уже не будет машин... Ну, а тут из области звонят. Кавун кровью налил, и пивяки не помогают... И каждый в трубку кричит: под мою, мол, ответственность!.. Ну, а Кавуну-то ясно — коль бумажки за подписью нет, с кого ж спрос будет?! По телефону легко ответственность брать... Положил трубку, говорит мне: «Тебе машину вести, ты и решай. Можешь или не можешь...» Это он, значит, мне мосток перекидывает. Мне бы и сказать: раз есть шанс под лед — нечего людьми рисковать. Не поведу, мол, и точка. Раньше надо было обеспечивать трубы нужного сечения и котел отопительный, ну и прочее. А раз не получилось — навигацию подождем... А мне-то все до лампочки! И не в таких переделках бывал!.. Да допер-то я до понима-

ния, когда уже в жару у нанайцев валялся... Это после того, как нас с Петькой из-под льда на веревке вытянули... Я, когда, значит, в воду нырнул, Петька без сознания, за руль завалился. Я его из кабины еле выгреб, а подняться с ним не могу. Ноги судорогой схватило... И на кой хрен я сапоги те скинул. Ушанку-то догадался, уши подвязал, а сапоги прочь. Может, ноги-то в сапогах и не так застыли бы... И руки не работают, пальцы согнуть не могу. Не могу я никак Петьку ухватить. Веревкой раз обкрутил, соскочит, боюсь. Так я ему руку за шиворот, за куртку до локтя пропихнул и на себя опрокинул. Так нас обоих и вытянули... А тут нанайцы как раз на нартах нагоняют. Паруса пораспускали... Председатель у них хитрый мужик, ни за что не соглашался людей перевозить, пока все по списку, по обязательству стройтрест не выполнит. Понимает дело!.. Ну, мы Петьку откачали перво-наперво, а потом поскидали с одной нарты барахло, назад завернули, в больницу... А я уж и не помню, как машину до места довел. Меня то в жар, то в холод кидало... Ну, а там и свалился... Пять дней, говорили, без памяти был. А как приду в себя, кажется мне все, что Петька помер... Его и правда мертвяком повезли... Стоит он передо мной босой, ноги синие, перебирает ими, как гусь лапчатый. зуб на зуб у него не попадает... И путаю я его все с Сенечкой... Был у меня такой дружок. В партизанах погиб... Личностью они схожие. У обоих волосья, как лен, на глаза падают. Лобастые обои, худящие... И не разберу я никак — Сенечка это или Петька. Или обои уже померли... И как током меня шибануло, значит, — сказал бы, гад, нет, мол, моей воли, не поведу машину, и все, а в случае чего скандал учинил бы, ребят поднял, телеграмму в Москву отбил!.. И Петька бы живой остался... Сорвусь, с койки бежать. Два раза меня в снегу ловили. Навалятся скопом, побороть никак не могут... Во мне ж то силища! К койке привязывали... Ну, а потом, как оклемався, перестали караулить. Фельдшер отлучился раз, а я в сенцы, лыжи его взял и через тайгу... Да, видать, рано еще, чуть не загнулся... До поселка еле допер... В больницу побоялся идти, к Кузьке сперва. «Да жив твой Петька. Выписывать скоро будет. Смотри, сам в мертвяки не сыграй!..» Посоветовал портвейн взять. В больницу, говорит, только с портвейном пускают или кагор — это лечебное... А к Петьке только вошел, тут врач — велела уходить. Нельзя Петьке расстраиваться: у него сотрясение. «Да вы сами, говорит, в каком виде. У вас явно температура. Кто вам разрешил на лыжах?! Я же фельдшеру по рации инструкцию давала. Вам нужен постельный режим. Я вас немедленно госпитализирую...» Ну, пока она распоряжалась там с сестрами — я дёру. На углу чуть милиционера с ног не сшиб, налетел на него. Он малолеток у нас, годков ему мало, недоросточек, хошь и в шинелишке. «Поздравляю, говорит, вас, товарищ Замай, о вас уже по областному радио передавали». — «Давай лучше, говорю, братишка, выпьем, а то нам с Петькой не дали...» — «Не могу, говорит, на посту. При исполнении служебных обязанностей...» — «Ну, тогда я за нас троих...» Дошли мы до конторы. А там аккуратно доска почета стояла, теперь-то ее на площадь перенесли, перед трибунами, а тогда там еще была... Сутемки уже, плохо видать, не разберу никак — какая-то рожа знакомая на меня с доски пялится. Да еще нахально так... Зажег зажигалку. А это я сам! При галстукке. И сроду я галстук не носил. Брови наведенные! Большой такой портрет. А по бокам поменьше — Петька и трое других шоферов... Ну, я себя и сгреб!.. «Гражданин Замай, вы нарушаете! — кричит Малолеток. — Вам за это пятнадцать суток положено!..» А я ему: «Да не галди ты зазря. Читай лучше, что написано! Вслух читай, с выражением!..» И зажигалкой свечу ему. А там написано, что верные, значит, сыны родины, патриоты, мол, ну и дальше, как требуется, героический рейд и прочее...

И что подвигом своим они, то есть мы, значит, рапортовали родине-матери, что к Первому мая обязательства, взятые на себя коллективом строителей, выполнены! «Ты, Малолеток, вникай,— говорю я ему,— тебе ж дальше жить!.. Что касаемо патриотизма, так мне еще и шестнадцати не было, когда я из-под носа у немцев свой трактор уволок. Что бы, значит, и трактор мой немцам не достался, и самому на них не работать!.. Ну, а что до родины-матери, так ежели она мать, ей же не обязательно, чтобы к Первому мая или к другому какому празднику! Она ж и подождать может. Ей же главное, чтобы сыны ее целы были, чтобы жизнью их зазря не кидался... Это ведь тресту премия к Маю нужна. Ты ж вникай! И, обратно, району важно, чтобы области рапортовать, а области перед Москвой лестно... Ну, а что до родины-матери, так затрепали ее, не спросясь!..» Оглянулся, и нет никого. Малолетка как водой смыло. Не положено ему, видать, в служебное время речи подобные слушать... В пустоту кричал...

Старик закашлялся и, перегнувшись через борт, долго плевал в реку. Из трубы пароходиска густо валит дым. Тучи, низко нависшие, не дают ему подняться, и ветер тут же за кормой разрывает в клочья и набивает им палубу под брезентовой крышей, как тюфяк черной ватой. Все застелило... А когда рассеялся дым, стройка уплыла уже вниз по течению. Только косогор виден. И под косогором голубая причальная баржа, а на косогоре тетка с мешками, теперь стоя уже, машет косынкой. Никому. Должно быть, так просто, по старому русскому обычаю, желая всем плавающим, всем странствующим доброго пути...

— Остыла... — усмехнулся Замай. — А какая злая была, когда на пузе съехала. Ей бы тогда пойти кулаком стукнуть. Один крик подымет, другой — глядишь, и лестницу сколотили бы... Быстро мы забываем все! Отходчивые...

— Много зла копить, трудно потом... Задохнуться можно, — проговорил старик.

Но Замай его не слушает. Рядом остановилась молодая женщина в клетчатой шали. Бросает хлеб чайке. Единственная чайка гонится за пароходом. И Замай, прикрыв ладонью рот, закричал вдруг пронзительно и тревожно, подражая крику чайки. Чайка шаракнула в сторону, не поймав в воде корку.

— Похоже? — спрашивает он, глядя на молодую женщину.

— Похоже, — говорю я.

— Это меня Сенечка в партизанах еще научил, он по-всякому мог. И птичий базар изображал, и по отдельности...

Подошла цыганка. Старая-старая. Лицо со сна мятое. Озноб бьет ее. Кутается в вязаную кофту.

— Красавец, дай погадаю! — Пристала к Замаю. — Хороший король, крестовый король! Всю правду скажу. Что было, что будет... Ручку золотить не надо. Так скажу. А ты потом чарочку поднеси! Холодно ехать...

— Углядела!.. — Замай посмотрел на клетки с соболями, где старик спрятал бутылку. — Я с бабами не пью. Это мужское занятие.

— А ты не жадись! Тебе все равно мало будет, а я подскажу, у кого на пароходе достать можно. Дорога дальняя... В среду казенный дом будет. Берегись короля пикового! Не того, которого первым встретишь... Первый слово обронит... Второй мимо пройдет... Третьего берегись!.. Я ж за дело прошу!..

— Дело?! — засмеялся Замай. — Какое ж у тебя, бабка, дело?

— У каждого свое дело, красавец мой! У меня свое дело. У тебя свое дело... У тебя под ватником, хороший король, ленточки нашиты. Награды имеешь, до Берлина дошел!..

— Во дает! Насквозь видит!
— А ты зубы не скаль, сокол!.. Я хоть наград и не имею, а тоже на фронте была.

— Снайпером, видать, бабка?
— Зачем снайпером, хороший король. У меня свое дело, у тебя свое дело...

— Неужто гадала?!

— Угадал, сокол мой! Судьбу предсказывала. Три раза в тыл увозили. Один раз за двести километров увезли. Велели не возвращаться. А я все равно дорогу нашла. Пешком шла... Командир ихний велел к себе привести... Красивый командир. Молодой. Бубновый король... Да и я-то еще нестарая была...

— Ну чего ж ты замолчала? Давай дальше рассказывай, что было, — сказал Замай.

— А чего дальше было? Ничего дальше не было... Тот командир ихний поглядел на меня и говорит: «Голодная ты, видать, очень...» А я и правда голодная была. Тогда все по карточкам. А у меня карточкам откуда быть... В деревнях из коры хлёбало варили... Ну, а тут бойцы когда накормят...

— Да ты небось им не только гадала? — сказал Замай.

— Что было — ночь покрыла... Ветер из памяти выдул... А командира того убило... Красавица, дай погадаю, — приставала цыганка уже к молодой женщине. Она снова была на работе. И голос ее зазвучал профессионально.— Всю правду скажу. Что было. Что будет... Короля червового любишь, а по тебе крестовый сохнет. Встреча сердечная в дороге будет...

Замай тоже подошел к молодой женщине. А я пошла в салон погреться. Дождь припустил. Сыро. А в салоне душно. Сесть не на чем. Диванчики все заняты. И на стульях, составленных вместе, спят. И на полу. Я примостилась у стены на чьих-то вещах и не заметила, как задремала... Когда снова вышла на палубу, берегов не было видно. Туман. И впереди туман перекрывает реку. И позади полз туман. Старик возился у клеток, накрывал их брезентом и чем-то очень походил на своих тощих, облезлых зверьков. Я прошла дальше по палубе, наткнулась на Замаю. Он стоял рядом с молодой женщиной, теперь уж у другого борта. Они разговаривали. Замай вдруг сгреб ее за плечи, поцеловал, а она дала ему пощечину... Шаль упала. Я успела разглядеть только, что глаза у нее были необычно близко расположены к переносице, отсюда, должно быть, и странность во взгляде... Мне не хотелось, чтобы меня увидел Замай, я быстро юркнула за штабеля ящиков, где, забившись в угол, сидела на мешках цыганка. Прохода не было. Я присела рядом на мешки. И не зная, что сказать, произнесла:

— Погадайте мне...

— По руке или карты кинуть?

— Да не знаю, может, карты лучше... А о чем вы тогда на фронте бойцам гадали?

— Смотря по обстоятельствам...

— По каким это обстоятельствам?

— Если в обороне стояли — про измену гадала. Чтобы спокойными не были... Ну, а если вижу в наступление им — про любовь! И командир тот молодой протянул руку: «И мне, говорит, про любовь погадай, что ж ты только бойцам моим гадаешь... Я, говорит, первый раз цыганку живую вижу, до этого, говорит, только в книжках читал...» Да я не стала ему гадать...

— Почему не стали?

— Я у него по глазам прочла, поздно ему про любовь гадать: рядом смерть стояла...

— А как же вы бойцам-то гадали?!

— Да я им в глаза не глядела. Я так гадала...

Мимо, гремя по палубе подкованными сапогами, прошел Замай.

Туман густел. Он лежал на мешках, на ящиках, прямо на палубе. Рубки давно уже не было видно. Да и ничего не было видно. Даже собственных рук. Серая мгла... А потом черная мгла. Ночь. Пароход стоит на якоре. Подает время от времени гудки. Ему отвечают. Где-то вдалеке совсем детским голоском, катер, что ли. А рядом, сперва, грубый короткий гудок. Должно быть, буксир, баржи тянет. Потом — тонкий, самоуверенный. Почему-то кажется — пассажирский...

Я устроилась между мешками на брезенте. Замай дал свое одеяло. Слева от меня за мешками — молодая женщина и та, другая, замотанная черным платком. Справа на корме светит фонарь. Самого фонаря не видно, только свет пятном и туман клубится, как дым на пожарище. Клетки под брезентом вырисовываются силуэтом горы. Где-то там разговаривают.

— Не выношу и духа представителей... — говорит Замай. — Меня ж Ляля обманом взяла. Я бы и говорить с ней не стал, с этой корреспондентшей!.. А потом вроде жалко стало. От хорошей-то жизни сюда не поедешь! А? Может, и у нее накладки какие... Ничего мы друг про дружку и не знаем. Толчемся, как на толчке... Вот у нас в отряде дядя Митя был, комиссаром. Так он по слуху человека определить мог!.. Руку к уху приставит и слушает, чего ты говоришь. Слепой, как крот. Очки потерял раз, мы ему мешок очков приволокли! У немцев магазин-оптика реквизи ровали, а он все равно подобрать не сумел... Он Сенечку по двум словам определил — был у меня такой дружок Сенечка, на всю жизнь друг!.. И скажи, дня не пройдет, чтобы я его не помянул... Как за четыреста переложу — так стоит он передо мной, лапами босыми перебирает. Лапы от холода синие... Мы ему и прозвище такое выдали — Сенечка Гусиные Лапы... Пол-то в землянке с наледью. Протопить не можем. Немцы понад лесом так и чешут... А тут Сенечка в партизаны заявился, нашел время... Ребята наши его и опознали — полицаяв племянник, говорят, в комендатуре у немцев переводчиком... Ну, валенки с него и стянули, потому как, ясное дело, в расход его... А я еще пожалел, не мне достались. У меня-то сорок пятый размер, а у него тридцать восьмой. А возраста мы с ним одного — обоим по семнадцати стукнуло... Командир, значит, с него допрос снимает. Кричит: «Будешь ты дрожать или нет? Зубами лягаешь, слов не слышать! Перестань дрожать!..» — «Не могу, говорит, никак, холодно...» Командир глянул на ноги. «Вот сукины дети! Человек живой еще... Не могли подождать!.. Обуть сейчас на него валенки...» Смотрю, ему чьи-то чужие станюват, дырявые, а у него кожей обсоюзенные были... А я на лавке сижу, винтовку разобрал, чищу. Если командир, значит, скажет: «Лешка, выведи!..» — «Не могу, мол, сами видите...» Убивать-то кому охота... Ну, а все, значит, к тому идет, потому как один человек может весь отряд погубить... Командир пошептался с дядей Митей. Расстрел постановили. А дядя Митя испытывает Сенечку. Мы, говорит, тебя можем назад в комендатуру отпустить, чтобы ты, значит, на нас работал. Тебя ребята как привели, так и выведут из леса. Только не вздумай носом крутить. Мы тебя и там достанем. Понял, говорит. «Понял... Только я назад в комендатуру нипочем не пойду...» — «То есть как это ты не пойдешь?!» — «Не пойду... Не могу я смотреть больше, что они там с людьми творят...» — «Так ведь мы ж тогда тебя расстреляем». — «Расстреливайте», говорит. А сам уже и на ногах не стоит, к стенке притулился. «Так ты ж чего думал, когда сюда шел? — кричит

командир. — Мы все под немцами ходим! А если тебя завтра как партизана схватят, так ты сразу нас всех и выдашь со страха?» — «Не знаю», говорит. «То есть как это — «не знаю»?! Какой же ты после того комсомолец, когда не понимаешь даже, как комсомолец отвечать должен! Вражий ты сын, а не комсомолец!» — «Как должен отвечать, это-то я понимаю, — говорит Сенечка. — Только как же я знать наперед могу, не пытали меня еще...» Командир и слушать не хочет, кричит. Контуженый он. А дядя Митя говорит мне: «Посиди с парнем в соседней землянке, нам тут с командиром поговорить требуется...» Ну, а потом ребята и пересказали. Он говорит командиру: «Я его «не знаю» поверил...» Вот так, батя... А чего это я тебе рассказывать-то стал? А?.. С Петькой они схожие, вот чего обидно... Обои беленькие, худящие. И росточка одного... Как за четверста переложу, так, значит, стоит он передо мной. Лапами босыми перебирает... Я-то, когда Петьку из кабины тянул, валенками он зацепился... Валенки-то в кабине остались...

Загудел наш пароход. Потом отвечали другие. Снова тихо. Вода шлепает о борт. Пароходишко качает... Завозился Замай. Слышно, упал один сапог, другой. Метнулась тень над мешками. Это Замай опять крадется вдоль борта туда, где лежат женщины. Они не спят. Говорят та, что постарше:

— ...я в окошко гляжу, он картошку на салазках везет. Остановился у Нюркиной хаты. Взвалил мешок на спину — и в хату к ней. У меня сердце и захолонуло... Правду, видать, бабы-то говорили!.. Только он недолго в хате той побыл... Запрягся обратно в саночки, везет. Я на крыльцо выскочила. Встрела его. «Что ж, говорю, картошки вроде бы мало выдали?» А сама думаю, а ну врать начнет, что ж я ему говорить-то буду... А он правду сказал: «Я, говорит, Нюрке Сизовой подкинул. Ничего ей по трудодням не насчитали... А нам-то вдвоем много ли надоть! Еще добуду, если что... А она-то вовсе оголодала с мальцом своим...» И то правда. Год-то был неурожайный. Ну чего тут скажешь, хороший он человек!.. Я глаза на все позакрывала. Уши позатыкала. И не вижу ничего и не слушаю... Как кочерыжка какая. И все жду... А чего жду?.. А он неразговорчивый стал. Молчок все... А я уж ему угождаю, уж так угождаю... Ничего поперек... А он пришел в тот раз — щи покушал. Ничего больше стоговленного не было. Я цельный день комбикорма из председателя выколачивала. Не успела с печкой управиться. Съел он щец тех. Сидит. А потом в ноги как бухнулся... Ну и ушел к Нюрке той. Так без шапки и побег... Ребеночек у них народился... Василь Василичем назвали... В него, значит. Он-то тоже Василь Василич. Везет Нюрке той!.. А я все одна и одна... Хоть бы дитё... Выйду на реку, а она текеть... Бросилась бы и концы в воду, да не утопну... Разрядная я! Первенство по району держала... Нет моей моченьки! Не могу я...

— А ты моги!.. — раздался другой, глуховатый голос. — Я вот тоже не могла... Мой-то помер... Клещ его укусил. Всем прививку сделали, а ему все нипочем! Все смешки одни. Все некогда. Дела у него... Я в тайгу убёгла... В грозу... Тайга-то там на камнях стоит. От ветра деревья, как палки, сыплются... А тут бурелом чуть не цельную неделю... Лесоруба насмерть придавило! Все из тайги тикают. а я — в тайгу... О сучья изодралася. А бегу... И все только одно думаю: чтобы скорей, значит... чтобы не покалечило, чтобы враз!.. А тут как вдарит гром, аж над головой, как затрещит, заходит все... Я на землю бросилась... Земля гудёт... Ничего я уже не разберу... Потеряла себя... А потом тихо так стало... И чую я, как дождь по рукам. Я ж в одном сарафане убёгла... И оглохла я, что ль, иль гроза ушла... Ничего не слышать. Открыла глаза: смотрю, дождь идеть... Реденькой такой, нитку от нитки видать. И солнышко... И так я ему обрадовалась. И не скажи... А гроза-то уже далеко ушла.

А я на просеке. Да... И дерево лежит, дымится, обугленное... Это молния в него угодила... И я такая вдруг счастливая сделалась, такая счастливая... Встала и обратно иду. И легко мне так, словно и весу во мне никакого... Иду и сама себе улыбаюсь... На прораба нашего наткнулась: «Ты чего это. Тань, говорит, влюбилась, что ль? Я ж говорил: заведи мужика, полегчает! С тебя причитается!» Да я не стала ему объяснять... Разве ж все-то объяснишь... Разве ж каждый-то поймет...

— Ой, шибурится чтой-то?! — испуганно вскрикнула старшая.

— Да шлятся тут всякие... — ответила молодая. — Давай спать, что ли, будем...

И снова там, где свет от фонаря, качнулась тень. Затрещали клетки.

— Осторожней! — сказал старик. — На клетки не налегай.

— Дались ему клетки! От твоих клеток дух идет! — проворчал Замай. — Ты соболями своими только охоту сбиваешь. Соболей бить не дают, а белка дёру дала...

— Дальше тайги ей удирать некуда. А ты на лыжи да за ней.

— Больно мне нужно... Я ж не ворочуся сюда!.. Потому как дерьмо я!

— Заладил...

— А чего?! Мне ж по правилам отсюда ни ногой... Понимаешь ты?! Я ж по ниточке хотел клубок этот... Виноватый кто должен быть? Я виноватый! Я, может, по справедливости срок заработал. А еще кто виноватый?.. Я в тресте том от стола к столу!.. А столов там, столов, ежели в ряд их, и дороги мостить не надо, так по столам этим в Москву самую вкатишь запросто!.. И дверей «без доклада не входить» — три этажа!.. «А чего, говорят, собственно: запрет-то по льду на машинах официально только на следующий день по радио объявили!.. А по заячьему следу, смотри, и до медведя дойдешь!..» Скучно мне, батя, вот чего... А я, знаешь, как этого скучно боюсь?! По мне хоть танк пускай, хоть на куски режь, с места не сдвинусь... Все равно мне, понимаешь ты? Мне прокурор тогда, значит, излагает: «Гражданин подсудимый, а чем вы доказать можете, что не вы сами лично дружка своо Сенечку немцам выдали? У вас на то свидетели имеются?!» А какие ж у меня на то свидетели?! Ежели нас, значит, с Сенечкой двоих смертниками оставили... Отряд через гать отходил, к лесу, а мы немцев по гати этой не пускали... Вокруг болота, им нигде не пройти, а мы с Сенечкой, значит, с двух сторон по ним из пулеметов чешем... Время оттягиваем... «Что ж, говорит, гражданин Замай, крыть вам, видать, нечем, потому, мол, и молчите!..» И папироску закуривает. Вот прибор бы такой, что ли, изобрести, как человек начинает не туда загинать — чтобы, значит, сразу стоп-сигнал.

— Подделают...

— И то верно... Это ж как обернулось все! Люди вы, человеки!.. Что творят!.. Ты ж подумай, батя, выходит, за Сенечку срок получил.

— А кто ж выдал его?

— А стервь одна рыжая... Из-за нее я и пострадал. Да кабы бы из-за нее, может, и не так бы обидно было! Так ведь живая она осталась, временное увечье!.. Я, значит, в сорок седьмом нос к носу столкнулся с ней в деревне. Я тогда на автомобильном работал слесарем, первый разряд получил. Отгул у меня был, месяц без выходных вкалывал... Ну, я в деревню на четыре дня и подался. Своих-то у меня никого от войны не осталось, я к корешу, в цеху одном работали... Заскочил, значит, в сельпо, смотрю — она! Я ж ее сразу узнал. В беличьей шубе стоит, полushалок пуховый... Я было бросился к ней, хотел схватить, а потом думаю: нет, я об тебя руки марать не буду. Я тебя по всем правилам возьму... Проследил, значит. Она в дом... Я у мальчишек, у соседей и выведал, кто,

да что, да откуда. Из города, говорят, приезжает на машине, родственники у нее тут... Ну, я в район, к начальнику милиции, знакомые мы с ним, из нашей он деревни. Я ему все и выложил. «Обознаться, говорит, могу...» Да я ее, суку, наизусть выучил! Я ж ее до родинки той, что на скуче, под левым глазом которая, запомнил! Она ж напротив меня в проулочке стояла. А проулок метров шесть... Мы когда с гати той подались, нам некуда деваться было, мы только в Березовке отсидеться могли. Свой мужик у нас там был. Я-то затемно укрылся у него на чердаке. Мы с Сенечкой порозь условились добираться... В сено зарылся, а там щель в досках, мне улочку-то и видать. Смотрю, светает уже, а Сенечки нет... А тут она из проулочка высочила. Я на нее сразу глаз положил, потому как в это время нельзя по улице ходить, а она не таясь посреди улицы прется и прямо в школу. А отсюда с немцами выскакивает, они на ходу шинели застегают, а из ворот школы три мотоциклиста выкатывают. Ну, думаю, все, либо меня выследила, либо Сенечку. А они мимо в проулочек... Ну, а отсюда, значит, Сенечку волокут... Она, сука, за ними. На уголке остановилась, в спину им глядит. Ботики на ней белые фетровые, нога о ногу бьет. Зябко ей. Постояла, постояла и обратно в проулочек... А я сижу, значит, хоть бы финка у меня и ту обронил, когда пулемет заело... С одними руками сижу... «Ну, Сенечку-то твою теперь все равно не воротить! — говорит мне начальник милиции.— А про нее ты доказать можешь? Мой тебе совет — не связывайся ты лучше с этой бабой. У нее, знаешь, связи какие в городе...» — «Ладно, говорю, ты как знаешь, в области разберутся...» И решил шестичасовым поездом обратно в город... А вечером в клуб пошел. Киномеханик просил меня новый аппарат с ним после сеанса отрегулировать. Завозились мы с ним допоздна. Вышли, никого уже. Он замок на дверь навесил. Ему в одну сторону, мне — в другую, через пустырь идти. Иду, значит, а позади снег хрустает. Нагоняет кто-то. По шагам слышать — баба. И чего-то я сразу подумал — она. Я ее в кино видал, в уголке сидела. Только чего, думаю, ей дождаться надо было, все уже давно разошлись. А она догоняет меня. Рядом идет. «Ты что это, Замай, бежишь, когда тебя женщина догоняет?!» Уже, значит, и как звать знает. Ну, я молчу. Она перебегла мне дорогу. «Обожди, говорит, мне поговорить с тобой надо, задохнулась я». Шуба на ней нараспашку, полушалок откинула. «Прикройся, говорю, этим меня не возьмешь!..» Запахнула шубу. Злая стала. «Ты чего, говорит, в милицию бегаешь на меня стучишь? Я тебя за клевету привлеку!..» — «А ты бы хоть перекрасилась, стерва эдакая, тебя за версту видать, рыжую!» — «А чего мне краситься, мало, что ли, рыжих по земле ходит! У меня все бумаги выправлены. Где и когда жила, по дням расписано, доказать могу. Я той Березовки и не нюхала!..» — «Вот говорю, ты себя и выдала! Я ж в милиции и слова про Березовку не сказал, не помянул я названия». Она ступевалась было, а потом нахально так подбоченилась: «А кто, говорит, нас слышит? Месяц разве да мороз, а они в свидетели не годятся! Что хочу, то и говорю, а ты все равно доказать не сможешь!» — «Зачем ты, сука, Сенечку выдала?!» — «А я, может, ненавидела твою Сенечку!» — «Как же ты его ненавидеть могла, когда он и мухи-то не обидел?!» — «А я, может, не его ненавидела, может, я его отца ненавидела, он у нас председателем был. Так Сенечке своему он документы в город выправил, учиться послал, а мне справку не давал! В доярки определил, а у меня мать всю жизнь при коровах, а что она выдала?! У нее одна мечта была — селедки досыта нажраться, тогда и помереть можно...» — «Да Сенечка-то чем виноватый?!» — «А я с ним на узкой дорожке встрелась. Не я его, так он бы меня. Откуда мне знать, может, он подосланный был... Меня ж в той Березовке никто и не знал... Я утром по нужде вышла, а он в сараюшке за поленницей... Да ты, говорит, и не думай-то со мной огаться! Ничего

у тебя не получится... Я теперь жизни обученная!»—«Жаль, я тогда тебя, суку, в Березовке не придумал, ты вовремя со своим немцем смыслася, немецкая ты овчарка!..» — «А что ж они, не мужики, что ли? У них не так все устроено? Да такой, как ты, что ты можешь-то? Повалил и пошел, не сказавшись! А мой немец, может, мне руки, ноги целовал. За человека меня почитал!.. Я, может, ни разу и не проснулась, чтобы у меня под подушкой сувенир не лежал... Я, может, любила немца того. Если бы вы, сволочи, его не убили, я бы теперь в Германии с ним жила! Ты что думаешь, только при твоей советской власти и жить можно...» Ну, тут не стерпел я, хватанул ее за плечи, где шея, встряхнул малость! А она у меня в руках и обмякла. Я руки отпустил, она упала и не шевелится. Ну, думаю, силы не рассчитал, удушил, значит... И побег в район, там километра три, как раз крайний дом милиция. Темно уже, огни не горят, только одно окно за решеткой светится... Так я сам себя за решетку эту и посадил... Таким вот путем, батя. Через пень-колоду!.. И как это жизнь заворачивает, скажи, пожалуйста — ты в одну сторону выкруливаешь, а тебя, значит, в другую заносит... А главное то: докажи, говорит, что не ты сам Сенечку выдал!.. Вот люди-то, человеки! Живут и не чихают!.. А, батя? Ты что, спишь, батя?..

Опять загудел пароходишко. Опять отвечал ему где-то тоненький голосок. Потом гудел совсем близко басистый. И еще один гудел...

Рассвет был белесый. Туман неохотно поднимался. Ободрался о ящики. Свисает рваными краями. На скалистом берегу вырисовываются силуэты деревьев. Пароходишко медленно ползет. Молодая женщина стоит в одном ситцевом платье и, подняв голые руки, раскладывает на голове русую косу. Вынимает шпильки изо рта, прищипывает. Подошел Замай. Заспанный. Пригладил пятерней взъерошенные волосы. Закурил. Молчит. Потом, должно быть, чтобы как-то начать разговор, хрипло, откашливаясь:

— Ты куда свою напарницу девала?

— Замерзла она, пошла спать в салон.

Пароход гудит. Застопорил ход. Гремит якорная цепь. На берегу в тумане деревушка на горушке. Лодка отчалила от берега. В белом мареве, как птица крыльями, хлопает веслами... Молодая женщина надела мужское пальто. Не торопясь застегнула. Сложила клетчатую шаль, перекинула через руку. Потянула к себе за ухо мешок, лежавший на палубе.

— Ты что, приехала, что ли?

— Приехала.

— Так, значит... Ну что ж, давай донесу.

— Неси, если в носильщики нанялся.

Она оставила мешок. Взяла чемодан.

— Не трожь!..

Отстранил ее, но сам не двигается с места. Слышен всплеск весел. Ближе. Ближе.

— Ты вот чего, — выдал наконец из себя Замай, — не сердчай на меня...

— На вас всех сердчать и себя не хватит, — передернула она плечами.

— Я тебе не про всех. Я про себя говорю. Поняла?!

— Поняла...

И улыбнулась. Вскинула голову с тяжелой косой, разложенной коной, и пошла по проходу между ящиками, уверенно и твердо ступая.

— И откуда вы такие беретесь?! — вздохнул Замай, перекидывая через плечо мешок и поднимая чемодан.

— А мы тутошние, — спокойно сказала она. — Амурчане мы...

Остановилась у борта, где тот самый матросик с веснушками отодвинул доску и багром подцепил лодку.

— Дядечка! — закричала она. — Это я! Признаешь?!

— Татьяна! — раздался голос из-за борта. — Старики-то заждались тебя! На каждый гудок бегут. Чтой-то сегодня припозднились.

Маленький мужичонка стоял в лодке в болотках, пристегнутых к ремню, затянутому поверх ватника, принимал от другого матроса в кожаной куртке посылки в деревянных ящичках, почту и аккуратно складывал все на корме, на расстеленный брезент.

— Ты что ж, теперь здесь будешь жить? — спросил Замай.

— Здесь.

— Татьяной звать, а по батюшке как?

— Ивановна, Соколова. Письма писать собираешься?

— А вдруг сам заявлюся, примешь?

— А ты всегда наперед судьбу пытаешь?

— Тебе чего, по-депутатскому, что ли, сходни подавать? — закричал на молодую женщину матросик с веснушками.

— А я и без твоего депутатского слажусь!..

Присев на край палубы, она спрыгнула в лодку. Замай встал на колени, поставил в лодку чемодан, потом опустил мешок. Молодая женщина хотела взять его, но Замай перехватил ее руку.

— Долго вы тут будете в подкидного играть?! — злился матросик. — Нам расписание догонять надо!

Замай поднялся с колен, отошел. Татьяна устроилась на скамеечке, положив в ногах свой мешок. Лодочник сел на весла. Матросик, держась рукой за перила и стоя одной ногой на краю палубы, присел на мгновение и, распрямившись, далеко оттолкнул лодку багром, повиснув над водой. Потом задвинул доской борт и ушел, насвистывая... Лодочник греб. Берег был виден теперь в разорванном тумане, как сквозь брешь от снаряда. Покосая зеленая горушка. Избы на ней. Дым из трубы над крайней избой. Высокий старик выскочил из этой избы и, скользя сапогами по мокрой траве, торопится к речке. Подбежал, когда причалила лодка. Татьяна, выпрыгнув на берег, бросилась к нему на грудь, уткнулась лицом в белую бороду. А по горушке скатилась кубышкой маленькая старушонка. Вытирает на бегу руки полосатым фартуком. Суется вокруг старика и Татьяны, припадает к ним то с одного, то с другого бока. Крестит их и себя мелким крестиком...

А пароходишко чапает и чапает вверх по реке.



ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВСКИЙ

★

АВСТРИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ

Из путевых записок

Везжая в Австрию, я думал: Австрия — старая страна; Австрия — очень юная страна. История Австрии исчисляется веками. Но государственный договор, положивший начало современной австрийской республике, подписан всего лишь тринадцать лет назад. Какова эта новая, независимая Австрия?

В Австрии когда-то правили императоры. В Вене собирались конгрессы, решавшие судьбы Европы. Современная Австрия нейтральна, она открытый пятачок срединной Европы, обдуваемый всеми ветрами. Какой ветер сильнее? В какую сторону гнется австрийское дерево? Может быть, оно растет теперь вверх? Австрийская социал-демократия дала рабочему движению новое понятие: «австро-марксизм», означавшее умеренность, осторожность и склонность к компромиссу. Но в тридцатых годах рабочие-шуцбундовцы Вены сражались на баррикадах, и название венского предместья Флорисдорф стало символом сопротивления и вооруженной борьбы с реакцией. В Австрии родился Гитлер. И Австрия стала первой международной жертвой Гитлера: он уничтожил австрийское государство и присоединил свою бывшую родину к немецкому рейху. Однако аншлюс был лозунгом и многих австрийцев, которые отнюдь не симпатизировали нацизму, — они просто не верили в возможность существования независимой Австрии и отрицали само понятие австрийской нации; они проповедовали самоубийство из страха перед смертью. Верят ли сегодня австрийцы в новую, нейтральную Австрию?..

Я возвратился в Москву, и мне захотелось написать о своей поездке. Но, просматривая записную книжку, я думал: что я могу рассказать нового, неизвестного, никем еще не рассказанного? Изложить сведения, которые можно найти в туристских справочниках? Описать впечатления от того, что успел разглядеть в окно автобуса?

Словом, я тут же решил, что не имею права описывать в себе свои впечатления, судить о всей Австрии, всех ее городах и людях, всей их жизни и нравах, о всех их делах и чувствах. Я могу лишь, не боясь ошибиться или повторить уже известные вещи, написать о людях, с которыми сам встречался в пути, и рассказать о том, о чем они мне рассказывали. Это были разные люди, принадлежащие к разным слоям общества со всеми его различиями и противоречиями. Причем далеко не все они оказались австрийцами. Были среди них и немцы, и два испанца, и даже один молодой японец — люди с совершенно разной жизнью и судьбой. Но мне все-таки кажется, они были все опутаны и пронизаны

тем, что мы называем в р е м я. Из знакомства и разговоров с разитель-но несхожими людьми возникало единое время — то, в котором мы живем все: австрийцы и неавстрийцы.

В ВАГОНЕ

— У меня есть словари,— сказал мой сосед по-немецки, спотыкаясь на каждом слове.— Вот они.

И он достал из своего рюкзака два томика с живописными тиснениями на переплетах — тонкие замысловатые иероглифы, похожие на орнамент, вышитый бисером по темно-коричневому полю.

После этого начался наш медленный и трудный разговор, который продолжался с небольшими перерывами от Москвы до Вены.

Мы сидели на узкой полке тесного, светящегося синтетикой купе, упираясь ногами в рюкзак моего соседа, который тоже был сделан из какой-то синтетической материи и лежал на полу рядом с раскрытой дверью, откуда сквозь грохот и мотание поезда доносились обычные звуки вагонной жизни. В соседнем купе громко разговаривали по-русски, в коридоре у окна тоже говорили по-русски: почти все пассажиры нашего вагона были советскими туристами, едущими в Австрию, а моим соседом по купе оказался японец. Но он совсем не был похож на тех японцев, о которых пишут в современных очерках,— энергичных, деловых, сочетающих утонченный европеизм с чертами древней Азии,— медлительный, печальный юноша с красивым, несколько женственным лицом, с мальчишеской смоляной челкой на лбу и узкими черными глазами, в которых светилась тихая и покорная грусть. Впервые в жизни встретил я такого печального юношу — великолепно одетого, возможно, даже богатого; все его вещи, разбросанные по купе, были отличного качества и напоминали о высоком уровне японской промышленности. И путешествовал он по причине отнюдь не печальной: закончив три курса филологического факультета в Токио, он ехал теперь в Мюнхен — совершенствоваться в немецком языке и литературе.

Выяснилось все это не сразу. Японец пока еще с трудом объяснялся по-немецки; прежде чем произнести нужное слово, он искал его в своих словарях, и эта процедура тянулась иногда мучительно долго. Но мало-помалу я узнал, что, прежде чем отправиться за границу, мой спутник работал около года в одном страховом обществе и заработал деньги на дорогу — около пятисот долларов. А в Германии он надеется устроиться официантом: это поможет ему поскорее усвоить разговорный немецкий язык. Потом он показал мне завернутый в целлофан членский билет международного юношеского клуба путешествий, который подтверждал на трех языках, что Катуся Исобе заплатил вступительный взнос и поэтому имеет право на все льготы, предоставляемые членам клуба во время заграничных путешествий. Глядя на билет, отпечатанный на красивом желтом картоне, и на приложенную к нему карту Европы, испещренную флажками и треугольниками, обозначающими отели, в которых признаются права членов клуба, я невольно позавидовал той легкости, с которой этот скромный японский юноша проделал за несколько дней огромный путь: Катуся Исобе уже ходил по улицам Находки и Иркутска, в разрыве весенних облаков он видел с самолета таежные моря Сибири, вчера побывал в московском Кремле, а завтра увидит венскую ратушу и Венский лес. Географическая реальность стала для Катуся Исобе реальностью видения. Но, взглянув в лицо юного счастливица, в его удлинённые глаза, глубоко упрятанные под припухшими веками, я снова увидел в них странную печаль.

Когда наш разговор стал иссякать, Катсуя извлек из рюкзака японскую газету, листы которой можно было принять за абстракционистские рисунки, если бы не жирные пятна обычных газетных фотографий. Я спросил:

— Кто эти элегантные люди, которые выходят из какого-то здания с пышным фасадом под аплодисменты толпы, стоящей у входа?

— Это директора одной бедной текстильной фабрики, покидающие совещание с представителями богатой фирмы, которая хочет их проглотить.

— А кто этот скромный человек в белом хитоне, сидящий за деревянным столиком, рядом с дамой в простом кимоно?

— Император Хирохито и его супруга.

— А чего хотят эти молодые люди, размахивающие кулаками и транспарантами?

— Они протестуют против высокой платы за обучение в университете, которая может проглотить все их доходы.

— А что делают эти два толстяка в трусах, зачем они стараются приподнять друг друга?

— Наоборот, они хотят друг друга повалить. Это японская борьба «смоу».

Ничего таинственного и непонятного; кроме иероглифов, не оказалось в японской газете, в двадцати шершавых листах небольшого формата, содержащих весь мусор одного японского дня — имена арестованных грабителей, трупы разбившихся в автомобильных катастрофах, валютный курс токийской биржи, образцы новой униформы полиции, программы кино, телевидения, бейсбола; борьбу этого дня — митинги и собрания, стачки и демонстрации; его радости, трагедии и социальные нравы. Но я совершенно не мог понять, зачем понадобилось юному японцу везти с собой старый номер газеты, почему он так осторожно переворачивает ее страницы, почему смотрит на них прищуренными глазами, в глубине которых мерцает все та же необъяснимая печаль?

Затем стало быстро темнеть, в коридоре вагона зажглись огни, в купе стало сумрачно, уютно, японец зажег настольную лампу, скинул комнатные туфли, поджал под себя ноги на азиатский манер и достал из неоглятного рюкзака новую вещь — альбом с фотографиями.

— Татейама! — сказал он, поймав мой любопытный взгляд. — Это значит «замок в горах». Моя родина.

Я взял альбом. В нем была коллекция цветных диапозитивов и фотографий, изображающих маленький японский город на берегу моря. Пейзажи Татейамы на диапозитивах, словно нарисованные светящимися красками, казались неправдоподобными: янтарные берега, сказочное золотое солнце. В особенности же прекрасны были ночные виды этой тихой местности: тонкий серп луны, льющей свой трепетный свет на гавань с черными силуэтами рыбачьих шхун, берега, залитые фиолетовой тушью, огненная полоска горизонта, за которым все еще пылает невидимое солнце. Были тут и виды самого городка с узкими улицами, уютными деревянными домиками, золотистыми пагодами, живописными аркадами и мостиками, словно специально нарисованными, чтобы придать объемность пейзажу. Много фотографий было снято на одинаковом фоне: словно написанный акварелью задник гигантской декорации изображал большую палевою гору с синеватой конусообразной вершиной, из которой вился слабый дымок. По-видимому, это была Фудзи-Яма, знаменитая гора Японии, ее грозный вулкан, с виду изящный и безобидный, как украшение, древний символ этой беспокойной

в буквальном смысле земли, вечно сотрясаемой сейсмическими толчками.

К последним страницам альбома было прикреплено несколько любительских снимков. У приземистого домика, окруженного деревьями, стояла семейная группа в полном составе — в середине бабушка в длинном кимоно, рядом с ней мать семейства, полная женщина средних лет, тоже в кимоно, потом отец — уже седой, в дачных поношенных брюках и рубашке с закатанными рукавами, а по обе стороны старших выстроились дети — две молодые девушки, черноволосые, узкоглазые, в высоких прическах и европейских платьицах, десятилетний мальчик с велосипедным насосом в руках, и позади него — не кто иной, как мой сосед по купе, с челкой, закрывающей весь лоб; и, что сразу бросилось в глаза, — Катуя Исобе с фотографии глядел на мир без тени печали, с выражением полного доверия и беспечного веселья.

От всей этой семейной группы струилась такая любовь, столько уюта, благопристойности и тихого патриархального счастья, что у меня рванулось и защемило сердце от внезапно нахлынувших из глубин памяти очень далеких, несхожих, но и чем-то глубоко родственных воспоминаний собственного детства.

Бабушку зовут Кин, объяснил Катуя, ей уже восемьдесят восемь лет; Кин по-японски означает «золото». Имя матери Эсси состоит из двух иероглифов — добросердечие и воля; очень удачное имя для матери. Отец — Масару, что означает «победа», хотя он никогда ни с кем не воевал, всю жизнь учительствовал в своем городке в ладу и согласии с родителями и с учениками. В именах обеих сестер тоже был свой поэтический смысл: старшая Йоко — «дитя солнца»; младшая Кумико, что означает «дочь вечности». Имя самого Катую — один из синонимов победы, а в сочетании с фамилией Исобе означает «победа на берегу моря». Его назвали так по традиции, в память о древних событиях, о которых он имеет весьма смутное представление.

— Видимо, у вас счастливая семья, — сказал я, возвращая альбом.

— Да, счастливая, — подтвердил Катуя, и голос его слегка задрожал.

И тут выяснилось, что снимок сделан два года тому назад, когда они еще жили все вместе в Татейаме, а теперь сестры уже в Токио, одна работает в гараже, другая на фабрике, братишка Тасиро остался с родителями, но вскоре и ему придется уехать в Токио, чтобы приобрести профессию. Обо всем этом Катуя рассказал скупно, отрывисто и почти без всякого выражения. Но я уже многое понял. Я понял, что этот милый и тихий юноша не хотел уезжать из Татейамы. Я понял, что его не радует ни сиреневый рюкзак из мягкой синтетической материи, ни сверкающий никелем транзистор, ни даже красивая желтая карточка с фотографией, подтверждающая его принадлежность к международному клубу молодых путешественников.

Я подумал: в книгах, очерках и газетных статьях японцы изображены как пытливые, энергичные люди, с легкостью усваивающие все то, что создала современная промышленная цивилизация. По-видимому, это так, иначе трудно было бы понять технические достижения современной Японии. Но кто же тогда вот этот сидящий передо мной юноша? Не типичный японец, тихий и робкий, который все же отправляется в незнакомую страну, где ему придется бегать с подносом и на ходу запоминать обороты чужой речи только лишь потому, что этого потребовал от него бурный и безжалостный темп современной жизни, той самой жизни, что за один день вытряхнула на страницы его газеты столько мертвецов, столько тревог, волнений, столько веры и неверия?

Поезд остановился на какой-то большой станции, но мой спутник даже не взглянул в окно. Он все еще держал в руках альбом и хотя уже не смотрел на фотографии, я совершенно ясно ощутил — в его полуоткрытых удлинённых глазах все еще отражаются неправдоподобное небо Татейамы, ее восходы и закаты, четкий силуэт Фудзи-Ямы с застывшими всплесками лавы и грозной дымовой змеей на вершине и, конечно же, тот легкий, зажатый со всех сторон зеленою домик, где прошло его детство...

К вечеру следующего дня наш поезд пришел в Брест, потом покинул советскую территорию и въехал в Польшу. Ночью мы оставили Польшу и дважды пересекли чехословацкую границу, а к утру уже были в Австрии. На каждой пограничной станции в вагоне появлялись пограничники и таможенники в разных униформах, но все с печатями, анкетами, валютными декларациями, и мой спутник едва успевал отвечать на многочисленные вопросы, предъявленные ему письменно на разных языках: куда он едет, с какой целью, сколько у него с собой йен, долларов или другой валюты, есть ли у него чеки и на какую сумму — сумму обязательно писать прописью, — не везет ли он с собой оружие, взрывчатку, семена, платину и произведения искусства? На какой-то станции нам дали анкеты, которые вовсе не надо было заполнять, а только сдать при выезде — это для счета транзитных пассажиров, объяснил нам сотрудник таможни. Катсуя Исобе был полон волнения, удивления, а к исходу утомительной ночи, когда стуки в двери купе, сопровождаемые бодрими приветствиями на разных языках, за которыми следовало: «Контроль! Проверка!» — наш разговор, вертевшийся исключительно вокруг таможенных правил, окончательно иссяк, — Катсуя вдруг как бы вскользя заметил, что в современном мире нет сострадания.

— О каком мире вы говорите? — спросил я.

— Прежде всего о Японии!

И он снова потянулся за своим словарем, и через минуту мы уже вели разговор, который подтвердил мои смутные догадки.

Катсуя заговорил с горечью о том, что в буржуазном мире люди страшно разъединены, а разъединенное общество не имеет перспектив, как бы успешно ни развивались его материальные дела. Вот США, самая богатая страна промышленной цивилизации, но и у нее нет надежды. Всюду, где есть разъединение, процветают жестокость, ненависть и неправда.

Все это он высказал в самых общих выражениях, которые подыскивал в своих словарях, часто останавливаясь и помогая себе жестами. И все, что он говорил, удивительно напоминало очень распространенные теперь на Западе рассуждения о «потребительском обществе».

Да, современная промышленность развитых капиталистических стран способна удовлетворить все потребности личности, говорят некоторые противники такого общества, но она все превращает в товар, даже самые сокровенные желания людей она ставит на службу производству и накоплению прибыли. Создавая все новые и новые потребности исключительно в целях расширения производства, «потребительское общество» связывает всех своих членов, в том числе и рабочих, с «системой потребления», извращающей человеческую природу. И они же призывают молодежь восстать против всех учреждений современного промышленного общества, против «империализма технократической мысли» середины нашего века. Странный бунт, рожденный не экономическим и социальным кризисом, а неприятием индустриального развития мира. Удивительное настроение умов, возникшее из душевной опустошенности, идейной путаницы, ложного глубокомыслия и искреннего презрения к современному капиталистическому «*establisment*».

Но молодой японец, с которым я ехал в одном купе в Вену, ничего не знал об этих теориях. Он никогда не слышал о Генри Торо или о философском, туманном, в сущности совершенно ребячливом и наивном, мире поклонников Герберта Маркузе. Катуся Исобе был тихим и печальным молодым человеком, его недовольство не шло дальше словесного отрицания некоторых жестоких и безумных черт современности.

Я спросил у Катуся Исобе, что он думает о войне во Вьетнаме, и услышал в ответ: «Это ужасно! Но что делать? Что я могу сделать?..»

Я спросил: «Что происходит в политической жизни Японии?» Он ответил: «Ничего хорошего, но что делать? Я ничего не могу сделать...»

Я спросил, знает ли он, что Мюнхен, где он собирается учиться, был колыбелью нацизма? Он ответил: «Да. И у нас в Японии еще есть нацисты, я сожалею об этом, но что делать?..»

С тяжелым и странным чувством расстался я с молодым японцем на перроне венского южного вокзала. Катуся Исобе стоял среди водоворота вокзальной жизни одинокий и печальный. У его ног лежал мягкий рюкзак, наполненный добротной синтетикой, на плече висел фотоаппарат в блестящем футляре. Я знал, что сейчас он покинет вокзал и отправится в один из отелей, отмеченных на его карте. Там он предъявит свой членский билет, и ему отведут недорогой стандартный номер с синтетическими обоями, кнопками, выключателями, штепселем для электробритвы и прочими деталями быта, который все больше унифицируется на всех широтах земного шара. И, совершив скачок с одного конца мира на другой, он попадет в стандартный современный дом, где встретит вполне стандартных людей. Но привычная, стандартная обстановка не спасет его от одиночества и тоски, от тревоги за будущее, от щемяще грустных и сладких снов с повторяющимися видениями родной Татейамы. Душевное самосохранение человека требует и доброты, и сердечности, и социальной справедливости, и многого другого, что выходит за пределы возможностей даже самой передовой техники.

Я думал: этот молодой человек — не типичный японец... Ну что ж, а разве можно быть уверенным, что типичные молодые люди, его сверстники, живущие в едином и разьединенном мире, полном удобных и красивых вещей, противоречий, несправедливости, жестокости, что все они более счастливы или более спокойны, чем не типичный Катуся Исобе? Этот тихий и печальный юноша, убежденный, что от него ничего не зависит, не собирается переделывать жизнь. А сумеют ли что-нибудь изменить в мире участники столь модных в последнее время движений, одержимые самыми противоречивыми идеями, восторгом перед собственной утонченностью и революционностью?

В-ВЕНЕ

Было время, когда в этом городе обитали императоры, удачливые генералы, ученые, добившиеся мировой славы, великие музыканты. Теперь пышные дворцы Бельведере, Шенбрюн, Бальхов отданы в распоряжение туристских бюро. Под громкое жужжание гидов, дающих объяснения на двенадцати языках, приезжие обходят не более сорока из тысячи четырехсот комнат, имеющихся в Шенбрюне, — но и этого достаточно, чтобы увидеть великолепие и призрачность нескольких веков европейской истории, апартаменты Марии Терезии, спальню Франца Иосифа, тяжелые дубовые кровати, фаянсовые тазы для умывания, голландские печи, покрытые изумительными изразцами, висячие хрустальные канделябры, серебряные подсвечники, позолоченные ночники, богатство,

утонченность и отсталость императорского быта, его патриархальную неторопливость, его тщеславие, следы потрясавших его бурь — вот эта гордо посаженная голова молодой женщины, что на портрете, скадилась на помост гильотины; это одна из дочерей Марии Терезии, тоже Мария, но более известная под именем Марии Антуанетты...

Смущенно смотрят туристы на коллекции всякого рода незначительных вещей, переживших их владельцев, а также их великодержавные сны, надежды, амбицию и хитроумнейшие политические комбинации. Вот стол Наполеона, на нем он писал свои приказы, перекраивавшие карту Европы, они давно стали достоянием истории, а стол все еще цел, он гладкий, коричневого цвета, его может сфотографировать каждый, кто уплатит пять шиллингов за вход в Шенбрюн. Вот сумрачная, печальная комната, в которой жил и умер сын Наполеона — «Орленок», вот на этой убогой железной кровати он умер. А рядом, в других комнатах, жили, наслаждались и умирали другие важные особы, от которых не осталось ничего, кроме краткого упоминания в исторических справочниках.

Вот залы, видевшие собрание всех королей, императоров и правителей Европы, решавших здесь судьбы государств и народов, а сто лет спустя пестрая толпа актеров, режиссеров, художников, костюмеров разыграла здесь под слепящими лучами юпитеров исторический спектакль, приспособленный под вкус кинематографического века; но прозрачная жизнь теней знаменитого кинофильма «Конгресс танцует» тоже не оживила эти великолепные залы, великолепные и холодные...

Почти на каждой венской улице стоят дома, отмеченные звездочками во всех справочниках. В этом доме жил Бетховен. Тут работал Фрейд. Вот Пратерштрассе — утомительно длинная, будничная улица, которая тянется до самого Дуная. Где-то в середине заурядный дом с галантерейными и съестными лавочками внизу, но он отмечен в справочнике тремя звездочками — в нем Штраус написал свой знаменитый вальс «Голубой Дунай»...

Мутные желтоватые воды Дуная все еще текут среди захламленных берегов и по-прежнему не входят в архитектурный план города. За мостом — Пратер. В будничный день он тих и безлюден, застывшее в воздухе чертово колесо и размалеванные будки аттракционов выглядят как осиротевшие игрушки, забытые на огромной детской площадке. Снова Дунай, ответвление его старого русла с уютными бухтами, пляжами и купальнями. Новый поворот, и за ним просторная, теряющаяся вдали главная улица предместья Флорисдорф.

Приезжие здесь не останавливаются. Ничего интересного, по мнению специалистов туристской индустрии, нет в этом типично окраинном районе с его тихими улицами, однообразными кирпичными домами, трамвайными рельсами, малолюдными пивными и кондитерскими, парикмахерскими, магазинами дешевых вещей. А разве не здесь воздвигались баррикады еще на памяти моего поколения? После ужасного тридцать третьего с его каскадом катастроф, начавшихся поджогом рейхстага, именно здесь в феврале тридцать четвертого была предпринята первая вооруженная попытка остановить фашизм в Центральной Европе. Но ни один дом Флорисдорфа не отмечен звездочкой в новейших путеводителях. Может быть, отмечен другой дом, когда-то считавшийся огромным, похожим на целый город, вернее, на крепость; он и подвергался артиллерийскому обстрелу, как крепость, хотя был всего лишь многоквартирным домом, в котором жили семьи венских рабочих; он назывался «Карл Маркс хоф» и находился в другом районе...

А что общего между старой Веной — ее великодержавной историей и монументами, ее всемирно известной музыкой и не менее известной

архитектурой, знаменитым венским барокко — и современной австрийской столицей с потоками автомобилей, толчеей, давкой и торговым азартом Ринга, унылым пейзажем заводских окраин, новыми трамваями и старенькими вагончиками кольцевой «шнельбанн». бегущими по дымным тоннелям, мимо отвесных дымных стен, над которыми лепятся старые, многоквартирные дома, кое-где все еще украшенные императорскими орлами? Чем живет нынешняя будничная Вена?

Автомобили мчатся по плавно закругляющемуся Рингу в три и четыре ряда с большой скоростью. Если идти пешком и отдаться уличному движению, оно тоже выносит пешехода на Ринг и погружает в подземные переходы, которые здесь совсем непохожи на транспортные трубы, гигиенически выложенные кафелем, а оборудованы эскалаторами и напоминают просторные и нарядные залы современного универмага с кафетерием, автоматными будками, цветочными киосками, туалетными комнатами и, конечно, прилавками и витринами, заполненными разнообразными товарами.

Можно сесть в трамвай, а потом снова пойти пешком. Перебрав и пересмотрев таким образом несколько районов, начинаешь замечать, что это уже другой город, в нем нет каменных колоссов, блистающего мрамора и тяжелого чугуна императорской Вены. Всюду толпятся серые четырехэтажные дома, подлеченные, отремонтированные, почти все одинаковые, образующие вверху одну ровную линию, словно начертанную рукой педанта. Нигде не видно приезжих, многие улочки так тесны, что по ним вряд ли проехали бы широкие машины важных туристов. Только азарт и ажиотаж торговли здесь такой же, как в центре, — каждая дверь ведет в какой-нибудь магазин, в каждом окне витрина, где теснят, дают и заслоняют друг друга разнообразные изделия современного массового производства.

Вот маленькая закусовая, которая явно существует только для обитателей соседних домов. Одинокая старуха за стойкой занята приготовлением какого-то сложного салата, а единственный посетитель — старичок с выпуклой лысой головой — дремлет над раскрытой газетой. Вдруг в глаза ударяет такое знакомое и такое немислимое здесь слово. Пушкин? Да, именно так написано на этикетке водочной бутылки: «Пушкин для настоящих мужчин». Может быть, стоит попробовать? Старуха наливает граммов двадцать в большой бокал, спрашивает, нужна ли закуска, и ловко вылавливает из стеклянной банки две консервированные сливы — настоящие мужчины закусывают водку сливами... Старик, дремлющий над газетой, проснулся и, увидев на стойке бутылку «Пушкин», оживляется и обращается ко мне с какой-то длинной фразой, которую я не понимаю, потому что он говорит на венском диалекте. Уже в трамвае, потом в вагонах «шнельбанн» я заметил, что чем дальше от Ринга, тем менее понятной становится для меня речь венцев.

Куплен и использован еще один пересадочный трамвайный билет. Выхожу на остановке у ворот какого-то парка. Иду по его аллеям и снова попадаю в тихую провинцию. Из-за кустов выглядывают старые, позеленевшие статуи, на площадках играют дети, а на скамейках дремлют няни и пенсионеры. Я присаживаюсь рядом с высоким пожилым человеком, который снял свой пиджак и остался в белой рубашке без галстука, в черных широких подтяжках образца начала века. Лицо моего соседа изрезано морщинами, ему не меньше семидесяти, но в глазах светится любопытство. Я еще понятия не имею, кто он, а он уже знает, кто я — ну, конечно же, иностранец.

— Вена набита иностранцами, — говорит он с улыбкой. — И в этом нет ничего удивительного: где же еще можно наслаждаться жизнью?

И он продолжает говорить, улыбаться, извергая целый каскад сведений, рассуждений, анекдотов о приятностях венской жизни.

— Вена всегда была городом сибаритов,— говорит он и продолжает улыбаться.— Вы когда-нибудь слышали старое венское изречение: «Нур ниht худелн»?

— Нур ниht худелн? А что это значит?

— Это неписанный закон венской жизни: только не торопиться, не суетиться... Понимаете?

Попрощавшись, я отправился дальше. Свернув наугад вправо, я увидел еще одну детскую площадку, потом свернул влево, снова очутился на знакомой аллее и увидел, как старый сибарит, по-видимому довольный недавней беседой, развернул бумажный пакет и принялся жевать бутерброд. Он жевал его медленно, с толком: «Нур ниht худелн!»

Выйдя из парка, я вскоре попал на улицу, тесную от узких многоэтажных каменных домов, набитых конторами, банками, страховыми компаниями и управлениями промышленных предприятий. Почти на каждой вывеске алюминиевые, медные или стеклянные буквы «АГ» — акционерное общество. Со входами в конторы чередуются двери богатых закусочных, ресторанов, эlegantных «эспрессо». Здесь завтракают бухгалтеры и управляющие страховых компаний. Здесь обедают коммерческие директора и распорядители иностранных фирм. В этот час здесь пили кофе. Пили его стоя, рядом с брызжущей паром машиной «эспрессо» — по-видимому, ни у кого нет времени присесть за столик.

Молодой человек с энергичным загорелым лицом — по виду солидный и положительный, на одном из пальцев его левой руки блестит тонкое обручальное кольцо — дружелюбно вступает со мной в разговор у стойки. У него осталась свободной четверть часа, и он может позволить себе выкурить еще одну сигарету и побеседовать с любознательным чужеземцем. Молодой человек охотно рассказывает о себе: инженер у «Филиппса», уже не на производстве, а в главном управлении предприятия. Это филиал голландской фирмы? Не совсем так — они работают по голландским патентам, но за свой счет. Впрочем, в современной промышленности все взаимно связано. Да, уже женат. Двое детей и автомобиль. Почему в такой взаимосвязанности? Потому что в Вене, к сожалению, бытует дилемма: автомобиль или ребенок. Нет, конъюнктура теперь хорошая, лучше, чем за все послевоенные годы. Задача в том, как ее сохранить, как приспособиться к мировому рынку, выдержать конкуренцию, модернизировать и рационализировать. Для этого нужен капитал. Пока все идет хорошо. Много лавок? Совершенно верно. В Западной Европе один бакалейщик обслуживает триста пятьдесят клиентов, а в Австрии почти половину. И в этой области кто не рационализировал — упадет под колеса. Венский стиль жизни? «Нур ниht худелн»?

В решительных глазах молодого дельца мелькает ироническая усмешка. Да, это венское изречение. Хорошо жить, не торопясь. На венских предприятиях вводится пятидневка, но лично он работает по шестьдесят часов. Разумеется, за сверхурочные часы ему платят. Хорошо платят. Последний вопрос: где старые венские кафе? Их нет! Почему? Ну, это очень просто: они уже не рентабельны. Те, у кого есть время в них сидеть, например пенсионеры, могут уплатить только за входной билет — чашку кофе. А остальным некогда, они предпочитают «эспрессо». Впрочем, на Доротеагассе есть одно старое кафе — «Хавелка». Ироническая улыбка. Там, кажется, все, как было в старое доброе время. Мой собеседник бросает взгляд на часы, и его лицо мгновенно меняется: его время истекло. На прощанье он вежливо дает мне понять: не следует придавать значение старым венским кафе — это отнюдь не Вена... И поспешно уходит в свою контору.

Когда вспыхнули вечерние огни, я все же отправился искать старое венское кафе. Сначала я вышел на Ринг. Он сверкал огнями и стремительными потоками автомобилей. Подчиняясь сигналам уличного движения, я шел вперед от одного квартала к другому, опустился и снова поднялся по эскалаторам подземного перехода у здания Оперы и вышел на Кертенерштрассе, похожую в этот час на длинное ущелье, заполненное разноцветными огнями: стрелы, буквы, отдельные слова и световые фигуры врезаны в темноту вдоль и поперек всей улицы. Кертенерштрассе — центр торговой Вены, лучшие товары, дорогие рестораны, кондитерские и бары. В глубине улицы темнели могучие черные стены собора святого Стефана с готической башней, уходящей в небо. Несмотря на свой блеск и богатство, Кертенерштрассе была малолюдна. Световая реклама не мигала, не кувыркалась, не сходила с ума. Рослые бледнолицые девушки в чрезмерно узких юбках, плотно обтягивающих бедра, стояли у витрин лицом к улице, выставив вперед мускулистую ногу в паутине нейлонового чулка, напоминая не «секс-герлз» с обложек модных журналов, а провинциальных простушек, залетевших на огни большого города.

Покружив по переулкам, я нашел Доротеагассе. В этот час она была мертва. Мои шаги гулко отдавались в тишине длинной и узкой улицы, похожей на трубу, а в покойничком мерцании неона стыло в витринах давно прошедшее время: железные фонари и медные подсвечники, шкатулка с датой «Вена 1768», длинные гнутые чубуки, сабли, фаянсовые кружки с ликами святых, старые кинжалы, гипсовые ангелы с отбитыми крыльями... Я заглянул в другие освещенные окна, и все они оказались витринами старьевщиков и антикваров. Но между выставками светильников времен Марии Терезии, фарфоровых статуэток, серебряных застёжек и украшений красавиц, блиставших во времена Венского конгресса, спрятались две неоновые вывески особого рода: «Бар Табу» и «Бар Казанова». У входа висели фотографии обнаженных танцовщиц в черных ажурных чулках и молодых музыкантов, одетых и подстриженных под «битлсов». Но почему никто не входит и не выходит из этих дверей? Почему из-за окон, затянутых изнутри темными портьерами, не доносится ни звука? Быть может, на этой мертвой улице даже в барах собираются лишь тени прошлого, бывшие хозяева бесполезных сокровищ, выставленных в соседних витринах?..

Что-то хлопнуло в доме напротив, я оглянулся и обнаружил наконец то, что искал, — на тускло освещенном окне пестрела надпись: «Кафе Леопольд Хавелка». Снова хлопнула дверь, из нее вышел человек, потом еще двое и растворились в темноте пустынной улицы. Но я успел заметить, что в помещении, из которого они вышли, полно людей.

В кафе «Хавелка», где десятилетия наложили свой отпечаток на темные углы, на маленькие мраморные столики, стертые плюшевые диваны и железную печурку, напоминающую о промозглой сырости и холоде ушедших лет, сидели молодые люди из той особой породы, которая, хотя и чувствует время лучше других, вечно бунтует против его канонов и неизбежности. Кафе было маленькое, тесное, за стойкой стоял хозяин — белолицый человек в черном жилете, по залу носились два официанта, оба высокие, лыдые, их лица в свете тусклых ламп были похожи на тесто. А за столиками — заросшие молодые люди в бархатных куртках, слинявших рубашках, мятых джинсах и сандалиях, напоминающих ре-визит из оперы нищих. Но какие высокомерные лица! Чем они так гордятся, эти юные бородачи и на редкость костлявые, очкастые, зеленоватобледные девицы?

Нетрудно было догадаться об их профессии — одна стена кафе была оклеена сверху донизу объявлениями о вернисажах, на других висе-

ли картины в старых рамах. Папиросный дым обволакивал розовый торс обнаженной женщины, из головы которой росло дерево, рядом синее чудовище плавало в малиновом нежном тумане...

Я с трудом отыскал свободное место и сел, взглядываясь в объявления на стене. Некто Герман Пайниц рекламировал свою выставку языком и символами, заимствованными у современной науки: колонки цифр, кружочки, черточки наподобие закодированной информации, нанесенной на перфораторную карту. Выводы шли открытым текстом: «Не существует, никогда не существовало и никогда не будет существовать естественное искусство».

Мой сосед по столику тоже поднял глаза, посмотрел на «манифест» и улыбнулся скептической улыбкой старого неудачника. Соседу под тридцать, он небрит, на нем заношенный пиджак и несвежая рубашка без галстука; курчавые волосы давно не стрижены, на лице желтые тени. Он курит американские сигареты и пьет кока-колу.

— Живопись и реклама — вещи разные, но разве художнику не нужно жить? — говорит сосед, с грустью оглядывая плакаты. — В Вене сотни художников, и все они хотят жить. Они торгуют своими картинами, борются за место и падают иногда так низко, как только может упасть человек, продающий эликсир дляращения волос. Трудные времена, вот и появляются ловкачи...

— Трудные времена? — спрашиваю я. — Но ведь конъюнктура теперь хорошая, лучше, чем когда бы то ни было за все послевоенные годы; кажется, все довольны...

— Кто сказал, что все довольны? Я недоволен! — Ироническая усмешка снова кривит пепельные губы моего соседа. — Довольными бывают лавочники. Чиновники, имеющие твердый оклад и хоть маленькое, но господствующее положение среди других. Художник не может быть довольным. Какое чувство станет он тогда передавать своим искусством? Чувство сытости после хорошего обеда?

Вокруг нас шумело кафе. С улицы входили какие-то люди в куцых пиджачках. Две девицы в одинаковых белых джинсах стояли в автоматной будке у дверей и говорили по телефону. Мрачный бородач в очках внимательно читал газету.

— Тут все художники? — спросил я.

— Нет. Раньше у Хавелки действительно собирались художники. Хозяин любит живопись — видите, он даже покупает картины. И сюда ходили только художники. Но потом появились старухи.

— Какие старухи? — спросил я.

— Обыкновенные старухи — туристки. Молодые американские старухи с седыми кудряшками, завитыми по последней моде, и с последними моделями фотоаппаратов в своих сумочках. Утром они фотографировали зады чугунных коней, которыми набита вся Вена. А по вечерам приходили сюда запечатлеть на пленку художников, или, как они говорят, богему. Естественно, что кое-кому из художников это не понравилось, пришлось им назначать свои свидания в другом месте. Другие остались — им все равно...

Ночь текла по Доротеагассе, когда я снова прошел по ней, как по тихой, уснувшей аллее, среди старинных памятников. На этот раз я заметил открытую дверь «эспрессо», которого не видел раньше: в элегантно убранном зале сверкали огни, латунь и пластмасса, мягкие кресла, низкие столики на гнутых ножках. И ни одного посетителя. А у Хавелки, когда я уходил, не было ни одного свободного места. Почему здесь пусто, а там, среди изъеденных молью диванов и потрескавшихся столиков, таклюдно и тесно? Могучая сила привычки? Или старое кафе с его табачным чадом, закопченными стенами и железной печуркой все же

ближе человеческой душе его посетителей, чем голая и стерильная гармония синтетики и пластмассы?

В поздний час у освещенных витрин Кертенерштрассе еще стоят, переминаясь с ноги на ногу, девушки с зеленовато-бледными лицами — они всё еще поджидают клиентов. Как раз в эту минуту из переулка выскакивает маленький юркий «фиат» и резко тормозит у витрины ювелира, где стоит одна из девушек. Элегантный молодой человек с черными лакированными волосами выходит из машины и направляется к ней. Он увезет ее с собой? Вот он наклонился. Он собирается поцеловать ей руку? Нет, он наклонился к сумочке. Но она поспешно открыла ее сама, вынула несколько бумажек и отдала ему. Он небрежно сует деньги в карман пиджака и возвращается к своей машине. Тишина. С обеих сторон не было произнесено ни одного слова. Короткий гул заведенного мотора, и «фиат» исчезает.

БЕЗ ВИНЫ НАКАЗАННЫЕ

Кафе «Палитра» в венском доме искусств — «Кунстлерхауз».

Полуподвальный зал напоминает таверну: черные стены, тусклые светильники, сводчатый потолок. Тесный закоулок с баром, похожий на вольер. Обстановка, вполне подходящая для выпивки. Но я не увидел в «Палитре» пьяных. Как, впрочем, и ни одного художника. Сюда ходит молодежь. Вполне трезвые молодые люди и девушки пьют кока-колу. Изредка заказывают коктейль. И время от времени кто-нибудь из сидящих за столиками подходит к музыкальному автомату, похуже на пульте управления электронно-вычислительной машины, выбирает себе пластинку, опускает монету и нажимает кнопку. Проигрыватель никогда не запускается на полную мощность, даже самая сумбурная музыка звучит сдержанно, бунт и неистовство джаза рождают лишь смутное ощущение тревоги, но не мятеж.

За моим столиком сидят два юнца с коротко подстриженными волосами. Долго гадаю, кто они. Оказывается, один водопроводчик, другой столяр. Обоим по девятнадцать. Оба уже второй год имеют самостоятельный заработок. Оба пьют пиво из маленьких бутылок, вмещающих не больше стакана. Пьют молча и долго, в глазах спокойная лень.

Куда, в какие дали устремлен их небрежный и ленивый взгляд?

Наконец решаюсь задать несколько вопросов на правах чужестранца. Отвечают охотно, но односложно. Все, что касается серьезных дел жизни, исчерпывается небрежной фразой: «Мы еще молоды». Они еще молоды для суждений о жизни, для раздумий, для планов на будущее, для всего того, что не имеет прямого отношения к езде на мотороллере и сидению в кафе. Оба члены профсоюза, но они еще молоды, чтобы вообразить себе, что в один прекрасный день хорошие заработки могут кончиться. Сегодня выходной. И вот они сидят в кафе, по их словам — с трех часов дня. Возможно, что они еще сходят в кино, там видно будет, сейчас только четверть шестого, до семи они во всяком случае останутся в кафе...

Я пью свой кофе и продолжаю машинально задавать вопросы, которые не вызывают у моих соседей никакого интереса. Ответы односложны: «Да... Нет». Пока я не спросил о родителях... Молчание. Быстрый взгляд — я прикоснулся к больному месту. Наконец один из юношей — худенький, темнолицый, с черными глазами, по виду совсем еще мальчик — говорит:

- Вы тоже думаете, что мы «гаммлеры»?
- «Гаммлер» — это немецкая разновидность американских «битников», французских «вуайю», голландских «прово».
- А кто еще так думает?
- Мой отец в этом убежден, — говорит черноглазый юноша, — хотя я и не ношу длинных волос.
- Мой тоже, — говорит его товарищ. — Взрослые думают все одинаково.
- Что же они думают?
- Ироническая улыбка. Продолжительное молчание.
- Мой отец говорит, что я отказываюсь от всякого наследия.
- А вы действительно отказываетесь?
- Снова пауза. И снова ироническая улыбка.
- От чего? Мой отец всю жизнь защищал обреченные дела. Вы знаете, что произошло в Австрии? Я уже не хочу ни во что вмешиваться.
- А меня дома считают циником, — говорит второй.
- Это из-за истории с Марией? — спрашивает первый.
- Второй юноша не отвечает.

Я жду. Мне хочется спросить, что это за история, но я понимаю, что трудно рассчитывать на ответ. Они уже вернулись к прежнему состоянию апатии и спокойной лени. И я опять вижу бесстрастные лица — ни смутных вожделений, ни грез, ни неудовлетворенности, ни всего того, что как будто естественно должно бродить в каждом молодом существе с еще не истраченной жизненной силой...

И на площади перед «Палитрой» сидели молодые люди. Они примостились на ступеньках и на каменном карнизе здания «Кунстлерхауз». Можно было подумать, что они кого-то ждут. Но они никого не ждали. Они сидели, почти не разговаривая, поглядывая на улицу, на потоки автомашин, на прохожих, на выстроенные вдоль сквера каменные фигуры важных и сердитых мужей, задрапированных в каменные плащи. Надписи на цоколях сообщали, что это Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Веласкес, Тициан и Рубенс. Статуи застыли в патетических позах, а молодых людей, сидевших неподалеку, как будто кто-то специально посадил сюда для иронического контраста.

Все они были очень юны — мальчики-подростки, девочки с худыми, дурно развитыми фигурами, бледными лицами и детскими подбородками. Объединяли их и другие черты: неряшливость, запущенность и странная, нелепая одежда. Уж не задались ли они целью уморить голодом венских парикмахеров и портных?

Я долго разглядывал юнца в ярко-желтой клеенчатой куртке и синих, уже порядком слинявших брюках, белых баскетбольных кедах и шерстяных носках; под курткой он носил голубой джемпер, на шее был намотан черный шарф, лицо сумрачное, бескровное, глаза черные, но потухшие, волосы красные, черные, но обсыпанные перхотью, кое-как подстриженные сзади ножницами, как у старых семинаристов. Боже, какая тоска! Ни единого признака веселья, силы, ловкости и беспричинного счастья у всех этих юношей, никакой прелести движений, грации, изящества у девушек. Под клеенчатыми куртками, давно не стиранными рубашками и запущенными лохмами живет лишь тоска.

Кроме ресторана и кафе, в «Кунстлерхаузе» есть еще и кино. В нем показывают фильм под загадочным названием «КС». На большом квадратном щите с изображением целующейся парочки говорится, что это фильм о любви до замужества: «Вот он, немецкий кинофильм международного класса, молодой и темпераментный, эротический, смелый и последовательный. История одной несостоявшейся семьи».

Две некрасивые женщины в слишком ярких платьях идут в кино — их интересует любовь до замужества. А молодых людей в неряшливых куртках, безгрудых девушек в полотняных брючках кинофильм занимает не больше, чем средневековые каменные панталоны стоящего неподалеку Рубенса.

Я спросил юнца, который стоял ближе всех ко мне, видел ли он фильм «КС».

— Да, — сказал он. — Буржуазная чушь!

У юноши был нежный и чистый голос. Я посмотрел на него внимательнее и рискнул задать еще один вопрос:

— Вы левый?

— Нет, — сказал он. — Нет. Я не левый и, конечно, не правый. Политика меня не интересует. Я верю только фактам.

— А факты не имеют отношения к политике?

— Нет, — сказал он чистым и нежным голосом. — Я не то хотел сказать. Я не верю в идеи.

— Есть разные идеи, — сказал я.

— Знаю, — сказал мой собеседник, — я все знаю. У меня у самого старший брат погиб в лагере. А другой брат стал коммерсантом. «Продаю-покупаю, продаю-покупаю!» заменяет ему всякие идеи. У него два автомобиля, но мне и это ни к чему... Извините! — Он кого-то увидел и отошел на другой конец тротуара.

После этого разговора я вспомнил Катуся Исобе.

Я думал: эти венские мальчики и девочки — другая разновидность поколения, к которому принадлежит и молодой японец, мой сосед по купе из поезда Москва — Вена? Они, эти венские мальчики и девочки, не умеют иначе выразить свое несогласие, свой разлад с действительностью этого благополучного, видимо даже преуспевающего, города? В атмосфере культа нейлона слинявшие джинсы и дешевые шарфы, намотанные на тонкие непокорные шеи, — это бунт против стяжательства «потребительского общества»? Детский бунт? Да, но, может быть, и нечто большее?

И стоя на венской Карлплац, где автомобилей больше, чем пешеходов, где по соседству с каменными изваяниями Микеланджело, Тициана, Рубенса, создавших классические образцы гармонии, ясности и красоты, томилась инфантильные, наивные отпрыски нашего века, я невольно снова задумался о проблеме молодого поколения. Я вспомнил статью, прочитанную в одной венской газете, о том, что на Западе можно наблюдать кризис молодежи, что и венские молодые люди отказываются от прошлого и не верят своим отцам... Кризис молодежи? Но разве, в сущности, это не проблема взрослых? Разве молодое поколение не растет в той социальной и психологической среде, которую создали взрослые?

О Вене я знал все-таки больше, чем о далекой Татейаме, где родился и вырос мой недавний попутчик — Катуся Исобе. И я подумал, что здесь, в Вене, нельзя не учитывать одну особенность последней четверти века европейской истории. Здесь, в Австрии, а еще больше среди немцев молодые люди не могут не знать о прошлом своих родителей, о том страшном и жестоком, что случилось на их веку. И новое поколение, конечно, знает, что возмездие не настигло виновных, хотя преступления официально признаны, имена убийц установлены и запротokolированы. Немногие, очень немногие преступники еще памятного всем периода истории закончили жизнь на виселице. Остальные умерли своей смертью и похоронены с почестями. Или продолжают жить и получать государственные пенсии. Кое-кто из них занят писанием мемуаров, в которых

доказывается, что время, когда подлые и корыстные уничтожали честных и благородных, было полно романтики и великого исторического смысла.

Может быть, как раз на молодом поколении, выросшем уже после войны, видно, что существует священная необходимость возмездия за всякое содеянное зло и если оно не поразило виновных, оно настаивает в конце концов тех, кто никаких преступлений не совершал. Вель продолжают же умирать японские деги от радиоактивных излучений, которые поразили их родителей в Хиросиме и Нагасаки. Но странную душевную радиацию породил и Освенцим. Милые и кроткие юноши, нежные и добрые девушки, родившиеся после смерти Гитлера, заражены болезнью, не имеющей определенного названия, хотя у нее вполне определенные симптомы: душевная апатия и неверие, политический индифферентизм, ранняя тоска, иногда даже отчаяние. Болезнь поражает тех, кто не причастен к недавним катастрофам, но она убивает в них готовность к борьбе с опасностью новых катастроф.

Еще до приезда в Вену я знал о скандальном поведении местных судов, оправдавших монастров, повинных в ужасных преступлениях. Читал я и о «деле Бородайкевича» — бывшего нациста, преподавателя высшего учебного заведения, который снова принялся за пропаганду антисемитизма. Случилось это еще несколько лет назад, но отголоски этой истории не заглохли. Я знал, что во время демонстрации, вызванной «делом Бородайкевича», был убит старый антифашист, бывший узник гитлеровских концлагерей — Эрнст Кирхвегер. Глядя теперь на юношей и девушек, сидевших на ступеньках «Кунстлерхауза», я подумал, что они, конечно, ни в чем не виноваты. Их там не было. В час убийства Кирхвегера они, наверно, тоже сидели в подвале «Палитры» и слушали последние пластинки музыки «поп» или торчали на улице и глазели на площадь. Но ведь кто-то нанес Кирхвегеру смертельный удар!

Нет, я не встретил в Вене ни одного молодого человека, которого можно было бы заподозрить в соучастии или даже симпатии к подобным убийствам. Но головы юношей и девушек, с которыми мне пришлось разговаривать, были населены бумажными призраками, ребячливыми идеями, смешными глубокомысленными выводами даже в тех случаях, когда эти юнцы горели искренним желанием изменить окружающий их самодовольный, тучный мир.

Он был немец — очень начитанный, очень юный студент из Гамбурга, который уже успел отрастить бородку и, сидя в венском кафе, не напивался, не бездельничал, а усердно листал последние выпуски газет, одну за другой. В Вену он попал проездом — возвращаясь домой после длительного путешествия; отец и старшая сестра подарили ему несколько тысяч марок, и он несколько месяцев разъезжал на них по свету. Их шпильте турист, сказал он с иронической усмешкой. Он «играл в туриста» в Греции и Турции, потом в Индии, Индонезии, Японии. Он побывал во многих странах, ходил по улицам экзотических городов, посещал музеи и картинные галереи. Узнав, что он провел несколько дней и в Москве, я спросил, как ему там понравилось. Интересный город, ответил он. И люди милые, приветливые, но только не в гостиницах.

— Знаете,— сказал он с удивлением,— в отеле «Метрополь» швейцар даже не подумал отнести мой чемодан в номер...

Я промолчал.

Когда мы продолжили разговор, выяснилось, что он участник одной из тех ультрарадикальных студенческих организаций, которые возбуж-

дают теперь страсти во всех западноевропейских странах. Он сторонник мировой революции, но отвергает и социалистическую и коммунистическую партию. Нет, решительно сказал он, настоящими революционерами не могут теперь быть рабочие, они стремятся повысить свой жизненный уровень, они всецело опутаны условиями и потребностями, созданными промышленным обществом. В наше время даже наука служит установлению господства над людьми. Только молодежь, которая инстинктивно отказывается стать инструментом в чьих бы то ни было руках, может быть по-настоящему революционной. Мы, молодые, понимаем, что нужно искать ответа на главные вопросы...

— Какие это вопросы? — спросил я.

— Во-первых, вопрос о том, что такое жизнь. Что такое человек, какова его судьба и какое место он занимает в космосе. И кто верховная сила, создающая жизнь и управляющая вселенной.

— А социальные вопросы вас не интересуют?

— О да. Нужно уничтожить перегородки между людьми. Не только между разными классами — даже в самом рабочем классе есть перегородки между людьми с разными окладами. Настоящая революция с этим покончит.

— А как вы собираетесь ее осуществить? Вы признаете насилие?

— Только применительно к вещам, а не к личностям. Мы нападаем на учреждения, но не на людей. Это лозунг всех наших демонстраций.

— А если вмешивается полиция? Разве она всегда разрешает демонстрации?

— Правильно, не всегда. Натолкнувшись на полицейский кордон, мы скандируем хором: е й н с, ц в е й, д р а й — л и е б т д и п о л и ц а й!

— И это помогает?

— Нет, — застенчиво сказал он. — Но когда-нибудь дела пойдут лучше. У нас для этого есть все условия. Знаете, во Франции или в Италии студенческое движение все-таки связано с материальными требованиями. У нас в ФРГ жизненный уровень выше, и наше движение поэтому радикальнее. Однако вы не должны смешивать нас с американскими «хиппи». Движение «хиппи» уже умерло. Но из пепла родилось новое движение. Мы уже другие, чем были первые «хиппи» в начале шестидесятых годов. Они были аполитичны, а мы за политику, за революцию. Нас разделяет и вопрос о наркотиках...

— Какой вопрос? — переспросил я.

— Отношение к наркотикам, — продолжал он. — «Хиппи» придавали им большое значение. При помощи ЛСД и других химических средств они надеялись установить новый строй души; в конце концов все новые религии в первой стадии своего возникновения прибегали к возбуждающим напиткам. «Хиппи» были мистиками, они хотели «смотреть богу прямо в глаза». Мы не против ЛСД, но мы не мистики. Мы за революцию, за поиски новых путей при помощи разума. У нас, например, есть принцип: подвергай все сомнению! Это относится к самым разным областям общественной жизни. Вот, например, мы идем в театр. Мы говорим: хорошо бы остановить спектакль посередине действия и обсудить с актерами, что все это значит...

— И вы так и поступаете?

— К сожалению, среди актеров немало реакционеров. И публика тоже не желает экспериментов, она хочет досмотреть спектакль до конца, вылакать все, что ей преподнесут. Публика находится под властью агрессивных рефлексов, которые привили ей капиталистические монополии и тресты. Возьмите хотя бы потребность сидеть по пять-шесть часов в день перед телевизором...

— По-вашему, это агрессивная потребность?

— Разумеется. Ведь на экране все время стреляют. Впрочем, телевидение — мощное средство, его можно было бы использовать, чтобы убедить публику в полезных вещах.

— Например — отказаться смотреть телевидение?

— Правильно, — сказал он без улыбки. Он был очень серьезен, и ему было не до шуток.

И он продолжал в том же духе о пагубном влиянии потребностей, создаваемых современной промышленностью, о необходимости «преодолеть время», искать «что-то другое» и поступать «как-то иначе», чем поступали взрослые до сих пор.

Потом он рассказал мне о странах, в которых побывал во время своего путешествия. Он помнил названия всех отелей — это были хорошие отели, с кондиционированным воздухом и хорошим обслуживанием. Нет, застенчиво повторил он, московский отель ему не очень-то понравился: там пришлось самому таскать чемодан.

На прощанье он снова сказал, что верит в мировую революцию, но она должна быть настоящей и сломать не только порядок, но и психологию современного общества. И он пошел к двери слегка развинченной походкой молодого, но уже уставшего человека. Я обратил внимание на его башмаки — они были сделаны из какой-то мягкой материи, похожей на плюш; не очень-то красивые, но, вероятно, удобные для того, чтобы «играть в туриста».

Разговор с юным студентом произвел на меня большое впечатление. Такого революционера, который, разъезжая по свету в реактивных самолетах и останавливаясь в отелях с кондиционированным воздухом, проповедует необходимость отказа от потребностей, созданных промышленным обществом, — я видел впервые.

У РАЗБОЙНИКОВ

— А теперь мы поедем к разбойникам, — сказал экскурсовод после осмотра восьмого или девятого по счету музея, — вы согласны?

— Да, конечно, согласны. А сколько мы там пробудем?

— Часа два хватит?

— Маловато. Лучше три.

— И три мало. Зачем торопиться?

— А что это за разбойники? — тихо спросил я экскурсовода.

И он так же тихо объяснил мне, что если турист, у которого мало денег, хочет потратить свои шиллинги, он должен отправиться к разбойникам. У них дешевые товары.

— А почему разбойники? — спросил я.

— Ну, это уж их так прозвали покупатели, — ответил гид. — И прозвище привилось. Почти в каждой туристской группе, с которой я имею дело, есть люди, которые об этом слышали и просят меня повезти их к разбойникам...

И вот мы уже подъезжаем к Мексикоплац, где начинается район «разбойников».

Автобус остановился на пыльной каменной площади, рядом с массивной каменной церковью, которую время не покосило, не покорежило, а лишь покрыло черными пятнами сырости и грязи. И невысокие каменные дома, унылые и неряшливые дома городской окраины покрыты здесь гнетущим осадком времени. Магазины и лавочки ютятся на первом эта-

же под неброскими вывесками с почти одинаковыми надписями: «Товары всех сортов», «Дешевые разнообразные товары».

На Мексикоплац я увидел мистерию торговли в обнаженном виде — ее мелких жрецов, хитрых стратегов и невинные жертвы. Хотя этот кирпичный квартал, застроенный невысокими унылыми домами, казался безлюдным, в лавках было полно людей, которые теснились между полками, толкали друг друга, жестикулировали, разговаривали на разных языках и как бы участвовали в едином обряде. Каждый покупатель входит сюда с одной мыслью: приобрести вещь подешевле. И на этом его стараются поймать, облапошить, всучить все, что ему кажется нужным, а заодно и то, что ему совершенно не нужно, пока у него не кончатся деньги.

Всюду было одно и то же: теснота и давка, бледные, запущенные продавщицы и покупатели с разгоряченными лицами. Они что-то мерили, щупали, поглаживали, мяли, растягивали. И всюду в центре карусели суетился, дергался или, наоборот, стоял неподвижно, лишь строго поводя глазами, главный актер этого спектакля, он же его режиссер, и самый внимательный зритель, и первое заинтересованное лицо — хозяин, или, как его называли подчиненные, «шеф».

В одной из лавок шеф сидел за деревянной переборкой — еще не старый, широкий в плечах, тучный человек с обрюзгшим лицом и тяжелыми мешками под глазами. У него были короткие руки с толстыми культипками пальцев, которые работали с невероятной быстротой: выписывали квитанции, принимали деньги, рассовывали их по карманам, давали сдачу, что-то отмечали в счетах и ведомостях, лежащих на прилавке. В то же время шеф следил за тем, что делается в магазине, и отвечал на десятки вопросов. Он один знал, сколько стоит каждая вещь, и назначал цену, окинув быстрым взглядом того, кто хотел ее купить. Цена зависела от одежды и выражения глаз покупателя, от проницательности шефа, от его умения и неумения разбираться в людях, от сложных расчетов, которые он мгновенно производил в уме с быстротой, вероятно, еще не доступной электронно-вычислительным машинам. Потому что шеф был не только коммерсантом, но и знатоком географии, политики и истории, психологом, банкиром, к тому же и полиглотом.

У прилавка стоят несколько покупателей, разговаривающих на разных языках, и все они пытаются привлечь к себе внимание шефа.

Улучив момент, когда в магазине стало просторнее, я подошел к шефу и заговорил с ним по-русски. Он довольно хорошо понимал язык, хотя путал русские и польские слова.

— Вы из Польши? — спросил я.

— Да, — сказал он, — из Кракова.

— А во время войны вы, наверное, были в России?

— Во время войны? — спросил он, и я вдруг увидел, как задрожали его лицевые мускулы и он поднял на меня внезапно изменившиеся глаза. — Во время войны я был на том свете!

Он медленно закатал рукав пиджака, и я увидел нечто такое, что заставило меня усомниться во всех данных окружающего мира. Я увидел номер, пять цифр, неровно и грубо вытравленных на его толстой руке между локтем и запястьем, хорошо знакомое, уже не раз виденное дьявольское клеймо, неопровержимо доказывающее, что этот лавочник и спекулянт иностранной валютой действительно побывал в аду.

— Где? — тихо, почти беззвучно спросил я.

Он понял и ответил:

— Биркенау.

— Значит, в Освенциме, — сказал я, вспомнив, что лагерь в Биркенау был всего лишь отделением освенцимского комбината смерги, одним

из самых страшных его отделений, где стояли крематории.— И вы остались живы?

Он снова посмотрел на меня, и его глаза снова изменились.

— А вы считаете, что это жизнь? — сказал он и брезгливо посмотрел на полки с чулками, бюстгалтерами и сумочками, на суетливых, задерганных продавщиц с растрепанными прическами, на продавцов в помятых сорочках, на весь свой магазин, набитый партиями дешевого, бракованного или вышедшего из моды товара, пестрыми остатками распродаж, банкротств и множества других законных и незаконных операций купли-продажи.

Небо уже было озарено светом уличных огней, когда мы возвращались в отель. Автобус мчался по широким и нарядным центральным улицам, среди разноцветных реклам, световых сигналов и ярко освещенных витрин больших и богатых магазинов. Да, здесь совсем другие магазины. Здесь за прилавками стоят красивые продавщицы в красивых платьях, девушки с заученными пленительными улыбками, за которыми наблюдает хозяин или его доверенное лицо, безупречно элегантный и безупречно вежливый человек с трезвыми и жесткими глазами. Здесь не торгуются, не суеются, не повышают голоса, не объясняются, как мимы. Все здесь выверено, целесообразно, все заранее предусмотрено и объяснено. Каждый товар имеет твердую цену, в которую входят стоимость материала, работы, прибыль и множество других сложных компонентов: сезон, марка, мода, расположение магазина и даже репутация его хозяина. Но я уже не мог отделаться от видений Мексикоплац: тесные ущелья лавчонок, прилавки с невообразимо пестрой рухлядью, замученные продавщицы, робкие покупатели, пытающиеся изо всех сил выторговать несколько шиллингов, и «разбойник», который закатывал рукав, обнажая пухлую розовую руку с короткими черными волосами и слегка расплывающимися синеватыми цифрами клейма ада.

САЛУД

Отправляясь в Австрию, разве мог я предположить, что увижу там образ современной Испании? Тем не менее это произошло. В Вене на вечере австрийских ветеранов интернациональных бригад я увидел Испанию, увидел ее живой, увидел ее лицо, которое, подобно лицу статуи, долго пролежавшей в земле, вдруг очистилось от ржавчины и грязи. Я увидел Испанию снова молодой и пламенной, готовой снова сражаться за свою свободу.

Мы сидели в светлом, отделанном ореховыми панелями зале венского профсоюза железнодорожников, где вместо обычных рядов кресел стояли низкие ореховые столики, окруженные легкими стульями из того же светлого ореха, что придавало собранию интимный вид, хотя на нем и присутствовали сотни людей. На открытой сцене, украшенной белыми и красными цветами, сидели в два ряда юноши и девушки из молодежного рабочего хора, девушки в голубых блузках и черных юбках, молодые люди в черных брюках и синих блузах. В правом углу, над трибуной свисали шелковые полотнища — красно-желто-фиолетовые, цвета Испанской республики, и старый человек, седой, полнотелый и сутулый, который тридцать лет назад был, наверное, прямым и стройным, стоял под приспущенными боевыми знаменами батальона, которым он когда-то командовал, и говорил речь, медленно и четко произнося каждое слово: слова за тридцать лет не изменились, они были по-прежнему горячи, непреклонны.

В зале за столиками сидели другие старики и молодые люди и прерывали слова оратора аплодисментами и возгласами на испанском и немецком языках: «Виват! Салуд!» А рядом со мной сидела пожилая женщина в старой шляпке, из-под которой виден был простой узел седых волос, ее бледное худое лицо передергивалось от нервной дрожи каждый раз, когда оратор произносил памятные всем названия: Эбро, Сиерра-Гуадарама, Арагон, Валенсия, и она плакала о потерянных тридцать лет назад боевых позициях, о подходящей к концу жизни, о радостях и печалях далекой молодости, о неоправданном доверии и оправданном недоверии, да мало ли о чем могла плакать старая женщина, видевшая на своем веку баррикады Флорисдорфа, аншлюс, эсэсовцев на улицах Вены, свастику на венской ратуше, облавы гестапо, а может быть, и ба-раки Равенсбрюка или дым крематориев Освенцима. Я смотрел на ее слезящиеся глаза, и мне хотелось поцеловать морщинистые коричневые руки, в которых она комкала платочек, и сказать ей, что не надо плакать о прошедшем времени — оно необратимо, но никто не знает, что готовит нам будущее, как оно смешает и заново переплавит все наши победы и поражения, справедливость и несправедливость, радости и страдания. Я, конечно, не знал, не подозревал, что именно в этот вечер обнаружится, что время оказывается иногда добрее и благосклоннее, чем мы думаем, и я увижу прошедшие годы, воплощенные не только в слезах, воспоминаниях и старых, уже не пахнущих порохом боевых знаменах.

После комиссара австрийских добровольцев на трибуну поднялся другой оратор — человек лет пятидесяти или шестидесяти, с поредевшими, но все еще черными волосами, с живыми чертами гордого и решительного лица. Имя этого человека пронеслось по залу, словно искра, включившая невидимое зажигание в сердцах и памяти всех присутствующих. А когда он заговорил, его слушатели снова перенеслись в то далекое время, с которым неразрывно связано имя оратора, одно из самых громких имен испанской войны — генерал Энрико Листер. И все время, пока бывший генерал Испанской республики оставался на трибуне, в глазах каждого из его слушателей снова отражались полузабытые картины: марширующие к фронту рабочие, митинги, окопы, пылающие села, идущие в атаку марокканцы, взрывы бомб, падающих с самолетов, на крыльях которых мертво поблескивали знаки свастики.

Листер говорил о том, что означал для Испании приезд добровольцев из шестидесяти разных стран, покинувших свою родину, любовь, отчий дом, матерей, жен и сестер. И чувствовалось, что этот широкоплечий, плотный, все еще легкий в движениях испанец, уже четверть века оторванный от своей родины, и сидевшие в зале австрийцы, которым удалось все же вернуться домой после долгого отсутствия, после гитлеризма, войны, концлагерей, оккупации, — они все еще связаны между собой, они соединены нерасторжимыми узами боев, в которых принимали когда-то участие вместе. И я, попавший сюда случайно из другого мира, но тоже крепко связанный с тем далеким временем, его победами и поражениями, почувствовал, что меня одолевает печаль, как будто я присутствую на вечере воспоминаний и о своей собственной молодости.

А когда официальная часть закончилась и присутствующие хором спели гимн Одиннадцатой бригады и «Интернационал», — тут же стали собираться компании бывших однополчан и друзей, которые, видимо, давно не встречались. Быстро разыскав друг друга, они снова уселись вокруг низких ореховых столиков, на которых появились вскоре бутылки содовой, лимонада, пива, маленькие стаканчики с мороженым. И мало-помалу в зале разгорелся какой-то совсем особый пир, на нем коньяки

и водку заменило крепкое вино воспоминаний, от которого все быстро захмелели: разговоры велись через несколько столиков, люди обнимали и целовали друг друга, кто-то начинал петь, кто-то порывался произнести речь, другие аплодировали и кричали: «Салуд!» Разговоры становились все более шумными, беспорядочными. Начинались они совершенно одинаково: «А помнишь?..», «Помнишь ли ты Альбасете?», «Помнишь Арагон?», «А помнишь, на семьдесят третьем километре шоссе Мадрид—Гвадалахара — Сарагоса?..», «Помнишь снега Сиерра-Невады?», «Помнишь сорокаградусную жару Кастилии?» И каждый разговор был связан с какой-нибудь боевой операцией, иногда с наступлением и победой, иногда с поражением, но и в одном и другом случае к каждому воспоминанию примешивался горький вкус смерти: «А помнишь?..» И называлось чье-нибудь имя, ласковое, уменьшительное имя товарища, оставшегося навсегда в испанской земле.

Я бродил между столиками с человеком, который пригласил меня на этот вечер, австрийцем, бывшим комиссаром Интернациональной бригады, и он знакомил меня со своими товарищами.

Сначала он познакомил меня со своей женой — красивой, смуглолицей женщиной, которая не была в Испании. Она все время смеялась, шутила, производила впечатление счастливого, одаренного судьбой человека, и я бы, конечно, никогда не догадался сам, что это не венка, а сербская еврейка, партизанка и что впервые они встретились с будущим мужем за колючей проволокой Маутхаузена.

Познакомил он меня и с одним из своих близких друзей — худощавым, высоким и стройным, несмотря на свои годы, тирольцем, который был в молодости известным лыжником, так что для него не составило особого труда перейти через заснеженные Пиренеи из Франции в Испанию, для того чтобы принять участие в гражданской войне. Воевал он не на фронте, а в тылу франкистских войск и совершил ряд памятных подвигов в качестве партизана-подрывника. Тиролец был молчалив, застенчив и неохотно отвечал на вопросы. Но слушая рассказы других о делах этого человека, я подумал, что все это я уже когда-то слышал. И глядя на загорелое, мужественное лицо тирольца, мне казалось, что и оно мне знакомо и что я понимаю его характер, его мужество, его скромность. Я был удивлен: откуда такое ощущение? Вдруг один из австрийцев, стоящих рядом, наклонился ко мне и, понизив голос, спросил: «Вы помните Роберта Джордана?» И я все понял... Ну, конечно же, этот бывший подрывник не случайно кажется мне старым знакомым: Роберт Джордан, герой романа «По ком звонит колокол», создан по образу и подобию таких людей, как этот тиролец. И вот благодаря таланту Хемингуэя для меня, как, вероятно, и для других читателей, живые люди уже кажутся лишь копией вымышленного образа.

Познакомили меня еще с одним человеком, которого все называли по имени — Зепп. Может быть, оттого, что он был загорелым, курчавым, светловолосым и выглядел еще молодым и сильным, мне казалось, что он вряд ли ветеран испанской войны. Но Зепп Плизайс оказался не только интербригадовцем. Вместе с другими австрийскими участниками испанской войны он попал в сороковом году в руки гитлеровцев, оккупировавших Францию. Всех их повезли в Австрию. Зепп по дороге бежал и вскоре начал свою вторую войну — партизанскую — на Дахштейне, самой высокой горе Австрии. Книга, которую он написал и издал в сорок шестом году, так и называется: «От Эбро к Дахштейну».

Почти все бывшие участники войны в Испании все еще активны, но Зепп продолжает заниматься общественной деятельностью с особой страстью, хотя он и живет теперь в захолустном городке и вместо опас-

ных боевых операций занят возмущением спокойствия мещан и обывателей.

— Приедете ко мне? — спрашивает он и вливается в меня смеющимися глазами. — Я покажу вам мещан новейшего образца, которые думают, что если их личные дела поправились — значит, уже наступил вечный мир на земле и в человецех благоволение. Покажу вам и молодых — холодных и равнодушных, во всем сомневающихся, но почему-то уверенных, что Гитлер был последним прохвостом в истории...

— Да, у нас много равнодушных молодых людей, — подтвердил кто-то из присутствующих. — Может быть, в них сказалась психологическая усталость времени.

— Усталость? — живо переспросил Зепп, и его острое лицо мрачнеет. — Вот ты, Руди, был в Испании, а потом четыре года в лагере. Почему ты явился сюда, почему не остался дома в шлепанцах, со своей внучкой? Отчего это они устали, наши милые плей-бойз? От сидения перед телевизором во время футбольных матчей? — Он снова обернулся ко мне: — Так вы приедете? Из Вены вы, наверное, отправитесь в Зальцбург, вот и заедете ко мне по дороге. Найти меня нетрудно. Сейчас набросаю вам план. — Он взял лежащую на столике брошюру «Испанское небо», специально изданную к встрече ветеранов, и начал рисовать на оборотной стороне обложки карту. — Вот Вена, а вот Линц. От Линца до нас семьдесят километров. Доедете до территории бывшего концлагеря Эбензее — вам ее каждый укажет, — потом свернете направо — наш городок стоит в десяти километрах от бывшей «кацет». — Он сделал кружок на карте, написал рядом «КЦ»¹ и усмехнулся: — Это хоть и новый, но не менее верный ориентир, чем те, что созданы господом богом. — Он вдруг посмотрел на своего товарища, который говорил об усталости молодого поколения, его глаза были полны ярости. — Ты, Руди, отлично знаешь, сколько таких ориентиров оставил Гитлер в Австрии. Не замечать их — это не усталость и даже не равнодушие, а душевная подлость...

С множеством людей, подобных Зеппу, познакомился я в тот вечер в зале венского клуба железнодорожников. Но вот я уже собрался уходить, как вдруг услышал испанскую речь. В этом не было ничего удивительного: многие из австрийских интербригадцев еще не забыли испанского языка, но человек, на которого я обратил внимание, был слишком молод, чтобы иметь какое-либо отношение к испанской войне. Вокруг него стояло несколько пожилых людей, с двумя из них меня уже знакомили, поэтому я приблизился и прислушался к разговору. Вскоре я понял, что они говорят о делах сегодняшней Испании, я догадывался лишь о смысле разговора, но мало-помалу они перешли на немецкий.

Кто-то спросил:

— А как обстоит дело с молодежью?

Молодой человек улыбнулся:

— Франко потерял молодежь. Может быть, это самый важный итог того, что произошло в Испании за все годы после гражданской войны.

Молодому человеку на вид было не больше тридцати. Высокий, темнлицый, с ослепительно белыми зубами, которые он часто показывал, так как часто улыбался, одетый корректно, даже элегантно, в серый костюм, светлую рубашку в крапинку, но без галстука, с небрежностью, свойственной тем, кто недолго стоит перед зеркалом, он производил впечатление веселого, беззаботного парня, совершенно довольного жизнью.

Кто-то снова спросил:

¹ KZ — немецкое сокращенное обозначение концентрационного лагеря.

— А почему так случилось?

Молодой человек перестал улыбаться.

— Франкисты не сумели воспитать молодежь, потому что все время ухаживали от острых вопросов. Молодежи даже не разрешалось их задавать. На собраниях фашистских молодежных организаций, в школе, в университете все ограничивалось общими фразами, аплодисментами и криками: «Вива!» Никаких дискуссий или даже правдивой информации. Франкисты наивно верили: то, о чем официально не говорят, не существует. А получилось как раз наоборот. Впрочем, не только настоящее, но и прошлое было под запретом. О гражданской войне, например, говорили только в самых общих чертах все теми же трескучими фразами. Если бы франкистские профессора могли отменить историю, они были бы счастливы. Но так как совсем отменить прошлое нельзя, они ограничивались общими фразами. А молодежь, естественно, хочет знать, как все было на самом деле. Молодежь хочет знать факты.

Все слушали с большим вниманием. Я думал: этот молодой человек говорит так, как будто читает лекцию. Не слишком ли гладко? И откуда такая осведомленность? Я спросил:

— Вы полагаете, что именно франкистская политика толкнула молодежь на самостоятельные поиски правды?

Он ответил:

— Я это знаю по собственному опыту.

Наверное, на моем лице можно было увидеть, насколько я удивлен таким ответом, потому что один из стоящих рядом австрийцев, нашедших когда-то пристанище в Москве, где он прожил довольно долго, наклонился ко мне и тихо объяснил по-русски, что этот молодой человек — испанец, приехавший в Вену с группой испанских туристов; он прочел в газете о вечере ветеранов интернациональных бригад и пришел сюда.

Несколько мгновений я молча смотрел на молодого испанца. Интеллигентные черты его красивого темного лица и особенно манера разговаривать делали его похожим на адвоката или преподавателя, привыкшего излагать свои мысли ясными, хорошо пригнанными друг к другу фразами. Но вместе с тем в его движениях, в звуке голоса и особенно в блеске желто-карих глаз чувствовалась затаенная страсть человека, способного не только на рефлексию, но и на самые решительные действия.

Я попросил его рассказать кое-что о себе.

— Мой отец известный фалангист, — сказал он и улыбнулся. — Да я и сам, учась в специальной фашистской школе, до семнадцати лет считал себя фашистом, — продолжал он и снова улыбнулся. — Я даже изучал с особым рвением немецкий язык, потому что верил в превосходство немцев над всеми другими народами, в том числе и над испанцами. А как же: великая арийская раса, Вотан, Нибелунги...

Он продолжал свой рассказ в ироническом тоне, все время показывая ослепительно белые зубы. Он рассказал, как впервые усомнился в непогрешимости фаланги, когда стал читать газеты и сравнивать то, что они пишут, с тем, что видел вокруг себя в повседневной жизни. О том, как искал ответа на мучившие его вопросы и даже обратился к священнику, хотя истинному фашисту полагается быть неверующим. Но в церкви он ответа не нашел. Он приехал в Мадрид учиться в университете и вскоре убедился, что среди студентов нет ни одного искреннего фашиста. Он участвовал в студенческих забастовках, попал в тюрьму и там познакомился с людьми, у которых были ответы на его вопросы.

— О, не на все, — говорит он с иронической усмешкой, — мой путь в

революцию был сложным. Мне нравились коммунисты, но мне не нравилась дисциплина, хотя я и понимал, что без нее не обойтись в борьбе.

Ему нравились и анархисты, но очень недолго — он инженер, ему нужна была конкретная программа, хотя нельзя и программу возводить в догму: жизнь может оказаться намного сложнее. И когда настал день суда, он не молчал, как советовал адвокат, и получил четыре года тюрьмы, но просидел только полтора года: папа римский умер и в связи с избранием преемника Франко издал закон об амнистии.

— О, мы очень набожная страна,— заключил он, широко улыбаясь и давая нам снова возможность полюбоваться его сахарными зубами.— За последние годы, по случаю смерти Пия XII и Иоанна XXIII, у нас были две большие амнистии. Впрочем, если я попадусь еще раз, я все-таки на это не понадеюсь.

Рассказ испанца взволновал его слушателей. Что-то очень трогательное и радостное было в этой неожиданной встрече участников гражданской войны с молодым испанцем, который пришел к ним, убежденный в правоте дела, проигранного, когда его еще не было на свете. И австрийцы долго его не отпускали. Они забросали его вопросами о нынешней жизни в Испании, о знакомых городах, о борьбе против диктатуры, о расстановке политических сил в стране. Испанец хорошо разбирался в обстановке, знал все особенности и трудности борьбы с режимом, который, хотя уже и не может править по-старому, опираясь только на террор и репрессии, и даже пытается замолить свои грехи, все же не выпускает власть из рук. Разговор между молодым испанцем и ветеранами испанской войны был разговором людей, как будто очень непохожих друг на друга, но вместе с тем это были люди одного склада, одного типа мышления, живо интересующиеся всеми общественными процессами и судящие о них с одинаковых позиций.

Я подумал: как часто приходится читать и слышать рассуждения о необратимости времени, о том, что нельзя вернуть прошедшее, с годами все меняется, все становится другим. И как редко доводится людям видеть при жизни, что поток времени неожиданно выносит на поверхность именно то, что казалось безвозвратно погибшим, или, как говорят, канувшим в Лету. Испанский фашизм, установленный при военной помощи гитлеровской Германии и фашистской Италии, благодаря целому ряду географических и политических обстоятельств уцелел. Франко все еще сидит в своем дворце, окруженный охранниками, дряхлый диктатор в белом мундире, у которого было достаточно времени, чтобы укрепить свою власть. Но, в сущности, разве он исторически добился большего, чем отравившийся в своем бункере Гитлер или повешенный за ноги Муссолини? Да, Франко жив. Он даже принимает парады. Но испанский фашизм явно переживает при жизни гниение своего собственного тела. В другой форме, в иных обстоятельствах в Испании произошли по существу те самые процессы разложения, деградации и компрометации диктатуры, что и во всем мире. Вот молодой испанец, который родился в фашистской семье. Учился в фашистской школе. Читал только фашистские книги. Но разве он думает о фашизме иначе, чем вот эти седые, морщинистые, одержимые ненавистью к фашизму люди, которые еще тридцать лет назад взяли в руки оружие, чтобы остановить испанскую фалангу? Разве он меньше их ненавидит Франко? Почему же так случилось? Кто это сделал? Самый общий и обычный ответ: время. Но что это значит?

Да, время необратимо, его движение непрерывно, и человек над ним не властен. Юноша превратится в старика, тот, кто рождается, умрет, и каждый человеческий поступок лишь камешек, вызывающий круги на

воде. Но кто знает, может быть, именно наш камень, брошенный в поток истории, своими кругами изменит весь поток?

После разговора с молодым испанцем я стал вспоминать остальных молодых людей, с которыми познакомился во время поездки по Австрии. Вот японец Катсуя Исобе, мой попутчик в поезде, милый и печальный юноша, безропотно подчиняющийся правилам своего времени. А вот студент из Гамбурга — весьма благополучный, весьма утонченный интеллигент, который отвергает свое общество, собирается сломать все перегородки между людьми, но обижается на швейцара, не отнесшего его чемодан в номер. И вот молодой испанец, выросший в стране, лишенной свободы, и, может быть, именно потому одержимый столь трезвым пониманием своей нешуточной борьбы против фашистской диктатуры. Все эти молодые люди — почти сверстники. Почему они такие разные в своих мыслях и устремлениях: ведь они живут на земле в одно время?

Теория относительности открыла, что часы в разных системах идут по-разному. Социальные и исторические часы в разных странах тоже показывают разное время?

СРЕДИ РОЗ

В Австрии много музеев. В них собраны предметы и художественные ценности, говорящие о тысячелетней истории Европы. Но есть в Австрии музей совсем особого рода, который был организован каких-нибудь двадцать лет назад. Это порождение нашего времени, которое не идет ни в какое сравнение с любым памятником прошлого. Музей этот способен вызвать у каждого не только глубокую печаль, но и великую растерянность. И хотя тысячи посещающих его людей родились уже после тех событий, о которых свидетельствуют выставленные там экспонаты, мне кажется, что каждый, кто в нем побывал, ощутил свою причастность к этим ужасным фактам.

Первое, что я увидел, подъезжая к городку, где он находится, были розы. Они росли в горшках и ящиках под окнами уютных домиков, окрашенных в светлые тона. Но было много и розовых кустов, которые стояли у дорожек крохотных садиков, рядом с фруктовыми деревьями и кустами жасмина и сирени. Не только обилие роз придавало особую прелесть этому поселению, состоявшему из одной-единственной улицы, сливавшейся с проезжей дорогой. Слева от шоссе синел Дунай, на его противоположном берегу поднимались к голубому небу зеленые холмы, поросшие лесом, справа от дороги тоже возвышалась ровная, не очень высокая гора, к подножью которой и лепились дома и дворики с цветущими розовыми кустами — белыми и красными.

И, глядя на этот милый пейзаж, казалось, что мы подъезжаем к чистому и уютному уголку, где вечно царит мир, покой и тишина. Потом я увидел дорожную табличку с названием городка, и все остальное провалилось, исчезло. Городок назывался Маутхаузен.

Теперь я смотрел уже только на дорогу как бы в ожидании нового удара, пока не увидел новую табличку со стрелой, указывающей на ответвление дороги: «Кацет Маутхаузен — 3 км». Свернув по указанию таблички и сделав несколько плавных поворотов в гору, мы въехали на большую каменистую площадку, над которой нависла сумрачная каменная стена с двумя каменными башнями, которые можно было принять за бойницы старинного замка, но стоило присмотреться к ним повнимательнее, чтобы стало ясным, что это лагерные сторожевые вышки.

Одновременно с нами подъехал еще один туристский автобус, и я смотрел, как из него начали выходить люди, очень медленно и нехотя, словно они все еще раздумывали и не могли решиться, нужно ли им действительно выйти. И все же автобус опустел, даже водитель, который, вероятно, бывал здесь уже не раз, запер свою кабину и пошел вслед за остальными.

И вот мы уже подходим к воротам лагеря...

Скажу сразу, что не собираюсь его описывать.

Множество подобных музеев существует теперь в Европе: Освенцим, Дахау, Бухенвальд, Равенсбрюк... Никто им уже не удивляется, даже цифры перестали отражать суть того, о чем они рассказывают: мы столько раз читали и слышали о массовых казнях, что упоминание об одном или двух миллионах убитых уже ничего не говорит чувству. Кто в состоянии вообразить миллион трупов?

Одиноким и растерянным почувствовал я себя у входа в Маутхаузен среди страшных примет бывшего лагеря, которые вовсе не показались мне страшными: ведь сами по себе экспонаты такого музея не способны дать представления о том, что здесь произошло. Привычной рутинной веяло от организации музея, от его входных билетов, от сувениров, которые продавались тут же, в небольшой комнате с массивными каменными стенами, которая, по-видимому, была когда-то комнатой охраны. Да, и здесь, как и в любом музее, продавались сувениры: брошюры с историей лагеря, открытки и фотографии. И здесь, как и всюду, посетители раскупали эти открытки, с той лишь разницей, что никто их не надписывал, стоя тут же, у киоска, никто не торопился послать домой привет из Маутхаузена. А вот и смотритель — смуглый человек средних лет, в кремовых шортах и спортивной рубашке с закатанными рукавами, — он продает и входные билеты, и открытки, разложенные на деревянном некрашеном столе. Достойным изумления было то, что он оказался бывшим узником лагеря, но я вспомнил, что и в Освенциме уже встречал экскурсовода — бывшего лагерника, и, читая описания Бухенвальда, Дахау и других «кацет», несколько раз наталкивался на упоминание о том, что и там работают бывшие заключенные. Кто эти люди, которые сами обрекли себя на постоянное пребывание в тех ужасных местах, где они испытали страшные мучения и видели, как гибли тысячи, в том числе, наверное, их близкие друзья и товарищи? Почему они это делают?

Мне хотелось оттянуть момент, когда придется идти осматривать лагерь, я чувствовал, что меня терзают сомнения и даже искушение не переступить порога входной комнаты, и я разговорился со смотрителем. Он был худ и сутул, смугл лицом и производил впечатление еще крепкого, но уже согнутого годами и жизнью человека. Он был неразговорчив, но когда вопрос касался лагеря, отвечал охотно и с большой точностью. Все, что он говорил, было мне в общих чертах давно известно, но, слушая его, я с ужасом ощутил, что задержка у ворот ни к чему не привела. Из спокойного, монотонного рассказа смотрителя уже здесь, где еще не видно было ни баряков, ни камеры пыток, ни крематория, родилось ощущение невыносимости почти в физическом смысле слова...

Сначала смотритель коротко рассказал о себе...

Давным-давно, когда Гитлер еще только репетировал мировую войну под опекой «Комитета по невмешательству», в котором заседали убежденные демократы и принципиальные пацифисты, человек, который продавал теперь входные билеты в бывшую «кацет», вынужден был покинуть свою родину, захваченную генералом Франко. Вместе с другими солдатами республиканской Испании его интернировали во Франции, а

когда настал и ее черед — он был выдан гитлеровцам, которые и привезли его сюда строить концентрационный лагерь. Их было восемь тысяч испанцев — первых узников и строителей Маутхаузена. Семь тысяч уже никогда не покинули лагерь, а Мануэль вернулся сюда добровольно, когда первая смотрительница музея, тоже бывшая заключенная, не могла по старости выполнять свою работу.

— Кто-нибудь же должен тут работать, — заключил смотритель, — уж лучше пусть это делает человек, который хорошо знает, что здесь произошло.

Он сделал паузу и тихо добавил:

— Мне ведь все равно некуда ехать...

Но я понял, что ему не только закрыт путь на родину. Я понял, что Маутхаузен вошел в его жизнь, что здесь его дом, его мир, тот «концентрационный мир», который даже тогда, когда лагерь еще действовал, тесно соприкасался с остальным, будничным миром, они порой даже незаметно переходили друг в друга. Я понял, что этот человек привык к своим воспоминаниям, к своим мертвым товарищам, которые тоже остались здесь, в лагере: они ведь никуда не ушли, в лагере развеян их пепел, в лагере витают их призраки, на стенах лагерных бараков начертаны их имена.

Пока мы разговаривали, Мануэль успел продать входные билеты еще одной группе посетителей, приехавшей автобусом, и несколькими туристам, прибывшим на легковых автомашинах. Среди последних была молодая семья — отец, мать и восьмилетний мальчик, круглолицый мальчик с веселыми глазами; он весело оглядывался, готовый начать восхищаться экспонатами этого музея, как, наверное, восхищался и всеми другими выставками и музеями, которые уже видел во время своей поездки по Австрии.

Я спросил у Мануэля, приезжают ли сюда и бывшие узники. Он ответил:

— Да, приезжают и лагерники и родственники тех, кто уже не вышел отсюда. Совсем недавно здесь был человек, у которого погибла в Маутхаузене вся семья. Я видел, как он входил в лагерь, и видел, как его выводили под руки обратно...

Мануэль помолчал, потом неожиданно усмехнулся и добавил:

— Конечно, бывшие палачи не так чувствительны — они выходят отсюда без головокружений.

— Что? — спросил я, думая, что неверно его понял. — Кто? — воскликнул я. — О ком вы говорите?

— О бывших эсэсовцах, — спокойно сказал смотритель. — В прошлом году сюда приходил бывший начальник крематория.

И смотритель Маутхаузена рассказал мне историю, на первый взгляд фантастическую, но, в сущности, тоже банальную и вполне типичную для нашего времени. Он рассказал о том, как в ясный летний день на пороге комнаты, где мы сейчас стоим, возник человек, уже немолодой, толстый и, видимо, богатый, в элегантном фланелевом костюме и сияющей белой рубашке, человек, от которого исходили запахи дорогих духов, хорошего нива и самодовольное благополучие. С любопытством оглядываясь, человек этот уже хотел было спросить входной билет, но когда он встретился взглядом со смотрителем, на лице его изобразилось замешательство: он узнал Мануэля и Мануэль узнал его. Несколько мгновений они простояли друг перед другом — бывший начальник крематория Маутхаузена эсэсовец Мартин Ротт и бывший заключенный, один из тех немногих заключенных, который лишь благодаря длинной цепи счастливых случайностей не попал в цепь этого эсэсовца и не подвергся про-

мышленной обработке, состоящей из использования всех отходов человеческого тела, которые могли пригодиться третьему рейху. Потом бывший начальник крематория молча повернулся и вышел из комнаты.

— Как? И это все? — спросил я, не поверив. — Разве он совсем не боится ответственности?

— Ответственности? — удивленно переспросил Мануэль.

И он объяснил мне, почему Мартин Ротт мог вполне разрешить себе посетить Маутхаузен в качестве туриста. В сорок пятом американцы, потрясенные всем, что они здесь увидели, объявили розыски начальников «кацет», в том числе и Мартина Ротта, за поимку которого даже была назначена награда. Если бы его арестовали тогда, возможно, что он не избежал бы казни. Но разыскали его значительно позднее, когда союзники уже не торопились пользоваться петлей и правосудие начало переходить в руки немецких судей, среди которых было немало людей, считающих, что пора забыть прошлое. Вдобавок бывший начальник крематория доказывал на суде, что лично он никого не убивал, он только обрбатывал трупы убитых. Он был всего-навсего чиновником, разумеется аккуратным и добросовестным, который лишь выполнял приказы начальников. А когда выяснилось, что в последний месяц своей службы он предусмотрительно спас двух евреев от «специальной обработки», судьи посчитали его чуть ли не героем Сопровитвления и отпустили с миром. С тех пор его уже больше не тревожили, он открыл пивную, нагулял жиру, стал богатым человеком и может себе позволить экскурсию в Маутхаузен из ФРГ — чтобы подышать воздухом бывшей «кацет», вспомнить золотые дни своей службы у Гитлера.

Пока я слушал рассказ Мануэля, еще несколько человек приобрели входные билеты и ушли осматривать лагерь. А я все стоял у входа и смотрел на испанца, на его тронутые сединой волосы, на глубокие морщины в углах рта, на его темные и печальные глаза, стоял и слушал, как он рассказывает свою историю, безумную, жестокую, но вполне банальную историю — выражение одной из типичных, банальных черт нашего времени.

И я вспомнил множество других аналогичных историй, о которых читал и слышал за все послевоенные годы. Я вспомнил, что Эйхман на своем процессе совершенно спокойно подтвердил данные обвинения в том, что он организовал отправку в газовые камеры миллионов людей, но с возмущением отрицал, будто он своими руками однажды забил до смерти еврейского мальчика. Эйхман считал себя «нормальным», «порядочным» и «честным» человеком, который лишь выполнял свой «долг» и даже, как он выразился, «следовал всю жизнь моральным принципам Канта». Когда ошеломленные судьи спросили, что он под этим подразумевает, Эйхман дал приблизительное, но, в сущности, верное определение категорического императива и заявил, что принципы его личных действий всегда соответствовали принципам всеобщего закона, управляющего обществом.

Мы все знаем, как ужасны и многочисленны преступления, совершенные в середине нашего века.

Совсем недавно создан новый международный комитет по расследованию новых преступлений, которые совершаются уже в наши дни во Вьетнаме.

Но преступники двадцатого века кажутся на первый взгляд совсем непохожими на вульгарных убийц. Те немногие из них, кто все же попал на скамью подсудимых, с честью прошли психиатрическую экспертизу. Никто не был признан сумасшедшим, садистом, морфинистом или спив-

шимся до душевной болезни. Убийцы двадцатого века часто с гордостью указывают на то, что они совершали свои преступления не по личной инициативе. И что они убивали даже не ради золота, не ради обжорства или разврата. «По долгу службы», или «бефельснотт», как говорят немцы. «Закон», «приказ», «инструкция» — вот те ужасающие своей банальностью слова, которые сопровождали все массовые преступления нашего времени. Конечно же, эти слова не новы. Убийцы двадцатого века изобрели только газовые камеры, а «долгом службы» мог бы оправдаться еще Понтий Пилат.

Вспомним, с какой ясностью и мудрой простотой выразил это Толстой в «Воскресении», когда Нехлюдов ищет виновных в смерти арестантов, которых повели в страшную жару из тюрьмы на станцию, и приходит к выводу, что и тюремные смотрители, и городовые, и конвойные, конечно, не считают себя виноватыми, они только выполняли свои обязанности — словом, никто не виноват, а люди убиты, и убиты все-таки этими самыми невиноватыми...

Да, не Эйхман первый изобрел «категорический императив», который позволял ему спокойно организовывать отправку сотен тысяч людей на их собственные похороны. Нет ничего нового и удивительного в том, что он считал себя «честным» человеком и что свой «долг» (убивать) он выполнял с завидным рвением и без всяких компромиссов. Любопытно, что на суде Эйхман признал, что он все же дважды поддался слабости: оказал услугу одному кузену-«полуеврею», а потом, по ходатайству дяди, и одной еврейской чете. Эти «нарушения закона» смущали его до сих пор, хотя он в свое время уже признался начальству в своих «проступках». Добросовестное выполнение «законов», «решений» и «инструкций» привело в двадцатом веке к ужасающему количеству жертв. И появилась даже некая теория «банальности зла», которая считает все это естественным, неизбежным, неотвратимым. В силу этой теории среди бывших и, возможно, будущих жертв распространяется мнение о том, что так оно, собственно, и должно быть, потому что таков человек!

И, все еще стоя у ворот Маутхаузена и тревожно глядя на смотрителя, я вспомнил, что совсем недавно мне довелось читать в одном французском журнале статью, озаглавленную «Кто из нас не Эйхман?». В ней говорится, что большинство людей всегда мыслят стереотипно — таков уж человек, что они не способны думать и понять друг друга — таков человек, что они умирают и заставляют умирать других по противоположным, но, в сущности, одинаковым причинам — таков человек. И что Эйхман был убийцей, который не понимал, что делает, что, в сущности, он тоже был «на свой манер евреем» и умер, не понимая, за что его казнят.

Но стоило ли в таком случае судить Эйхмана? И надо ли возмущаться тем, что бывший начальник крематория Маутхаузена явился сюда как турист и его никто не задержал, никто не сказал ему худого слова? И почему все еще так печалится вот этот человек, что стоит здесь рядом со мной и продает входные билеты посетителям лагерного музея, почему он так окаменело смотрит в окно, почему у него такие грустные, страдальческие глаза?

...Потом я все же прошел по бывшему лагерю, по пустым, чистым и холодным баракам, где не было ни витрин, заполненных детской обувью, очками, кисточками для бритвы и женскими волосами, как в Освенциме, ни орудий пыток, ни виселиц, а только фотографии, привезенные сюда родственниками и друзьями погибших. Кое-где были устроены специальные стенды, где фотографии казненных висели в обрамлении траурных

лент и венков, но большинство прикрепили к стенам простейшим способом; среди них много простых любительских снимков, взятых из старых семейных альбомов, и совсем маленьких пожелтевших карточек, вырванных из удостоверений личности и старых документов.

Особенно много фотографий висело в крематории — целая стена, увешанная сверху донизу разнообразными человеческими лицами, совсем непохожими на те, которые мы видели в кинофильме «Обыкновенный фашизм», когда с экрана на нас смотрели в упор наголо остриженные люди, — лица-привидения, взятые из фотоархивов Освенцима. Фотографии Маутхаузена совсем другие. Это обыкновенные, мирные фотографии еще не догадывающихся о своей участи людей, очень разные лица — молодые и старые, добрые и умные, красивые и некрасивые, нежные и жесткие, веселые и задумчивые.

Я увидел лица четырех юношей, похожих друг на друга, четвертый еще подросток, почти ребенок, — под ними надпись на французском языке: «Братья Гренье». Мужественное, благородное лицо пожилого человека с глубокими умными глазами: «Профессор, доктор военных наук, Герой Советского Союза Карбышев Дмитрий Михайлович». Добродушное горбоносое лицо мужчины средних лет и веселое лицо мальчика. Прелестное лицо польской девушки под шапкой темных волос. Острое черноглазое лицо итальянца. Античное, классически правильное лицо гречанки. Лица французов. Лица бельгийцев. Лица испанцев. Русские лица — светлоглазые, светловолосые. Лица южан — худые, горбоносые, черноглазые. Еврейские лица — смуглые и светлые, с крючковатыми и прямыми носами; немецкие евреи, польские, венгерские, испанские, африканские евреи. И снова французы, поляки, итальянцы. Сербь, хорваты, баски, австрийцы, грузины, армяне. На этой черной стене представлено все разнообразие национальных типов Восточной и Западной Европы, здесь собраны фотографии людей, родившихся на разных широтах, разговаривавших на разных языках, воспитанных в разных средах, разных обычаях, верованиях и культурах, здесь как бы представлен весь род человеческий. И всех их, столь разных, столь непохожих, постигла одинаковая судьба. В этом каменном заводском помещении их быстро и эффективно превратили в пепел. И уже давно выветрился запах дыма, остались лишь фотографии, привезенные сюда после того, как потухли печи смерти, остался навсегда запах безумия, спокойной беспощадности, отчаянной скорби, которую испытывает каждый, кто бросает взгляд на эту стену, — скорбь, от которой кружится голова и останавливается сердце.

Перед отъездом из Маутхаузена я гулял по дорожкам просторной площади за воротами лагеря, где стоят памятники, воздвигнутые национальными организациями бывших узников фашизма. Памятников много, они построены в разной манере, среди них есть и истинные произведения искусства. Поражает удивительное сочетание: грубые тюремные стены, лагерные вышки, трубы — и благородные, обтесанные камни, мрамор, гранит и литая бронза памятников. По широким, усыпанным песком аллеям бродят люди, которые закончили осмотр лагеря; теперь они рассматривают памятники.

Я смотрел на лица... Хмурые, задумчивые, скованные каким-то единым чувством. Никто не разговаривал, каждый был заключен в какой-то особый род одиночества, только одна пожилая женщина что-то тихо сказала своей соседке, та открыла сумочку и передала первой таблетку — вероятно, от сердечной боли.

Прежде чем уйти, я посмотрел в последний раз на сумрачные стены и мертвые вышки лагеря, на сверкающие вдали памятники и на мужчин

и женщин, покидавших с поникшими головами этот совсем особый музей нашего времени. И снова вспомнив испанца-смотрителя — этого смуглого согнутого человека, как он стоит в своей комнате, у ворот, и отрыгает входные билеты, спокойный и тихий, непримиренный и непримиримый, — я вдруг ясно ощутил то, что смутно чувствовал все эти часы; казалось, это чувство витало здесь надо всем, оно пронизывало каждого, кто попадал в это ужасное место, с ним он и уходил отсюда... Чувство чего? Печали, отчаяния, страха? Да, и это. Но прежде всего чувство непримиренности с тем, что здесь произошло.

Может быть, не менее половины нынешних посетителей Маутхаузена родилось уже после ликвидации лагеря. В современной Европе нет больше таких лагерей. И все-таки сегодня, столько лет спустя после уничтожения «концентрационного мира», его безумие, жестокость и страх живут в наших мыслях и чувствах, все еще разматываются в наших снах. Нет, я не верю в то, что «каждый носит в себе Эйхмана!» Я верю, что люди, огромное большинство людей, даже тех, кто родился уже после закрытия лагерей, не п р и м и р и л и с ь с ними и никогда не примирятся. Вот почему прошлое никогда еще так не давило на современность, как в наши дни.

А последнее, что я увидел, покидая Маутхаузен, были снова розы. Когда автобус выехал на шоссе и повернул на запад, в последнем дворике, полном зелени и солнца, которым заканчивалась улица городка, стоял высокий розовый куст, осыпанный ярко-красными светящимися цветами.

СЛУГИ И ХОЗЯЕВА ИСКУССТВА

В Фестивальном доме Зальцбурга нас встретил служитель — коротконогий плечистый старик с белыми усами и красным лицом, одетый в зеленую куртку с золотыми пуговицами. Он сопровождал нас по всем помещениям, а когда мы осматривали Летний театр — бывшую школу верховой езды, в которой Макс Рейнгард открыл свою сцену, поручив архитектору Холцмейстеру прорубить в скале, окружающей бывший манеж, ложи и создав оригинальное театральное помещение под открытым небом, — наш гид захотел продемонстрировать, какая тут замечательная акустика; он вдруг обернулся к старому служителю и сказал:

— Герр Карл, можете начинать!

И тут мы увидели, что старик в зеленой куртке стоит на скамье в самом центре амфитеатра и, по-видимому, уже давно ждет сигнала. И вот сигнал был подан, и Карл вдруг преобразился, точно по волшебству. Мы увидели, как его голова, маленькая лысая голова, покоящаяся на мясистой шее, выпрямилась, как загорелись его глаза, в них появилась и гордость и страсть, и мы услышали голос старика, густой и сильный, хотя уже и несколько приглушенный старостью. Никто из нас больше не смотрел на «дерево Фауста», посаженное на открытой сцене, и на другие приметы этого удивительного театра, созданного там, где когда-то скакали рысаки и звенели шпорами лихие наездники, — все смотрели на старика, который пел арию из «Фауста». Когда он кончил, все зааплодировали, и старик отвесил нам скромный артистический поклон. Потом мы осматривали зал нового театра, и все повторилось. Карл стоял один на открытой сцене и пел. Было видно, что такие минуты — главное в его жизни. Он волновался, на висках вздулись склеротические жилы, на лбу выступил пот, и он его не вытирал, он был всецело поглощен пением, он упивался возможностью стоять на сцене.

Карл служит в «Фестхаузе» с двадцать восьмого года, почти сорок лет подряд. Он помнит всех знаменитых музыкантов, которые здесь выступали, и может перечислить постановки за сорок лет. Он помнит Рихарда Штрауса и Тосканини, Бруно Вальтера и Деменца Кроуса. Он может и теперь рассказать о постановке «Фауста» в тридцать третьем году, «Фиделио» в тридцать четвертом, «Дон Джованио» в тридцать втором.

— А что вы еще помните? — рассеянно спросил я, когда он вдруг умолк.

— А еще я помню Гитлера, — сказал Карл.

«Того самого?» — чуть было не спросил я, ошеломленный, но вовремя удержался. А Карл продолжал рассказывать:

— Это было после аншлюса, в тридцать восьмом. Гитлер обошел «Фестхауз» в сопровождении Геббельса и других бонз. Он шел быстро, остальные еле за ним попевали. Он шел хмурясь и все время давал указания. В большом театральном зале он еще больше нахмурился: «Что это? Почему так бедно, голо? Переделать!» И он тут же распорядился украсить стены лепкой, гипса не жалеть. Не пожалели, конечно, — четыре тонны гипса было израсходовано на украшение стен, и они погубили не только вид зала, но и его акустику. После войны пришлось все это соскрести — адская работа... Увидев фрески Файстауэра, Гитлер снова поморщился: «А это что? Зачем? Замазать!» И замазали бы, если б не итальянский художник Альберто Сусад, живший тогда в Зальцбурге. Он ратобал сорок дней, снял фрески со стен, а после войны он же их и восстановил, и вот они снова здесь, на прежнем месте, где вы их уже видели...

— Да, видели... — подтвердил я. Но тут же подумал: а собственно, почему Гитлер приказал их уничтожить? Я, конечно, не знаток живописи, но и у меня имеются глаза, и я тоже повидал на своем веку немало выставок и картинных галерей — в фресках Файстауэра трудно обнаружить экспрессионизм и все то, что гитлеровцы объявили выродившимся искусством. В этих зверях, людях и птицах, в этих сценах, навеянных библейскими мотивами, в женщинах, играющих на лютнях, мне даже почудился знакомый наивный мотив «назад к природе», который так часто звучал в нацистских рассуждениях о живописи. В чем же тут дело?

Я поделился своими сомнениями с зальцбургским искусствоведом, который сопровождал нас во время посещения Фестивального дома, и он сардонически усмехнулся:

— Ну, конечно же, Файстауэр не модернист. Участник «Венской сецессии» — объединения художников без евреев, — фанатичный враг экспрессионизма, автор книги, в которой можно найти обоснование позднейшего лозунга «кровь и почва», он был фактически одним из идейных предтеч гитлеризма в искусстве.

— Почему же он пал жертвой Гитлера?

— Вот это уже другой вопрос. Файстауэр не одинок. Слыхали вы о судьбе художника Эмиля Нольде, который вступил в нацистскую партию в одно время с Гитлером, а после основания третьей империи был объявлен декадентом и изгнан из прусской Академии живописи? Все те, кого считали борцами за новое националистическое немецкое искусство — Нольде, Отто Мюллер, Хекелл, Пехштайн, Франц Марк, скульпторы Колбе, Барлах и многие другие, яростно выступавшие против модернизма, как раз они и подверглись чистке, к ним первым применили слово «культурбольшевизм», и многие из них попали на выставку «выродившегося искусства», которую нацисты организовали в Мюнхене в тридцать седьмом году, а потом возили по всей Германии. Почему

так случилось? Очевидно, потому, что существует некая ирония истории...

В тот же день я долго гулял по городу. В Зальцбурге природа — великолепный фон для памятников искусства. Небо и зеленые холмы, гора Капуцинов, стены средневековой крепости, башни, фонтаны, колокольни — все говорит о чувстве меры, о красоте. В тесных улочках старого города я увидел фасад с золотой надписью: «Дом, где родился Моцарт». Потом я видел площадь Моцарта, квартиру Моцарта, статую и музей Моцарта. И на набережной быстрой, кипящей водоворотами речки Зальцах каждое здание — художественный памятник. Вот ратуша с каменными кружевами пятнадцатого века. По ту сторону реки — церковь Капуцинов четырнадцатого века. Потом церковь святого Себастьяна, евангелическая церковь, замок Мирабел с чудесным старинным парком.

Под вечер я зашел в картинную галерею и увидел там полотна Оскара Кокошки. Их было немного, но в киоске продавали альбомы с репродукциями его картин, созданных за очень длинную рабочую жизнь. Я полистал альбом, увидел «Портрет выродившегося художника», и на меня снова нахлынули воспоминания, вызванные впервые рассказом старого служителя из «Фестхауза». Эту картину Кокошка нарисовал в те годы, когда его объявили чуть ли не главным врагом нацистской живописи. «Автопортреты» Кокошки вообще не давали покоя гитлеровцам. Альфред Розенберг упоминал о них как о примере «духовного сифилиса» еще в «Мифе XX столетия».

Я подумал: Альфред Розенберг закончил свою жизнь на виселице. Кокошка пережил третий рейх, его полотна по-прежнему экспонируются в крупнейших музеях мира. А почему, собственно, так волновался Розенберг из-за картин Кокошки? Еще можно понять Гитлера, который сам мнил себя художником. Известно, что, провалившись на вступительных экзаменах в венскую Академию живописи, он не мог этого ни забыть, ни простить всю жизнь. «Если бы Германия не была побеждена в 1918 году, я был бы не политиком, а великим художником вроде Микеланджело», — скромно говорил Гитлер. Даже накануне войны он уверял английского посла Гендерсона, что считает себя по призванию художником и после решения польского вопроса намерен «посвятить себя искусству». Все это без тени иронии, со свойственной фюреру маниакальной убежденностью. Но почему так интересовался живописью Розенберг? Почему считали себя знатоками искусства Геринг, Гиммлер и многие другие невежды, облаченные в попугайские мундиры или в обыкновенные куртки, обвешанные блестящей мишурой?

Вечером, бродя по старинным улочкам Зальцбурга и глядя на потемневшие от времени фасады прошлых веков, где в освещенных окнах магазинов сверкали изделия нейлонового века, я набрел на книжную лавку. Среди завалов книг с абстракционистскими обложками, прикрывающими вполне конкретные страсти нашего времени, я вдруг обнаружил черно-красную книжицу карманного формата с фотообложкой, на которой — радостно улыбающийся Гиммлер, преполюющийся Гитлеру какую-то картину в пышной раме. Это оказался сборник документов на тему: «Живопись в третьей империи» — речи Гитлера, цитаты из книг гитлеровских критиков, выдержки из статей гитлеровской печати.

Полистав книгу, я сразу же натолкнулся на документ, относящийся к личности и творчеству Оскара Кокошки: письмо на бланке «Эксперта по расовым исследованиям при Рейхсминистерстве Внутренних Дел. Берлин НВ 40, 28.7.1933. Кенигплац, 6». Адресат: «Президиум Прусской Академии Искусств. Берлин В 8, Паризерплац, 4». «В ответ на ваш за-

прос от 16 июня с. г. сообщаю, что господин профессор Оскар Кокошка родился в Похларне на Дунае 1.3.1886 г. и приписан к католической церкви. Его родителями были — коммивояжер Густав Йозеф Кокошка и Романа, урожденная Лойдл. Его дедушки и бабушки были: пражский золоторабочий Венцел Кокошка и Терезия, урожденная Шюц; лесовод Игнац Лойдл и Барбара, урожденная Пухбауэр, оба евангелического вероисповедания. Был ли дедушка Венцел Кокошка еврейского происхождения — можно установить только на месте его рождения. Если вы желаете дополнительного расследования, вам необходимо перевести на мой счет 100 марок на расходы, так как новое расследование можно произвести только на месте. Стоимость расследования, произведенного до сих пор, — 11, 28 марки, прошу перевести на мой почтовый счет. Эксперт по расовым расследованиям при Рейхсминистерстве Внутренних Дел». Подпись неразборчива. Печать.

Я привел документ полностью. Комментарии, как говорится, излишни. В письме «расового эксперта» простым канцелярским языком выражена и теоретическая и практическая основа нацистского подхода к явлениям искусства. Она ничем не отличалась от подхода к людям. Поскольку людей, принадлежащих к «низшим расам», можно уничтожать во имя интересов «высшей расы», то стоит ли церемониться с полотнами какого-нибудь Кокошки, у которого был дедушка с неясным происхождением?

«Фюрер всегда прав» — первый закон фашистского государства. Уже тем самым в таком государстве нет места для мысли и чувств, которые чужды самому фюреру. Гитлер был неудавшимся художником — случайный факт, уже сам по себе предопределивший судьбу многих произведений искусства, попавшихся ему на глаза. Это не было шуткой, когда художник времен гитлеровского рейха говорил своему соотечественнику, музыканту: «Вы можете считать себя счастливым — фюрер в молодости не хотел стать пианистом». Ни один гитлеровский гаулейтер, конечно, понятия не имел об истории живописи и никогда не смог бы отличить полотно Пикассо от картины Кандинского, Матисса от Шагала и всех их вместе от Файстауэра или Эмиля Нольде. А право решать, что хорошо и что плохо, было у каждого чиновника и даже вменялось ему в обязанность. Нужно ли удивляться, что в третьем рейхе развелось великое множество расторопных ремесленников, готовых раскрашивать свои полотна по желанию любого оберштурмбанфюрера? И что в почете оказались услужливые, равнодушные ко всему на свете, кроме собственного благополучия, художники-официанты, готовые принять заказ на какое угодно блюдо? И что главным в искусстве были не «идеи» и даже не демагогические лозунги, а грубая лесть, пресмыкательство перед чиновниками, имеющими власть, борьба за государственные заказы, за деньги и почет?

На первой большой художественной выставке третьего рейха, которая была организована в Мюнхене в тридцать седьмом году и на которой выступал с речью Гитлер, было показано пятнадцать тысяч работ. В проспекте подчеркивалось, что на этой выставке «нет места для экспериментов», что на ней «выставлены только те картины, которые не оставляют вопросов о том, что хотел сказать художник». Какие же это были картины? «Первое место занимают портреты руководящих личностей национал-социалистского государства и партии, а также символические и аллегорические сцены из истории национал-социализма». Гитлер в образе рыцаря, облаченного в сияющие белые доспехи; Функ в античной тоге; Гиммлер с разящим мечом в руках; скульптурные композиции Торака, одного из самых преуспевающих скульпторов того времени, каждая фигура величиной с динозавра — мускулистые мужи с набухшими

бицепсами и бездумными, но классически правильными лицами. А полотно Нольде и других старых национал-социалистов оказались не в «Доме немецкого искусства», а в нескольких шагах от него — на Галериштра-се, где в те же дни открылась выставка «выродившегося искусства». Нольде был выставлен там рядом с Оскаром Кокошкой, Георгом Гроссом и Кацем, который попал сюда исключительно из-за своей фамилии.

Есть ли в этом ирония истории? — как говорил зальцбургский искусствовед. Может быть... Но уж во всяком случае это напоминает тривиальную истину о том, что палка не нуждается ни в каких идеях, она может великолепно обойтись и без всяких идей: в ней самой и заключена вся идея...

Я возвращался в гостиницу по гулким улицам ночного Зальцбурга, разглядывая в пути разностильные фасады домов, таинственно мерцающие при молочном свете дуговых ламп, патетические башни, стройные шпили и все то пестрое нагромождение камней разных эпох, из которого и состоит город. Каждый встреченный в пути памятник старины выражал по-своему человеческий труд, человеческие страдания и мечты, в каждом зальцбургском доме были и радость и печаль, опыт и размышления, талант и вдохновение уже давно умерших поколений. Один немецкий писатель когда-то уверял, что в Зальцбурге «видишь симфонию», другой писал, что город этот похож на памятник самому себе... Я думал о другом — о судьбе фресок Файстауэра, о старом слугителе Фестивального дома Карле, о картинах Кокошки и о том мрачном времени, когда в этом прекрасном городе была открыта выставка, посвященная войскам Гимmlера: «Немецкие художники и СС» — с целью вызвать поток добровольцев в уже изрядно потрепанные гимmlеровские войска.

Искусство изменчиво, как сама жизнь, и движется вперед сложными путями. Но для возникновения настоящего искусства необходимы несконванное чувство любви к правде, отвращение к жестокости и насилию, жажда радостного и свободного единения людей.

НОВОЕ И СТАРОЕ

Седой человек с утонченно интеллигентными чертами лица, изысканно одетый, спокойный и, видимо, вполне благополучный в жизни, сказал мне за чашкой кофе в «эспрессо» «Брие», что рядом с венским отелем «Бристоль»:

— Вряд ли вам удастся увидеть самую интересную достопримечательность Австрии.

— А что вы считаете самым интересным? — спросил я. — Зальцбург?

— Нет...

— Перевал Грос-Глокнер?

— Нет, нет, — сказал он, улыбаясь. — И не пытайтесь отгадать.

— Могилу императора Максимилиана? — упорствовал я.

— Нет... Все, что вы перечислили, вы увидите. Это может увидеть каждый приезжий. А то, о чем я говорю, не имеет ровно никакого отношения к туристским достопримечательностям. То, о чем я думаю, нельзя заказать в ресторане, как венский шницель или венское молодое вино «хойригер». И вы не сможете это запечатлеть на пленке.

— Что же это такое? — спросил я.

— Процесс рождения новой нации, — ответил мой собеседник.

- Какой нации? — не понял я.
- Австрийской, — сказал он, спокойно улыбаясь.
- А разве до сих пор ее не существовало?
- Да, да, — подтвердил он. — Но это сложный вопрос...

И он рассказал мне, что в современной Австрии есть люди, которые до сих пор отрицают само понятие австрийской нации. Вокруг этого вопроса ведется напряженная, иногда скрытая, а иногда откровенная политическая и идейная борьба. И он добавил с горечью, что в нынешней Австрии есть политическая партия, представленная шестью депутатами в парламенте, открыто провозглашающая себя сторонницей пангерманского национализма.

Потом мой собеседник сказал, что интересные статьи о проблеме австрийской нации я мог бы прочесть в одном венском еженедельнике, который принято считать католическим.

— Вы, кажется, удивлены?

Да, признаться, я был удивлен. Ведь я знал, что, хотя по виду можно было принять моего собеседника за благополучного буржуа, на самом деле он был коммунистом, прожившим нелегкую жизнь. В молодости участвовал в испанской войне, в годы второй мировой войны попал в Маутхаузен. Его солидарность с католическим журналом была мне не совсем понятной. Но он заверил меня, что религиозная ограниченность свойственна не всей католической прессе. Иногда в католических газетах появляются статьи, под которыми подписался бы любой здравомыслящий человек, далекий от всякой религии.

— Вам, конечно, известно, — сказал мой собеседник, — что «Ватикан II» обсуждал самые разнообразные мирские проблемы, в том числе даже вопрос о противозачаточной пилуле. Если вам интересно посмотреть на новый тип католика, посетите одну из католических редакций.

— Хорошо. Я так и сделаю...

И я отправился в редакцию, указанную моим собеседником, где внизу, у входа, в двух шагах от лифта, стояло большое распятие из черного лакированного дерева, на котором умирал Христос в традиционной позе мученика, углубленного в свои страдания, а наверху, в небольшом, но вполне современном редакционном кабинете среди досье, пресс-бюллетеней и типографских гранок сидел полнотелый человек лет сорока, с седеющей головой, в скромном сером костюме — редактор венского еженедельника.

Мы познакомились, и редактор сказал, что готов ответить на все мои вопросы. Казалось, он совсем не удивился моему интересу к его журналу, так же как его не смущал и тот факт, что я никого, кроме самого себя, не представляю.

— Рад вашему посещению, — сказал он, — ведь нас иногда упрекают, что мы поддерживаем контакты только с Западом, но мне кажется, что это происходит не всегда по нашей вине. — Он схватил карандаш и начал что-то быстро чертить на листке блокнота. — Посмотрите — вот сосуд с двумя выходами, скажем, на восток и запад. Но если один из них закрыт, то по законам физики вода обязательно устремится в другую сторону. Не так ли?..

Началась беседа. Я сказал редактору, что меня интересует вопрос об австрийском самосознании: думает ли он, что в Австрии действительно происходит рождение новой нации? Он ответил, улыбаясь, что, когда два человека говорят сегодня даже такие простые слова, как «мир» или «демократия», нельзя все же быть уверенным, что они подразумевают одно и то же. В еще большей степени это относится к слову «нация», и особенно «австрийская нация». И он показал мне старые но-

мера журнала, в которых напечатана серия статей под общим заголовком «Народ, государство, нация», изложение лекций, прочитанных редактором на эту тему. В них говорилось, что хотя граф Штадион еще в 1807 году заявил: «Мы конституировались как нация», — в сущности, национальное самосознание народа окончательно укрепилось только после 1945 года. Первая Австрийская республика была скорее «залом ожидания»: ожидания присоединения к веймарской Германии, даже Отто Бауэр мечтал о единой германской республике; ожидания восстановления Дунайской монархии или Дунайской федерации. Никто не верил тогда, что может существовать независимое австрийское государство с населением в семь миллионов человек. Только в 1938 году, после аншлюса, эти настроения начали меняться. Захватив Австрию, гитлеровцы повели себя как завоеватели, пытаясь все переименовать, все нивелировать, что, естественно, вызвало всеобщее недовольство. Таким образом, именно Гитлер стал как бы «вдохновителем» австрийской национальной идеи на новом этапе. Зло родило и добро. Парадокс? Но ведь история полна парадоксов.

Потом редактор сказал мне, что двадцать с лишним лет, прошедших после освобождения от гитлеризма, в том числе тринадцать лет независимости на основе государственного договора, не изменили всех граждан Австрии. До сих пор есть люди, которые отрицают само понятие «австрийская нация». После карантина, наложенного на них историей, они снова пробуют свои силы. И вновь раздаются голоса, уверяющие, что «австрийская нация» не более как коммунистическая выдумка. Именно с этого утверждения начинается новейшая стратегическая операция пангерманского национализма. Но редактор тут же посоветовал мне поговорить на эту тему с молодыми австрийцами — они уже не задумываются над такими вопросами. Они не испытали нацистскую германизацию, которая пыталась стереть психологические границы между Пруссией, Баварией и Австрией, и чувствуют себя австрийцами с первых школьных лет. Беда лишь в том, что среди молодежи слишком развиты настроения аполитичности. Практически нет молодых людей, которые не хотели бы независимости и нейтралитета Австрии, но они очень мало интересуются политикой и мало знают — если обстоятельства изменятся, они могут стать легкой добычей демагогов. Среди молодых есть активно верующие люди. Любопытно, что они встречаются чаще в среде утонченной, высокообразованной интеллигенции, например среди молодых физиков. Это тоже парадокс времени.

Затем редактор по моей просьбе рассказал кое-что о себе. Он сказал, что его судьба сложилась благоприятно, никто из его семьи не погиб в годы войны и гитлеризма, но из шести товарищей, с которыми он дружил в школе, троих уже нет. Особенно печальной была участь одного из шести, очень одаренного музыканта, который в семнадцать лет уже сочинял музыку. Из любви к ней он совершил трагическую ошибку — пошел добровольно в СС, так как ему обещали, что под эгидой этой весильной организации он сможет продолжать учиться музыке. Конечно же, она его обманули и вместо консерватории отправили в оккупационные войска во Францию. Но эсэсовца они все-таки из него не сделали: он вскоре покончил самоубийством.

Когда разговор снова зашел о политических делах Австрии, редактор неожиданно сказал, что в Германии я бы получил более точные ответы на все свои вопросы. Он сказал, что немцы основательнее австрийцев, они во всем основательны, в хорошем и в плохом. Германия продолжает и теперь оказывать большое влияние на австрийскую жизнь — факт, мимо которого пройти нельзя. Австрийский писатель, например, чтобы получить доступ к массовому читателю, должен найти

немецкого издателя. А немецкий писатель, естественно, легче доходит до австрийского читателя, как и немецкие газеты, немецкие журналы. Это еще не беда. Хуже, когда вместе с информацией некоторые немецкие газеты обрушивают на австрийцев весь свой сор — воинственные речи битых генералов, отчеты о деятельности солдатских землячеств...

Редактор говорил мягко и улыбаясь. Это не была улыбка благодушного человека, рассуждающего о парадоксах окружающего мира. Что-то энергичное, волевое было в лице этого милого, широко образованного человека, знатока истории, любителя литературы, неожиданно напомнившего мне одно из старых определений католической церкви — «воинствующая», хотя он совсем не был похож на фанатика. Одержимость и желание убеждать людей сочетались у моего собеседника с высокой культурой, с искренней попыткой не только понять, но и считаться с другой точкой зрения на вещи. Мне не приходилось прежде встречаться с таким католиком, он был для меня человеком новым и необычным. Встретив его где-нибудь в другом месте, я никогда бы не догадался, что это редактор католического журнала. Он был скорее похож на ученого — на одного из тех высокообразованных интеллигентов, которые, занимаясь самыми последними открытиями науки, сочетают образованность новейшего века с суевериями и идейной беспомощностью давно прошедших времен.

Когда зашел разговор о религии, редактор дал мне понять, что не следует оценивать церковь по старым представлениям, — очень многое изменилось в современном мире. Меняется не только внешний вид храмов божьих... Видел ли я современную церковную архитектуру?

— Нет, я ее не видел.

— Дело, разумеется, не только в архитектуре. Дело в том, что и мир меняется. И никогда еще эти изменения не носили столь быстрого характера. Темп развития мира убыстрился, как никогда...

Во время своей дальнейшей поездки по Австрии я несколько раз вспоминал беседу в католической редакции. Я вспоминал о ней и в Зальцбурге, когда, выйдя из автобуса в предместье Хернау, мы увидели пустырь среди новых, еще не сросшихся домов, а над пустырем — высокую, тонкую, четырехгранную башню, похожую на заводскую трубу, с той лишь разницей, что ее верхняя секция была с одной стороны открыта, обнажая как бы повисшие на ниточке четыре колокола. Это была звонница новой церкви — новейшая индустриальная модификация ажурных колоколен с позолоченными куполами, наивной гордыни старых храмов.

Над заводским фасадом новой церкви не было креста. Войдя внутрь, мы увидели сумрак, ряды скамеек, расположенных, как в театре; полукругом, помост, напоминающий открытую сцену, и за ним огромный, во всю стену, ярко-алый, иссиня-синий витраж. Неожиданно зажглись огни, и вся церковь осветилась белым чистым светом, а витраж засверкал нестерпимым блеском пожара.

Все еще нигде не видно было креста. Не было ни алтаря, ни распятия, блеска риз и воскового света горящих свечей. Не было икон, хоругвей, шелка, червонного золота и серебра. Не чувствовалось ни грустной праздничности, ни спертости и духоты. Голые стены, простор, стерильная чистота — вся церковь казалась отлитой из одной массы. И горели, переливались драматические краски цветного витража: в центре композиции, похожий на космонавта, покинувшего свою капсулу, парил Христос, рядом зачарованно плыл библейский агнец. А над всем этим светился стеклянный волнообразный купол потолка, наводящий мысль на таинственные силовые поля вселенной.

Вдруг в высоте, на галерее, что-то резко заскрежетало и разлилось по церкви звонким, металлическим голосом органа, исполняющего фугу Баха. Музыка сразу же напомнила о стихии чувств. Я слушал, смотрел и думал: что же это такое — все то, что передо мной? Храм нового таинственного культа или все же обыкновенная католическая церковь, предназначенная для богослужений и старых таинств — крещений, причастий, венчаний, похорон? Но где же ее традиционная бутафория, где символы культа, где вековая настороженность католицизма?

Потом мы спустились вниз, в подвал. Там была вторая церковь, поменьше, в которой я уже начал кое-что узнавать. Вот эти гладко полированные телефонные кабины, по-видимому, не что иное, как исповедальни; этот странный тяжелый саркофаг, вероятно, купель; эти черно-белые фрески по стенам, похожие на киноленту, в которой чередуются общие и крупные планы, изображают крестный ход: холеные руки с тонкими пальцами — руки Понтия Пилата, старуха с потухшим взором, еле тащающаяся опухшие ноги, — Мария. Да, тут уже чувствуется привычная церковная атмосфера, подстегивающая грусть и раскаяние. И уже привычно, буднично звучал глухой голос гида, перечисляющий даты и имена: фрески испанского художника Вагера Турчиоса, 1962 год, витражи профессора Маргарит Бильдер и профессора Бекмана, архитектор профессор Роберт Кремройтер, 1961 год...

Мы снова поднялись наверх. И снова звонко и плавно текли гармоничные звуки органа, и в высоте, среди космического пожара, умирал космонавт с лицом Христа. Глядя на все это, я подумал: верующие, построившие эту церковь, не побоялись нового, их не шокирует необычное. Если жизнь создала новую архитектуру и новый стиль в искусстве, они не отмахиваются от него, а берут на свое вооружение. Какая разница, в какой манере будет нарисован Христос? Важно, чтобы художник подумал именно о нем. Новое страшно для тех, кто не верит в свои силы, а в католической церкви эта вера, по-видимому, еще не умерла.

Спустя несколько недель после посещения новой церкви в Хернау я прочитал речь папы Павла VI, произнесенную в Сикстинской капелле перед собравшимися там художниками. Папа сказал: «Вы нам нужны для укрепления религии, а дружба между церковью и вами нарушена. Вы нас покинули и отошли далеко, чтобы отражать и выражать другие чувства. Мы признаем, что в этом виновата и церковь, ибо мы навязывали вам имитации старых вещей, требовали от вас приспособления к старому стилю и старым традициям. Мы пытались накрыть вас старым свинцовым плащом, и за это мы просим у вас прощения». И папа призвал художников вернуться в лоно церкви и служить ей своим искусством, обещая, что отцы церкви не будут вмешиваться в технику, стиль и способы выражения — это дело самих художников, пусть они экспериментируют, как хотят.

Римский папа, выпрашивающий прощение у художников! Я снова вспомнил беседу с редактором венского еженедельника... Но я понял всю относительность этих перемен еще тогда, в Зальцбурге, на другой же день после посещения новой церкви в Хернау, когда я заходил в другие церкви города и вскоре натолкнулся на другой лик католицизма, который не изменился за века.

Случилось это в воскресенье утром. Церковь была старая, с толстыми каменными колоннами и высокими сумрачными сводами. Войдя, я сразу понял, что месса уже кончилась. На длинных деревянных скамейках сидели прихожане и слушали воскресную проповедь. Головы всех сидящих были повернуты к кафедре, на которой стоял священник. Он был в белой рясе, без ризы, плотный старик в больших роговых оч-

ках. Его металлический голос отдавался глухим эхом в каменных закоулках собора. Я остановился у какой-то потемневшей, словно вымазанной сажей статуи, прислушался к словам проповедника и вдруг почувствовал тревогу. Мне не хотелось верить услышанному, но голос человека, стоящего на кафедре, стал возвышаться, расти, он повторял обороты своей речи, и уже не могло быть никакого сомнения: он обличал племя Израилево! Я оглянулся — всюду горели огоньки, среди них не видно было привидений, но я все же услышал их голоса. Я услышал, что евреи предали не только Новый, но и Старый завет, что в Библии сказано: Авраам говорил им — живите для бога, который грядет, думайте о нем! Но они не жили для бога грядущего, они вообще не жили для бога, не живут они для бога и по сегодняшний день...

Я стал поспешно и наивно вспоминать Библию: он ошибается, он все напутал... Авраам не мог говорить о боге грядущем, Авраам сам разговаривал с богом...

Итак, римский папа благословляет новейший стиль в искусстве, а Вселенский собор католической церкви уже пересмотрел «дело» о распятии Христа и даже как бы снял с евреев традиционное обвинение, которое церковь предъявляла им многие века. Но это не мешает зальцбургскому патеру открывать в Библии новые цитаты для подтверждения старой ненависти. Века католицизма не прошли зря. Разве не служители католической церкви показали самые страшные примеры нетерпимости? Разве первые костры в Европе не соорудили кардиналы, священники и монахи? Без газовых камер и крематориев они сожгли в Испании триста тысяч человек. И римские папы благословляли палачей. И уже в наше время папа Пий XII не обмолвился ни единым словом против тех, кто сжигал людей не на примитивных кострах, а в современных комбинатах смерти, сооруженных в центре Европы, на католической земле. И еще сегодня перед театрами, где идет пьеса Хоххута «Наместник», посвященная этим печальным дням, собираются негодующие толпы католиков, для которых важно не то, что произошло на самом деле, а как это отражено в творении драматурга, которое, по их мнению, должно быть запрещено.

Венский редактор — убежденный антифашист и патриот новой Австрии. Новая церковь в Хернау — торжество света, воздуха и геометрической ясности вместо сумрака, затхлого воздуха и таинственных закоулков старинных соборов. И старый священник-юдофоб из того же Зальцбурга — устойчивость душевного строя и привычек реакционного католицизма...

Осматривая города Австрии, я не заходил больше в церкви и соборы.

СКАЛА НАД ДОРОГОЙ

Приступая к австрийским запискам, я знал, что мне придется заняться и Германией. Если бы мне и хотелось не трогать эту тему, из моей затеи все равно ничего бы не вышло, так как сами австрийцы все время напоминали о своих соседях. И где бы я ни находился в Австрии, я видел следы и приметы, заставляющие думать о Западной Германии.

В первый раз это было в Вене. Я ходил по оживленным улицам, разглядывал лица прохожих и витрины магазинов — все здесь было понятно: вывески, красивые вещи, броские буквы реклам и скромные, еле заметные картонки с ценами. Тревога подкралась неожиданно, когда я остановился у газетного киоска на Ринге, увешанного иллюстрирован-

ными журналами с ослепительными красавицами на обложках. Журналы были разные — французские, немецкие, американские; красавицы все одинаковы. Потом я перевел взгляд на кипы газет, лежащие на прилавке, и в глаза вдруг ударил красный заголовок на немецком языке: «Свободу Рудольфу Гессу!» Немного ниже, уже черными буквами: «Являются ли австрийцы антисемитами?» А среди этих двух неожиданных заголовков — название газеты: «Дейче националь унд зольдатеи цейтунг». Я подумал: неужели та самая? Да, оказалось — та самая: газета с маленьким железным крестом в заголовке и многочисленными свастиками в подтексте. Я знал, что она издается в Мюнхене. Однако номер, который лежал на прилавке венского киоска, в основном был посвящен Австрии. Даже фотография на первой странице была связана с австрийскими делами: человек с мрачным и длинным лицом — доктор Маньяго, политический деятель Тироля.

С тех пор я начал привыкать. К немецким газетам в киосках и немецким книгам. К пивным подвалам, где на кассовых аппаратах висели объявления: «1 нем. марка — 6,30 австр. шиллинга» — и к отрядам западнонемецких туристов, непреклоннодвигающихся по улицам австрийских городов. К дорожным указателям с названиями немецких городов, до которых из Зальцбурга и Инсбрука рукой подать.

Дорога из Зальцбурга в Инсбрук начинается скромно и заманчиво. Шоссе делает несколько плавных витков, возникают зеленые поля, пастбища и округлые линии дальних холмов, поросших сосновым лесом; проезжий смотрит на все это благодушным ленивым взглядом, понимая, что главное будет впереди, когда откроются чудесные виды Тироля, но голос гида вдруг настораживает:

— Обратите внимание на две скалы справа от дороги. Та, что поменьше, находится в Австрии, а бóльшая — это уже Германия. Немецкая граница здесь очень близка, район Берхтесгаден клином врезается в Западную Австрию. Когда Гитлер пришел к власти, нацисты нарисовали на большой скале, которую вы видите, огромную свастику. После войны ее, конечно, соскребли.

Я смотрел на скалу и пытался представить себе, как выглядела на ней свастика, нависшая над Австрией. Да, свастика давно исчезла. Но скала по-прежнему висит над дорогой, слегка порывевшая от старости, массивная, громадная — великан, замахнувшийся на своего маленького, тщедушного соседа...

Я совсем не хотел думать об истории и вспоминать метафоры, которые были актуальны три десятилетия назад. Я просто ехал из Зальцбурга в Инсбрук, и мне уже представлялись чудесные картины Тироля. Но географическая справка гида перевернула все мое настроение. Разве можно сердиться на географию? Она уже не раз переворачивала жизнь и судьбу миллионов людей. И вот она вмешалась в благодушные мысли туриста, едущего в Тироль.

И я понял, что от таких мыслей мне уже не уйти.

Я понял, что сближение или отдаление от Германии, единообразие и разнообразие исторических судеб, общность языка и культуры, привычек и обычаев — при явном несходстве душевного склада и характера немцев и австрийцев — главная проблема Австрии. И чувство тревоги, которое я испытал еще в Вене в тот самый миг, когда впервые увидел в газетном киоске мюнхенскую «Зольдатеи цейтунг», снова вернулось ко мне в Тироле.

Это было довольно-таки странно, потому что Тироль — чудесный край, наполненный миром, покоем и тишиной. Жизнь здесь все еще пропитана запахом молока и сена, несмотря на великолепные автострады

и полчища автомобилей. Дома здесь яркие, первые этажи каменные, второй этаж обязательно деревянный, с балконами или галереей, опоясывающей все здание. Мореное дерево, резные балконы, острые крыши, ярко раскрашенные ставни очень подходят к зеленым полям, к светло-голубым вершинам снеговых гор, к прозрачному и ясному воздуху. Уже одним своим обликом эти дома говорят о том, что в них живет народ пастухов и музыкантов, обладающий природным чувством меры, изящества, поэзии. Когда-то он был и народом воинов. Высокие горы, непроходимые ущелья, узкие дороги, проложенные над обрывами, помогали ему отсиживаться в своем краю, как в крепости. Андреас Гофер в 1809 году остановил войска Наполеона... Техника давно уже победила географию — по снежным вершинам проложены автострады, в базальтовых горах прорыты туннели, через одну из огромных пропастей между Инсбруком и итальянской границей перекинута стальная лента моста «Европа», по которому проносятся ежедневно восемнадцать тысяч машин.

Но что это за черные надписи, мелькающие на аккуратно отбесанных камнях вдоль дорог: «Южный Тироль не хочет быть колонией!.. 1809 — вот пример!..»? Как увязать их с покоем снеговых гор, с молчаливым лесом и идиллическими деревянными домиками, с приветливыми дощечками «Циммер фрай»?

Мы приехали в Инсбрук под вечер, остановились у каменного здания с пестро разукрашенными стенами и позолоченной вывеской «Гостиница Золотого орла» и сразу же почувствовали, что окружены со всех сторон стариной. Под темной аркадой, на которой время отложило бесчисленные пятна сырости и копоти, белели две мраморные доски с именами знаменитых постояльцев, остававшихся в «Золотом орле» за последние три века. В списке короли и маркграфы, кардиналы и епископы, великие поэты и музыканты. Гёте был здесь проездом в Италию, за три года до начала Великой французской революции. Андреас Гофер жил в этом доме, когда уже надо было защищать свободу Тироля от «детей отечества», ставших солдатами императора. Гейне перерабатывал здесь историю в поэзию. Здесь играл Паганини, а полвека спустя сюда приезжал Вагнер... Века проносились над этой мраморной доской, где-то распадались империи, приходили в запустение города, закладывались и вырастали новые государства, а на доске появлялись все новые и новые имена — следы суетной земной славы, которая часто не оставляла после себя никаких иных следов, кроме вот этих, уже никому не известных имен, высеченных в сером мраморе.

А когда я вечером вышел из «Золотого орла» и пошел по каменным улочкам, мимо пестрых фасадов, готических крыш, старинных стен и аркад, я еще глубже погрузился в прошедшее время и уже не находил из него выхода. По старому мосту через реку Инн, по которому проезжала еще карета Гёте, мимо дорожных указателей, показывающих, как и тогда, дорогу на Бреннер, в Италию, на Зальцбург и Мюнхен, в Германию, бесшумно катили автомобили, поблескивая лаковым мраком и мигающими глазами зажженных фар. Под мостом бурлили темные воды реки Инн.

Ощущая ледяные иглы мелкого невидимого дождя и горячее дыхание автомобилей, я осторожно пересек мост. И снова увидел старинные дома с затейливыми цветными узорами и тяжелой лепниной, дома с уступчатыми крышами и готическими лоджиями, дома с окнами-фонарями, похожими на пчелиные соты, дома с башнями, шпилями, бронзовыми фигурами и железными украшениями. И под ними галереи-аркады, образующие как бы единый темный, пропахший сыростью тоннель, по которому можно пройти всю улицу, ни разу не ступив на тротуар. Под

аркадами было пусто и сумрачно—идеальное место ночных прогулок для влюбленных, для привидений; кажется, я бы совсем не удивился, если бы из-под какой-нибудь арки вышел мужчина в средневековых коротких панталонах с буфами или дама в развевающемся плаще и легких сандалиях.

Пробило десять часов. Мелодичный густой звон, по-видимому не изменившийся за века, разлился по каменным улочкам. В глубине галереи-аркады послышалась громкая речь и смех. Но это была английская речь: группа иностранных туристов возвращалась в свой отель. Вскоре я встретил и других прохожих и даже вступил с ними в разговор, но с кем бы я ни говорил, выяснялось, что он тоже приезжий.

Чем дальше я кружил по ночному Инсбруку, тем все глубже спускался на дно времени.

Небо над Инсбруком все еще было затянуто дождевыми тучами, все еще накрапывал мелкий дождь, в свете фонарей казалось, что по древним улочкам ползет молочный дым, когда мне наконец повезло: я встретил двух молодых людей, которые прибыли в этот город не на «Каравелле», не на «Боинге» и даже не автомашиной или автобусом, они оказались местными жителями, возвращающимися домой после вечерних развлечений.

Я спросил:

— А где развлекается местная молодежь?

Они ответили:

— В «Централькеллер». Это недалеко, заверните в первый переулок и смотрите на вывески — примерно пятый дом с правой стороны. Грюс готт!

И я отправился по указанной дороге.

С виду подвал был обыкновенным кабачком с молодым вином, молодым оркестром и молодыми посетителями. Моего соседа звали Антон — худой, темнолицый молодой человек, оказавшийся сотрудником местной газеты. Мы выпили тиролевскую настойку, и после второй рюмки я решил задать первый вопрос:

— Скажите мне по совести, Антон, кроме старины и красивых видов природы, в Тироле есть что-нибудь интересное?

— В Тироле есть все то, что есть всюду, — сказал Антон. — Бедность и богатство, чертополох и благородство, вражда и братство. У нас даже есть и свой «тирольский вопрос». О нем каждый день пишут газеты.

— А в чем он заключается?

— В том же, в чем заключаются и многие другие национальные и территориальные вопросы — наследие прошлых веков плюс лихорадка и нервность нашего века; немного несправедливости и во сто крат больше спекуляции и вражды, преследующих совсем другие цели. Нашим «тирольским вопросом», например, очень заняты немцы...

— Немцы?

— Да... те самые, которых вы знаете не хуже меня. Они ведь озабочены и другими территориальными вопросами послевоенной Европы. Существует, конечно, проблема культурной автономии Южного Тироля, который входит в состав Италии. Но существует «Немецкий культурный фонд для Южного Тироля», и его центр находится в Мюнхене. О целях этого фонда можно судить по нынешнему процессу в Милане — среди обвиняемых есть немцы, пожаловавшие в Южный Тироль из ФРГ. Это они придерживаются мнения, что тирольцы должны стрелять в итальянских карабинеров и взрывать мосты.

— На дорогах вокруг Инсбрука я видел много лозунгов относительно Южного Тироля, — сказал я.

— Да,— сказал Антон.— Лозунги есть. Однако не ищите Тироля в надписях, лозунгах и плакатах. Не ищите его и в ресторанах на Мариа Терезия, где устраиваются «тирольские вечера» и загримированные под тирольских пастухов актеры делают вид, что им очень нравится раскуривать трубки, аукать и топтать по сцене в пестрых штанах, расшитых жакетах и зеленых шляпах, в то время как туристы и туристки, сидящие в зале, притворяются, что им нравится пить плохонькое вино за повышенную плату и смотреть сцены из тирольской жизни, похожие на тривиальную оперетту.

— А где же искать настоящий Тироль?— осторожно спросил я.

— Всюду,— сказал Антон.— Всюду, где идет обыкновенная жизнь... Впрочем, не так-то легко разобраться, где кончаются ритуалы, предназначенные для туристов, и начинается нечто естественное, исконно тирольское. Ведь наши крестьяне уже перестали заниматься обыкновенным земледелием и скотоводством, у них теперь что ни дом — отель.

— Но тогда,— сказал я в замешательстве,— тогда я уже совсем не знаю, где можно увидеть настоящий Тироль.

— Я уже вам сказал: ищите его всюду. Потому что, несмотря на туризм, Тироль сохранил свой характер. Мы торгуем красотой природы, но вы, наверное, уже убедились, что мы ее не портим в угоду торговле. Тирольты веселые и словоохотливые люди. И я надеюсь, что Тироль вам понравится не благодаря, а вопреки успехам туристской индустрии и патриотам, приезжающим сюда на гастроли из Мюнхена... Не выпить ли нам еще по кружке пива?

Мы выпили пива, а молодые люди, сидящие за соседним столиком, заспорили о шансах какой-то спортивной команды. Спорили они с чрезмерной энергией. Они отпускали шутки и проклятия, они были неумолимо веселые — эти потомки Андреаса Гофера, мирные служащие туристских фирм и гостиничные работники, коротавшие свой вечерний досуг в «Центральном подвале».

И еще один разговор на ту же тревожную тему запомнился мне во время поездки. Это был разговор с человеком, который казался мне очень далеким от всякой политики — милым, широко образованным искусствоведом, знатоком Моцарта и его жизни в Зальцбурге, взявшим на себя труд показать нам город.

В окрестностях Зальцбурга, на Гайзбергшпице, откуда, как на панораме, видны все горы и отроги австрийских Альп, стоит деревянная хижина, где когда-то, наверное, жили пастухи, коптели сыр и играли на дуде своим овцам и собакам. Теперь там устроен ресторан, пастушьи песни входят в стоимость меню, овечки присутствуют только в виде шашлыка, а собаки, две великолепные огромные швейцарские овчарки Эксель и Эрон, давно отвыкшие от своих прямых собачьих обязанностей, лениво дремлют в открытом багажнике машины хозяина, всем своим видом показывая, как глубоко им надоели туристы, приезжающие сюда день за днем, вечной чередой.

Хозяйка горной хижины, приветливая женщина, встречающая своих гостей с искренним, отнюдь не только профессиональным радушием, узнав, что мы русские, с гордостью показала нам книгу отзывов, заполненную надписями на русском языке, русскими стихами и даже портретами Экселя и Эрона, сделанными с натуры одним русским художником. И вот здесь во время прощального ужина с вином, тирольскими песнями и всей привычной в таких случаях суетой сопровождавший нас искусствовед вдруг встал из-за стола и произнес неожиданный тост. Он вспомнил войну и русских, погибших в боях за Австрию, вспомнил их с благодарностью и любовью. И так трогательно

были его слова, что они прервали суету, царившую за столом, и настроили всех на серьезный и грустный лад.

После ужина мы вышли из хижины на горное плато. Далеко впереди таинственно чернели едва различимые очертания Альпийских гор, но и в глубокой низменности, лежащей под нами и расчерченной огнями Зальцбурга, была своя таинственность. Сопровождавший нас искусствовед заговорил о том же, о чем я слышал всюду: об отношениях Австрии с Германией. Он говорил о том, что неонацизм вряд ли представляет теперь большую угрозу: в Австрии осталось мало нацистов, продолжающих отстаивать свои взгляды, опасность другая — германский национализм.

Для будущего Австрии нет ничего важнее укрепления национальной идеи, говорил искусствовед. В век спутников и полетов в космос такая цель может показаться анахронизмом, но для австрийцев это историческая необходимость. Австрия отнюдь не бедная страна, по своим ресурсам она богаче Швеции. Почему бы ей не последовать шведскому примеру? Об этом теперь часто пишут в газетах, бывший министр иностранных дел Крейский даже считается идеологом «шведского пути». Важна, однако, не только экономическая независимость — Австрия должна научиться выполнять роль моста или связующего звена между Западом и Востоком. Конечно, не так-то легко сохранять нейтралитет — нейтралитет между двумя различными мирами, нейтралитет — не легкий хлеб, но именно в этом современная миссия Австрии. Особенности австрийского национального характера благоприятствуют выполнению такой миссии: австрийцы всегда умели переплавлять в единый сплав различные культуры. Можно говорить и о врожденной склонности австрийцев к компромиссу, это не оппортунизм: дух компромисса — благотворный дух в век жестокого владычества догм и нетерпимости, он соединяет воедино лучшее из того, что дает человеческое мышление и человеческая практика.

Я слушал зальцбургского искусствоведа, захваченный странным чувством. Место, на котором мы стояли, напоминало видовую площадку. Над нами горели звезды, а горизонт со всех сторон замыкали исполинские горы. И глядя на весь этот огромный безмолвный мир, на звезды и горы, на близкие и далекие огни, рассыпанные в низинах, трудно было думать о границах, разделах и политических договорах. Где тут кончается Австрия и начинается Западная Германия? Какая из этих округлых, словно посыпанных сажей вершин находится в Австрии, а какая уже в Германии? Ночной простор, небо, звезды и горы рождали чувство гармонии — перед нами был единый, слитный, прекрасный мир. А стоящий рядом со мной человек, умный, образованный, впитавший в себя всю современную культуру, которая в своих лучших творениях не менее едина и взаимосвязанна, чем эти горы, тревожился и мучился страстной мечтой о бо с о б л е н и я своего народа. И хотя в мечтах о создании оазиса тишины, шведского замка или «моста» в центре сплетения всех дорог и бурь Европы было немало и наивности, чувства, лежащие в основе такой мечты, казались вполне понятными и закономерными. Я подумал: ведь все это характерно не только для Австрии. В мире немало и других мест, где люди охвачены желанием как-то отделить себя от своего окружения. Маленький австрийский народ, познавший в недавнем прошлом множество бед и страданий, навязанных ему соседним обезумевшим великаном, не желает больше связывать свою судьбу с судьбой соседа. Разве это трудно понять? В проблеме взаимоотношений австрийцев и немцев соединилось множество черт, характерных для нашего времени. Тут и исключительное взаимодействие и взаимосвязь между народами, которые в современном мире и экономически и психологически все силь-

нее проникают друг в друга. Тут и сложная механика классовых интересов, и простейший арифметический закон больших чисел, который приводит к тому, что сближение и соединение часто оборачиваются ужасным порабощением для малого числа. Счастливое чувство покоя уступило место чувству тревоги. Я начал пристально всматриваться в чуть видные далекие горы, гадать, за которой из них скрывается Мюнхен и как он выглядит в этот поздний вечерний час. С севера повеяло холодным беспокойным ветром. Ночь над горами была черна и непроницаема.

НА ПРОЩАНИЕ

А в последний вечер перед отъездом из Австрии нас повезли в кабачок венского Гринцига, где мы ели знаменитую венскую жареную курицу, ничем не отличающуюся от венгерской жареной курицы, и запивали ее венским молодым вином, которое напомнило мне бессарабское молодое вино, с той лишь разницей, что его подали в маленьких графинах; на бессарабских базарах в дни моей юности такое вино продавалось на пузо — каждый выпивал сколько мог, платили все одинаково.

На прощанье требовалось подвести итог впечатлениям и чувствам, но у меня для этого не было времени. В последний вечер я выслушал неожиданную лекцию об одном из современных аспектов международной жизни, над которым я никогда прежде не задумывался. Мой собеседник — младший служащий рекламного отдела туристской фирмы, щуплый, сутулый человек с тяжелым подбородком боксера, совсем не был похож на философа, но, рассуждая о своем деле, он поднимался до высот новейшей философии и социологии. Он сказал:

— Что такое современный туризм? На всех языках это слово звучит почти одинаково, оно происходит от французского «тур». Но, по-видимому, настало время подыскать другое название. Разве можно, к примеру, назвать ядерный котел простым техническим усовершенствованием? Туризм, разумеется, не перестал быть и путешествием и удовольствием, но он стал также частью политики, экономики и дипломатии. Австрии он приносит тринадцать миллиардов шиллингов в год, то есть полмиллиарда долларов, и это не предел, потому что Испания, например, получает уже один миллиард сто миллионов долларов в год. Я не говорю, конечно, об Италии...

Мой собеседник налил себе стакан вина, закурил сигарету и продолжал:

— Таким образом, туризм наглядно доказал преимущество обыкновенного подноса перед мечом, и теперь уже всем ясно, что вежливые официанты, энергичные портье и искусные повара могут принести своей стране больше прибыли, чем приносили когда-то храбрые воины, отправлявшиеся завоевывать чужие страны после того, как они предварительно разоряли свою... — Сигаретный дым на какое-то мгновение скрыл от меня лицо моего собеседника, но я продолжал слышать его голос: — В современной экономике, социологии и политике имеется новый термин: «людской миллион». Как соединить научно людской миллион, как привести его в порядок — одна из основных проблем нашего времени. А что, если умение современной туристской индустрии соединять людей, перебрасывать их с места на место, поднимать их на одинаковую духовную высоту, прививать им одинаковый опыт, мысли и чувства есть не что иное, как новый способ разрешения мировых проблем? Вы будете спорить?

Я не стал спорить, мне было грустно на прощанье, несмотря на молодое вино и веселые песни, исполненные официанткой, выполнявшей по совместительству и обязанности певицы; по этому случаю она так нарумянилась, что лицо ее совсем не отражало усилий, с которыми она выжимала из своих легких, разрушенных возрастом и табачным дымом, напевы «старой и сладкой Вены». Прощанье не скрасили и тосты, вдвое длиннее, чем обычные, и даже последняя речь одного остряка, который вместо обычных шуток сделал краткий обзор международного положения и с большим чувством перечислил преимущества мира и дружбы по сравнению с ненавистью и войной.

Наутро в поезде меня разбудил ясный и звонкий женский голос, который пропел по-польски: «День добрый».

Я открыл глаза и увидел в дверях купе длинноногую таможенницу с лицом, освещенным утренним светом. За окнами вагона были поля, поезд шел по польской земле, но поля уже ничем не отличались от украинских, знакомых и понятных.

Австрия со своими горными цепями, лесами, автострадами, проложенными под облаками, с идиллической красотой Тироля и каменным пафосом Вены, с великодержавной пышностью старины и наивными мечтами сегодняшнего дня, с изяществом ее музыки, азартом торговли, со всеми ее загадками, противоречиями, пестротой — все это осталось позади.



ПУБЛИЦИСТИКА

А. БИРМАН

★

СУТЬ РЕФОРМЫ

...Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами.

К. Маркс.

I

Вже само название статьи располагает к философским размышлениям. Займемся ими и попытаемся выяснить, в чем суть реформы. Правда, нам вряд ли удастся до конца решить эту задачу — современники видят не все. Тем не менее попытаемся.

Внешне содержание реформы состоит в том, что одни показатели плана заменены другими, по-новому создаются поощрительные фонды, расширяются права предприятий. Спрашивается: почему понадобились изменения и почему именно в таком направлении они произошли?

Обратимся к причинам, вызвавшим реформу. Они могут быть разделены на, так сказать, положительные и отрицательные. К первым относятся выполнение и перевыполнение семилетнего плана, несмотря на то, что некоторые отрасли, и в первую очередь сельское хозяйство, не выполнили план в значительной степени. Тот факт, что в целом семилетний план был выполнен, несмотря на такой крупный прорыв, показал советским экономистам, что они, видимо, не учитывают каких-то крупных резервов при составлении плана, так как, не будь этого прорыва, действительный выпуск продукции в 1965 году был бы значительно выше плановых наметок. Следовательно, сложившаяся система планирования недоучитывала каких-то возможностей народного хозяйства. В ней были какие-то серьезные дефекты.

К этим же причинам относятся, как нам кажется, и некоторые стороны деятельности совнархозов. Хотя в целом от совнархозов в силу многих обстоятельств пришлось отказаться, тем не менее было бы ошибкой не видеть некоторых положительных последствий их существования. Территориальное объединение производительных сил позволило нам взглянуть на нашу страну с несколько иных позиций, чем до этого. При отраслевых министерствах народное хозяйство было разделено по вертикали отраслевыми перегородками. При этом терялись территориальные совокупности. Совнархозы показали их нам чрезвычайно выпукло. Оказалось, что не только, скажем, в США существуют такие крупные экономические совокупности, как, например, районы Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анжелеса и другие, но и в Советском Союзе есть многочисленные комплексные центры производительных сил: Западная Сибирь, Центр, Средняя Волга, Приднепровье и т. д. и т. д.

Стало очевидным, что система планирования и управления, не полностью учитывающая это обстоятельство и оставляющая этим центрам лишь роль исполнителя директив, идущих сверху, не позволяет полностью использовать действительные возможности социалистической экономики, сдерживает темпы расширенного социалистического воспроизводства и потому подлежит совершенствованию.

В не меньшей мере на необходимость существенных экономических преобразований указывал ряд неблагоприятных тенденций, выявившихся в процессе выполнения семилетнего плана. Как известно, стал замедляться темп роста общественного продукта и особенно развитие такой важной отрасли экономики, как сельское хозяйство. Резко упала фондоотдача, то есть выпуск продукции на каждую тысячу рублей стоимости производственных фондов.

Мы вкладывали ежегодно огромные ресурсы в новое строительство, расширяли и укрепляли производственный аппарат страны, но отдача с каждой единицы оборудования, производственной площади систематически сокращалась.

Серьезные нарекания стало вызывать качество продукции. Оно улучшалось медленно, и многие изделия — как средства производства, так и предметы потребления, — изготовленные на советских заводах, не только не достигали мирового уровня, но и все более от него отдалялись. В некоторых отраслях промышленности медленно повышалась производительность труда, а кое-где темп роста фонда заработной платы начинал обгонять повышение производительности труда. Наконец с каждым годом все более очевидными и нетерпимыми становились недостатки в системе материально-технического снабжения предприятий.

В то время как общий объем запасов на складах и строительных площадках непрерывно рос, предприятия и стройки испытывали голод во многих и многих видах материалов, оборудования, инструментов и приборов. Самым обидным было то, что и изделия, лежавшие мертвым кладом, и те, в которых был острый недостаток, зачастую производились из одного и того же сырья и на одних и тех же предприятиях. Речь, следовательно, шла не о каком-то абсолютном дефиците, а о плохом знании действительной потребности народного хозяйства, в результате чего производили много ненужного и не изготовляли необходимого.

Какие же последствия вызвали все эти положительные и отрицательные явления, обнаружившиеся в ходе выполнения семилетнего плана? Потребовались ли кардинальные перемены в области техники и технологии производства? Нет, в решениях мартовского и сентябрьского Пленумов (1965 года) ЦК КПСС нет указаний о том, как сеять пшеницу, выращивать скот, изготавливать металлы или ткани. Речь там все время идет об э к о н о м и к е, об экономических отношениях. Эти отношения, поскольку они экономические, естественно, выражаются в каких-то показателях, нормах и нормативах.

Но почему выбраны именно данные показатели?

Скажем, почему отменен показатель валовой продукции и вместо него установлен показатель реализации?

Узко экономический ответ состоит в том, что «вал» не вызывает интереса к конечной судьбе продукта: главное — изготовить, а будут ли проданы изделия или нет — к «валу» это не относится.

«Вал» возрастает от одной лишь передачи изделия с предприятия на предприятие. Автомобильный мотор стоит, к примеру, триста рублей. Если моторный цех входит в состав автомобильного завода, эти триста рублей войдут в валовую продукцию завода. Если же моторы выпускать на отдельном заводе, то триста рублей в объеме валовой продукции отразятся дважды: и в продукции моторостроительного завода, и автомобильного. Возникал соблазн создавать иной раз излишние промежуточные звенья в производственной цепочке...

Вдумаемся в эти ответы: «вал» не создавал интереса к конечной судьбе продукта. Возникал с о б л а з н иной раз зря создавать ненужные промежуточные производственные звенья.

Интерес. Соблазн. Уж не собираемся ли мы подменять деловую экономику туманной психологией? Эмоциями?

Остов реформы — и с этим все согласны — состоит в том, что, при сохранении и усилении централизованного государственного управления экономикой, существенно расширяются права предприятий, увеличивается возможность проявления ими самостоятельности, инициативы, предприимчивости.

Самостоятельность. Инициатива. Предприимчивость. Ни в одном учебнике по народнохозяйственному планированию или отраслевой экономике нет таких категорий. Нет колонок для их планирования и учета.

Что же получается: обнаружилось совершенно конкретные, поддающиеся словесному выражению народнохозяйственные явления, а выводы из этого сделаны, меры приняты какие-то вроде бы и не «деловые» — расширена самостоятельность, повышена заинтересованность, усилена предприимчивость!

И вот тут, я думаю, мы начинаем подходить к сути дела.

II

Поставим перед собой, уважаемый читатель, такой вопрос: в чем основной, органический порок капиталистического общества и почему мы совершенно уверены в том, что внутренние закономерности развития обрекают его на гибель? Ведь на наших глазах в капиталистических странах происходит стремительный рост техники, в определенной мере повышается уровень жизни трудящихся, растет численность населения.

Классики марксизма-ленинизма дали на этот вопрос исчерпывающий ответ. Его верность подтверждается жизнью.

Суть дела в том, что в условиях капитализма человечество разделено на два антагонистически-враждебных лагеря — господствующее меньшинство и поработанное абсолютное большинство. Внешняя форма порабощения в результате классовой борьбы изменилась. Нынешний рабочий-машиностроитель в США или Англии не работает по двенадцать—четыренадцать часов в сутки, прилично одет, может иметь собственную легковую машину и коттедж — и все равно он поработан.

В чем состоит его порабощение?

Трудящийся подвергается эксплуатации, он не играет никакой роли в управлении производством. Его мнения не спрашивают при создании предприятия, оно не интересует хозяев в процессе работы. И только если предприятие приходится закрывать, владельцы его сталкиваются с отчаянным сопротивлением рабочих: сидячие забастовки, отказ покинуть предприятие и т. д.

Трудящегося используют лишь до тех пор, пока он приносит прибыль. Когда перепроизводство ставит дилемму: снизить цены или выбросить на улицу рабочих, — ответ бывает один, и только один. Поэтому-то у миллионов трудящихся нет заинтересованности в улучшении производства при капитализме. И по сей день остаются верными и справедливыми слова Маркса о том, что в условиях капитализма рабочему так же безразличны результаты работы, как безразлично лошади, взнуздана она дорогой или дешевой уздой.

Капиталистов это обстоятельство до поры, до времени и не удручало. Открытие Маркса, что лишь труд человека создает прибавочную стоимость — источник прибыли, — они встретили смехом. Будучи не в состоянии проникнуть в сущность явлений, они искренне уверяли, что прибыль создают машины, а роль человека — быть к ним придатком. Отсюда тейлоризм и подобные ему системы организации труда, когда труд вместо творческой деятельности превращается в детально расчлененные, теряющие всякий смысл однообразные операции. Чаплин предельно точно показал нам «маленького человека», ставшего придатком к беспощадной и безжалостной машине.

Однако реальный жизненный процесс развития производительных сил оказался не таким, как его представляли себе капиталистические предприниматели, их консультанты и идеологи. Оказалось, что жизнь идет «по Гегелю», а вернее — по Марксу. После краткого периода казавшегося упадка роли человека в процессе

производства, человек вновь и еще в большей мере проявил себя как решающая производительная сила, как подлинный творец всех материальных и духовных благ на земле.

Начать с того, что непосредственной производительной силой стала наука, а уж здесь, в этом роде деятельности, ум человека и его способности не могут быть заменены ничем. Возникли целые отрасли экономики, связанные с конкретным применением достижений науки к практике, в них заняты сотни тысяч людей и чуть ли не с каждым из них приходится считаться как с личностью, если не хочешь уступить в конкурентной борьбе и прогореть. Оказалось, что в таких сложных отраслях современной промышленности, как электроника, радиотехническая и многие другие, процент брака, а следовательно, и норма прибыли зависят не только от качества станков и даже не только от квалификации рабочих, но и от такого «странного» обстоятельства, как их настроение или настроение мастера. Социологи подсчитали, что в те дни, когда мастер озлоблен, размер брака на участке удваивается и утраивается... Выросла роль человека в сельскохозяйственном производстве. Вооруженный совокупностью машин и прицепными орудиями, он играет неизмеримо большую роль в процессе сельскохозяйственного производства, чем неграмотный батрак пятьдесят или сто лет назад. Неизмеримо выросла роль человека в сфере торговли и бытового обслуживания. Не случайно в ряде стран, чтобы стать портье в гостинице, нужно пройти восьми-, а то и десятилетний курс обучения. Мы уже не говорим о роли человеческой личности в таких отраслях деятельности, как медицина, образование, искусство и другие. А ведь некоторые виды искусства — скажем, кино и телевидение — стали в настоящее время подлинными отраслями экономики.

Таким образом, возникло непреодолимое в условиях капитализма противоречие. Человечество с каждым годом все больше и больше овладевает природой, открывает одну за другой ее тайны, а в отношениях между собой, в производственных отношениях люди остаются такими же, как и двести — сто лет назад: горсточка руководителей и миллионы исполнителей. При этом в составе исполнителей находятся не только квалифицированные рабочие и мастера, но и подавляющая часть инженеров, архитекторов, экономистов и даже значительные группы аппарата управления.

Но человечество не может и не хочет мириться с подобным положением, а капиталистический строй не в состоянии делать по-иному. Можно при помощи тех или иных методов — социальных, психологических и других — создать на какой-то небольшой период времени иллюзию классовой гармонии, но повседневная действительность капиталистических стран показывает нам ее искусственность и непрочность. Бесспорен тот факт, что уровень классового сознания пролетариата в капиталистических странах растет, задачи, которые он перед собой ставит и решает, непрерывно поднимаются с одной ступени на другую.

Отсюда и следует обреченность капитализма как общественного строя, как способа производства. Чем дальше, тем в меньшей мере он способен осуществлять в нормальных условиях свое расширенное воспроизводство. Чем дальше, тем больше ему необходимы войны и тому подобные искусственно будоражащие средства, как неизлечимо больному — непрерывные инъекции...

— Хорошо, — скажет читатель, — но при чем тут хозяйственная реформа в СССР?

III

Когда Владимир Ильич Ленин утверждал, что социалистическая революция может победить в одной отдельно взятой стране, конкретно говоря — в России, что именно он имел в виду, на что он рассчитывал?

Ему известен был и низкий уровень экономики, и почти поголовная безграмотность населения, и отсутствие ресурсов для быстрого развития производительных сил. Было ясно ему и то, что помощи от капиталистических стран ждать нечего — напротив, предстояла смертельная борьба с ними. Не приходилось наде-

яться и на техническую интеллигенцию: она была и не так уж многочисленна, и в массе своей чуждалась революционного переустройства.

На что же рассчитывал Ленин, зовя партию и народ на вооруженное восстание?

На несокрушимую поддержку масс, на их готовность идти на любые жертвы во имя победы социализма, на их способность выдвинуть тысячи и тысячи талантливых людей, которые смогут в короткий срок освоить культурное наследие прошлого и стать руководителями фабрик, заводов, банков, торговых объединений.

Почему он был уверен, что народные массы изъявят готовность бороться и умереть за победу социализма? Откуда, считал он, возникнет — и в короткий срок — подобная сознательность и решимость у неграмотных крестьян Сибири, европейского Севера, Закавказья и Белоруссии, у рабочих Урала и Донбасса, Ивана и Баку?

Из их жизненных интересов.

Да, крестьянин глухой дореволюционной деревни мог быть неграмотным и уж, конечно, не слышал о Марксе. Но он знал, что, пока землей будут владеть помещики, ему не видеть хорошей жизни, а его детям — батрачить; он понял, что землю, мир, грамотность, свободу и человеческое достоинство ему дадут лишь большевики, и потому шел за ними и умирал за революцию. Еще в большей мере это понимали заводские рабочие и фабричные работницы, шахтеры и грузчики. В этом был залог непобедимости революции. Этого так и не смогли понять высокообразованные Каутский, Плеханов, Мартов.

Впрочем, этого не понимали и те члены ЦК РСДРП(б), которые были против Октябрьского штурма, боялись его. Вооруженные статистическими выкладками и книжной премудростью, они не в состоянии были понять слов Маркса, приведенных в эпиграфе к этой статье: теория, овладев массами, становится материальной силой, и столь материальной, что опрокидывает армии четырнадцати стран-интервентов, внутреннюю контрреволюцию, преодолевает голод и разруху.

Но одной революционной решимости было мало. Самое гениальное в Ленине — научная трезвость, объективность, дальновидность. Многие революционеры верили в народ и звали его на баррикады. Так было до 1917 года, и так происходит в наше время в угнетенных странах. Но редко кто из них оказывается способным осознать то обстоятельство, что в основе революционного энтузиазма масс лежат их повседневные, «прозаические» жизненные потребности и интересы. И потому забота об удовлетворении этих потребностей и интересов должна составлять основу всей экономической политики победившего пролетариата, а апелляция к этим интересам, воздействие через эти интересы — основу экономического механизма построения социализма и коммунизма.

Ленин, созданная и воспитанная им партия коммунистов из этого исходили. Отсюда, из сочетания безграничного революционного энтузиазма и самоотверженности с трезвым деловым учетом реальных общественных отношений, — отсюда «чудо» жизнестойкости нашего советского общественного строя, исторической победы социалистической экономики СССР.

В самом деле, посмотрите, как сочетаются одновременно, казалось бы, различные и противоположные линии экономической политики:

— крайняя разруха страны — и план ГОЭЛРО;

— крайний недостаток предметов первой необходимости — и против уравниловки в потреблении;

— «мы экономим на всем, даже на школах» — и требование установления высоких окладов специалистам;

— борьба насмерть со всеми видами соглашательства с капитализмом — и политика иностранных концессий.

Подлинная научность марксизма-ленинизма в том и состоит, что он берет за исходное реальную, объективную действительность, не выдумывает ее, не выдает желаемое за действительное, всесторонне, диалектически анализирует реальные условия. Поэтому становится видной не только плоская поверхность явлений, но

вся толща обстоятельств и условий. Возникает возможность увидеть в целом и единое, и борьбу составляющих его противоположностей, вскрыть законы развития и прогнозировать будущее.

Глубоко веря в народ, Ленин высмеивал тех социалистов, которые мечтали сперва вырастить каких-то стерильных, идеальных людей и «из них» строить социализм. Партия трезво смотрела фактам в лицо, но это не вселяло в нее пессимизма. Победа была гарантирована тем, что партия выражала неистребимые и неотвратимые жизненные интересы народа. Суть дела состояла в том, чтобы в конкретной экономической политике, с учетом реальных возможностей наилучшим образом удовлетворить эти интересы, понимая их в единстве: и как интересы сегоднешнего дня, текущего потребления, и как классовые интересы, требующие обеспечения экономической независимости страны, ее индустриализации, ее обороноспособности. Именно поэтому, как только кончилась гражданская война, в ход были пущены такие «прозаические» методы управления экономикой, как хозяйственный расчет, стали использоваться такие рычаги, как прибыль, кредит, премии и т. д.

Почему же понадобилась хозяйственная реформа?

IV

Если бы интересы народа были однозначны или, лучше сказать, одинаковы, управление народным хозяйством, организация экономики были бы делом легким. Проблема в том, что к общей цели — строительству коммунизма — разные общественные группы трудящихся идут разными путями. И различие это вызвано опять-таки объективными причинами: исходным уровнем жизни, образованием, традициями. Суть правильной экономической политики, как нам представляется, в том и состоит, чтобы, не подавляя и не подстригая под одну гребенку многообразие различных интересов, напротив, создавая благоприятные условия для их развития, для удовлетворения, — свести разные интересы в одно общее. Так, к примеру, поступает талантливый дирижер.

Следует признать, что на определенном этапе развития социалистической экономики в нашей стране внимание к интересам стало ослабевать. На первое место все более выдвигались тонны, кубометры, киловатт-часы и другие показатели работы предприятий. По н я т ь причины трансформации нетрудно. Страна отставала на пятьдесят — сто лет от передовых капиталистических государств. Угроза военного нападения нависала тучей. Возникло желание поскорее преодолеть разрыв, «проскочить». Учет интересов, достижение необходимой цели через воздействие на интересы начали казаться сложной и медлительной системой. Приказы, директивы действовали вроде бы лучше, во всяком случае быстрее.

Постепенно экономические рычаги расшатывались. Сперва оторвались от реальных условий производства цены на сельскохозяйственные продукты. Потом на изделия тяжелой промышленности. К началу тридцатых годов едва ли не вся тяжелая промышленность стала планомерно убыточной, то есть перешла на государственную дотацию. Чтобы сбалансировать доходы государства с расходами, были подняты вверх цены на предметы потребления. В некоторых из них налог с оборота превышал затраты на производство в два-три раза и более. Материальное поощрение стало эпизодическим и незначительным. Интерес к прибыли был в существенной степени утерян.

Коль скоро непосредственный интерес к совершенствованию производства у многих трудящихся и на ряде предприятий ослабел, пришлось заменить его детальным административным воздействием. Так в послевоенные годы появились на свет около полусотни директивных показателей, которые центр утверждал каждому предприятию, триста тридцать тысяч нормативных актов, регулировавших экономику страны до реформы.

Разумеется, наше народное хозяйство непрерывно развивалось и вширь и вглубь, однако в годы семилетки значительно медленнее, чем объективно могло

бы развиваться. Особенно с большим скрипом внедрялись технические новшества. Каждое из них требовало лимитов капиталовложений, дополнительных материалов и приборов, фонда заработной платы. Чтобы все это получить, надо было ждать очередного планового периода, включать в план и добиваться его утверждения. Сами планы намечались, исходя из фактически достигнутых результатов с примерно одинаковыми надбавками на рост из года в год. В результате в выигрыше оказывались те, кто сумел на каком-то этапе представить заниженный план, припрятать кое-какие резервы и затем исподволь пускать их в ход. Тот факт, что из сверхплановой прибыли в поощрительные фонды отчисляли примерно в десять раз больше, чем из прибыли, полученной в пределах плана, в свою очередь толкал ряд хозяйственников на занижение проектов планов. Иначе говоря, интересы человека, предприятия и общества в целом иной раз стали противоречить друг другу. Все это, вместе взятое, и привело к тем отрицательным явлениям в развитии народного хозяйства в годы семилетки, о которых говорилось выше.

Стало очевидным — нужна реформа.

V

Каков современный этап хозяйственной реформы?

На этот вопрос советские экономисты дают не просто два разных, а прямо противоположных ответа.

Одни из них утверждают, что реформа в промышленности завершится в нынешнем году: все предприятия начнут работать по-новому — будут переведены на новые условия планирования, управления и материального стимулирования. Другие, возражая им, говорят, что реформа рассчитана на многие годы и что в нынешнем году действительно на всех промышленных предприятиях будут изменены условия планирования, управления и стимулирования, но эти изменения отнюдь не исчерпывают существа реформы.

Следовательно, мы вновь подходим к вопросу о сути реформы.

Она состоит, по нашему мнению, в том, чтобы главной опорой в основе всей экономической политики, системы управления и планирования были интересы трудящихся. Решения пленумов ЦК КПСС и XXIII съезда партии о выдвижении на первый план экономических методов управления экономикой взамен административных мы и понимаем как подлинное восстановление в современных условиях ленинских принципов хозяйствования. А Ленин, как известно, учил нас, что подвести миллионы и миллионы трудящихся к строительству коммунизма нельзя непосредственно на революционном энтузиазме, а надо, используя революционный энтузиазм, делать это на основе личной материальной заинтересованности, на основе хозяйственного расчета.

При таком понимании сути хозяйственной реформы становится совершенно очевидным, что замена одних показателей другими, одного порядка образования поощрительных фондов другим не исчерпывает ни в малейшей мере содержания экономической политики нашей партии в период строительства материально-технической базы коммунизма, а образует лишь некоторые правовые, организационные и экономические предпосылки для работы по-новому. Действительная суть реформы состоит в том, чтобы вся система планирования и управления воздействовала на темпы и пропорции экономического развития через людей непосредственно, через создание у них эффективной материальной заинтересованности в ежедневном и ежечасном улучшении организации производства, повышении производительности труда и усилении режима экономии. Тем самым будет создана и непосредственная личная ответственность каждого рабочего и служащего, инженера и техника, колхозника и колхозницы за любой недостаток в работе предприятия, учреждения, организации, то самое чувство личной ответственности, о необходимости воспитания которого с такой силой было сказано в докладе на торжественном заседании, посвященном пятидесятилетию Советского государства.

Но интересы различны. И потому реформа, как мы полагаем, включает в себя многообразные направления, приемы и способы, и лишь их правильно скоординированная совокуность даст те результаты, которых мы вправе ждать от преобразований, проводящихся в настоящее время в нашей стране по решению партии.

Начнем с интересов трудящегося человека.

Но предварительно замечу, что с самых первых дней существования Советского государства целью всей его экономической политики было удовлетворение потребностей народа. Даже в самые тяжелые годы, когда на счету был каждый пуд хлеба, партия не одобряла «левацкого» аскетизма, а четко указывала, что держит курс на максимальное удовлетворение материальных и духовных потребностей людей. Миллионы квадратных метров жилых домов, десятки миллионов тонн пищевых товаров, изготавливаемых ежегодно, сотни миллионов пар обуви и миллиарды метров тканей в год — лишь некоторые плоды линии партии в этой области. В чем же тогда н о в ы й подход? Да именно в самом п о д х о д е!

Разумеется, в любую из пятилеток, когда производили сталь, кирпич или сливочное масло, то все это шло людям, делалось для людей. Но счет шел от продукции: чтобы произвести столько-то продуктов, нужно столько-то людей. Новый подход, как нам представляется, и состоит в том, что идти мы будем в наших планах уже не от товаров к людям, а от людей к плану размещения производительных сил, к темпам и пропорциям развития общественного производства. Разумеется, эти слова не надо понимать примитивно. Мы не предполагаем, что в колонках планов вместо продукции отдельных отраслей появится население страны, разбитое по полу, возрасту и национальности. В этих колонках по-прежнему будут стоять разнообразные виды продукции. И тем не менее подход к ним — и в этом суть реформы — пойдет от людей, и прежде всего от интересов отдельного человека, коллектива людей, предприятия.

Что главное в этих интересах?

Многочисленные социологические обследования дают поразительный по своей однозначности ответ на то, что важнее всего работающему человеку на любом посту — от вахтера до министра? Оказывается, больше всего ценится сам характер работы, по душе ли работа. Если человек делает то, что ему нравится, меньше усталость (и не «вообще» меньше, а совершенно точно, в определенном проценте, показываемом соответствующими приборами!), интереснее проходит время, лучше качество продукции, больше изобретений. Именно потому, мы уверены, труд и будет органической потребностью человека при коммунизме, что каждый будет заниматься тем делом, которое ему по душе.

Разумеется, когда речь идет о ста двадцати миллионах трудящихся, то устроить каждого из них так, чтобы он делал именно то, к чему у него склонности, — дело очень сложное. Молодой человек живет в городе, где нет никаких предприятий, кроме, скажем, текстильных или консервных, а он мечтает об электронике или радиотехнике. Человек освоил пятый разряд, хочет и может расти дальше, но на данном предприятии нет работы более сложной. Не повышать же разряд специально для данного работника! Семейные обстоятельства приводят иногда людей в такие районы, где они не могут применить свои силы и знания, — и речь идет вовсе не только, скажем, о женах военнослужащих. Можно долго еще перечислять множество причин, в силу которых сегодня, да и завтра не будет еще возможности предоставить к а ж д о м у именно ту работу, к которой у него больше лежит душа.

Но если эту задачу нельзя решить для каждого, то это вовсе не значит, что ему не нужно заниматься вовсе. Для миллионов и мяллионов людей ее можно решить уже сегодня и завтра, если только поставить эту задачу в качестве самостоятельной. Изучение жизни показывает, что в очень многих случаях первопричина пассивности, аморальных поступков, низкой трудовой дисциплины, брака, грубости и многих других огорчающих нас явлений — в недовольстве работой. И это недовольство не может быть погашено никакими дополнительными мероприятиями вроде участия в кружках самодеятельности, стрельбы из лука или коллективном сборе грибов при всем положительном значении этих и подобных

им мер. Значит, составляя перспективный план развития предприятия на очередную пятилетку, надо думать не только о том, как будет использован каждый станок, каждый квадратный метр производственной площади и каждая тонна сырья, но — и в первую очередь — как будут удовлетворены стремления людей в каждом цехе и на каждом участке. На многих предприятиях Москвы, Ленинграда, Львова, к примеру, так и поступают.

Интересы трудящегося, далее, состоят в том, чтобы иметь возможность плодотворно, нормально трудиться в течение целого дня. В начале этого года в «Известиях» было опубликовано обследование группы молодых рабочих одного из луганских предприятий. Оказалось, что разболтанность на работе является прямым последствием перебоев в снабжении. Одна из работниц сказала, что ей полагается по норме обработать сорок восемь деталей. Соревнуясь с другими товарищами, она обязалась обрабатывать шестьдесят деталей. Однако из-за недостатка этих деталей ей выделяют на целую смену всего лишь двадцать одну. Работать треть дня не разрешают. Вот она и растягивает эту двадцать одну деталь на весь рабочий день, слоняется по цехам, разбалтывается сама и мешая работать другим. К сожалению, этот пример отнюдь не редкое исключение.

Последствия такой неорганизованности многочисленны и разнообразны. Разбалтывается человек, теряется чувство ритма и уважения к рабочему времени. «Почему я должен сегодня беречь каждую минуту, если на прошлой неделе я попусту терял часы?» Страдает заработок, и это очень болезненно сказывается на каждом из нас. Не лучше и в тех случаях, когда администрация тем или иным способом прикрывает простои и обеспечивает сохранение средней заработной платы. Тут, правда, нет непосредственно материального ущерба, но моральный урон куда больше и страшнее.

Между тем приходится признать, что недостатки в организации производства, штурмовщина и простои — все еще частые явления, в том числе и на тех предприятиях, которые перешли на новые условия планирования. Одного этого факта — наличия простоев и штурмовщины на предприятиях, работающих по-новому, — достаточно для того, чтобы видеть разницу между новыми показателями и сущностью реформы в целом.

Интересы трудящегося состоят в том, чтобы хорошо зарабатывать. Написав эти слова, мы четко представили себе оторопь и ужас на лицах некоторых читателей. Ведь многие из них искренне убеждены в том, что говорить о высоком заработке «стыдно», что это шкурничество и т. д. Нередко приходится слышать от начальников цехов и других средних командиров производства, что им попадает от начальства, если рабочие получают заработную плату выше, чем это представляется нужным начальнику отдела труда и заработной платы завода.

— У меня работает медник высочайшей квалификации, — рассказывает начальник одного цеха. — По существующим нормам и расценкам он зарабатывал около двухсот рублей в месяц. Высокое качество изготавливаемой им продукции в значительной степени обеспечивает успешную работу всего цеха. Тем не менее ежемесячно у меня скандалы с главным бухгалтером и начальником ОТИЗ. «Что он, профессор у тебя, что ли?» — спрашивают они. «Да, — отвечаю им я. — В своем деле он профессор, а может быть, и академик». — «Смотри, останешься без премии».

Откуда эта боязнь высокого заработка, выведенного на основании существующих норм и расценок, добытого напряженным квалифицированным трудом? Прямо можем сказать: не от марксизма-ленинизма. Она — от мелкобуржуазного ханжества и лицемерия, которое может быть искренним и тем не менее остается немарксистским, вредным для дела.

Стремление к высокому заработку не имеет ничего общего со шкурничеством, это — естественное желание жить лучше, зарабатывая честным трудом. Пото-

му наша партия всегда выступала, выступает и будет выступать против уравниловки, что различия в оплате труда — экономически обоснованные — побуждают к повышению квалификации, укреплению трудовой дисциплины, росту изобретательства и рационализации, то есть в конечном счете к повышению производительности общественного труда — самого важного и самого главного условия построения коммунизма.

Наконец, интересы трудящегося состоят в том, чтобы активно участвовать в управлении государством. Формы этого участия в нашей стране многочисленны: депутат местного Совета, член постоянного производственного совещания, участник группы народного контроля, общественного бюро экономического анализа и тысячи других. Чем больше таких форм, тем лучше, если только они не надуманны, а наполнены конкретным содержанием.

До реформы, когда все детали работы предприятия были расчленены соответственно показателям, утверждаемым в центре, роль предприятия зачастую сводилась к исполнению этих показателей и возможности для привлечения каждого трудящегося к участию в управлении были относительно ограниченными. Сегодня и тем более завтра нет уже никаких оснований для того, чтобы хоть один рабочий или служащий оставался в стороне от участия в управлении.

Следовательно, суть реформы применительно к отдельному трудящемуся, как нам представляется, должна состоять в том, чтобы решительно каждый чувствовал, что осуществляется новый подход, новые методы планирования, управления и стимулирования и чтоб это ощущение вытекало не только из передач по радио, из газет и политзанятий, но из реальных повседневных обстоятельств его трудовой деятельности. «...Экономическое развитие, — говорил Л. И. Брежнев, — во многом определяется тем, насколько успешно решаются социально-политические задачи. Совершенствование общественных отношений, развитие социалистической демократии и государственности, идейно-воспитательная работа — все это дело первостепенной важности».

Разумеется, подобный поворот в организации производства не может быть осуществлен ни в один день, ни в один год. Это ясно. Речь идет о том, чтобы подобное направление хозяйственной деятельности стало главным и постепенное, но неуклонное осуществление хозяйственной реформы проходило именно в таком направлении.

Следует сказать, что за годы, прошедшие после мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК КПСС, по справедливости преимущественное внимание обращалось на область собственно хозяйственную. Но вот что говорят данные одного из опросов, проведенных на Луганском тепловозостроительном заводе, напечатанные в «Известиях» (№ 58. 1968). Четыремстам пяти рабочим был задан вопрос: «Что дала производству и вам лично экономическая реформа?» Ответы видны из таблицы.

Производству			Мне лично		
Увеличение продукции и прибыли	Мало, ничего	Не знаю	Увеличение заработка, премий	Мало, ничего	Не знаю
141	43	221	94	130	181

Если в Луганске на передовом промышленном предприятии в начале 1968 года из четырехсот пяти молодых рабочих сто восемьдесят один не знает, что дала реформа ему лично, и двести двадцать один — что она дала производству, а сто тридцать и сорок три считают соответственно, что либо им лично, либо производству реформа дала мало или ничего не дала, то тут есть над чем подумать.

VI

Люди работают коллективами. Эти коллективы называются фабриками, заводами, шахтами, стройками, совхозами, колхозами, магазинами, ателье и т. д. У предприятий свои интересы, несколько отличные от интересов каждого отдельного трудящегося, но в конечном счете, разумеется, совпадающие с ними, ибо предприятие — это коллектив людей.

Предприятие заинтересовано в том, чтобы быть технически оснащенным современным; располагать здоровыми, удобными, красивыми условиями для работы; чтобы выпускать продукцию, на которую был бы повышенный спрос; чтобы получать за свои изделия медали, дипломы на выставках в нашей стране и за рубежом. Подобное стремление естественно для каждого коллектива, видящего смысл своей деятельности в удовлетворении блага народа, в повышении экономического могущества страны. До реформы материальные возможности каждого предприятия в области технического совершенствования были крайне ограничены.

Реформа существенно меняет положение дел. Отныне на действующих предприятиях расширение и реконструкция будут производиться за счет собственных средств, с помощью в необходимых случаях долгосрочных кредитов банка. Это даст огромную возможность привлечения всего коллектива к творчеству в данной области. Как сделать завод современным, рациональным, красивым? В какой цвет окрасить оборудование, как его расставить, какие применить способы транспортировки, вентиляции, освещения? Какую иметь спецодежду? Может быть, она должна быть различной в разных цехах, для мужчин и женщин? Одним словом, речь идет о том, что подобно тому, как хозяева уделяют большое внимание своей квартире и каждой детали обстановки, подобно этому каждый рабочий и служащий может и должен быть кровно заинтересован в том, чтобы его предприятие создавало оптимальные условия для работы. Одновременно он будет заботиться и о том, чтобы своей работой дать больше прибыли, без наличия которой любые планы и пожелания останутся лишь на листах чертежей и в докладных записках проектов. И опять-таки дело не только в том, что цех станет красивей, хотя и это важно. Одновременно произойдут — не могут не произойти — глубокие психологические изменения в сознании людей. Если в цехе чисто и если рабочий убежден, что и его труд помог заводу получить средства для этой окраски, то он будет беречь чистоту в цехе, поддерживать ее без всяких плакатов, уныло требующих уважения к труду уборщиц. Ведь не случайно же в московском метро чисто, хотя ежедневно им пользуются миллионы людей. Забота о чистоте стен по цепной связи вызовет заботу о рабочем месте, о сохранности инструмента, об экономии сырья, о недопустимости брака, о подтянутом внешнем виде. А подтянутый, собранный рабочий не будет сквернословить, его не потянет к выпивке.

Конечно, подобные рассуждения могут показаться вульгарно-примитивными, если их рассматривать в такой плоской связи, что мы сегодня с утра покрасим стены, а завтра все люди станут иными. Но читатель, наверное, догадался: имеется в виду отнюдь не столь примитивная взаимосвязь.

Интересы предприятия, так же как и каждого отдельного трудящегося, состоят в том, чтобы иметь возможность нормально работать, иметь долгосрочную перспективу, разрабатывать экономическую и техническую тактику и стратегию. Многие виды производства, и не только машиностроение, не укладываются в годовой отрезок времени. Им нужно иметь «портфель» заказов и направление специализации на пять, а то и более лет вперед. Реформа дает для этого необходимые правовые основания. «Положение о предприятии» предусматривает стабильность планов и возможность внесения изменений в них лишь в редких случаях и только с согласия предприятия. К сожалению, это «Положение» нарушается слишком часто, и пока не слышно, чтобы виновные понесли за это взыскание. Следовательно, и здесь, в этой чрезвычайно важной предпосылке нового подхода к управлению производством, еще не произошли те изменения, которые необходимы, а без

них замена одних показателей другими даст, разумеется, очень мало по сравнению с тем, что она может и должна дать.

Интересы предприятия требуют, чтобы у него были существенные фонды, и не только для развития, но и для удовлетворения социально-культурных потребностей, жилищного строительства, материального поощрения. Эти фонды не должны идти за счет уменьшения платежей в бюджет или вложений в капитальное строительство. Они — плод дополнительных усилий, возросшей производительности труда, улучшенной организации производства; они — часть той прибыли, которая получена, так сказать, из ничего, из того, что сегодня, а тем более вчера пропало, портилось, вообще не производилось.

Как велики могут быть эти фонды?

Некоторых экономистов этот вопрос очень волнует и пугает: не дай бог, они будут чрезмерны. Такого рода страхи сродни боязни высоких заработков. В действительности, коль скоро соблюдаются интересы государственного бюджета и расширенного воспроизводства, фонды предприятия могут быть как угодно велики, и чем они больше, тем лучше: тем больше возможностей для повышения культурного уровня, для усиления морального и материального воздействия на каждого трудящегося.

А моральное воздействие — это не проповеди, не лекции и не призывы только. Моральное воздействие — это хороший совместный отдых, это стадионы и бассейны, турбазы и охотничьи хозяйства, дома отдыха и санатории, клубы и библиотеки, концертные и театральные залы. Чтобы полностью удовлетворить этими материальными средствами культуры миллионы людей, нужны миллиарды фонды предприятий. Их не надо бояться, так как образуются они из прибыли, а прибыль есть не что иное, как денежное выражение произведенных и проданных, то есть оплаченных, материальных ценностей. Значит, за каждым рублем прибыли стоит полезная материальная ценность. Чем больше прибыли, тем больше этих ценностей, тем богаче наша страна, тем шире ее возможности удовлетворения духовных и материальных потребностей трудящихся.

Наконец, предприятие еще в большей мере, чем отдельные трудящиеся, заинтересовано в том, чтобы практически участвовать в управлении народным хозяйством. Возможности для этого чрезвычайно велики и разнообразны. Разработка плана самим предприятием, всевозможные технические конкурсы, смотры, выставки; прямые связи с поставщиками и потребителями, научными учреждениями и вузами — таковы лишь некоторые из большого числа форм участия предприятий в управлении народным хозяйством. Следует сказать, что сейчас у нас пока еще лишь самые первые ростки этого несомненно могучего дерева, плоды которого будут обильны и высокоэффективны.

Что касается народного хозяйства в целом, то его интересы с предельной четкостью выражены в Программе КПСС: обеспечить максимум благ для народа при минимуме затрат. Совершенно очевидно, что предоставление наибольшего простора для удовлетворения интересов каждого трудящегося и каждого предприятия означает одновременно и обеспечение интересов народного хозяйства в целом, ибо интересы предприятия, трудящегося и хозяйства в целом в нашей стране едины. И это единство — самое решающее преимущество социализма перед капитализмом.

Экономическая реформа именно потому и предусматривает в качестве плановых показателей реализацию продукции и прибыль, что через эти показатели самым непосредственным образом смыкаются все три вида перечисленных нами интересов. Реализация продукции и выражает как раз тот факт, что изготовлено именно то, что требуется потребителю в необходимом количестве и в нужный срок и что у потребителя имеются средства, чтобы оплатить поставленную ему продукцию. Иначе говоря, прозаическая операция оплаты счета (а счетов ежегодно в нашей стране оплачивается несколько миллиардов) показывает, что сработала многозвенная цепь, первый элемент которой — заявка потребителя, прошедшая

через многочисленные плановые и хозяйственные звенья, а конечное звено — поставка продукции. Непрерывное «срабатывание» цепи — это лучшая характеристика планомерности и пропорциональности, ритмичности, слаженности и организованности гигантского, бесконечно разнообразного хозяйственного механизма страны.

VII

До сих пор речь шла о том, как реформа влияет на человека. А каким должен быть человек, чтобы соответствовать требованиям реформы, чтобы в наибольшей степени содействовать ее успеху?

Мне приходилось в течение последних трех лет много раз беседовать о реформе в самых различных аудиториях. Несмотря на разнообразие слушателей, поражало и огорчало одно обстоятельство: радуясь реформе, искренне желая, чтобы она наступила как можно ранее, некоторые товарищи в то же время ждали, что реформу для них сделает кто-то. Работники цехов адресовались к директорам предприятий, те — к начальникам главков, те — к министрам и т. д. Между тем совершенно очевидно, что подобное представление о роли и задачах человека в условиях реформы в корне противоречит самой сути экономической политики партии в современных условиях.

В докладе Л. И. Брежнева на торжественном заседании, посвященном пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции, с предельной настойчивостью говорилось о том, что чувство хозяина, воспитанное в каждом советском человеке за полвека существования Советского государства, должно органически включать в себя чувство личной ответственности за все то, что делается на производстве. Это чувство личной ответственности имеет многие формы проявления: от заботы о том, чтобы вовремя выключить электрическую лампочку, до заботы об осуществлении хозяйственной реформы в целом.

Не следует закрывать глаза на то, что переход на новые условия хозяйствования — дело сложное во всех разрезах: и техническом, и экономическом, и даже психологическом. Одно дело провозглашать в общей форме необходимость сочетания централизованного государственного планирования с широким предоставлением прав предприятиям, и совсем другое дело — наладить тот экономический механизм, который повседневно обеспечивал бы оптимальное сочетание обеих задач, не давая перекося в ту или другую сторону. На ходу приходится решать огромное множество сложных и разнообразных задач, чисто практических, чтобы от общих, хотя и правильных слов перейти к прозаическим, но необходимым делам.

Точно так же существует большая разница между «общим» пониманием необходимости перехода от фондированного материально-технического снабжения к обычной оптовой торговле средствами производства и реальным решением этой задачи.

Создать разветвленную сеть торговых предприятий, знать спрос на десятки тысяч видов средств производства, суметь одновременно обеспечить гибкость удовлетворения запросов потребителей и стабильность производственной программы производителей — эти и многие другие вопросы требуют огромного и напряженного труда, экспериментов, исправлений.

Наконец, не следует недооценивать и чисто психологические барьеры. Работники министерств и ведомств, плановых и финансовых органов за последние десятилетия привыкли к определенной системе работы. Она казалась им единственно правильной, и им не так-то просто переучиться и приспособиться к новым условиям. Все эти и многие другие трудности не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать. Они будут преодолены тем быстрее, чем больше будет масса преодолевающих и чем энергичнее она будет действовать. Конечно, каждому неохота портить отношения с начальником главка, Министерством финансов, Госпланом и другими органами. Отсюда и желание подождать, пока кто-то, где-то, откуда-то за нас сделает реформу. Вряд ли нужно доказывать, что подобные настроения несовместимы с теми требованиями, которые сформулированы в решениях Пленумов ЦК

КПСС, XXIII съезда партии и последующих исторических документах, в которых выражено, в частности, содержание экономической политики в период построения материально-технической базы коммунизма.

Немало трудностей — экономических и психологических — имеется внутри предприятия. Десятилетиями хозяйственники привыкали к тому, что лучше при составлении плана быть осторожным, придержать кое-какие резервы, имея в виду возможность дополнительных обязательств. Да и сама система материального поощрения, когда, как уже говорилось, от сверхплановой прибыли давали в десять раз больше премий, чем от плановой, невольно толкала на некоторое сдерживание резервов.

Ныне обстановка меняется. Формально в условиях реформы выгоднее раскрыть все резервы в процессе составления плана, так как от прибыли, полученной по плану, отчисления в премиальные фонды куда выше, чем от сверхплановой прибыли. И тем не менее анализ показывает, что и до сих пор многие предприятия не раскрывают всех возможностей, которые в действительности имеются. В чем тут дело?

Действуют факторы психологические. Сложившиеся десятилетиями привычки не могут быть преодолены сразу. Но дело не в них только и, может быть, даже не главным образом в них. Дело в том, что и сегодня еще предприятие не уверено в том, что не будет подвоха со стороны поставщиков или транспорта, что не будет изменения плана и дополнительных заданий со стороны министерства. А раз так, то лучше иметь план поменьше, но выполнить его наверняка, чем вложить все резервы в план, при его выполнении получить действительно несколько больше премий, но зато при срыве (а от него сегодня полной гарантии нет еще) остаться вовсе на бобах.

Между тем, не преодолев этого, мы не получим от хозяйственной реформы всего того, что она призвана дать. Дело ведь в том, что плановому народному хозяйству сюрпризы ни к чему. Плановому народному хозяйству нужно заранее знать, что, где и когда будет произведено. Иначе станки, изготовленные с предельным напряжением, будут месяцами лежать на строительных площадках, так как не созданы условия для их монтажа. Скрывая резервы при составлении плана, а затем в середине года выявляя их фактически или в обязательствах, предприятия дают меньше эффекта народному хозяйству, чем оно получило бы, если бы все возможности были известны с самого начала, в момент составления плана.

Нам кажется, что из всех требований, предъявляемых реформой человеку, особенно хозяйственнику, самое первичное — это необходимость смотреть на свое предприятие глазами потребителя его продукции. Нам не раз уже приходилось цитировать книгу «Для всех и для себя», написанную известным авиаконструктором О. К. Антоновым. Среди многих правильных мыслей и афоризмов, содержащихся в этой книге, один из них представляется нам наиболее важным. О. К. Антонов предлагает, полшутя-полусерьезно, дополнить, а может быть, и заменить показатель себестоимости продукции показателем «тебестоимости». Он хочет этим сказать, что достоинство продукта должно измеряться не только тем, во что он обошелся производителю, но главным образом тем, какую выгоду от него получит потребитель, то есть народное хозяйство. Опыт развития народного хозяйства показывает, что иная «экономия» разорительнее любого расточительства. В современных условиях, когда технический прогресс предъявляет к материалам, механизмам и приборам необычайные требования в смысле прочности, точности, надежности, удобства использования, скорости и т. д., оправданы любые затраты производителя, если они компенсируются дополнительными выгодами для народного хозяйства в целом.

К сожалению, многие хозяйственники совершенно не обучены такому подходу к делу. Предстоит своего рода реформа, переориентация требований к производству. На столе у каждого директора-поставщика должна быть наиболее подробная последняя информация о нуждах потребителя, о его пожеланиях и требованиях.

Потребитель всегда прав — этому предстоит обучить не только продавцов в магазинах, но и хозяйственников всех рангов, без исключения.

Наконец, совершенно нетерпимы в современных условиях такие «методы» работы, как включение в план «липовой» продукции, выдача фондов или нарядов на заведомо несуществующие материальные ценности, помпезные обязательства, заведомо невыполнимые, и т. д. и т. п.

Мужество требуется не только космонавтам и подводникам. Не меньше его — правда, в другой форме, может быть, незаметной, — нужно и работнику Госплана, чтобы отказать в удовлетворении заявки, пусть даже самой необходимой и неотложной, если нет реальных возможностей для ее удовлетворения, если включение ее в план приведет к диспропорциям, к дезорганизации какого-то участка народного хозяйства.

Об этой стороне дела, о требованиях, предъявляемых к экономисту, о требованиях, которые можно сформулировать в виде темы «Экономика и этика», у нас говорится очень мало, а делается в этой области еще меньше. Между тем в условиях централизованного народнохозяйственного планирования и руководства, когда судьба десятков и сотен предприятий в немалой мере может зависеть от отдельного сотрудника Госплана или Министерства финансов, вопрос об их ответственности, об их этических нормах, нравственной устойчивости и принципах становится непосредственно экономическим вопросом.

Не только теория становится материальной силой, но материальные результаты и последствия определяются нравами, обычаями, складывающимися отношениями. Если по-прежнему останутся безнаказанными действия тех работников плановых и других органов, которым подчас ничего не стоит включить в план заведомо нереальные задания и фонды, то экономические и социологические результаты реформы будут не вполне такими, какие нужны нашему обществу и на какие оно вправе рассчитывать.

Таким образом оказывается, что в проблеме «человек и реформа» дело не только в том, чтобы обратить конкретное содержание реформы к интересам и потребностям каждого человека, но и в том, чтобы каждый человек подтянулся и оказался готовым и достойным тех требований, которые ему предъявляет реформа.

Как же развить качества, черты и нравы, нужные человеку в условиях реформы? Как экономист, я укажу лишь на экономические факторы, которые могут тут сыграть важную роль. Это все те же знакомые нам материальные рычаги — поощрение и ответственность. Существенное материальное поощрение при правильной его организации настроит интересы каждого человека и каждого предприятия таким образом, чтобы в максимальной степени удовлетворять требованиям реформы. Ощутимая материальная ответственность — неотвратимая и гласная — будет подхлестывать всех тех, кому неохота расставаться с прежними навыками и приспособляться к новым условиям. Но это вовсе не значит, повторяю, что все способы воспитания сводятся к рублю. Просто разговор сейчас идет на тему сугубо экономическую.

VIII

К идее хозяйственной реформы в нашей стране настороженно относилось немало людей, настороженно относятся они и к ее осуществлению.

Общезвестно, что мартовскому (1965 год) и сентябрьскому (1965 год) Пленумам ЦК партии предшествовала активная дискуссия, в которой участвовали хозяйственники, экономисты, философы — тысячи людей. В ходе ее сталкивались между собой различные мнения и взгляды. Некоторым не по душе были намечавшиеся изменения, и они, не скрывая, говорили об этом. В обмене противоположными мнениями — и смысл дискуссии. «Моя партийная совесть не позволяет мне голосовать за прибыль», — сказал один видный экономист, и он, несомненно, был искренен, полагая, что охраняет чистоту социалистического общества от опасности буржуазного грехопадения.

Критиков необходимости реформы можно разделить, несколько условно, может быть, на «теоретиков» и «практиков».

«Теоретики» — это преимущественно та часть преподавателей политэкономии, которые, к сожалению, оторваны от практического хозяйствования, десятилетиями не бывают на предприятиях, не знают реальной жизни, но хорошо разбираются в текстах и цитатах. Они утверждали и продолжают утверждать, что при социализме невозможны и не нужны товарно-денежные отношения. Что продукция наших предприятий — это не товар, а деньги — лишь расчетные знаки, необходимые для калькуляции, для учета. Что касается прибыли, материального поощрения и других элементов социалистического хозяйствования, то к ним «теоретики» относятся с большим подозрением, и, будь в их власти, они давно свели бы их на нет. Свою позицию они обосновывают некоторыми работами Маркса и Энгельса, а также высказываниями В. И. Ленина в первый период советской власти, до перехода к нэпу.

Известно, что основоположники марксизма — Маркс и Энгельс — не предполагали, что социалистическая революция может начаться в отдельной стране, которая в течение сравнительно длительного периода будет существовать в капиталистическом окружении. Видимо, они полагали, что социализм прежде всего победит в наиболее промышленно развитых странах. При таком прогнозе исторической перспективы они считали, что переходный период от капитализма к социализму будет, вероятно, не очень длительным и сложным, а общество через некоторое время сможет перейти к организации производства и распределению материальных благ, не прибегая к помощи денег и товарно-денежных отношений.

Правда, излагая таким образом взгляды Маркса и Энгельса, мы несколько упрощаем, огрубляем их. Но мы поступаем так потому, что именно подобным образом воспринимают взгляды Маркса и Энгельса теоретические противники хозяйственной реформы. В действительности же у основоположников марксизма есть немало высказываний относительно того, какую роль сыграет кредит, в частности, в построении социалистического общества. А ряд высказываний говорит о том, что взгляды Маркса и Энгельса не были столь категоричны в вопросе о товаре и деньгах, как его излагают указанные нами экономисты.

Что касается высказываний Владимира Ильича Ленина, то действительно на заре советской власти и особенно в период военного коммунизма, когда обстоятельства вынуждали перейти к непосредственному распределению в натуре скромных материальных ресурсов, имевшихся в распоряжении Советского государства, В. И. Ленин допускал возможность введения прямого продуктообмена, исключаящего товарно-денежные отношения. Приводя эти высказывания Ленина, политэкономы, о которых идет речь, не говорят почему-то о том, что к концу гражданской войны В. И. Ленин на основе подлинно марксистского анализа развития народного хозяйства пришел к выводу, что «красногвардейской атакой» капитализма не взять, что необходим более медленный, но зато более реальный и, несомненно, успешный путь к построению социализма, а именно с использованием торговли, финансов, кредита и др.

Начиная с 1921 года В. И. Ленин ни разу не возвращается более к мыслям о возможности строительства социализма вне использования товарно-денежных отношений. Напротив, с огромной настойчивостью и целеустремленностью он приучает партию и советский народ к мысли о необходимости научиться торговать, о значении хозяйственного расчета, прибыли, рентабельности, о том, что деньги нам нужны надолго, и т. д. и т. д.

Но беда «теоретиков» состоит не только в том, что они произвольно приводят одни цитаты и опускают другие. Антимарксистский характер их методологии выражается в том, что они напрочь отменяют полувековой опыт строительства социализма в нашей стране, а также опыт развития других социалистических государств. А этот опыт дает совершенно категорический ответ: всякие попытки сузить использование закона о стоимости и товарно-денежных отношениях, перепрыгнуть через этап, когда они нужны, приносят громадный ущерб делу развития социализма. И напротив, гибкое, продуманное комплексное использование товарно-денеж-

ных отношений в сочетании со всеми другими элементами экономической политики Советского государства приносит социалистической экономике быстрые и явные успехи.

Отрыв от жизни и неспособность извлекать уроки из практики хозяйственного развития приводят к тому, что и на четвертом году хозяйственной реформы есть экономисты, продолжающие упорно и однообразно повторять уже приевшиеся зады, настороженно относиться к проводимым в нашей стране мероприятиям и использовать любой повод для того, чтобы возбудить недоверие к экономическим методам управления. Стоит только какому-нибудь предприятию и тем более отрасли перевыполнить план по прибыли на несколько процентов больше, чем план производства продукции в натуре, как сразу же ставится вопрос об ослаблении плановой дисциплины, торгашеском стремлении к накоплению и т. д. и т. п. Как ни печально, но эту часть экономистов убедить в необходимости и пользе хозяйственной реформы, видимо, не удастся: практический опыт они не усваивают, а цитаты, которыми они обосновывают свои взгляды, — увы! — измениться уже не могут.

Что касается «практиков», то их опасения по поводу реформы вызваны ее новизной, непривычностью к новому способу хозяйствования. Ведь до 1965 года было так удобно: каждая деталь в работе предприятия предписывалась из центра, все подлежало согласованию и увязке. Был порядок. А каково теперь, когда самому предприятию надо решать большинство вставших перед ним проблем?!

Анализ деятельности наших предприятий за три года показывает, что далеко не все практические работники перестроились на деле. Многие из них, вопреки твердой воле партии и правительства, продолжают работать по-старому, будто не было ни Пленумов ЦК, ни XXIII съезда партии.

Почему они так поступают и как быть дальше?

Позволю себе привести пример из собственной практики. Несколько лет назад в Московском институте имени Г. В. Плеханова к каждой лаборатории был прикреплен технический работник: к одной — электрик, к другой — столяр и т. д. В своей лаборатории у каждого из них работы было мало, обслуживать «чужие» лаборатории они отказывались. Проще всего было бы объединить всех этих работников в одну бригаду и обязать ее обслуживать весь институт. Этой «реформе» воспротивился работник Министерства финансов РСФСР, ведающий финансированием вузов. Мотив? Не полагается. Казалось бы, если руководству института доверяют обучение и воспитание четырнадцати тысяч студентов, то, пожалуй, можно доверить и управление десятком столяров, слесарей и т. д. На такой довод мы получили красноречивый ответ: «Если Министерство финансов будет передоверять такие дела вузам, все развалится...»

Совершенно очевидно, что люди, в течение нескольких десятилетий воспитывавшиеся в таком вот духе, искренне убеждены, что всякое проявление инициативы приведет к краху народного хозяйства, и всеми силами стараются его не допустить, тормозя эту инициативу, создавая на ее пути бюрократические рычаги.

Сложнее обстоит дело с теми сторонниками централизованного государственного руководства экономикой, которые допускают проявление инициативы со стороны предприятий, но считают, что руководство народным хозяйством должно осуществляться лишь методами, которые применялись в тридцатых—пятидесятых годах.

Такие хозяйственники и работники экономических органов полагают, будто плановое развитие экономики возможно лишь при утверждении народнохозяйственного плана во всех деталях. При этом в течение года раз пять, а то и чаще план меняют. И делается ведь это не по злему умыслу. И при централизованном планировании бывают огрехи, ничего не поделаешь. Дело в другом: инициатива предприятия, по мнению таких хозяйственных руководителей, должна проявляться именно в том, чтобы выполнить план при любых меняющихся обстоятельствах.

Сторонники подобной организации управления социалистическими предприятиями обидятся, если им сказать, что трудящимся они отводят роль «винтиков» в хозяйственном механизме, но в действительности дело обстоит именно так. Реформе они проводят искренне и ревностно, но по своему разумению, то есть вместо одних показателей утверждают другие, уровень рентабельности определяют по отношению не к себестоимости, а к стоимости фондов и т. д. Требования предприятий менять стиль взаимоотношений считают блажью, которая скоро пройдет, а разговор о совершенствовании производственных отношений — «философией», то есть делом, недостойным серьезных людей.

Как быть тут? Полагаем, что таким товарищам следовало бы серьезно изучить политическую экономию социализма, основы социологии и социальной психологии. Им необходимо объяснять объективную неизбежность построения материально-технической базы коммунизма в условиях товарно-денежных отношений, убедить их в том, что хозяйственный расчет не просто метод управления предприятиями, а единственно возможная система социалистического хозяйствования; что государственные предприятия — товаропроизводители, определенным образом обособленные, и что их отношения с государством — экономические, а не только административные; что деньги — не счетный знак, облегчающий калькуляцию и учет, а форма стоимости; что прибыль — не унаследованный нами от капитализма подозрительный пережиток, а обобщающий показатель эффективности хозяйствования и основной источник ресурсов для расширенного воспроизводства и т. д.

Подобно тому, как в начале тридцатых годов партия поставила перед большевиками в качестве важнейшей задачи овладение техникой и успешно решила ее, в наши дни необходимо поставить и решить задачу обучения хозяйственников, партийного и профсоюзного актива предприятий — экономике, научному управлению современным производством, социологии. Решать такую задачу нужно по-государственному, а не эпизодическими лекциями в конце рабочего дня и семинарами раз в месяц.

Еще серьезнее обстоит дело с объективными основами волюнтаризма.

Было бы неверно думать, что в плановых органах и министерствах сидят люди, которые только тем и заняты, что создают трудности предприятиям. Дело, разумеется, не только в косности отдельных работников, в привычке к определенным приемам работы. Проблема состоит в том, что по своей сути планирование не имеет и не может иметь тех жестко определенных параметров, которые существуют в технике.

Когда конструктор создает машину определенной мощности, то он совершенно точно знает, какой ему нужен материал по прочности, стойкости и т. д. В экономике подобная точность невозможна. Даже при полном расцвете математических методов в экономике никакие ЭВМ сами не смогут решить, какой из возможных вариантов должен быть принят, так как, кроме экономической выгоды, существуют политические, национальные, стратегические, исторические, социологические и другие факторы, которые не могут быть сброшены со счетов. Поэтому субъективный фактор никогда не будет исключен в экономике.

Следует иметь в виду еще одно обстоятельство. Неисчислимы природные богатства страны и огромные возможности повышения эффективности производства в результате модернизации фондов вызывают неослабевающее стремление у хозяйственников получать ассигнования на капитальное строительство и строить. В каждом отдельном случае обоснования эффективности капитальных вложений действительно выдающиеся, и «жаль» упустить возможность их реализовать. Отсюда большой нажим «снизу» на Госплан в части лимитов на строительство. Не всегда удается до конца противостоять этому натиску. Тогда в ответ на излишние (против реально возможных) капитальные вложения для их обеспечения в плане производители строительных материалов и оборудования получают задания, также не полностью обеспеченные материально.

Образуется заколдованный круг.

Дело осложняется и тем, что принимающий решения хозяйственный руководитель еще не в полной мере несет ответственность за свои решения. Если в результате неразумной перестраховки возникнет дефицит лезвий для бритвы или вследствие необоснованного оптимизма магазины будут завалены швейными машинами, то уровень и условия жизни соответствующих работников министерств и главков не изменятся. Это обстоятельство имеет исключительное значение, и им нельзя пренебрегать.

Означает ли сказанное, что социалистическое общество бессильно против проявлений волюнтаризма? Ни в коей мере! Следует лишь проанализировать опыт истекших пятидесяти лет и сделать из него правильный вывод.

На наш взгляд, этот опыт, рассматриваемый сугубо экономически, свидетельствует о том, что все попытки изжить волюнтаризм одними административными мерами или заклинаниями ничего не дают. Сотни фактов убеждают нас в том, что нужно действовать экономическими методами — заставить хозяйственные органы компенсировать полным рублем тот ущерб, который они причинили предприятиям нарушением их прав, своей плохой работой. Разумеется, здесь неуместно решать, в каких случаях, за счет каких фондов эти органы могут осуществлять такую компенсацию; это вопросы практические, финансовые, легко разрешимые. Пусть сперва убытки покрываются за счет министерства или главка (а счет не бездонный!). Затем, естественно, появится необходимость затронуть и зарплату конкретных виновных лиц. Полезно напомнить, что В. И. Ленин требовал конфискации имущества руководителей трестов, допустивших убытки, и передачи государству выручки от продажи этого имущества. Реформа должна перевоспитать тех хозяйственников, которые медленно приспосабливаются к новым условиям развития экономики. Предприятия получают устойчивую базу для широкого привлечения масс к участию в управлении. Сказанное, разумеется, ни в малейшей мере не умаляет роли моральных, организационных и политических форм и методов воздействия и воспитания.

IX

В заключение несколько слов о «человеках», интересующихся нашей реформой за рубежами Советского Союза. Как следует из предыдущей фразы, имеются в виду не друзья СССР и не те объективные исследователи, которые пытаются разобраться в существе экономической политики нашего государства на современном этапе. Речь идет о тех буржуазных экономистах и пропагандистах, которые используют любой шаг в развитии нашей страны для того, чтобы клеветать на социализм, активизировать антикоммунизм и пытаться ловить рыбу в замутненной ими же воде.

Общезвестно, что переход к экономическим методам управления народным хозяйством вызвал подъем антисоветской клеветы во многих буржуазных странах. Вывод — обыкновенный, знакомый нам уже полвека: марксизм потерпел крах, Советский Союз, мол, восстанавливает прибыль, потому что капиталистические методы хозяйствования оказались неистребимыми. Верил ли тот, кто писал такое, в то, о чем писал? Разумеется, нет. В наше время мало уже кто не понимает разницы между прибылью при социализме и прибылью в условиях капитализма. Следовательно, и речи не может быть о простом заблуждении. Тут откровенное стремление сбить с толку массы трудящихся, тянущихся к социалистическому переустройству общества.

Что действительно беспокоит этих экономистов и пропагандистов — это большие потенциальные возможности, заложенные в реформе, быстрый рост экономики Советского Союза — как экономического потенциала страны, так и уровня жизни народа. Чем дальше, тем чаще подобные нотки вырываются сквозь зубы «специалистов» по советской экономике. Тут ничего не поделаешь, нам придется их все время огорчать. Те огромные успехи, которые принесла реформа нашему народному хозяйству за последние три года, это еще даже не цветочки, за которыми

следуют ягоды, это только самые первые всходы, которые дали экономические методы хозяйствования, выражающие интересы каждого трудящегося. Однако такие всходы достаточно наглядно показывают, какой урожай ждет нас впереди. Именно это обстоятельство сильнее всего тревожит дальновидных экономических обозревателей солидных буржуазных газет и журналов.

* * *

Мы закончим этот очерк, пожалуй, тем же, с чего его и начали. Самое главное, коренное преимущество нашего социалистического общества перед капиталистическим состоит, как уже говорилось, в органическом единстве интересов каждого человека, каждого предприятия и страны в целом. В истории человечества не было еще подобного общественного строя. Это единство интересов превратилось в гранитную стену, о которую разбились на заре советской власти все попытки ее врагов уничтожить советский строй. Это единство интересов было источником индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, культурной революции, короче говоря — всех успехов нашего государства за полвека его существования.

Хозяйственная реформа в еще большей мере, чем когда бы то ни было до этого, создает условия для того, чтобы интересы трудящихся проявлялись и удовлетворялись в наиболее полной мере и притом так, чтобы индивидуальные и коллективные интересы гармонически переплетались и сливались в единый общий народный интерес. Именно поэтому советские люди полны уверенности в том, что решения XXIII съезда КПСС принесут нам огромные экономические достижения. Само собой разумеется, что столь большое и сложное дело, как хозяйственная реформа, не может осуществляться без сучка и задоринки и не может дать полного эффекта за два-три года. Нас не должны смущать никакие частные недостатки и срывы, более медленное, чем хотелось бы, решение каких-либо вопросов. Это вполне естественно и неизбежно при решении задачи столь многогранной и сложной. Зато важно другое: переход к новым условиям хозяйствования происходит неотвратимо, расширяясь и углубляясь, накапливается опыт, отсеивается неверное, ненужное и утверждается прогрессивное. Идеи и принципы, положенные в основу решений Пленумов ЦК и XXIII съезда КПСС, все более и более овладевают массами и потому становятся все более и более мощной и победоносной материальной силой.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

А. МЕЛИК-СИМОНЯН

★

СТРАНА ТРИНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ

Заметки журналиста

Наши сведения о географическом, экономическом или политическом положении страны, в которую мы попадаем впервые, почти всегда оказываются недостаточными, как недостаточно знание грамматики для свободного владения языком. Поэтому с новой страной, как правило, знакомятся дважды: предварительно и непосредственно.

Сначала дома роешься в учебниках и справочниках, выпытываешь у повидавших белый свет путешественников, жадно усваиваешь любые сведения, касающиеся тех мест, куда тебе предстоит ехать. Приехав же туда, убеждаешься, что страна эта не так уж похожа на ту, какой ты ее себе представлял.

Накануне отъезда в Эфиопию я заглянул в чемоданы и рассмеялся:

— Мы едем в африканскую страну, откуда рукой подать до экватора. Следовательно, все эти свитеры и пальто нам ни к чему.

— Но мы будем совсем раздеты! — воскликнула жена.

— Так и надо жить в Африке.

В Аддис-Абебе, греясь по вечерам у камина, я ломал голову, откуда тут такая холодина, если среднегодовая температура колеблется между плюс 26 и плюс 14 градусов Цельсия.

Но, кроме этих мелких разочарований, непосредственное знакомство с Эфиопией всегда давало радость узнавания, а вместе с ним приходило и восхищение этой древней страной и ее народом.

Три тысячи лет Эфиопия была независимой. Пять лет там беспокойно жили итальянские фашисты, но этот срок настолько незначителен по сравнению с тысячелетиями, что им можно пренебречь. И им справедливо пренебрегают, когда говорят, что Эфиопия — единственная страна африканского континента, избежавшая колониализма. А ее народ избежал тяжелой моральной гравмы. Поэтому каждый эфиоп разговаривает с белым, как с равным, без подобострастия и ненависти.

Эфиопия — христианская страна. Христианство укоренилось здесь в четвертом веке и сохранилось до наших дней, несмотря на плотное мусульманское окружение. Правда, среди многочисленных племен империи немало приверженцев ислама.

Первым эфиопским императором был Менелик I, сын царицы Шебы, известной у нас под именем царицы Савской, и иудейского царя Соломона. С тех пор бразды правления с небольшими перерывами переходили от одного представителя Соломоновой династии к другому. В наше время они в руках двести двадцать пятого императора Эфиопии Хайле Селассие I, при котором страна получила кон-

ституцию и парламент. Но еще на наших глазах происходит процесс формирования эфиопской нации из многонационального и разноязычного населения страны.

Итак, Эфиопия прошла сквозь века, сохранив свою независимость, религию, государственный строй. Пример такой стабильности исключителен не только для стран Африки, и это обстоятельство — предмет гордости каждого эфиопа.

Уже в первые недели пребывания в Эфиопии я познакомился с художником Афеворком Текле. Его «Цветком Маскаля» я восхищался еще в Советском Союзе, хотя и приходилось довольствоваться репродукцией. В Аддис-Абебе я любовался выполненными им витражами в Доме Африки. Знакомясь со мной, Афеворк сказал о своем огромном желании посетить Советский Союз. А когда этот визит состоялся, он часто повторял: «Я надеюсь очень, что это не в последний раз». Я познакомился с редактором правительственной газеты «Эфиопиан геральд» — Тегенем Йетеша Воржом. Это человек своеобразного образа мышления, старающийся объективно разобраться в обстановке и событиях нашей планеты. Я познакомился здесь еще со многими другими интересными людьми, придерживающимися самых разных взглядов в вопросах литературы или международных отношений, но всегда приветливых, с симпатией относящихся к нашей стране. Взаимопонимание достигалось легко. Первое время меня даже удивляла эта легкость. Я готовил себя к жизни в чужом мне мире, с чуждыми мне по своим восприятиям и характеру людьми. Оказалось, однако, что мы хорошо понимали друг друга, даже если в чем-нибудь и не соглашались.

После этого Эфиопия стала мне словно роднее, будто я уже видел ее однажды. Казалось, ее небо, горы, реки, долины я знал по Кавказу, Кубани или Украине, а язык эфиопов слышал где-то в Дагестане или, может быть, в Кабардино-Балкарии. И я почувствовал себя ближе к дому, хотя не забывал о том, что он далеко.

Аддис-Абеба мне тоже понравилась, хотя я не находил прямого сходства с каким-то определенным нашим городом. Здесь чувствуешь себя, как на вышке, вознесенной к небу почти на три тысячи метров. Если бы с нее можно было увидеть всю страну, то перед нами предстали бы зеленые плоскогорья, перегороженные скалами, разрубленные каньонами; саванна цвета соломы; и Данакильская каменная пустыня цвета расплавленного сургуча. Взгляд пропетлял бы по извилистой границе песка и моря, проводил в далекий путь мутно-коричневые воды Голубого Нила.

Улицы Аддис-Абебы устремляются вниз или круто взбираются вверх, словно под ними волны застывшего океана. Прогулка по улицам скоро напомнит вам о сердце. Но, как ни странно, здесь можно увидеть немало прохожих, которые спокойному шагу предпочитают бодрый аллюр. А в дни национальных праздников тысячи людей бегают по городу да еще пританцовывают и поют.

Город приземист — приземисты и нарядные коттеджи, и неприглядные жилища-гнезда бедноты. Но в столице все увереннее входят пяти-шестиэтажные, с фантазией декорированные европейские здания. А самые высокие точки Аддис-Абебы — это крыши Дома Африки и государственной типографии «Берханена Селам», крест церкви Святой Троицы и полумесяц мечети, возвышающейся над суматошным и пестрым базаром.

На улицах — много автомашин самых разных марок. Много прохожих: в европейских костюмах при галстуках — это местные чиновники, торговцы и дипломаты; в джинсах, в шортах женщины и мужчины — это туристы; в белых шамах-накидках, шамах с цветными вышивками, в старых, посеревших шамах, ниспадающих на манер римской тоги, в брюках цвета электрик, в платьях цвета гранатового сока, под оранжевыми, синими или красными зонтиками. Некоторые мужчины идут с длинными палками, переброшенными с плеча на плечо вроде коромысла. Кисти рук, отдыхая, свисают гроздьями черного винограда. Головы посажены прямо. Босые ступни мягко ступают по асфальту.

Столица Эфиопии покорила своей приветливостью, широко распахнутыми воротами для людей всех национальностей и вероисповеданий. Итальянцы чув-

ствуют себя здесь прекрасно. Им никто не напоминает о трагических событиях конца тридцатых годов. На улицах часто можно видеть стариков итальянцев, прогуливающих со своими шоколадными внуками и внучками.

— Моя страна очень гостеприимна, — сказал Цегай. Он был галласом¹. У него были правильные черты лица — тонкий, немного вздернутый нос, тонкие губы, а на верхней губе — изящно подстриженные усики. Кожа была цвета молочного шоколада, а волосы короткие, вьющиеся. Шутили, что он сын одного из вождей галласов. Но сам Цегай утверждал, что это не шутка.

Четверо эфиопских журналистов и я сидели за столиком национального ресторана. Столик был круглый, деревянные стулья круглыми, и сам ресторан был круглый, как тукуль — конусообразное жилище эфиопского крестьянина, — только гораздо больше. Съев огненный вотт² и кое-как затушив пожар в желудке тэджем³, мы пили маленькими глотками горький харарский кофе, который тоже предмет гордости эфиопов.

— А наша история! — поддержал его Макконен. — А памятники архитектуры! Памятники древнего Аксума...

— Мы пронесли свою независимость через века, — с гордостью сообщил Берхану.

— Когда-то Аксумское государство достигло вершин цивилизаций, — сказал Тесфай.

Эфиопы пришли к выводу, что преодолеть в короткий срок отсталость им может помочь только плановое ведение хозяйства. В 1957 году страна начала осуществлять свою первую «пятилетку». Ограниченные масштабы собственных научных и экономических исследований создавали много трудностей, к преодолению которых она не была готова. На помощь приглашены были иностранные специалисты, и среди них много из социалистических стран. В основу развития были положены серьезные научные — экономические и технические — разработки. Результаты первого пятилетия не оказали, правда, положительного влияния на жизненный уровень народа. Но зато в конце 1967 года промышленная продукция в три раза превысила (в стоимостном выражении) промышленную продукцию 1962 года.

На протяжении столетий изменения в жизни эфиопских крестьян, составляющих девяносто процентов населения, были почти незаметны. Да и сейчас они, как и раньше, собирают небогатые урожаи ячменя, проса, бобовых, пшеницы и кукурузы.

...Я иду через поле туда, где два быка с натугой тянут соху. Уродливое деревянное орудие похоже на какое-то ископаемое животное и, уж конечно, имеет куда большее отношение к археологии, чем к современному земледелию. За сохой вьется кривая бороздка глубиной сантиметров в пять. Быки останавливаются. Молодой эфиоп проводит ладонью по лицу, и ладонь становится мокрой.

— Это не мое поле, я его арендую, — говорит он. — Чтобы вспахать это поле, мне надо очень много раз пройти туда и обратно.

Я видел в Эфиопии не только такие архаические картины, но и вполне современные механизированные фермы и кооперативные хозяйства. Правда, их еще пока очень мало.

Я посетил кооператив в провинции Каффа, на родине кофе. Каффа оставалась самостоятельным королевством до 1897 года, когда император Менелик II присоединил ее к своей растущей империи.

Деревня Агаро состояла из одной улицы, которая поднималась, опускалась и извивалась вместе с неровным рельефом. Улицу сопровождали тукули, в которых было темно и пахло гарью, как в прогоревшей печи. Унылый их облик несколько скрашивали, полуприкрывая от взоров, листья бананов, слегка шевелящиеся на слабом ветру. Под ними копошились голые дети.

¹ Галласы — одна из народностей Эфиопии.

² Вотт — соус из перца барбара с мясом, чли курицей, или овощами.

³ Тэдж — медовый некрепкий алкогольный напиток.

Кооператив (он был создан в начале шестидесятых годов) находился на окраине деревни. У весов и складских помещений толпились десятки людей. Женщины и девочки зашивали мешки с кофе. Всеобщим вниманием пользовался учетчик Мебраату Цегай. Он делал в своей тетрадке какие-то пометки, окруженный уважительным молчанием, потому что многие ни читать, ни писать не умели. Увидев незнакомого человека, Мебраату дал выход своей общительности и продемонстрировал хорошее знание английского языка. Он стал объяснять мне:

— Раньше здесь был лес. А земля принадлежала вон тому старику. Его зовут Гезаань Деста. Он отдал эту землю нашему кооперативу. За деньги, конечно. Вступительный пай члена кооператива — сто эфиопских долларов... Что вы говорите?.. Если нет денег, то можно внести позднее. Но лучше, если без задержки. Потому что нам нужны средства. Нужны грузовики, чтобы отвозить кофе, склады, чтобы хранить кофе. В кооперативе у нас теперь сто шестьдесят пять членов. А вот и наш президент ато¹ Айяле.

Как и учетчик, президент был человеком вежливым, но более сдержанным. Он сказал, что цель кооператива — продавать кофе, минуя перекупщиков: это увеличит прибыль сборщиков кофе. На сколько увеличит, он пока не знал, потому что кооператив совсем молодой, а яйца считают после того, как курица их снесет.

Развивающемуся народному хозяйству Эфиопии нужны грамотные, образованные работники. Еще недавно просвещение было отдано на откуп церкви и сводилось к обучению амхарской² грамоте и формальному знанию древнеэфиопского языка — гииз. Начало современному образованию было положено в этом веке императором Менеликом II: появились начальные и средние школы с обязательным изучением европейских языков.

Последние десятилетия отмечены новыми усилиями правительственных и общественных организаций. Строятся школы. Университет имени Хайле Селассие I, технологический, строительный, сельскохозяйственный колледжи выпускают из года в год специалистов. А в Бахр Даре Советский Союз построил и передал в дар Эфиопии политехникум, самый крупный в стране.

На дороге между Аддис-Абейой и Бахр Даром находится город Дебре-Маркос — центр провинции Годжам. Одноэтажные дома окантовывают неширокие улицы, лучами расходящиеся от просторной площади, где расположены муниципалитет, полицейский участок и бензоколонка компании «Шелл». Над городом господствует воздвигнутая на холме резиденция губернатора провинции. Отсюда виден весь Дебре-Маркос с его новой больницей, школой, четырьмя церквями и тюремными бараками, расположенными у самого подножья холма.

В городе восемнадцать тысяч жителей, две с половиной тысячи из них — школьники. Уроки во всех классах кончаются одновременно, и тогда по прилегающей к школе улице невозможно проехать. Я терпеливо ждал, пока полуобутая ватага детворы проходила мимо. Так как каждый из них заглядывал в окно автомашины, то я познакомился чуть ли не со всеми учащимися городка.

...Автомашина шла то вверх, то вниз, пересекая каменное дно рек, по долинам и лесам, иногда вспугивая стаи обезьян; проезжала мимо тукулей, мимо мерно шагающих мужчин и женщин, мимо цепочки осликов, меланхолично бредущих с грузом. Навстречу ползли «траки» — тяжелые грузовики, подобно ослам, груженные без меры и жалости. А потом, ближе к закату солнца, впереди блеснуло горное озеро Тана. Озеро, как маяк, приводит путешественника в Бахр Дар.

В переводе с амхарского «бахр дар» значит берег моря. В 1962 году на «берегу моря» под руководством советских специалистов началось строительство технической школы. Название это вызывало привычную ассоциацию, не вязавшуюся с масштабами учебного комплекса, поэтому вскоре комплекс этот и был по справедливости назван политехникумом.

¹ Ато — по-амхарски господин.

² Амхарский язык — ныне государственный язык Эфиопии.

Помню, утром 11 июля 1964 года я присутствовал при подписании документа о передаче советской технической школы (тогда она еще так называлась) Эфиопии. Церемония состоялась в школьном здании. Советский министр В. П. Елютин и министр образования Эфиопии Габре Мескел Кифле Эгзи обменялись рукопожатиями под фоторепортерский салют магниевых вспышек. В то же утро в Бахр Дар прибыл самолет «ИЛ-14». Открылась дверца; каски солдат, выстроившихся в карауле, приподнялись на несколько сантиметров и замерли. По трапу бежали две комнатные собачонки. Не обратив ровно никакого внимания на сотни людей и строй солдат, они сразу же заметили цесарку, которая неосторожно забрела на аэродром из соседнего леса, и бросились на птицу, а та, истошно вопя, заметалась по полю. Лица людей оставались напряженными. Из самолета вышел император Хайле Селассие I, обошел строй почетного караула, поздоровался с членами советской правительственной делегации, сел в автомашину, и кортеж направился к школе. Осмотр политехнического комплекса продолжался более двух часов.

— Ну вот, — сказал мне тогда директор школы Бакри с видом человека, открывающего новую страницу тетради. — Теперь мы будем выпускать своих специалистов. Я надеюсь, что они будут отличными специалистами. Как сама школа.

Прошло какое-то время, я снова заехал в Бахр Дар. Новый директор техникума Ифру Гебейеху около получаса говорил мне о преимуществах практических дисциплин перед теоретическими. Он горячо полемизировал, но не со мной, потому что я молчал, а сам с собой, продолжая, видно, какой-то внутренний диалог. Он говорил, что не видит смысла в геометрических формулах, если студенты не знают, как гаш¹ относится к акру.

Эта точка зрения, наверное, справедлива в конкретных условиях данной страны. Советник директора Александр Шумиков рассказывал, что многие студенты не видели рубанка, стамески, не говоря о более сложных инструментах. Но обнадеживает то, что эфиопские студенты очень восприимчивы, «быстро схватывают».

В Ассабе, где Советский Союз построил крупнейшее промышленное предприятие Эфиопии — нефтеперерабатывающий завод, возникали примерно те же проблемы, хотя задачи и масштабы стройки были другими.

Между Аддис-Абсбой и Ассабом восемьсот шестьдесят километров дороги из асфальта, камня или мягко накатанной земли. Между Аддис-Абсбой и Ассабом — горы и пропасти, покрытые туманом перевалы и равнина, высокогорные луга, часток стол деревьев и желтая саванна, наконец знойная Данакильская пустыня. Здесь среди камней гнездятся змеи и таятся ловкие охотники за ними — мангусты. Здесь увидишь независимо разгуливающих страусов. Здесь встретишь караваны верблюдов, их погонщики — данакильцы, стройные, красивые люди с широкими ножами у пояса.

Ассаб — по среднегодовой температуре одно из самых жарких мест на земле. В 1963 году под руководством советских специалистов здесь на восьмидесяти пяти гектарах базальтового плато, слегка припорошенного землей и песком, началось строительство нефтеперерабатывающего завода. В апреле 1967 года его сдали в эксплуатацию.

Люди столкнулись здесь с деспотической природой и со всеми трудностями, типичными для развивающейся страны.

На участке железобетонных конструкций я разговаривал с инструктором Матвеем Корнеевым. Солнце висело над стройкой, как гигантская раскаленная сковорода. Лицо у Корнеева было мокрым от пота и припудрено пылью. Прошло всего три дня, как он приехал в Ассаб. Его угнетало, что он не понимал эфиопских рабочих, а еще больше, что они ничего не умели делать.

За долгие месяцы общения разноязычных людей на стройке родился своеобраз-

¹ Га ш — эфиопская мера земельной площади, равная сорока га.

разный жаргон, в котором рядом укладывались амхарские, русские, итальянские слова. С лингвистической точки зрения явление это представляло определенный интерес: появлялось как бы новое эсперанто. С точки зрения общения людей явление это было поучительным и отрядным: было бы общее мирное дело, а общий язык найдется.

За четыре года строительства советские специалисты дали сотням эфиопов новые профессии: столяров, плотников, сварщиков, крановщиков, шоферов, механиков. Молодой рабочий Негге сказал мне, улыбаясь:

— Когда я пришел сюда, я ничего не умел. Не умел пользоваться рубанком, сверлом и даже молотком. А теперь я все умею. Не все, конечно, но многое. Теперь я рабочий с квалификацией. За это я благодарен вашим специалистам. И еще за то, что они такие хорошие ребята.

Колониализм помешал развитию Африки, и теперь независимая Африка наворачивает упущенное. Эта точка зрения, объясняя состояние большинства стран Черного континента, ничего не объясняет, когда дело доходит до Эфиопии, которая при трех тысячах лет независимости только пять лет была под итальянским господством. Если в первом случае можно говорить об отсталости искусственной, вызванной иностранным господством, Эфиопия — пример отсталости исторической. Почему так случилось? Виновато ли в этом географическое положение страны, или религия (христианский остров, окруженный мусульманским океаном), или феодально-монархический строй? Ответ на это может дать лишь серьезное научное исследование.

Однажды вечером перед телевизором, выставленным в витрине магазина на улице Хайле Селассие, собралась толпа. Люди с интересом уставились на голубой экран, который многие из них видели впервые. Среди них был босоногий эфиоп. Наготу его тела прикрывала плохо выделанная коровья шкура. Если вдуматься: какой парадокс! Машина времени, о которой написано столько фантастических повестей и романов, оказалась вот такой заурядной и, может быть, жестокой реальностью. На экране — ракета уносит в космос космонавтов. Что происходит в голове у этого одетого в шкуры человека, которого злая история никак не подготовила к двадцатому веку? В других случаях история оказывалась более доброй и последовательной, проведя, как опытный экскурсовод, тысячи поколений людей — от огня к колесу, к бронзе и железу, к паровой машине и электричеству, к реактивному самолету и атомной энергии. А этот в шкуре увидел все сразу: и колесо, и автомашину, и ракеты, и телевизор, — как постичь все это?! Что же происходит у него в голове? Ведь так и с ума сойти недолго!

Но он не сходит. Более того, он даже не выглядит удивленным.

Иногда мне кажется, что сначала эфиопы не удивлялись незнакомым вещам из гордости. Постепенно они привыкли ничему не удивляться. Все многотрудные достижения человечества многие из них восприняли не задумываясь, шутя, как дети воспринимают природу, пока они не становятся ботаниками, геологами, врачами, физиками, астрономами, то есть пока накопленные знания не открывают перед ними глубины непознанного. Может быть, поэтому и появилось у многих эфиопов панибратское отношение к технике. Может, поэтому у них и самоуверенность, которую можно было бы назвать поразительной, если забыть, что она рождена невежеством. Один француз рассказывал как-то, что эфиопы обратились к Франции с просьбой построить в стране атомный центр. Что же касается отсутствующих у них ученых-атомников, то они надеялись подготовить их за шесть месяцев.

Развивающаяся Эфиопия становится на ноги. Это процесс трудный и долгий. Ей помогают друзья, но, конечно, многое делают сами эфиопы. Они хотят, чтобы прогресс пришел в их страну не в виде автомашин иностранных марок, они хотят действительной экономической независимости и всеобщего образования для народа.

Я знал многих эфиопов, для которых эти цели были понятными и дорогими.

* * *

Путешествие по историческим местам Эфиопии познакомило меня с былым величием государств, существовавших здесь прежде. История страны похожа на длинную гряду гор с вершинами и глубокими седловинами. Эфиопы любят вспоминать вершины. Они гордятся ими и не скрывают этого. В славном прошлом эфиопы черпают веру в свои возможности. Исторические места они окружают вниманием и по мере своих сил сохраняют и восстанавливают.

Время, конечно, уничтожило больше, чем сохранило. Оно донесло, например, название — Аксум. Но самого государства нет, как не сохранилось и многое из того, что когда-то было столицей, центром высокой цивилизации.

В Аксум мы ехали по дороге, каких в мире немного. На протяжении почти пятисот километров она обвивает горы, скользит над пропастями, в которые даже глядеть не страшно — настолько они нереально глубоки. Автомобиль часто поднимается выше трех тысяч метров над уровнем моря, и пассажирам с фантазией начинает казаться, что они в самолете.

Мы въехали в селение, окутанное сумерками и дымом. Отовсюду неслись привычные запахи пригорелой пищи, животных, перца, нечистот. У первого дома я резко затормозил, потому что дорогу перегораживала железная балка. Рядом с нею стоял полицейский, наблюдая, уткнется автомашина в балку или нет. Мне показалось, что после того, как авария не состоялась, полицейский потерял интерес к жизни.

Нас окружили жители и стали глядеть в автомашину, словно это была клетка с экзотическими животными. Потом подошли еще полицейские, которых здесь оказалось довольно много. Они попросили, чтобы мы подвезли их товарища до следующего селения. Получив согласие, он забрался на заднее сиденье, предварительно зарядив винтовку.

Узнав, что мы из Советского Союза, наш новый попутчик оживился и стал рассказывать, что в полиции служит три года, что у него жена и трое детей, а оклад сорок эфиопских долларов в месяц — это, как сами понимаете, не жирно, на них, правда, можно купить двух ослов, а что дальше? Потом он доверительно зашептал, что в этих местах после захода солнца лучше не ездить: бандиты.

Солнце давно зашло, мы продолжали ехать и наконец добрались до очередного населенного пункта. Разговорчивый полицейский уступил место мрачному, но тоже с заряженной винтовкой. Мы слышали его, лишь когда он зевал или храпел.

На следующее утро я увидел Аксум второй половины двадцатого века. Столица могучего древнего государства оказалась заштатным грязным городком с двумя монастырями; в один из них доступ был свободен для всех, а другой — женщин не пускали, но была допущена английская королева Елизавета. Потому что для церкви было важнее не то, что она женщина, а что она королева.

Расцвет Аксума в четвертом веке нашей эры был отпразднован победой над государством Куш, и царь Эзана простер свое влияние на оба берега Красного моря. На монетах, отчеканенных в ранний период его правления, изображены были луна и звезды, а в более поздние годы — крест. Язычник Эзана стал христианином.

— Я вам покажу стелы, которые воздвиг царь Эзана, — предложил мне местный паренек.

— Хорошо. — согласился я и стал разглядывать своего добровольного гида. Его звали Гебру Гебреселассие, было ему лет четырнадцать. Черный, с крупными губами и носом тиграец¹, не задумываясь, болтал на английском и амхарском языках и, конечно, знал свой родной тигриния. Он знал имена некоторых советских космонавтов и говорил, что «Москва — голова мира».

— Вот стелы. Видите, они сделаны из монолита.

Стелы торчали, как гигантские серые свечи.

¹ Тиграйцы — народность на севере Эфиопии, в Эритрее.

— Самая большая из тех, что стоит,— тридцать метров. А эта поваленная достигает пятидесяти семи метров.

Я заметил:

— В книге написано, что первая — двадцать один метр, а вторая — тридцать три метра.

Гебру сделал вид, что не слышал:

— Одна стела была вывезена в тридцать седьмом году в Рим и сейчас стоит на Piazza di Porta Capena.

— Сколько в ней метров?

Он внимательно посмотрел на меня и ответил:

— Говорят, что двадцать четыре.

На этот раз он не ошибся.

В стелах высечены окна, и весь обелиск поэтому напоминает многоэтажное здание. Профессор аддис-абесского университета Робинсон утверждал, что подобное сооружение копировало какие-то высотные конструкции, о которых мы пока ничего не знаем.

В Аксуме сейчас около пяти тысяч жителей, тысяча из них — монахи и священники. Единственное новое здание в городе — огромная куполообразная церковь современной архитектуры, ее строительство, как мне сказали, обошлось чуть ли не в пять миллионов эфиопских долларов. Аксум обогащается новыми памятниками.

* * *

В Гондаре командную высоту занимает старинный замок. К нему ведут двенадцать ворот. После многократных усилий поддались тяжелые металлические створы, уныло заскрипели ржавые петли. Во дворе, среди суровых строений, буйно разрослась трава. Солнце и зелень оттеняют дряхлость кое-где осыпающегося камня. Однако некоторые из древних построек сохранились довольно хорошо. В одной из них даже обосновалась какая-то женская ассоциация, о чем свидетельствует надпись на лоскуте серой ткани. Но я застал здесь только сторожа, который и проснулся не сразу. Он приподнялся с пола, с трудом приоткрыв тяжелые, гноящиеся веки. Старческое лицо его было смято и сморщено, как сухой чернослив. Он долго и мучительно пытался понять, о чем мы ему толкуем, и наконец пообещал привести гида.

Наш гид знал историю Эфиопии в объеме начальной школы, в которой он и учился. У него была богатая фантазия, а главное, он пользовался ею без стеснения. Его рассказ слушался, как сказка. В книге все было иначе и, пожалуй, не так занимательно.

В семнадцатом веке «кочевавшая» прежде столица Эфиопии обосновалась в Гондаре. Это произошло вскоре после изгнания португальских иезуитов, в 1636 году по приказу императора Фасилидаса и по проектам индийского архитектора тут стали возводить мощные стены замка. Это было самое монументальное сооружение из всего того, что было построено в Гондаре на протяжении последующих полутора столетий. Оно выдержало даже жестокое землетрясение 1704 года.

Позднее рядом с замком Фасилидаса появились другие замки, церкви и прочие сооружения. В период правления Яссу I замок Фасилидаса был украшен слоновой костью, золотом, драгоценными камнями и стал «прекраснее дворца Соломона».

В Гондаре мы жили в гостинице синьора Страццо. Гостиница пустовала. Седой хозяин держался молодцом. Он говорил, что решил вернуться в Италию. Но я видел, что он ничего еще не решил. Подобно тысячам итальянцев, живущих в Эфиопии, он был на распутье. Он может быть, и хотел бы вернуться на родину, но отвык от нее: слишком долго прожил в Эфиопии и потому боялся этого возвращения. Он часто вспоминал Италию, Италия была ему нужна. Но он хорошо знал, что сам он Италии не нужен.

— Увидимся в Неаполе! — сказал нам на прощание синьор Страццо бодро.

* * *

Поездка в Лалибелу была самой запоминающейся. Наверное, из-за дороги.

У самолета, доставившего сюда большую группу иностранных туристов, нас ждало несколько десятков оседланных мулов. Англичане стали исследовать их зубы, ощупывать им ноги, немцы сначала тщательно осматривали седла, а мы с женой остановили свой выбор на тех животных, у которых были симпатичные хозяева.

В отличие от Гондара и Аксума Лалибеле не повезло. Расположенные у центральной магистрали, те имеют многие преимущества: в Гондаре — небольшие, европейского типа дома, магазины, кинотеатр и гостиница; в Аксуме — новая церковь. В Лалибеле же одни только тукули и площадь посередине селения. На площади отдыхают, поют, танцуют, прощаются с умершими. Через площадь проходят стада коров и овец, через нее же идут туристы, направляясь к древним памятникам.

С 1190 по 1228 год Эфиопией правил царь Лалибела. Он приказал в окрестностях своей столицы соорудить десять великолепных храмов, которые сохранились по сей день. Сооружение этих церквей послужило основанием для занесения имени этого царя в список святых.

Все памятники Лалибелы высечены в скалах. В здешней почве преобладает краснозем, и все церкви окрашены в красно-бурые тона. Строители начинали на ровном месте, но не возводили здания, а, вгрызаясь в землю постепенно, вытачивали его контуры, уходя все глубже и глубже. Поэтому крыши этих древних сооружений находятся на уровне земли. Ко входу в здание, который находится на глубине девяти — одиннадцати метров, ведут подземные ходы.

Выдолбить в камне здание, подобное Медхане-Алем — тридцать три метра в длину, двадцать три метра в ширину и одиннадцать метров в глубину, — это подлинно подвиг древних строителей! Памятники Лалибелы — памятники труду их безымянных создателей.

К нам подошел старик в потемневшей от грязи шамме и без слов, величественным жестом как бы заявил свои права на нас — так делают заявку на ничейную землю. У него были курчавые седые волосы и курчавая седая борода. Он опирался на палку, и спина его изгибалась колесом, словно под тяжестью невидимой ноши. Он легко ступал по острым камням большими босыми ногами и, очевидно, испытывал при этом неудобства не большие, чем я в ботинках.

Старик привел нас к церкви Святого Креста. Если взглянуть с высоты птичьего полета, так кажется, что на земле распластан гигантский крест. Однако этот крест, высеченный в оранжевом грунте, уходит на глубину нескольких метров.

У входа старик показал на ноги. Мы сняли ботинки и вступили в священную обитель по грязному, выщербленному полу. Было сыро и темно. Уцелевшую роспись стен прикрывали полуистлевшие тряпки. Мы то и дело спотыкались о лежавшую на полу старую утварь священнослужителей. Выйдя из церкви, мы с облегчением вздохнули.

Когда мы уже поднялись по подземному ходу на поверхность, старик показал на скалу, покрытую черными пятнами — это были входы в пещеры, — и произнес: — Монахи.

Скальные жилища не роскошны, но жить в них — привилегия, такая же несомненная, как принадлежность к монашескому сословию. Здесь, в Лалибеле, это сословие довольно многочисленно — сорок человек. А медицинский персонал единственного местного «центра здоровья» состоит из одного человека, хотя потребность в тех и других ощущается обратно пропорционально.

Для жителей Лалибелы, как и для населения всей Эфиопии, характерна пестрота этнических типов. Кажется, здесь перемешались и Черная Африка, и Аравия, и Иудея. Занимаются они главным образом скотоводством, то есть той отраслью сельского хозяйства, которая, при условии вечнозеленых лугов, требует ма-

лых усилий. Земледелию же уделяется значительно меньше внимания. Люди здесь живут бедно.

Когда мы шли по улице селения, старик наш пошел вдруг как-то боком и быстро, словно краб, в сторону. Потом остановился и отвесил поклон, такой низкий, что губами коснулся земли. Мимо прошел человек в черном. В одной руке он держал крест, в другой ширру — подобие опахала с конским хвостом на конце. Если большой крест в некотором смысле был символом власти этого человека, то конский хвост не символизировал ничего. Человек этот был одновременно патриархом и мэром святого города Лалибела. За ним брел плечистый, но грязный и плохо одетый телохранитель. И еще один парень, который нес стул владыки. Когда владыка останавливался, ему подставляли стул. Когда он входил в церковь, его разували.

Немного погодя мы встретили еще одну процессию: мимо нас промаршировал начальник местных вооруженных сил с пистолетом на боку, а следом за ним — босоногий мальчуган с карабином на плече.

Мы взобрались на холм и оттуда смотрели на Лалибелу. Рядом с нами был, конечно, старик, а вокруг нас — сельская детвора.

Старик сказал:

— Дети.

Он ничего больше не прибавил. Может быть, он хотел сказать: «Бог с ними, с памятниками. Наше будущее — дети?»

* * *

В 1962 году, когда я приехал в Аддис-Абебу, это было единственное приличное здание на большом отрезке одной из центральных улиц. Редакция «Эфиопиан геральд» размещалась на его последнем, третьем этаже. Это было жилое помещение, и его кое-как приспособили под редакцию. Справа от входной двери находился небольшой кабинет редактора газеты Тегеня Йетеша Ворка. Рядом в такой же маленькой комнатухе сидели его заместитель Тесфай Кабтихимар и Берхану — ответственный секретарь (по сравнению с ответственным секретарем наших газет его обязанности были много скромнее). В последней, самой большой комнате находились остальные сотрудники газеты. Их я тоже представляю.

Цегай, которого я уже упоминал, готовил всю международную информацию, одновременно он редактировал спортивную полосу. В отведенном ему углу стены были постоянно клеены его собственными карикатурами, шаржами. Делал он их не очень профессионально, но с удовольствием. За столом, стоящим наискосок от него, сначала сидел репортер и редактор второй полосы Яссу, пока он не переселился в другой конец комнаты, а затем попеременно — редактор женской полосы София Ильма и репортер Миллион. Имя Миллион отнюдь не эфиопское, но само слово в амхарском языке несет распространенную смысловую нагрузку. Родители дали его сыну в надежде, что оно принесет ему счастье. Наконец четвертый угол принадлежал репортеру Макконену, с которым я всегда вел долгие разговоры об истории, этнографии, архитектурных памятниках Эфиопии.

Заходя к своим коллегам, я произносил общее приветствие, а они отвечали мне дружным помахииванием авторучек, затем я начинал здороваться с каждым за руку, обходя комнату иногда по часовой стрелке, иногда против. Когда здесь находилась София, процедура становилась более ритуальной.

С редактором приходилось держаться официальной. Иногда мы беседовали у него в кабинете, и чаще всего это были разговоры о материалах, которые я могу, а точнее не могу, опубликовать в его газете. Он обычно подчеркивал, что их газета правительственная и так же как правительство, она придерживается нейтрального курса, а потому не может быть ареной для холодной войны, следовательно, статьи, содержащие какую-либо политическую тенденцию, публиковаться не будут. В общем, все соотносилось с действительностью.

Положение правительственной газеты обязывает «Эфиопиан геральд» соблюдать три главных условия: быть рупором правительства, воздерживаться от критики политики правительства, своим примером убеждать читателей в реальности политики позитивного нейтрализма. Первое и второе условия соблюдаются. Что касается последнего, то оно осуществляется не так гладко из-за некоторых объективных и субъективных причин.

Причина, которую я называю объективной, заключается в отсутствии собственных корреспондентов газеты за границей. Газета пользуется в основном сообщениями телеграфных агентств Рейтер, Ассошиэтед Пресс, Франс Пресс, ЮПИ, чьи телетайпы установлены в министерстве информации Эфиопии. Поступление информации через каналы исключительно агентств капиталистических стран придает газете понятную односторонность.

Субъективной же причиной служит позиция самих сотрудников газеты — позиция, которая определяется благоразумием и осторожностью или симпатиями и антипатиями, короче говоря — отношением к стране или представителю страны, который распространяет статьи.

Но в целом сотрудники «Эфиопиан геральд» заинтересованы в том, чтобы не допускать на страницах газеты политических дуэлей. Потому что это избавляет их от претензий посольств или замечаний министерства информации. Как правило, им удается удерживать газету в стороне от диспутов, затрагивающих интересы стран, принадлежащих к разным лагерям. В результате газета выглядит довольно нейтральной.

Не помню, в какой именно момент между Тегенем Йетеша Ворком и мною наступило потепление. Скорее всего оно приходило медленно и постепенно. И потому незаметно. Позднее, когда мы вместе совершили поездку в городок Асбе Тафари, мы уже были друзьями.

В Асбе Тафари были поминки по его недавно умершей матери. Поминки проходили в большом шатре, где собралось более сотни родственников и знакомых. Ночевать мы устроились в неказистом, грязном отеле. Но нам очень не хотелось заходить в неприветливый темный номер, и мы, оттягивая эту минуту, долго стояли на улице под переливающимся серебром звездным небом. Тогда-то он и рассказал мне впервые о себе.

Тегень родился в 1936 году в концентрационном лагере в окрестностях Асбе Тафари. В лагере содержались чиновники и военные, находившиеся в оппозиции к режиму. Отец Тегеня — Йетеша Ворк — ранее был губернатором провинции Харар и одним из приверженцев внука Менелика II — Яссу.

С приходом итальянцев Йетеша Ворк и его семья были освобождены. Йетеша Ворк стал вице-губернатором провинции Харар. В его распоряжении было две тысячи солдат, которым надлежало охранять центр провинции и коммуникации от партизан. Вскоре, однако, Йетеша Ворк установил с партизанами связь, стал снабжать их боеприпасами и продовольствием. Итальянское командование приговорило его к повешению, но сторонники Йетеша Ворка организовали его побег, и он открыто возглавил борьбу против итальянцев в этом районе.

После победы Йетеша Ворк снова был арестован. Долгое время семья считала его погибшим. Оказалось же, что все годы бывший губернатор находился в другой провинции в полной изоляции от внешнего мира. И лишь после того, как старший сын Хайле Селассие кронпринц Мерид Азматч Асфа Воссен взял Йетеша Ворка на поруки, отцу Тегеня с семьей было разрешено жить в городе Дессие, в доме кронпринца.

В Дессие Тегень закончил семь классов. Ему разрешили переехать в Аддис-Абебу, где он кончил двенадцать классов, а затем юридический факультет университетского колледжа. Для продолжения образования его послали в США. Он возвратился через три года в звании магистра наук и журналистики. Стал работать в управлении дорожного строительства. А потом на должность редактора «Эфиопиан геральд» начали подыскивать эфиопа со специальным журналистским образо-

ванием. Единственным подходящим человеком оказался Тегень Йетеша Ворк.

Однажды журналисты «Эфиопиан геральд» пригласили меня в национальный ресторан поужинать. Мы заняли круглую беседку, в которой стояли стол и скамейка, сделанные из грубо обструганного дерева и пахнущие лесом. Официант в белой шамме принес традиционный куриный вотт, и мы стали есть побуревшее от перца мясо, запивая его пивом. Говорили о делах, представляющих обоюдный интерес.

— Мы публикуем много ваших материалов, — сказал Цегай. — Скоро в газете будут одни советские статьи.

Он понимал, что это сильное преувеличение. Настолько сильное, что ему стало смешно.

— Американских и западногерманских статей больше, — заметил я.

— Эфиопия тесно связана с Америкой.

— А это не отклоняет вас от курса позитивного нейтрализма?

— Никакого отклонения. Это и есть наш курс, — ответил Манконен, как всегда улыбаясь.

— Мы можем напечатать сколько угодно американских статей, и нам никто слова не скажет. Если же мы начнем в таком же количестве печатать вас, нам сделают замечание. — Тесфай высказал это очень безучастно и даже умудрился зевнуть. Это был его обычный прием, который помогал ему скрывать свои чувства.

— Нам уже сделали замечание, что советские статьи публикуются каждый день, — вмешался Миллион.

Он отращивал усы, а когда они вырастали, сбрасывал их. Это было как хобби. В тот день его лицо было гладко выбрито.

— Каждый день — это преувеличение.

— Нет, не преувеличение, а предупреждение.

Потом разговор зашел о Советском Союзе, о Москве, о Ленинграде и о космонавтах. Выяснилось, что мои друзья намерены погостить в СССР. Они только не знали, как это намерение осуществить.

В 1965 году редакция «Эфиопиан геральд» переместилась в новое здание типографии «Берханена Селам». Она разместилась на седьмом этаже в шести комнатах. На этом же этаже находятся редакции амхарских газет «Аддис земен», «Йезариету Этиопия» и «Сендек аламачин».

«Сендек аламачин» («Наш флаг») — самая старая из существующих эфиопских газет. Она начала выходить в период итальянской оккупации на территории Судана. После освобождения Эфиопии от итальянских фашистов газета стала издаваться в Аддис-Абебе. В ней публикуются большей частью материалы, посвященные внутренней жизни страны. Ее редактор Яред Гебре Микаел — невысокий, полный, с добрым лицом. Он очень любезен и скромен.

«Аддис земен» («Новая эра») — на один год моложе «Нашего флага». Этот правительственный орган в отличие от английской «Эфиопиан геральд» издается на амхарском языке. «Аддис земен», как и положено правительственной газете, высказывается по значительным международным событиям в духе политики ее правительства. Редактировал эту газету Берхану Зерихун, который если не во всех, то во многих отношениях представляет собой антипод редактора «Сендек аламачин» — он высокий, худой, вечно небритый, усталый и озабоченный. Берхану Зерихун слывет неплохим журналистом и писателем. Когда бы я ни заходил к нему в кабинет, я всегда заставал его углубленным в работу, а вокруг него на полу белели холмы и горки исписанной бумаги. Он часто жаловался на то, что ему не хватает времени и потому приходится работать днем и ночью. Его редко можно было видеть на дипломатических коктейлях, вечерах и голу подобных собраниях. Мне казалось, что причина этого, помимо занятости, другая, и даже не одна, а две — нелюбовь к политике и осторожность.

«Йезариету Этиопия» («Эфиопия сегодня») родилась в 1954 году как еженедельная газета на амхарском и французском языках. а с 1962 года стала выходить только на амхарском. Ее редактор Фикре Селассие Вольде Хан — тихий, уравновешенный человек, склонный больше к научной и исследовательской работе, чем к журналистике. Видимо, поэтому страницы газеты широко предоставлены статьям об искусстве, археологических раскопках или не очень сложных, доступных читателю научных открытиях.

В пяти минутах ходьбы от «Берханена Селам», где размещаются редакции этих газет, на площади Арат Кило находится здание, которое вместе с западно-германским культурным институтом делят амхарская газета «Йезиопия дымц» и «Войс оф Эфиопиа». Названия той и другой газеты в переводе означают одно и то же — голос Эфиопии. Но на этом их сходство кончается. Амхарский «Голос» настойчиво штурмует общественные пороки, чем завоевал популярность читателей. Английский «Голос» ничего не штурмует, и читают его не многие. Любопытная деталь: редакторы этих газет состоят в родстве друг с другом, хотя и внешне и внутренне они люди разные.

Эфиопские журналисты оставили у меня добрую о себе память. Это приветливые, честные, любящие свою профессию и верящие в ее общественную полезность люди. С некоторыми из них я по-настоящему подружился. И я был вполне искренен, когда накануне отъезда из Эфиопии в холле «Берханена Селам» сказал моим эфиопским коллегам, собравшимся на прощальный вечер:

— Когда людей связывают тепло и дружба, мысль о разлуке вызывает грусть. И я с надеждой говорю сейчас: всего хорошего и до встречи снова.

* * *

В 1963 году министром информации имперского правительства был Гирматчу Текле Хавариат. Вскоре после моего приезда в Эфиопию он принял меня в своем небольшом и очень скромном кабинете. Я рассказал о деятельности Агентства печати Новости, а он — о специфике эфиопской прессы, деликатно, но настойчиво подчеркивая нейтралистский курс его правительства.

Он произвел на меня приятное впечатление своей интеллигентностью и любезным обращением. Позднее такое же приятное впечатление произвело на меня его литературное творчество.

Расставаясь, мы обменялись, мне кажется, вполне неофициальными улыбками. Потом мы не раз встречались на приемах, участвовали в непринужденных, легких беседах. Однажды он сказал мне:

— Отец мой, Текле Хавариат, детство и юность провел в России. Вам было бы интересно встретиться с ним.

Старый эфиоп жил теперь в селении Хирна, расположенном между Аддис-Абебой и центром провинции Огаден городом Харар, на востоке Эфиопии. Я поехал туда с Тегенем Йетеша Ворком.

В пути пришлось заночевать. Мы были в трехстах километрах от столицы. Маленькая гостиница звала светом неоновой фонаря и желтоватых электрических ламп. После пыльной дороги пиво «святой Джордж» эфиопского производства показалось самым лучшим на свете. Потом нас повели через захламленный двор с маленькую комнатку с небольшим оконцем. Белье на постели было серым, и я лег не раздеваясь, и меня, конечно, стали терзать блохи. Но я не роптал, потому что уже привык здесь к этому. И еще потому, что ради встречи с таким человеком я готов был и на большие жертвы.

Мы выехали с восходом солнца. Много раз дорогу перебежали зайцы. У них были маленькие туловища и длинные ноги, причем передние почти такие же, как задние. Зайцы были похожи на поджарых эфиопских кошек. Потом перед автоматичной заматался ошалевший от страха шакал. У дороги паслись одноногие ко-
ровы.

Иногда нам встречались идущие стайками женщины в грязной, едва прикрывающей их тело одежде с тыквами на головах. В тыквах они несли речную воду. Издали казалось, что у этих женщин модные тогда в Европе прически, хотя, разумеется, они меньше всего могли думать о моде.

Селение Хирна взбирается на гору всеми своими улочками и домиками. Обогнав их, мы остановились перед деревянной калиткой, где нас с поклоном встретил сторож и проводил к дому.

С улицы дом казался одноэтажным. Но со стороны сада он был двухэтажным, и нижний этаж был несоизмеримо больше второго. Это происходило оттого, что дом прилип к крутому горному склону, на котором его поддерживали длинные, как ходули, сваи. Дом, как видно, был давно не белен, и повсюду на стенах разбегались трещины.

Перед домом стояла грубо сколоченная скамейка. На ней сидел грузный старик. Его темно-коричневое добродушное лицо окаймляла беспорядочно растущая седая щетина. Движения старика были замедленные, величавые. Лишь впоследствии я понял: это обусловлено не только возрастом, но степенностью, усвоенной, видимо, еще в молодые годы.

Старик этот был Текле Хавариат.

Сначала к хозяину подошел Тегень Йетеша Ворк, представился и объяснил ему цель нашего визита. Потом наступила моя очередь. Текле Хавариат улыбнулся мягко, приветливо и свободно, почти без акцента заговорил по-русски:

— Из России? Какое удовольствие! Милости прошу, милости прошу.

Построение фраз, интонация, манера говорить — все принадлежало прошлому. Передо мной был русский интеллигент начала века. Текле Хавариат уехал из России в 1915 году, и потому все лингвистические бури пяти десятилетий совершенно не отразились на лексике старого эфиопа.

— Совсем недавно я виделся с вашим сыном, — заметил я.

— Вы знакомы? Мне приятно.

— Я прочел его роман «Арайя». Говорят...

— Я знаю, что говорят люди, — перебил старик. — Они говорят, что Арайя — это я. Совершенно справедливо. Сын описал историю моей жизни. А еще говорят, будто роман написан мною. Это, должен я вам сказать, никак не соответствует истине. Да и посудите сами, как бы я это сделал, если пишу и думаю главным образом по-русски. Если вы не возражаете, я коротко расскажу историю моей жизни. Мне было тринадцать лет, когда император Менелик II соблаговолил отправить меня на учение за границу. О странах западных мои родственники и слышать не хотели, опасаясь, что там меня обратят в католическую веру. Согласились послать меня в православную Россию... И вот в начале 1904 года меня посадили на судно, отплывающее в Одессу. На судне оказался один большой души человек по фамилии Бабичев. Из Малороссии. Он пригрел меня, стал обучать русскому языку по басням Крылова. Вскоре я уже декламировал многие басни наизусть, и публика изумлялась. В Одесском порту на меня обратил внимание полковник Молчанов и захотел усыновить. Он отвез меня в Полтавскую губернию к своей матери — Елене Сергеевне Рахмановой, дочери декабриста Сергея Волконского. Елена Сергеевна стала воспитывать меня вместе с многочисленными внуками и полубила, как родного. Звали меня все поначалу Петей. А когда я подрос, стали величать Петром Сергеевичем...

Сначала Петр Сергеевич поступил в кадетский корпус, позднее — в Михайловское артиллерийское училище. Его манила военная академия, но туда принимали только подданных Российской империи. И Текле Хавариат вернулся на родину, чтобы испросить при дворе императора разрешение на переход в русское подданство. Оно было отпущено ему, но уже разгорелась мировая война, и возвращение в Россию пришлось отложить. И, как оказалось, отложить навсегда.

Двадцатичетырехлетний Текле Хавариат был назначен советником при военном министре Эфиопии.

Вспоминая об этом времени, он говорил, смеясь:

— Поначалу они полагали, что я умею изготавливать пушки. Иначе зачем я так долго учился? Чтобы стрелять?! Им это было непонятно.

Занимательную историю своей жизни Текле Хавариат рассказывал у себя в кабинете. Здесь были четыре грубо сколоченных кресла, письменный стол и книжная полка во всю стену. На полке стояли изданные до революции «Война и мир», «Очерки русской истории» Иловайского, «История искусств» П. Гнедича. Из России Текле Хавариат привез около семисот книг. Но в конце тридцатых годов вся его библиотека была вывезена в Италию и лишь частью возвращена после окончания второй мировой войны.

Однако были в кабинете и совсем новые издания: «Государственный Эрмитаж», «Москва», «Ленинград», а на одном большом томе я прочитал: «В. И. Ленин».

Потом Текле Хавариат перебирал в памяти годы, когда он представлял Эфиопию в Лиге Наций. Вспоминал Максима Максимовича Литвинова, который называл его «нашим милым другом».

Накануне интервенции итальянские фашисты опубликовали «обвинения» против Эфиопии, пытаясь оправдать свои агрессивные действия тем, что в стране еще, мол, существует рабство.

С трибуны Лиги Наций Текле Хавариат отвечал на «обвинения». К сожалению, сказал он, в Эфиопии еще есть рабство, но лечить эту болезнь надо не огнем и мечом, а просвещением.

— Свое выступление я закончил словами: «Но разве моя страна положила начало рабству на этом свете?!»

Потом хозяин предложил нам:

— Не желаете ли посмотреть мое имение? После военных и политических дел я отдался земледельческим занятиям, ибо от этого зависит благополучие людей.

Самой древней в саду была мушмула, высаженная тридцать восемь лет назад. Бананы покачивали тяжело ниспадающими веерами листьев, напоминающими уши слона. Но гордостью хозяина были деревья авокадо. Величиной с большое яблоко, маслянистый, защищенный толстой шкуркой плод авокадо стоит на рынке один эфиопский доллар. Каждое дерево приносит до тысячи плодов в год. А живет дерево авокадо до двухсот лет и, пока живет, плодоносит все богаче и щедрее.

В закрытой беседке, которая носит название «Лаборатория», по ящичкам и баночкам разложены семена декоративных растений. Деревья хозяин сначала заботливо выращивает в саду, а затем расселяет саженцы по склонам гор вокруг селения.

— У меня несколько гашей под фруктами и лесопосадками, — сказал Текле Хавариат. — Лес — это для будущих поколений. Плохо, когда люди думают только о себе и не думают о тех, кто придет после них.

Мы прощались очень долго, и за это время Текле Хавариат успел рассказать о своей дочери Альмаз, которая одно время жила в Москве с мужем — послом Эфиопии в СССР.

Мы горячо благодарили хозяина за гостеприимство, и он сказал:

— Я провожу вас до кареты.

Это прозвучало так неожиданно и так трогательно, что даже не вызвало улыбки.

Когда мы отъехали от дома и машина медленно сползла с горы, я услышал смех Тегеня Йетеша Ворка.

— Отчего это тебе так смешно?

— Ты чувствовал себя здесь, как дома. А я — как гость и чужеземец.

В самом деле: ведь все время разговор шел на русском языке, а я совсем забыл, что мой друг не понимает ни слова по-русски...

* * *

Я больше не встречал эфиопов, которые бы так свободно, истинно по-русски владели русским языком, как Текле Хавариат. Но найти эфиопов, с которыми можно поговорить по-русски, нетрудно. Некоторые из них учатся на курсах при Постоянной культурной выставке СССР. Впервые я посетил здесь занятия в феврале 1963 года.

Когда я вошел, в комнате оставались еще два свободных стула. На один сел я, а на соседний — пришедший следом за мной эфиоп лет тридцати. Движения его были исполнены торжественной степенности. Как затем выяснилось, он работал в отделе печати министерства иностранных дел Эфиопии, а ответственная работа, как известно, накладывает одинаковый отпечаток на всех широтах. Звали его Сема Дес-Алень. Он долго и внимательно разглядывал меня, потом спросил:

— Вы тоже изучаете русский язык?

— Я пришел послушать, как вы изучаете.

— Мы? — Он сказал это по-русски. — Хорошо, хорошо.

Он произносил слова аккуратно и нежно, словно протирал хрусталь.

Занятия вел сотрудник Института народов Азии и Африки кандидат филологических наук Евгений Григорьевич Титов. Он защитил диссертацию на тему грамматики современного амхарского языка. В Аддис-Абебе он преподавал русский язык по англо-русскому учебнику — пособию, весьма условному, так как грамматический строй амхарского языка очень далек и от русского и от английского.

Он начал урок с того, что спросил, какое сегодня число. Этот вопрос таил двойную трудность. Ну, прежде всего надо было правильно ответить по-русски. А во-вторых, по эфиопскому летоисчислению в тот день было не 8 февраля 1963 года, а первый йекатит 1955 года.

Дело в том, что Эфиопия — страна тринадцатимесячного календаря. Каждый месяц насчитывает тридцать дней, а остающиеся пять или шесть дней относятся к тринадцатому месяцу, именуемому пагум. Эфиопы ведут счет времени по Юлианскому календарю. И потому, например, наступление 1961 года в Эфиопии отмечают в сентябре 1968-го. По этому поводу «Эфиопиан геральд» в редакционной статье однажды заметила с улыбкой: «Европейцы считают, что весть о рождении Христа достигла Эфиопии с опозданием на семь лет и восемь месяцев. Что же касается эфиопов, то они находят, что европейцы, как всегда, слишком торопятся жить».

Неожиданно Сема зашептал мне на ухо:

— Вы были... где? — Он задумался и наконец сказал: — В Крсмле?

После утвердительного ответа он надолго умолк. Возможно, перенесся мыслью в Москву, куда давно уже мечтал поехать, чтобы изучать международное право.

Русский текст читал Уольде Тенсайе — преподаватель древнеэфиопского языка ка гииз в средней школе. У него запоминающаяся внешность: скуластое лицо, окаймленное бородой, большие очки с выпуклыми, как фары, стеклами. А на макушке прямо сидящий берет, напоминающий церковный купол. То ли из-за этого «купола», то ли из-за бороды Уольде прозвали здесь «монахом». Но все с одинаковым уважением относились к упорству этого немолодого человека, настойчиво овладевающего русским языком.

Впереди меня сидел седовласый Тесемма Уамича — служащий министерства финансов, отец троих детей. Я разговорился с ним. Он, оказывается, занимается здесь уже шестой год.

— Это язык великой страны, — сказал он, — но суть не только в этом, а еще и в том, что наши страны всегда дружили, вот почему я охотно посещаю занятия.

Кроме того, он с увлечением читает литературу на русском языке — газеты, брошюры по вопросам экономики и культуры.

— Как вы находите свободное время, Тесемма?

Он загадочно улыбнулся и сказал:

— Нахожу.

Сема Дес-Алень потянул меня за рукав, я обернулся и увидел капли пота на его лбу и напряженные, словно судорогой сведенные губы. Он медленно произнес по-русски:

— Я хочу поехать... куда?... в Москву. Я хочу увидеть... что? Кремль. Я хочу говорить... с кем?.. с советскими людьми.

Примерно в то же время я побывал в аддис-абеском советском госпитале и познакомился с Асэфа Аредом. Из двадцати девяти прожитых им лет он одиннадцать проработал в советском госпитале. Сначала был санитаром. Затем стал учителем на курсах по подготовке среднего медперсонала. После окончания занятий были экзамены.

Круглолицый, с маленькими усиками Асэфа говорил со мной по-русски:

— Много спрашивали нас. Много отвечали мы. Дипломы получили лучшие. Я лучшие. Я рад учебе советский госпиталь, работа госпиталь, учеба здесь, работа здесь...

Он немного запутался, но мысль была, конечно, ясна.

Я хотел поговорить с больными. Асэфа предложил:

— Хотите самый первый больной?

И он повел меня в дом к «самому первому» пациенту русских врачей. Бывшему партизану и парламентарии Фитаурари Сахлу Айялеворке шел восемьдесят второй год. Он не говорил по-русски, но вообще говорить, как видно, любил. Узнав, что я прибыл из Москвы, он засыпал меня вопросами. Сема Дес-Алень переводил как мог.

Когда Сахлу Айялеворке было около шестнадцати лет и он служил при дворе императора Менелика II, в Эфиопию прибыли русские врачи. В 1897 году они открыли первый в стране госпиталь. Русские были добрыми, отзывчивыми людьми, и многие из них носили бороды. Как раз в это время Сахлу серьезно заболел. Его положили в госпиталь. Лечил его милый врач по имени Борис Григорьевич. Они подружились. А позднее, кажется в году четырнадцатом, Сахлу получил письмо от Бориса Григорьевича из Москвы. Он хранил его двадцать с лишним лет, но во время итало-эфиопской войны оно сгорело вместе с домом. Теперь воспоминания о друге Сахлу хранит в своем сердце. Добрую память о себе оставили русские в народе. Протянув руку к окну, старик сказал:

— Вот почему эта улица называется Русской

* * *

Как я уже говорил, Эфиопия — гостеприимная страна, в Аддис-Абебе можно услышать языки разных народов. Часто слышится и армянская речь. Я познакомился здесь с несколькими армянами. Один из них — Элиас Джеррахян. Я часто заходил в его типографию «Артистик Пресс». Из окна его кабинета виднелся асфальтированный двор и около десятка автомашин. К противоположной стороне улицы прилегало маленькое безвкусно раскрашенное увеселительное заведение. Еще дальше громоздился банк, а еще на несколько сот метров дальше вздымался муниципалитет. Оба здания — банка и муниципалитета — были типичными зданиями двадцатого века. Между ними тянулась узкая и прогнувшаяся, как перекинутый через горную реку мост, улица Черчилля.

Элиас Джеррахян с большой охотой удовлетворял мою любознательность.

— Армянские беженцы стали рассеиваться по миру задолго до 1915 года — года страшной резни, кульминации трагедии, — рассказывал он мне. — Мои родители высадились в порту Джибути в самом начале века. Железная дорога тогда доходила лишь до Дире Дава. Здесь они пересели на мулов и больше месяца добирались до Аддис-Абебы. В Аддис-Абебе отец открыл кондитерскую восточных сладостей, и хотя столица была в то время большой деревней и не было тысячи вещей, в которых люди нуждались куда больше, чем в восточных сладостях, отец кое-что зарабатывал, и мы как-то жили.

Элиас и его брат Жорж учились во французской школе и одновременно работали, чтобы платить за учение. Потом они стали откладывать деньги на приобретенные типографской машины. Эта идея родилась в голове Элиаса, когда ему было четырнадцать лет. В статье Р. Панхерста «Организация образования, печатного дела, газет, издания книг, библиотек и грамотности в Эфиопии», опубликованной в журнале «Эфиопия обозреватель» № 3 за 1962 год, я прочел: «В 1934 году организована типография Артистик Принтинг Пресс братьев Джеррахан».

Элиас Джеррахан был избран вице-президентом армянской общины в Аддис-Абебе, но в 1966 году он фактически возглавлял ее национальный совет, потому что девятилетний президент общины Самуел Бехесмилиян уже отошел от дел.

В Аддис-Абебе с ее полумиллионным населением, говорят, проживает около тысячи армян. Точной цифры никто, однако, назвать не мог: перепись еще не производилась. Каждые четыре года происходят выборы в национальный совет общины, куда избирают семь человек. Эти семь затем выбирают президента и вице-президента. Выборщиком может быть каждый армянин, достигший двадцати одного года, но только мужчина. Женщины в выборах не участвуют, и такое положение вещей никому не кажется странным. Наверное, потому, что над привычками и традициями все еще тяготеет влияние Востока. У общины есть своя церковь, спортивный клуб «Арарат» и школа. Бюджет школы — шестьдесят тысяч эфиопских долларов в год. Но лишь одна треть его покрывается платой учащихся, а остальные две трети — за счет добровольных пожертвований. Раз в год национальный совет общины устраивает благотворительный вечер, на котором, помимо членов общины, присутствуют многочисленные гости — эфиопы, итальянцы, греки, французы, американцы.

Среди эфиопских армян есть коммерсанты, торговцы, ювелиры, юристы, врачи. Есть музыканты и художники. Эфиопский гимн, который исполняется по радио по несколько раз на день, написан композитором Кеворком Налбандяном.

В ноябре 1966 года в Аддис-Абебе была устроена выставка работ художника Александра Погосяна. По этому случаю «Эфиопия геральд» поместила большую статью. «Александр Погосян, — говорилось в ней, — не армянин. Несмотря на имя и предков, этот талантливый молодой художник, выставляющийся теперь в Художественном центре, родился на земле Эфиопии». Такое «присвоение» может показаться несколько бесцеремонным, но оно вполне отвечает официальному курсу эфиопизации, провозглашенному несколько лет назад. Эфиопское искусство пока еще не богато именами, а работы Александра Погосяна уже успешно экспонировались в Париже и Нью-Йорке. Правда, армяне, живущие в Эфиопии, довольно спокойно относятся к подобным фактам.

Никто не может сказать, что они не платят благодарностью стране, которая оказала им гостеприимство. Но каждый армянин сохраняет теплые чувства к другой стране, в которой многие из них никогда не были, — к Советской Армении.

* * *

Проделайте опыт: выйдите на улицу любого города Эфиопии и улыбнитесь первому встречному. Вам ответят улыбкой. С вами охотно потолкуют (если, конечно, вы поймете друг друга), постараются удовлетворить вашу любознательность, доброжелательно зададут встречные вопросы, предложат свои услуги.

Правда, приветливость не всегда бывает бескорыстной, к ней порой добавляется деловая заинтересованность. Подарите улыбку, например, парню, который предлагает вам наконецники пик, или коптский крест, или носки, или контрабандные сигареты, и он уже рассматривает вас как своего доброго знакомого. Он следует неотступно за вами по пятам. Чтобы откупиться от него, вы приобретаете у него монету времен императора Теодроса, заведомо зная, что она фальшивая. Этим поступком вы закабалиете себя окончательно. Потому что вполне естественно заключить: раз человек купил фальшивую монету, он купит и шкуру леопардовой кошки по цене леопарда. И атака продолжается: ведь у уличного «бизнесмена»

есть теперь все основания подозревать, что он имеет дело с нескушенным иностранцем.

Одного из таких уличных «бизнесменов» звали Соломоном. Видимо, в честь иудейского царя, от которого пошла династия эфиопских монархов. Но, кроме имени, у него не было ничего общего ни с царем Иудеи, ни с его потомками. Имя могучего и мудрого владыки принадлежало хрупкому человечку со скуластым лицом. С его черной кожи никогда не сходили серые разводы — грязь была светлее его кожи. Его одежда была вся покрыта заплатами, а подошвы всегда голых ног были толстые и крепкие, как на солдатских башмаках.

По улице Соломон двигался быстрым шагом, переходящим в бег, напоминающий галоп, хотя он и не принадлежал к категории уличных носильщиков — кули, которые стремительно несутся с ношей на голове, будь то стол или корзина с бананами. Соломон никогда ничего тяжелого не носил. Иногда в карманах его штанов звенели старинные монеты, но чаще всего не было и их. Он был уличным маклером, который приставал к приезжим, предлагая какую-нибудь безделицу, но заочно. А в общем, дел у него было мало, и если он и бегал, то лишь для того, чтобы отличаться от праздношатающихся бродяг.

Наше знакомство было тоже спровоцировано моей улыбкой, хотя я улыбался не ему. По чистой случайности он оказался рядом и принял улыбку на свой счет, а может быть, сделал вид, что принял на свой счет, потому что Соломон, как выяснилось, был довольно хитер.

Он подошел ко мне, поздоровался и спросил, не нужна ли мне его помощь, так как по всему видно, что я приезжий. Предложение было сделано корректно, и так же корректно оно было отклонено. Тогда он спросил, не хочу ли я приобрести картину, состоящую из сорока четырех изображений, посвященных путешествию царицы Шебы в Иудею, к царю Соломону. И здесь он очень уместно назвал свое имя.

Я расстался с Соломоном, ничего не купив у него и, казалось, не оставив у него ни малейшего сомнения в том, что и впредь буду вести себя так же. Но на следующее утро я увидел его у ворот моего дома. Он сидел и перебирал пальцами ног камешки. Он тут же пристроился ко мне и стал на ходу объяснять, что раздобыл специально для меня монеты времен Менелика II. Я ответил ему сухо, что не просил его об этом, и, следовательно, он напрасно старался.

— Я уступлю их вам за шесть долларов,— сказал он и протянул руку — на его ладони лежали четыре монеты, поблескивая, как новенькие.

— Им должно быть по крайней мере лет пятьдесят, а они сияют, как будто только что с монетного двора.

— Я их потер порошок,— сказал Соломон.

— Каким порошком?.. Впрочем, это неважно. Они мне не нужны.

— Но ведь все покупают.

— Во-первых, не все. А те, кто покупает, достойны сожаления.

В конце концов оказалось, что я тоже достоин сожаления, потому что Соломон просто сломил мое сопротивление, пропихнув четыре монеты с изображением Менелика II в мой карман в обмен на долларовую бумажку с изображением Хайле Селассие I.

На несколько дней он оставил меня в покое, а потом мы столкнулись с ним нос к носу у магазина сувениров, причем я не сомневался, что это столкновение было им подготовлено заранее. Соломон снова протянул ладонь и разъяснил, что разложенные на ладони кусочки металла — это не что иное, как монеты времен императора Яссу. Я рассмеялся. Острым чутьем дельца он угадал, что у него нет никаких шансов на удачу, и побежал дальше.

Но на другой день, когда я стоял у витрины крохотного книжного магазина под названием «Космос», я сперва спиной почувствовал приближение быстро несущегося тела, потом услышал шлепанье босых ног и не удивился, когда услышал голос Соломона:

— Здравствуйте, как жизнь?

— Спасибо за внимание. Все в порядке.

Он с улыбкой оглядел меня, словно удивлялся покрою моего костюма.

— Вам нужна обезьяна. — По интонации своей предложение носило характер скорее утвердительный, чем вопросительный.

— Мне не нужна обезьяна, — ответил я без колебаний.

— Почему?

Я не нашелся, что ответить, и просто сказал:

— Потому что не нужна.

Он посмотрел на меня пристально, но без досады, а с сожалением, как смотрят на человека, по глупости отказавшегося от своего счастья. Я вновь уставился на витрину, делая вид, что рассматриваю книги, а он пошаркал ногами по асфальту и вдруг предложил:

— А шкура обезьяны? Могу продать дешево. Могу достать шкуру леопарда, обезьяны, газели... Хотите?

— Нет. Мне нужна шкура гиппопотама.

— Гиппопотама? — Он задумался, потом серьезно сказал: — Хорошо, — и убежал.

Я пожалел, что так неосторожно пошутил, но было уже поздно. Несколько дней, выходя на улицу, я боялся, что встречу Соломона со шкурой гиппопотама. Мои страхи немного улеглись после того, как я вспомнил, что Соломон не любит носить тяжести.

* * *

— Ферендж! — крикнул мальчишка в коротких штанишках, сидевший у дороги в пыли.

Первое время, когда меня так окликали, мне казалось, что меня оскорбляют. Когда же я понял, что так местное население называет всех иностранцев, я перестал сердиться. И мне даже захотелось узнать, какого происхождения это слово. Сначала мне объяснили, что оно происходит от «франк», как здесь называли иностранцев в средние века. Индийцы называли «ференджами» также и португальских завоевателей.

В данный момент «ферендж» действительно предназначалось мне.

Мальчишка поднялся и уставился на меня. Росту в нем было сантиметров семьдесят, голова коротко острижена, а на макушке торчал жесткий, курчавый, припорошенный пылью чуб.

Так мы рассматривали друг друга, пока не подошел другой мальчишка. Этот был на сантиметров двадцать выше и по всем признакам старше, и у него не было чуба — привилегии малолетних.

— Ферендж, — сказал второй. Он произнес это слово, как обычно говорят «привет» или «хэллоу».

Он стал с серьезным видом рассматривать меня, а я, чтобы рассмешить его, надул щеки и с шумом выпустил воздух. Оба мальчишки засмеялись, и старший опять сказал «ферендж», но уже так, как говорят «чудак».

— Как твое имя? — спросил я его, выходя из машины.

— Мое имя — Машина, — ответил он по-английски.

Я не очень удивился, потому что и у нас имена бывают самые разные: Радий, Энергия, — так что почему бы и не Машина.

— А как твое имя? — спросил я того, что был поменьше.

Но за него ответил старший:

— Мое имя Мальчик.

— Конечно, — сказал я снисходительно и, как можно ниже наклонившись, повторил младшему свой вопрос.

— Мое имя Тесфай, — сказал старший.

Я посмотрел на него с неприязнью, потому что он мне явно морочил голову. Я приставил к его груди палец, как дуло пистолета, и, пользуясь тщательно подобранными амхарскими и английскими словами, постарался втолковать, что нехорошо обманывать взрослых. Он почтительно выслушал меня и сказал:

— Мое имя Беляй.

— Не знаю, как тебя зовут, Беляй, Тесфай или Машина, но ты просто лгунишка.

Я хотел было отойти в сторону, но споткнулся о камень.

— Мое имя Камень! — крикнул он.

Меня вдруг осенила догадка. Увидев рядом дерево, я дотронулся до него и вопросительно посмотрел на мальчика.

— Мое имя Дерево, — сказал он.

Мимо пробегала собака, я посвистел ей.

— Мое имя Собака! — крикнул мальчуган.

Я рассмеялся. Не только потому, что это было забавно, но и потому, что неприязнь к мальчишке испарилась. Я попрощался с ним, как со взрослым, за руку. А он, воодушевившись, волчком закружился по улице, пронзительно выкрикивая:

— Мое имя Мужчина... мое имя Девочка... мое имя Полицейский... мое имя Такси... мое имя Дом...

* * *

На полицейском была форма цвета чая с молоком, но оттенки на груди, рукавах, брюках были разные, словно молоко и чай были плохо перемешаны. У него был толстый нос и редкие усики на короткой оттопыренной губе, которая, как козырек, нависала над крупными зубами. Выражение его лица было простовато-пренебрежительно-плотоядно-ухмыляющееся. Оно мне не понравилось. Особенно после того, как полицейский сообщил мне, что я нарушил правила уличного движения: я вел автомашину по правой стороне, а в Эфиопии в то время движение было левостороннее. (Через год после этого происшествия я был остановлен другим полицейским за то, что ехал по левой стороне: в то время вся Эфиопия, и я вместе с нею, училась ездить по правой стороне улицы.)

Полицейский стал заполнять бумажку, причем издали мне показалось, что это повестка в суд. Так оно и было. На следующий день мне пришлось с этой бумажкой отправиться туда.

Суд помещался в одноэтажном каменном доме. Большая комната служила залом судебных заседаний, в двух маленьких находились чиновники и полицейские. Когда я вошел в зал заседаний, там одновременно слушались три дела. В левом углу молоденькая женщина давала показания, а лысый судья рисовал на обложке книги какие-то рогатые чудища: слушалось дело об украденной корове. Стоявшие в центре мужчина и женщина принялись кричать друг на друга, и второй — широколицый, одноглазый судья — приказал им замолчать и вызвал свидетеля. Долговязый полицейский вытянул руку и, словно багром, потянул в толпе зевака какого-то старика и подтянул его к качающемуся столику на трех ножках, на котором лежала ветхая, перевязанная веревкой библия. Старик положил руку на библию и зашевелил губами. Никто не слышал, что он говорил.

В углу справа наказывали нарушителей правил уличного движения. Здесь никакого разбирательства не было. Сержант полиции зачитывал обвинение и сумму штрафа, задавал вопрос: признает ли ответчик свою вину? Если тот почему-либо ее не признавал, сумма штрафа повышалась. Вопрос повторялся, и, если ответ оказывался прежним, штраф возрастал. Так продолжалось до тех пор, пока нарушитель не убеждался в том, что он действительно виновен.

Я учел это обстоятельство и отделался минимальным штрафом в пятнадцать эфиопских долларов¹. Полицейский, который взял у меня деньги, объявил, что не

¹ Эфиопский доллар равен 36 копейкам.

может дать квитанции. Но почему — было неясно: то ли кончились бланки, то ли затерялась печать. Он сказал, чтобы я зашел на следующий день, при этом предупредил, что новые бланки могут поступить не так скоро, а печать может не отыскаться, и может случиться, что мне придется зайти еще разок.

За квитанцией я так и не пошел.

Прошло недели две. Как-то я ехал по узкой, извилистой и крутой, как «американские горки», улице. По обеим ее сторонам теснились мясные лавчонки, стены которых были окрашены в кроваво-розовые цвета мясных туш, крошечные замызганные бары, которые обдавали прохожих звуками национальных мелодий и запахами сильно наперченной еды. По улице расхаживали собаки и куры. Один мой московский приятель говорил, что в Эфиопии собака чуть ли не священное животное, и наезжать на нее не положено. Информация была неточной: в Эфиопии, слава богу, нет священных животных. Но давить собак все равно не следует. Пока собака жива и здорова, она может не иметь хозяина, но как только та же собака попадет под колесо автомашины, у нее обязательно появляется владелец. Причем оказывается, что это была очень дорогая собака, настолько дорогая, что остается лишь удивляться, почему он ее в свое время не продал и не купил на эти деньги осла или корову. Что же касается кур, то у них действительно всегда есть владельцы. Вот почему я старательно объезжал и кур и собак, высокомерно не замечающих приближения моей автомашины.

Особую тревогу вызывали у меня, разумеется, дети, которые чаще всего резвились на проезжей части улиц, да и взрослые тоже, которые нежно приветствовали друг друга поцелуями и затевали нескончаемую беседу именно в тех местах, где мне предстояло проехать.

Так вот, когда я ехал по этой улице, вдруг откуда ни возьмись выскочил полицейский и кинулся прямо на радиатор. Я затормозил. Полицейский просунул голову в окно и попросил, чтобы я его подвез до полицейского участка, который находится по прямой метрах в трехстах, а если принять во внимание головокругильный рельеф улицы — метрах в шестистах. Над редкими усиками торчал толстый нос, а над крупными зубами нависла губа-козырек. Если это был не тот самый полицейский, который отправил меня в суд, то по крайней мере его родной брат. Делать одолжение такому человеку, да и его брату тоже не хотелось. Но в такой мести было бы что-то мелкое, недостойное, и я пригласил его сесть рядом с собой, утешая себя надеждой, что если даже это тот самый полицейский, то он по крайней мере меня не узнал. Но он спросил, на сколько долларов меня оштрафовали. Захотелось его высадить, но закон гостеприимства не позволил мне сделать этого. Я ответил. Он очень обрадовался за меня, объявив, что это хорошо. И тут же протянул руку сероватой ладонью кверху и попросил «на кофе». По-видимому, он считал, что я ему еще обязан тем, что заплатил только пятнадцать долларов, а не тридцать. Я намеревался ему отказать, но в какую-то долю секунды успел взглянуть на все это дело с другой стороны, и новый угол зрения меня заинтересовал. Коротко он сводился к следующему: человек посылает тебя в суд, потом катается на твоей автомашине, а в завершение просит, чтобы ты ему заплатил. Вообще это выглядело удивительной несообразностью. Было бы куда логичней, если б «на кофе» попросил у него я. Но именно эта несообразность так пленила меня, что я положил на его ладонь двадцать пять сантимов. Он сперва поморщился, потом снисходительно улыбнулся: он посчитал меня скупцом и дал понять, что видит, как я его надул.

* * *

Возвратившись на родину, я провел много вечеров с друзьями и знакомыми, рассказывая им об Эфиопии — африканской стране, которая с достоинством прошла через века.

Аудитория была знающая и любознательная. Кое-кто читал Дэвидсона, Тураева, Райт, а один был знаком с описанием Эфиопии, оставленным участником португальской экспедиции 1541 года Каштаньозой. Но, несмотря на такую осведомленность, они не видели, не «слышали» и не «осязали» Эфиопии.

Интерес людей к людям растет. Народы хотят знать больше о других народах. Одно из главных достоинств такихстроек, как Бахрдарский политехникум или Ассабский завод, состоит в обогащении эфиопов и советских граждан взаимной симпатией: так начинается сближение народов.

По мере того как я узнавал Эфиопию, я начал воспринимать ее радости и огорчения, как радости и огорчения близкого. О некоторых из них я рассказал. О других я хотел бы еще рассказать. Эта потребность говорить об Эфиопии вызвана, уж конечно, не безразличием — оно молчаливо, — а желанием видеть Эфиопию счастливой.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

С. Бабенышева. Один человек.. это очень много.— **Ф. Светов.** Ночь после битвы.— **И. Роднянская.** К спорам вокруг Анискина.— **Г. Березкин.** По поводу одной поэмы.— **Н. Анастасьев.** Содержание — форма — содержание.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Г. Ханин. Банки и народное хозяйство.— **В. Хорос.** Своеобразие необходимости в истории.— **В. Нерсеянц.** Этические раздумья.— **Виктор Афанасьев.** За пределами научного атеизма.— **С. Фрейдлин.** Серьезное демографическое исследование.

В. Лакшин. Рукописи не горят! (Ответ М. Гусу)

Литература и искусство

ОДИН ЧЕЛОВЕК.. ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО

Иосиф Герасимов. Пять дней отдыха. Повесть. «Молодая гвардия». М. 1968. 112 стр.

Давно сказано: «Одна ласточка не делает весны...», «Один в поле — не воин». Слова эти повторяют часто, охотно. Как ни странно, они приносят успокоение: один ты бессилён — значит, не волен и не должен что-либо предпринимать. Что поделаешь, «...не воин».

Велико значение книг, которые противостоят этой точке зрения. И не потому, что не должно думать о человеке, что он слаб, а потому, что истина — в известных словах героя Достоевского: «Знаете, как может быть силен один человек».

Иной раз не сразу поймешь, какое духовное мужество скрыто в поступке человека. Но годы идут — и вдруг обнаружится, что какой-то «ледащий и рыжий» Казанцев, «самый тихий и самый незаметный» в части, вписался в память товарищей, потому что проявил нравственную стойкость, человечность в самых, казалось бы, нечеловеческих условиях.

Казанцев — это герой повести Иосифа Герасимова «Пять дней отдыха». А Иосиф Герасимов писатель, который печатается свыше десяти лет и лишь за последние го-

ды выпустил три книги: «Далекая Вега», «Круги на воде», «Пять дней отдыха».

Последняя книга разительно отличается от предыдущих. Чем же? Книги Иосифа Герасимова читались легко, пожалуй, чересчур легко, автор как бы заигрывал с читателем: боясь ему наскучить, он самые сложные проблемы подавал нередко в облатке детектива.

А писал он о проблемах серьезных — об ответственности человека за свое прошлое, не только за поступки, ибо, по словам одного из героев романа «Круги на воде», суть людей не всегда проявляется в поступке и никогда — только в нем. В чем же еще? В умении критически оценить свой поступок и, если понадобится, предстать перед судом совести.

Исчерпывается ли, скажем, вина героя «Далекой Веге» — Станислава Распевина — проступком, приведшим к гибели его земляка и родича — Германа? Чтоб ответить на этот вопрос, надо вспомнить, как это произошло.

Распевин был призван в армию, службу проходил в тылу, а рвался на фронт, на

передовую. Но просьбы его не увенчались успехом. И он бежал. Был арестован. Герман оказался его конвоиром. Распевин уговорил Германа не препятствовать его вторичному побегу. Так он оказался на ленинградском фронте, где воевал отлично.

А Германа расстреляли.

Корни вины Распевина — давние. По-школьному педантично он рано обучился искусству распределять людей по «сортам», деля их на сильных и слабых. Герман в его представлении принадлежал к тем, кто слаб. А Распевин презирал слабость — а значит, и «суслика» (так прозвали Германа) — и не хотел думать об опасности, которой его подвергает.

Счет его ошибок и отступлений следует вести не от того дня, когда погиб Герман, и не от того часа, когда Распевин поставил его под удар. То, что он смог «выбраковать» человека за слабость — вот чем следует открыть этот счет.

А в дальнейшем Распевин не обнаружит запаса мужества, чтоб осудить себя, стимулом его существования станет самоутверждение. Потребность успеха у других приведет к карьеризму. Потребность успеха у самого себя отведет от суда совести, а без этого, как известно, человеку не дано «выработаться» в человека.

Такова авторская концепция: действительно, от книги к книге, возвращается он к мысли — «ничего в этой жизни не проходит, все с собой несем» («Круги на воде»).

Мужество правды с самим собой и окружающими, правды, какой бы трудной она ни казалась, — вот чего требует писатель от своих героев — от Распевина, партизанки Лизы, героини романа «Круги на воде», преступление которой еще тяжелее распевинского. Храбро воевавшая всю войну, Лиза под конец событий, под пытками в гестапо, выдала явку разведчика Швеца.

Швец казнен. Лиза казнена — нравственно — дважды: презрением и жалостью матери и сестры, знавших об ее трагедии, и вечным, незатихающим страхом, что муж и сын узнают об ее прошлом. Страх и бросит Лизу под машину, лишь только она услышит, что сын собирается к бабушке, а значит, и сможет узнать правду.

Проблемы романа «Круги на воде» требовали раздумий, требовали диалога между автором и читателем, диалога, который заставил бы задуматься над тем, как жить дальше человеку, прошлое которого омра-

чено преступлением. Но автор оборвал диалог. Лиза погибла, а на авансцене оказался следователь Багуев — муж Лизы, который, заподозрив в гибели жены самоубийство (что это действительно так, об этом знали мы, читатели, герои это постепенно открывали для себя), шел по следам ее жизни. И тогда-то на страницах романа вместо строя чувств Лизы оказался «пересказ» этих чувств, вместо психологической драмы — детектив.

Читаешь подряд одну за другой повести Иосифа Герасимова — и начинает казаться, что он похож на собеседника, который, рассказывая интересные истории, заглядывает в глаза: не скучно? След руки неуверенной был замечен в поисках занимательности во что бы то ни стало.

«Пять дней отдыха» — книга, написанная более естественно, вольно. Здесь нет подделки под читателя, она свободнее в построении, дает место мыслям, раздумьям — все о том же: ради чего человек живет на земле.

Что же такого сделал герой повести Казанцев, чем внушил своим товарищам по армии сначала неприязнь, почти ненависть, а затем гордость, а много лет спустя — чувство восхищения: как, оказывается, силен может быть один человек!

Казалось бы, ничего особенного Казанцев и не совершил. Просто в блокадном Ленинграде, в неистовый мороз, в стайке женщин, ждущих, что их отцы и мужья-солдаты поделятся с ними крохами хлеба, он разглядел лицо Оли Кошкиной, словно «замороженное», ее огромные, как «толстый зеленый лед, глаза», в которых застыла мольба о хлебе. Поразились красоте девушки, гибнущей красоте — «красота — это так много... как целая планета», — что-то струнулось в его душе, и возникла насущная необходимость спасти незнакомую девушку.

«Ее надо разморозить», — скажет Казанцев своим товарищам.

Но «разморозить» человека, приговоренного к смерти, означало поделиться с ним крохами своего тылового мизерного пайка. На это не смогли пойти друзья Казанцева.

И Казанцев один отправится в тяжкий, невысказанный поход во имя спасения одного человека. Он испытает счастье, разыскав Олю Кошкину, увидев, как она ест его ржаной сухарь, «наслаждаясь вкусом хлеба, живет и получает свою, никем не разделяемую радость, и только он, Казан-

цев, тайный ее соучастник». Он услышит ее молчание и поймет, что она оглохла от голода и слова его не доходят до нее, «рассыпаются на мелкие несвязные капли, как дождь, не проникая сквозь резину, скатывается с нее». Он заставит ее услышать человеческий голос, а с ним и звуки жизни. У него всего пять дней — короткий срок, чтоб вдохнуть жизнь в человека, превратившегося почти в статую. Казанцев поведет счет на часы.

За что же друзья Казанцева вначале чуть ли не возненавидели его? Они не поверили в духовность его поступка. Им показалось, что он просто увлекся хорошенькой девушкой. Нарочито грубо, не без цинизма скажет об этом Воеводин: «Все равно сейчас ты ничего не можешь. И все мы не можем...» И лишь когда они поймут, что Казанцев полюбил Олю Кошкину «за муки», оценят его дар самоотдачи, щедрость души, и, наконец, когда увидят «размороженную», возвращенную к жизни девушку, им тоже захочется стать соучастниками этой битвы за человеческую жизнь. Сознанием причастности к спасению, ощущением духовности поступка Казанцева и продиктована фраза: «Мы не сразу поняли, что он для нас сделал»...

И если в «Далекой Веге» и «Кругах на воде» автор стремился сказать о том, как губельно складывается судьба тех, кто повинен в смерти человека — пусть одного человека (само собой разумеется, что речь идет не о гибели людей в фронтовых сражениях), — то «Пять дней отдыха» — книга о счастье тех, кто сумел спасти хотя бы одного человека. Хотя бы одного.

Бывает в жизни так, что день как бы равен году. Пять дней отдыха в блокадном Ленинграде многое изменили и в душе самого Казанцева.

В первый из этих дней Казанцев еще не обнаружит мудрости и понимания другого человека — это появится потом.

В этот первый день на кладбище, куда Казанцев приведет Олю Кошкину погреться к костру, он услышит, как могильщик «вымогает» хлеб у старой женщины, просящей вырыть ее мужу отдельную могилу, — «у него, почитай, книг сорок вышло». Женщина предложит за это кольцо с бриллиантами. «Да нет, мамаша, нам эти камушки ваши ни к чему... Если копать, так и поест надо». Казанцева огорошат слова могильщика. «Вымогательство» хлеба — может ли

быть преступление страшнее в блокаду? Возмущенный, он даст себе слово убить его. Но в день второй, когда Казанцев придет на кладбище, чтоб выполнить свое намерение, он увидит опухшее от голода лицо могильщика, услышит его слова: «Я твоего хлеба суток трое не видал», «Ты покопай отдельную, я на тебя погляжу», — и перед ним окажется человек в стоптанных валенках, он «сидел, сложив по-домашнему руки на коленях, уныло смотрел на него сквозь очки».

Казанцев не исполнит своего намерения, но и не сразу убедится в ложности своей позиции — это придет к нему потом, после разговора с шофером.

«— Понятно, — сказал шофер, выслушав рассказ Казанцева о могильщике, — в семнадцатом за это шлепали.

— А сейчас?

— А сейчас хватит своих шлепать — немца надо бить».

«Все дерьмо, парень, любая монета, любой коленкор — все дерьмо перед живым и что б тебе тут ни было, хоть война, хоть мир, все об живом надо думать, а не как его шлепнуть. Пока в нем живое — он человек, а как в землю ляжет — ничто, ни он тебе, ни ты ему».

Ощущение ценности человеческой жизни остается от этой грустной повести о пяти днях отдыха солдат в голодном Ленинграде. Достоинство этой книги не только в достоверности; к автору пришло умение несколько глубже проникнуть в человеческие характеры. Повесть небольшая по объему, люди появляются как бы на миг и все же запоминаются. Запомнится шофер, человек до войны суетный, кляузный, нелюбимый, теперь устыдившийся своей прежней жизни. Хороши его простодушные мечты о будущем — он заведет себе «кралю» такую, какая в табачном ларьке торговала, и станут приходить к нему гости, он будет угощать их «соевыми батончиками», они помягче других конфет. Запомнится ленинградское небо — «сухое и плоское, как лед... на стенах домов выступила соль инея, казалось, даже камни не выдерживали мороза...». А сухарь, о котором так много говорится в повести, воспринимается как нечто живое, как действующее лицо произведения — «у него был отличный запах, у этого сухаря, даже если его подержать в руке, на пальцах оставалась сладкая горечь душистого, хорошо пропеченного хлеба».

Иосиф Герасимов, которого привлекала прежде трагедия в самом ее неприкрытом виде, который акцентировал на драматизме (так расставляют ударения над словами в учебниках для начальных школ),— вдруг

как бы остановился, махнул рукой на прежние ухищрения и написал повесть с акцентом на достоверность.

С. БАБЕНЫШЕВА.

★

НОЧЬ ПОСЛЕ БИТВЫ

Ю р и й Д а в ы д о в. Глухая поза листопада. Роман. Книга первая. «Молодая гвардия». М. 1968. 319 стр.

После тридцатилетнего перерыва в разных издательствах одна за другой стали выходить книги, так или иначе связанные с важнейшей темой русской общественной жизни шестидесятых—семидесятых годов прошлого века — народолюбием. В самые последние годы читатель получил давно ставшие библиографической редкостью «Запечатленный труд» Веры Фигнер и «Записки революционера» П. А. Кропоткина; в серии «Жизнь замечательных людей» вышли книги о Желябове и Перовской; альманах «Прометей» регулярно публикует неизвестные прежде или малодоступные материалы о событиях семидесятых годов.

Правда, авторы этих материалов чаще всего останавливаются, дойдя до 81-го года — года и наивысшего подъема, и заката «Народной воли». Дальнейшее уходит в скороговорку, перечисления, многоточия, заполняющие целый отрезок времени, вплоть до появления первых марксистских кружков в России, нового подъема революционного движения, развития общественной мысли и революционной теории. А что было в промежутке — в эту «глухую пору листопада»?

«Ночь после битвы принадлежит мародерам»,— думает в финале романа Ю. Давыдова знаменитый Герман Лопатин, за плечами которого к тому времени—дерзкое похищение Лаврова из царской ссылки, геройская попытка освободить Чернышевского, собственные фантастические побеги, работа над переводом «Капитала»... Сейчас он приехал в Россию эмиссаром не существующего уже Исполнительного комитета «Народной воли». Он старается нащупать старые и новые связи, пытается разобраться в том, что здесь происходит, в причине страшных провалов. Он явственно ощущает зловещий запах провокаторства. Лопатин «думает» здесь словами Вацлава Воровского,

но это художественное допущение в контексте романа вполне возможно: Лопатин верно схватывает ощущение самой атмосферы такой поры — «ночи после битвы», афористически точно сформулированное Воровским несколько позже.

Манера, в которой написан роман Ю. Давыдова, очень привлекательна. Это не историческая беллетристика, завораживающая читателя ловко построенным сюжетом, сенсационным раскрытием тайн и пикантными подробностями. Действием исторической прозы Ю. Давыдова движет мысль, дорогая автору. Впрочем, ему и нет никакой нужды «закручивать» сюжет или придумывать головокружительные ситуации — материал, им привлекаемый, достаточно драматичен. Но автора, повторяя, интересуют не острота и драматизм сами по себе, хотя он, так же как и его герои, пытается распутать клубок тайн и понять причины необъяснимых, казалось бы, событий; несомненный азарт исследователя рождается у автора этой книги прежде всего из вполне определенной гражданской, нравственной позиции писателя.

Лопатину не так уж сложно разобраться в обстановке и найти провокатора: и страшный провал Фигнер, и арест связанных с народолюбцами офицеров на Юге, и провал в Петропавловской крепости, как только связь с Фигнер стала налаживаться, и гибель типографии в Петербурге... Лопатин чувствует здесь одну и ту же руку — Дегаев...

Но что это за явление, как его понять? Лопатин не может «отделаться от Дегаева, не «определив» его, как натуралист определяет рептилию по системе Линнея». Что движет им в его предательстве? Ужас смерти? Но казнь никогда не угрожала народолюбцу Дегаеву за содеянное им — «сулило «лишь» каторгу». «Эгоцентризм чудовищной степени?», «ураганная жажда

существования, которая крушит все этические нормы?», «уродливая мания величия? (Как будто, черт побери, она бывает не уродливой?)...».

Лопатин чувствует поверхностность, ординарность всех этих определений, понимает, что здесь, должно быть, нечто более сложное, — и в то же время противится углублению и в дегаевскую натуру, чувствуя, что тот именно такого «углубления» и хочет страстно. И не уродливость этого рожденного страшной реакцией, жестокими царскими репрессиями явления — самое трудное для Лопатина в его стремлении докопаться до истины («А-а,— подумалось ему, как думалось некогда о Нечаеве,— а-а, как же, как же: чего вы хотите? В такой уродливой обстановке, каковы русские общественные условия, всегда будет вырабатываться известное число уродливых личностей»). Он понимает, что должен определить не только одну эту рептилию, но и ее корни, понять суть явления и его связи с царизмом. К тому же, как могло случиться, что эмигрировавшие за границу члены Исполнительного комитета «Народной воли» Тихомиров и Ошанина, отправляя Лопатина в Россию, зная о провокаторстве Дегаева, ни слова ему — Лопатину — об этом не сказали, дали ему старые — дегаевские! — явки?! Или он тоже был всего лишь «пушечным мясом»? Сказала же однажды Ошанина без обиняков: «Когда затевают захват власти, народ не больше чем пушечное мясо!»...

Герой романа Ю. Давыдова мучительно думает обо всем этом в финале романа. Перед писателем эти вопросы стояли, очевидно, в начале работы, в финале они только формулируются, ответы же дает все повествование.

Эти ответы — и в усталости Фигнер, мучительно думающей о том, что даже такое ничтожество, как Плева, разгадал неосознанное чувство облегчения, пришедшее к ней в момент ареста («Ведь это конец. А вы устали. И вы рады. В сущности, вы рады. Не так ли?»). Плева наносит свой удар в ответ на молчаливое презрение, прочитанное им в глазах Фигнер. презрение, которого он не видел «ни в мерцающем казнящем взгляде Желябова, ни в бесконечно-спокойном взоре Кибальчица, ни в задумчивых глазах Перовской». Усталость Фигнер порождена и чувством «нравственной вины за участь других» — жертв не-

объяснимых чудовищных провалов, и безуспешностью попыток хоть что-то связать и восстановить, и — тем не менее — нравственной невозможностью, как Тихомиров, уехать, оставить Россию.

Ответы на поставленные в романе вопросы — не только в том, как ловко и хитро полиция организует провокаторство в сердце разгромленного, но еще живого родовольчества. Эти ответы — это стремление разобраться в сути явления и в том, как конкретно осуществляется провокаторство Дегаева.

Дегаев лицемерит даже перед самим собой. Он не устает твердить инспектору секретной государственной полиции Судейкину об отсутствии у него. Дегаева. всяких видов — выгоды и карьерных соображений («Я хочу напомнить: я не давал согласия на простое агентство»). А между тем он настаивает, чтобы его принял директор департамента государственной полиции Плева, чтоб о нем доложили министру графу Толстому, а потом и государю императору. Но Судейкину (так же, как остальным царским чиновникам) нужны не слова, не «идеи», а работа Дегаева, все остальное тот получит за сделанное.

И Дегаев работает. Сначала почин: сразу же вслед за «побегом» Дегаева из Одесской тюрьмы в Харьковке на улице берут Фигнер, южные офицерские кружки провалены. Потом Дегаев в Петербурге — он «представитель центра», «чуть не единственный из старой гвардии». Осторожно, но последовательно и неуклонно он собирает все осколки еще недавно мощной организации. Находящаяся под надзором полиции библиотека братьев Карауловых становится постоянным местом таких сборищ — каждый пришедший туда на учет! («Карауловых этих — ни пальцем, Карауловых на развод»). Потом Дегаев налаживает связь с Петропавловской крепостью — там Фигнер и еще один член Исполнительного комитета, Златопольский. Дегаев понимает, что Златопольский сделает все возможное и невозможное, чтобы установить связь с волей и привести в исполнение какой-нибудь безумный план побега для Фигнер («Дегаев бежал из тюрьмы, еще не все потеряно», — передает Златопольскому Фигнер из одной камеры в другую). Дегаев берет все отношения с Петропавловской крепостью в свои руки, и когда «дело» созревает. Судейкин захлопывает очередную мышеловку.

Потом Дегаев посылает студента Горного института Блинова эмиссаром по провинциальным кружкам — вдохнуть жизнь и надежду в отошедших от движения и напуганных, — и один за другим исчезают все, с кем Блинов встречался. Судейкин берет только тех, на кого Дегаев указывает, и они чаще всего оказываются людьми, в Дегаеве усомнившимися...

А Дегаев, добившись наконец заслуженного им свидания с Плеве, продолжает уверять, что в его «сотрудничестве нет ни карьерных, ни меркантильных соображений», что он «не с легким сердцем» принял «миссию, которая, может быть, рисуется в невыгодном, неблагоприятном свете», что он не отрекается от своего революционного прошлого, а всего лишь «исправляет» ошибки действия «террористической фракции», что он следует философу Соловьеву, который говорит: «Правду нельзя обрести неправдой. А ведь пролитие крови — неправда». Но вот Плеве, который, разумеется, не верит ни одному слову платного шпиона-провокатора, ставит его на место: «Однако, милостивый государь, я хотел бы, так сказать, практически...»

Да, теперь Дегаев вынужден уже самой логикой предательства и провокации только эту «практику» и продолжать...

Атмосфера времени воссоздана в романе «Глухая пора листопада» с поразительной достоверностью. Знание предмета дает здесь автору ту самую свободу жизни в материале, которая чаще всего и приводит к успеху исторического романиста. Не авторские отступления, не специальные разъяснения, а точно нарисованные характеры людей, с которыми Дегаев в романе сталкивается, тех, кого он и Судейкин обманывают, предают, запутывают, от которых так или иначе оба они зависят, — помогают нам понять явление дегаевщины. Эта естественность, непредвзятость и создает в романе ощущение живой жизни и в свою очередь ведет автора к пониманию столь важной для него проблемы.

Люди, попавшие в руки Дегаева и Судейкина, проявляются различно. Скажем, Володя Дегаев — младший брат предателя, офицер, романтически настроенный юноша, с восторгом играющий в революцию. После разговора в тюрьме с Судейкиным — сначала оскорбившись его предложением — он соглашается в конце концов на мнимое сотрудничество: ему мерещится тень зна-

менитого Клеточникова, теперь он — Володя Дегаев — будет глазом революции в департаменте секретной государственной полиции. Но Клеточников был из другого материала: Володя не в состоянии переиграть Судейкина, потом он спасует в конкретном деле, когда на карту будет поставлена жизнь его и его товарищей. Володя утешится в конце концов имеющейся всегда к услугам спасительной идеей о том, что он-де должен был сохранить себя для более серьезного... В финале романа Володя восторженно слушает истеричные излияния старшего брата о его трагически великой «миссии»...

Или другая судьба — молодой московский рабочий Дмитрий Сизов, бросившийся с ножом на начальника Московского секретно-розыскного отделения Скандракова после того, как тот предложениями, посулами, наконец, угрозами разоблачения перед товарищами в несуществующем предательстве опутал Сизова с ног до головы. Или студент Блинов, нашедший единственный выход в самоубийстве, когда ему стало ясно, что он явился пусть невольной, но причиной арестов десятков людей в провинции, с которыми он — Блинов — разговаривал, спорил, которых убеждал, которых успел узнать и полюбить, которые ему доверились...

Ю. Давыдов приводит в тексте романа подлинный документ — письмо, переданное из Петропавловской крепости, об «истинном положении» в Трубецком бастионе, — документ, свидетельствующий о поразительной силе духа, глубине и широте мысли людей, поставленных в невероятные условия. В письме идет речь и о Судейкине. «Слушается, что наша гробовая жизнь нарушается таинственными посещениями. — говорится в письме. — По ночам бесшумно отворяются садовые двери, ведущие в общий коридор, окружающий весь бастион с внутренней его части. Кто-то торопливыми шагами в сопровождении служителей и жандармов направляется в одну из камер и остается там по часу, по два. Не утешитель ли являлся? Нет, здесь нет места добру, здесь рыщут шакалы и гиены — сюда является представитель известного учреждения, г-н Судейкин, и горе человеку, к которому направляются его шаги. Человек этот уже не принадлежит себе, он уже совершил запродажу своей совести, своего доброго имени, жизни друзей и знакомых.

Покупщик явился за своей добычей. Страшные муки превзошли человеческие силы, и человек пал. И все же, надо правду сказать, павших между нами немного...»

Дегаев может говорить все, что угодно, даже наедине с самим собой цитировать философа Соловьева и упиваться трагизмом возложенной на себя «миссии» — сущность провокаторства от этого не меняется. Когда-то, в самом начале их альянса с Судейкиным (каждый из них думал, что он переигрывает партнера, и оба намеревались переиграть самодержавие, не понимая, что являются всего лишь его орудием — картами в более крупной игре), они приняли совместное решение «убирать фанатиков» («с обеих сторон» — «ваших» и «наших»). Впрочем, получилось так, что убрали только «односторонне» — причем десятками. Но вот наступает срок «пугнуть высшие сферы». Разрабатывается новый план: сначала фиктивное покушение на самого Судейкина, а потом уже настоящее — в отсутствие Судейкина (он будет в отставке!) — на министра графа Толстого. Не уберегли без Судейкина-де. И тогда — триумфальное возвращение Судейкина, но теперь уже в другое кресло! В игру включается Плеве — у того свои планы...

Гиены и шакалы — мародеры гуляют ночью по улицам притихших русских городов, а Дегаев продолжает набрасывать на свою деятельность, на всю эту гнусную механику флер «высшей идеи»: «Может, один я, один во всей подпольной России, вывел математически: на прежнем, на старом пути — конец, тупик, никчемная бравада...» Судейкин-то сразу же понял его — Дегаева — силу, сказал ему «без лести»: «Вы, Сергей Петрович, самая крупная сила в революции». Да, Дегаев любил Фигнер. «...при одном ее имени у меня сейчас мальчики кровавые. Но есть молох революции...» Да, он крепко сошелся с Судейкиным — «на кон — все! Не о себе, не о своей пользе...». Программа их такая: «запугать правительство, в угол загнать удачными покушениями, всех в одном узле держать, и тех, кто во дворце, и тех, кто в подполье. И вот тут, на почве общего страха — диктуй, властвуй... Великая цель была близка: диктатура ко благу народному». «Вы вот назовите, попробуйте назвать, кто меня трагичнее как личность, как общественный деятель? На эшафоте это ведь несколько минут не дрогнуть. А мне каждый день,

каждая ночь голгофой...» И последнее: «История не спрашивает, как сделано, она спрашивает, что сделано... Я был у цели!..»

Разоблачение, так сказать, «романтики» предательства, маскирующей себя всякий раз красивыми словами о «высшей идее» и некоей «пользе», которая-де откроется позднее, цинизм и безнравственность всякого рода компромиссов и сделок с совестью, выдаваемых за революционную «железную» необходимость и особую, якобы «революционную» нравственность, — все это в романе Ю. Давыдова не декларируется, а художественно показано в судьбах людей, в воссоздании подлинной атмосферы жизни той поры. Собственно, в этом и кроется причина несомненной удачи романа «Глухая пора листопада» — точно переданное ощущение времени дает возможность читателю самостоятельно прийти к важной для автора мысли.

Это ощущение «глухой поры листопада» — в самых разных, психологических и иных, подробностях. И в «изобилии признаков ужаса, трепета, раболепия», которые улавливает в атмосфере времени только что вернувшийся из ссылки больной, измученный провинциальный учитель, на связь с которым приезжал из Петербурга «эмигрант» Блинов. Он говорит Блинову о том, каким видится ему время: «Из темных углов, с самого дна, как пузыри на болоте, поднимается соглядатай. Он вездесущ, повсюду, это ведь очень выгодная профессия. И вот осведомители эти, шпионы складываются в корпорацию. Понимаете? Во все-сильную корпорацию. И тогда... Тогда все врозь, всяк на свою кочку. Тогда, в безмолвии, топор иль гильотина, Бирон иль Робеспьер — это все равно». Блинов спорит с этим сникшим, сломленным человеком, убеждает его в том, что все это не так; Блинов смеется, ему не страшно, он занят настоящим делом, он ведь не знает, что сам является причиной гибели своего собеседника!.. Оказывается, что страшная картина эпохи — она не только в большом воображении чахоточного учителя, — все это на самом деле! И может ли быть иначе, когда хоть и существуют «писанные законы», но «в стране не существует правосознания. Нет даже правоощущения. А кому же тогда властвовать, если не тайной политической полицией?».

И она властвует — откровенно провокаторским «методом» Судейкина или «дели-

катным» — Плева, который, скажем, подкакивая министру Толстому, когда тот говорит о необходимости закрыть «Отечественные записки», нетерпеливо дожидается выхода очередного номера журнала, упиваясь «неуловимо вредным направлением» истинной изящной словесности. Или «методы» министра Толстого, упрямо убежденного, что все эти «нигилисты и отрицатели» рождены и вскормлены «не нашей действительностью», что все это идущее от литературы на погибель молодому поколению зло — «оттуда»... И даже прекрасный проект вызывает у министра: «Обратить прессу в подобие правительственного департамента, а журналистов — в департаментских чиновников, разве что без форменного сюртука...»

Впрочем, столь достоверно изображенная трагичность времени не делает роман Ю. Давыдова безнадежно пессимистичным. И не только потому, что Дегаев в финале книги изобличен, что читатель знает о предстоящем — уже на новом уровне — подъеме революционного движения (хотя читателю известны также и предстоящие трагедии). В романе «Глухая пора листопада» нет ложного бодрчества под занавес, так

часто смазывающего серьезный, глубокий художественный анализ; нет попытки найти выход в несуществующие на самом деле ворота. Автор рецензируемого романа не собирался ни пугать, ни обнадеживать своего читателя. Ему важно было проблему исследовать. Он делает это глубоко, серьезно и жестко. Приговор чудовищному порождению царизма — Дегаеву и дегаевщине — в романе окончательный и не подлежит никаким кривотолкам.

Быть может, эта художественная беспощадность, органично возникающая в реалистически точно воссозданной картине жизни, во всестороннем исследовании явления, и вселяет в читателя надежду, оставляет чувство светлое даже после того, как он проходит кругами ада тех лет. Знание всегда оставляет ощущение силы, а понимание причин не может не вселять надежду. Победа здесь уже в определении «рептилии», в том, что она вытащена на свет божий, что ей не укрыться в тени высоких слов и «романтических» рассуждений о «миссии», предстоящем «благее» и якобы не различимой сразу «пользе».

Ф. СВЕТОВ.



К СПОРАМ ВОКРУГ АНИСКИНА

Виль Липатов. Деревенский детектив. Три зимних дня. Повести. «Знамя», № 10, 1967; №№ 1, 2, 1968.

Виль Липатов. Лосиная ность. Кто уезжает, а кто остается... Развод по-нарымски. Панна Волошина. Рассказы. «Знамя», №№ 8, 11, 12, 1967.

...Одна правда — она неполная...
Виль Липатов.

Липатов — писатель дискуссионный. В свое время спорили о «Стрежне», схватывались из-за «Глухой мяты», по поводу «Чужого» прямо-таки копыя ломали. Скажем сразу: способность липатовской прозы побуждать критику к пространным дискуссиям представляется нам несколько загадочной, так как сам писатель, кажется, больше склонен к бесспорности и неоспоримости.

Вспомним хотя бы спор, развернувшийся несколько лет назад вокруг «Чужого». Это было настоящее состязание парадоксов. Некоторые участники дискуссии даже объявили явственно идеальных героев повести отрицательными, «чужими», соответствующим образом перетолковав название вещи. Ав-

тору, «как лицу заинтересованному», пришлось ответить спорщикам и обратить их внимание на то, что все вехи в его повести расставлены достаточно ясно.

Вот и цикл о «деревенском детективе» — о старом миллионере Анискине из нарымского села Кедровки — снова вызвал столкновение мнений¹. Между тем он построен с завидной идейно-художественной пропор-

¹ В. Вахтин, «Кто убил Степана Мурзина»; И. Дедков, «Легенда об участковом Анискине»; Ф. Левин, «Царь и бог Анискин»; Д. Тевекелян, «Есть с чем сравнить» («Литературная газета», №№ 12, 15, 1968); Л. Поликовская, «О детективе, деревне и Виле Липатове» («Московский комсомолец», 1 марта 1968 года).

циональностью, казалось бы, способной всех удовлетворить и умиротворить.

В трех вещах из шести опубликованных («Деревенский детектив», «Панка Волошина». «Развод по-нарымски») господствует юмористическая стихия, в остальных трех («Лосиная кость», «Кто уезжает, а кто остается...», «Три зимних дня») — драматический накал. Так что зря иронизирует один из участников спора (И. Дедков) над «приятным погружением в теплые воды комедийного сюжета». Скорее права Д. Тевекелян, напомнившая в связи с жизнеописанием Анискина «аксиому, что чувство юмора не снижает даже трагической мелодии». Иначе говоря, Липатов и примыкает к «серьезной» деревенской прозе, являя «достойное пополнение этого почетного ряда, не уступающее его лучшим образцам» (Л. Поликовская), и полемизирует с нею, избегая не только «приторного, разухабистого благополучия», но и «выдуманной житейской усложненности» (Д. Тевекелян).

Далее, в жанровом отношении «материал» цикла распределяется с такой же равномерностью. Построение двух вещей основано на детективной интриге (это «Деревенский детектив» и «Три зимних дня»), еще в двух («Лосиная кость», «Развод по-нарымски») она слегка подвечивает повествование, и, наконец, в двух остальных ее нет вовсе: «Панка Волошина» и «Кто уезжает...» написаны как психологические сценки. Таким образом, с одной стороны, «это именно детектив в почти классическом своем варианте... Все, чем славился Шерлок Холмс, всем обладает деревенский уполномоченный Анискин» (Л. Поликовская). «Русский Мегрэ», — замечает другой критик (и советский патер Браун, добавим мы, учитывая склонность Анискина к сердцеведению). Но, с другой стороны, «чисто «детективной» линии... в сущности, нет». Словом, перед нами слияние детектива с «высокой» литературой, утерянное со времени «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых», а теперь возрожденное Липатовым (эта мысль принадлежит Л. Поликовской).

Наконец, — и это самое поразительное — идейная суть цикла с той же пропорциональностью замешана на двух различных заквасках. С одной стороны, «почва», беспредельная «пространственность», кондовые «вечность и бесконечность» деревенски-природного бытия в его привлекатель-

ной поэтической простоте; но, с другой стороны... С другой — Липатов в последней по счету, самой объемистой и философически загруженной повести «Три зимних дня» так радикально изобличает и бичует односторонность подобного взгляда на жизнь, что впопыхах даже допускает некоторые неувязки, вообще говоря, мало характерные для его аккуратной работы. К примеру, дочка Анискина Зинаида в начале цикла без всякой симпатии обрисована как представительница той части молодого поколения, которое не желает работать на колхозной ферме и «совершенно пустыми глазами» озирает родной дом и двор. Там у нее «плечи — как у зрелой бабы, а ноги под столом — хоть гончарный круг верти». В последней повести Зинаида — носительница «иной, более утонченной духовной жизни» (Л. Поликовская), пришедшей из города в глубинку вместе с полированными тумбочками, крахмальными салфетками и песней «Всю ночь кричали петухи». Здесь у нее «хрупкие плечи», «узкие напряженные плечи». Впрочем, такие мелочи замечает лишь глаз чересчур въедливого (и, значит, недоброжелательного) читателя; и в конце концов могла же Зинаида за истекшее между обеими повестями время «по-городскому» похудеть... А вообще Липатов защищает «законы древние, как солнце, и простые, как молоко матери» (Л. Поликовская), и вместе с тем он «сказал свои нужные сейчас слова. Он спорит со слепыми защитниками патриархальной Руси. Именно поэтому он подчеркнуто публицистичен» (В. Бахтин). Разумеется, оба критика не ошибаются, хотя и противоречат друг другу. Ведь Липатов прав во все стороны, и добросовестному ценителю только и остается, что обнаруживать все новые и новые приметы его неуязвимой правоты...

Приблизившись к главному герою липатовского цикла — к Анискину, этому «загадочному и лукавому восточному богу» (сквозное авторское сравнение), мы убедимся, что его существо тоже состоит из двух уравновешенных половинок: из непрезентабельной (однако с поправкой на величественный рост и сапоги сорок пятого размера) чудаковатости — и «тихой» (но грозной) «мудрости». В свою очередь первая слагается из: рачьих глаз, привычки вертеть пальцами около «пуза», прищипывания зубом (которое автор виртуозно разнообразит,

чтобы оно не надоедало читателю и несло «эмоциональную нагрузку»: «длинно прищипнул зубом», «трижды пощипал сразу всеми зубами», «по-утреннему прищипывая зубом», «недовольно щипнул зубом», «огорченно прищипнул зубом, а потом очаровательно разулыбался», «прицеливаясь, пробуяще прищипнул пустым зубом» и, наконец, даже — «произошло неожиданно: Анискин длинно и тоскливо прищипнул пустым зубом»), далее — из всевозможных выдыханий и придыханий («А...—выдохнул Анискин») и из кудахтанья «ах-ах-ах» (последняя черта зачем-то позаимствована у маленького человечка Авесалома Изнуренкова, фигурирующего в «Двенадцати стульях»). Конечно, «слагаемые» эти не слишком разнообразны. Впрочем, автор сам юмористически «педалирует» набор милых странностей, присущих его герою: «Участковый трижды кашлянул, сложил руки на пузе и пошел, пошел туда-сюда вертеть пальцами! По солнцу и против солнца вертел, вразнобой и вместе, большими согнутыми пальцами и прямыми, соединяя их подушечками и разъединяя, повсюду вертел пальцами участковый, а потом начал прищипывать зубом и набывать шею». Позволительно ли критику иронизировать над автором, ежели автор самолично приглашает его посмеяться над этим чудачком Анискиным?

Вторая половина анискинского существа определяется по преимуществу таинственным истеканием и рентгеновским излучением. У Анискина «глаза были серые, большие и холодные, как речные прозрачные камушки. Когда они выкатились и... замерли, из них потекло на Гришку что-то невидимое, но густое, путающее. Оно текло да текло, а потом участковый... выдохнул: «А?»; «На лице участкового появлялось известное всей деревне выражение. Это было такое выражение, когда никак нельзя было понять, что думает и что хочет от человека участковый, когда в глазах Анискина вспыхивали яркие точки, привораживающие к себе точно так, как в лунную ночь привораживает одинокий светлячок. И это были такие глаза, которыми участковый глядел вглубь и насквозь, просвечивал, как на рентгене, и по спине человека прокатывался щекокущий холодок». Вот Анискин разглядывает подозрительных братьев Паньковых (повесть «Деревенский детектив») «тихими,

задумчивыми глазами — с ног до головы, вовнутрь и через... И сник, разобрался по частям Семен Паньков...». Чувство юмора покидает Липатова, когда он описывает эту мощную радиацию. До юмора ли, если — «щекокущий холодок»? Ведь в такие минуты «большой был Анискин, величественный... и не было к нему пути, чтобы приблизиться, встать рядом, заговорить».

Однако будем справедливы: ведь эта заведомая условность характеристики — в духе детективного жанра. Шерлок Холмс тоже или курит свою знаменитую трубку, или рыскает с лупой, или ставит химические опыты, или играет на скрипке. И этим его «характерность» исчерпана. Однажды он, убежденный женоненавистник, пасует перед хитроумной женщиной. Анискин тоже нехотая попадает под обаяние женских чар (рассказ «Панка Волошина»). Прославленный сыщик должен хоть раз остаться с носом, иначе — скучно, иначе — нечеловечно.

И нег ничего зазорного в соблюдении подобных законов приключенческого чгения. Правда, у «малой» литературы не только свои — «облегченные» — художественные нормы, но и свои специфические достоинства. Приобщаясь к «дедуктивному методу» Холмса, читатель решает изящные логические задачи с неожиданным и закономерным ответом; пока вроде бы без дела слоняется по улицам незамегный инспектор Мегрэ, в его мозгу возникают интуитивные и парадоксальные ассоциации, которые читатель волен соединить в стройную цепь еще до наступления развязки; вместе с честертоновским патером Брауном мы учимся ставить себя на место другого человека и убеждаемся, что это не только кратчайший способ раскрытия преступлений, но и отличная школа гуманного здравомыслия.

Анискинское всеведение не требует от читателя умственного соучастия и мыслительных затрат. Мы должны на слово верить тому, что он все помнит, все знает, все примечает: и какого числа недодала деревенская продавщица трех копеек покупателю, и насколько понизился заработок тракториста в первый, второй и третий год неудачного брака, и с которой бабой согрешил райкомовский уполномоченный, — верить и вполне пассивно восхищаться изумительной памятью кедровского старожилы, позволяющей ему распутать любой клубок происшествий. При этом девять де-

сятых чисто «детективного» интереса к развороту событий, разумеется, пропадают. Но ведь «с другой стороны» Липатов пишет не детектив, а философско-психологическую прозу. Всезнание Анискина — это знак его почвенности, укорененности. Он, так сказать, «коллективная память» родной деревни. При таком символическом обороте дела как-то неловко, почти кощунственно требовать от Липатова легкомысленной детективной занимательности. Претензии к писателю и на сей раз отпадают сами собой.

Анискин — идеальный патрон Кедровки, некто вроде старейшины или племенного вождя. Уже писалось о том, что он сам и закон, и толкователь закона, и исполнитель оного. Как и подобает верховному носителю традиции, он разрешает тяжбы не только уголовного, но и сугубо интимного характера. Дважды мы становимся свидетелями того, как он устраивает счастье своих подопечных. в первом случае разлучает продавщицу Дуську с легковесным, неподходящим ей человеком и соединяет ее с парнем, более перспективным в матримониальном отношении (повесть «Деревенский детектив»); во втором — разводит супружескую пару, проникнув своими рентгеновскими глазами в самую суть семейных взаимоотношений: «Вы пока все тут ругались да ссорились, я все за гражданкой Косой доглядывал. Я насквозь и глубже в нее смотрел, так что теперь всеохватно знаю — никакой любви у нее к Павлу нету» (рассказ «Развод по-нарымски»).

Все это производится с помощью сыщицких дознаний и «покупок», которые испорченный цивилизацией читатель, пожалуй, отважится назвать провокационными, если сообразует их с деликатными обстоятельствами, в каких они нашли неожиданное применение. Ведь Анискин так успешно «вяжет и разрешает» именно потому, что у него вся деревня на крючке: знакомый с «личным делом» каждого, он ту припугнет, этого предупредит — и, глядишь, дело сладилось. Забот у Анискина вообще немало. Ходит он и прикидывает, кого в предсельсовета проглотить, с кем беседу провести...

Подсвеченный символическими восходами и закатами, вписанный в столь же символическую обскуру «пространственность», как сама здешняя жизнь, «неспешный», появляется на авансцене Анискин, «чтобы видеть всю землю», чтобы вершить на ней Соломонов суд. Каждый его «выход» об-

ставлен вполне ритуально: «После шести часов в горенке раздавалось сопение, кашель и легкий стук; потом начинали ныть половицы и шуршать твердая материя, затем в горенке трещала цепочка часов-ходиков, трижды оглушительно кашляли — и наступала тишина, выжидательная, готовящаяся. И уж потом раздавался веселый звон, хруст подметок и свист солдатского сукна».

Как мы видим, мудрая патриархальность «думающего картинами» Анискина облечена в современную армейскую форму, которая сидит на нем «как влитая» (хоть надевает он ее нечасто — тушуетя). Тихий, задумчивый взгляд старейшины сочетается с «милицейским прищуром». Разбирает Анискин семейную склоку, а кажется ему, что это он уголовное расследование ведет: вызвал свидетельницу, потом отослал ее с «процессуальными» словами «Ты свободная, Евдокея». Иногда он слегка путает потерпевшего с подследственным и разговаривает с завклубом, у которого украли аккордеон, в таком роде: «Прошу молчать, руками не мельтешить, отвечать на вопросы!», «Не будем пока садиться, Геннадий Николаевич, не будем».

Хотелось бы, конечно, чтобы эти два «уложения» — нравственное право с его широкой сферой приложения, опирающееся единственно на авторитет, и право уголовно-гражданское с его строго очерченными границами, опирающееся на букву закона, — не были до такой степени перепутаны в голове Анискина. Их смешение может произвести несообразности, от которых «по спине прокатывается щекочущий холодок». Однако автор дает понять, что все эти анискинские «зачну без всякой загвоздки штрафовать» и «вот она где у меня сидит, колхозная демократия!» не более чем безобидный налет профессиональной привычки. Не такой Анискин человек, чтобы рубить сплеча, злоупотреблять властью (то бишь авторитетом), он понимает сложность жизни и частенько сокрушается по этому поводу: «Ну, разве что можно понять в жизни! Ничего не поймешь в ней, в этой жизни!», «Ах, жизнь, жизнь! Что это такое — жизнь, сам черт не знает...», «Эх, жизнь, жизнь! Вот она что выделяет, жизнь-то!» А любовь Анискина к штрафам и его неприязнь к «колхозной демократии» преподнесены как авторский юморок, этаким добродушно-лукавый вызов. И опять-таки неловко ста-

новится ломиться в открытую дверь, всерьез избобличая то, что оформлено как шутка.

По ходу действия Анискину воздается хвала. «На народ смотришь не мимо, а в глубь его, кричишь от доброты, глаза порачьи таращишь опять же от доброты...», «Народ. он. Федор Иванович, правду всегда чувствует. Вот с кем ни поговорю, все в один голос: «Анискин—человек справедливый!» За то вас и любят, Федор Иванович! Без вас деревня пропала бы...», «Ты, Федор, как святой, тебя власть должна иконой сделать. Это ведь с ума сдвинуться можно, что ты почти сорок лет милиционером служишь, а вера у тебя железная». Но не автор же впал здесь в грех идолопоклонства. В первом случае хвала Анискину исходит из уст его фронтового друга, во втором — из уст деревенской обольстительницы, в третьем—из уст человека, приходящегося нашему герою сводным братом. Все прочно мотивировано. Приписывать писателю мнения, принадлежащие его персонажам,—в высшей степени некорректный критический прием.

Так что не подумайте, что Анискин — «царь и бог» в родном краю (как это показалось участнику прений о «русском Мегрэ» Ф. Левину). Во-первых, он хоть и «вровень с русской печью», а все же обыкновенный, простой человек, о чем заявляет ему с неподкупной прямоотой ближайший друг Лука. «А человек ты обыкновенный, хоть и милиционер,—сказал он дурашливо». (Заметьте, как умело снимается словечком «дурашливо» излишек патетики!) «Вот ты мне отвечай на вопросы, как на духу, и я тебе еще про тебя расскажу... Будешь отвечать?»

— Спрашивай, Лука.

— Осокорь видишь, Обишку, солнце... тебе хорошо на душе?

— Хорошо!

— Комар пищит, крыльями машет — про комара думаешь?

— Думаю, Лука!

— На небе звезды, кругом ночь, луна таращится — ты сласть под сердцем чувствуешь?

— Чувствую, сильно чувствую!

— Вот ты и есть обыкновенный человек! — сказал Лука и от радости похлопал ладошкой о ладошку.— Вот тебе и вся правда, Федор!» (рассказ «Кто уезжает, а кто остается...»). Во-вторых, Анискин не «царь и бог» потому, что на него есть упра-

ва. Придя за советом к старому большевику фельдшеру Якову Кирилловичу, Анискин смотрит на него с тою же робостью, с какой недавно глядел на самого Анискина провинившийся тракторист Гришка Сторожевой (повесть «Деревенский детектив»). Таким образом, уважаемые товарищи критики, недовольные возвеличением «легендарного участкового», поймите в виду, что «культом» здесь и не пахнет. Идейная субординация соблюдена вполне.

В последней по счету повести «Три зимних дня» происходит перестановка символических вех. Могучность нетронутого края обрывается «пустотой и безвременьем», подозрительные разговоры анискинской дочки Зинаида о запросах «молодого поколения» сменяются наступательным авторским лейтмотивом: «на дворе двадцатый век», «двадцатый век пошел на вторую половину», — а кедры близ Кедровки оказываются гнилыми, их давно уже пора вырубить, чтобы они не застили света новой жизни (каковой очистительной работой занят эlegantный леспромхозовский технорук Степанов — проводник городского прогресса). Тараканы в кабинете Анискина, прежде символизировавшие добродушную неофициальность милиционера, теперь с не меньшим успехом знаменуют его отсталость и односторонность. В завываниях нарымской метели слышится «гибельная обреченность» стихийного начала, а в урбанистический рай лесопункта (где «ярко, разнообразно покрашены машины») эта, опять-таки знаменательная, метель и ступить не смеет, «смирно притихая» перед его вратами. Символы вообще расставлены в этой повести так густо, как указатели в метро,— даже самый неуклюжий провинциал с пути не собьется. Скажем, можно ли усомниться в преимуществах городской культуры над деревенским образом жизни, прочитав следующее описание современного интерьера: «Дверь красной вагонки вела в двадцатый век: уже в тумбуре узкоколейного вагончика пахло линолеумом и грушевой эссенцией, мягко светил под потолком матовый плафон, под ногами пружинил темный коврик; потом дверь распянула фантастические цветы, выдавленные на зеленом линкрусте, цепочку плафонов под потолком и черный транзисторный радиоприемник с напряженным усиком антенны на затылке. Из переплетенной стенки транзистора просачивалась тихая музыка, бле-

стело полированное дерево, цепочка плафонов уходила в длинную уютность...» (Конечно, и вагонка эта, и стихающая по авторскому произволению метель важны не сами по себе, а как «знаки структуры» — поэтому не будем доискиваться здесь мелочного правдоподобия.)

Липатов дает понять, что корни у деревенских и у городских — разные. Стоит оказаться рядом сельским старожилам Анискину и браконьеру Флегонту Вершкову (или другому охотнику, Ивану Бочинину), как они становятся похожи друг на друга «каждой частицей большого тела», «каждым движением, выражением лица», «мудрым философским выражением, крестьянской фитринкой и сдержанностью»; «они по-одинаковому наполненно, напряженно думали, одинаковое видели сквозь оттаявшие стекла, по-одинаковому глядели друг на друга». В свою очередь молодые горожане: следователь Качушин, технорук Степанов и подследственный Саранцев с «узким интеллигентным лбом» — походят один на другого «до удивления» (если воспользоваться излюбленным выражением автора). Крестьяне говорят «по-чалдонски», интеллигенты объясняются на своем жаргоне: «иррациональный», «мальтузианство». Налицо отсутствие взаимопонимания и — конфликт. Однако, как выясняется по ходу действия, егеря Степана Мурзина убил не пришлый Саранцев, а охотник-односельчанин Вершков. И Анискин, потрясенный тем неумолимо обнаружившимся фактом, что деревенский мужик может поднять руку на своего же деревенского, ошеломленный научными мегодами судебной экспертизы и новомодным юридическим понятием «презумпция невиновности» (над которым автор, кстати, в меру иронизирует), раскаивается в своей дремучей патриархальности, вершит над собой суровый суд и обращается лицом к городу. Фанатические защитники старины оказываются убийцами (потенциальными или действительными) и тем морально уничтожены. А между ультрагородским техноруком и дочерью Анискина намечается роман, которому деревенский уполномоченный отныне не станет препятствовать, так что в будущем «корни» переплетутся самым тесным образом. Налицо — разрешение конфликта, отчасти трагическое (убийство!), но все же вполне оптимистическое. Снова достигнут идеальный баланс.

Читатель видит, что цикл историй об Анискине не вызывает у нас восхищения. Но мы понимаем, что все наши попытки доказать свою точку зрения выглядят пустыми и неосновательными придирками. Любой мыслимый упрек Липатову можно парировать веским контраргументом. Нам, например, кажется крайне надуманной ситуация из повести «Три зимних дня», в которой поп-расстрига Триганов (какая значащая фамилия!) выступает со своей проповедью естественной жизни как идейный подстрекатель к убийству. Однако мотив философской провокации, заимствованный у Достоевского (Иван Карамазов — Смердяков), сам по себе правомерен. Нас несколько коробит косноязычное анискинское «так-эдак». А как же быть с толстовским Акимом и его знаменитым «тае»? По нашему мнению, символические пейзажные повторы, прошивающие текст каждой вещи, удивительно назойливы. Но ведь нечто подобное можно найти у Чехова, а из современных писателей — у Бёля. Что касается вышеупомянутой неувязки с Зинаидными похудевшими плечами — так ведь и Шекспир «в экспрессивных целях» то наделяет леди Макбет детьми, то заставляет ее вспоминать о своей бездетности (на что в свое время обратил внимание Гёте). Так что наши рассуждения поневоле сводятся к малосодержательному выводу: все, что в хорошей литературе хорошо, в плохой — плохо.

Остается ухватиться за длинную цепочку из примет стилистической безвкусицы. «Смотрели искренне и нежно иконные глаза, стекала из них девичья нежность», «холодная, лютая и тупая, стекала сего библейского лица на звериное тело ненависть», «по кедровой лавке, на когорой сидел Дмитрий Пальцев... растекалась, как густая патока, ненависть к Анискину, тяжелые доски пропитывались ею, как дерево соком», «проливая из глаза нежность и жалость...», «стекала из них (из глаз.— *И. Р.*) на грудь тонкая нежность и хворь» — это, так сказать, группа «образов стекания». «Тяжело, ненавистно смотрели на Анискина выцветающие глаза Аграфены», «Ух! — ненавистно сказал Анискин», «одеяло с ненавистно перекосенным пододеяльником» — еще одна группа образов. Смотрел «страшным и до ужаса глазами», «наступила тихая тишина», «большое удивление производила на него Панка», «крик и собачий вой про-

исходят в доме Мурзиных» — это группа изысков в простонародном духе. «Человека... дорогого и родного до слез», «родной, до слез близкий, похожий на тебя самого человек» (отец думает о дочери), «тугая ненависть», «тугие струи», «тугая пауза», «крутая луна» — это просто сор из словесных штампов. «О жизни и смерти, о человеке, живущем на теплой и круглой земле, молчали пять метров, разделяющие Анискина и Стриганова... Только жизнь и смерть могли стоять вровень с тем, что зрело, прорывалось в серых глазах Анискина», «Жизнь и смерть, вечное и тленное, непреходящее и суетное — что перед этим было секундное озарение Качушина» — к этому сверхстилю мы не беремся подыскать определения.

Однако и в подобных выписках есть что-то необидительное. Они неизбежно создают впечатление, что стоит очистить текст от всех завихрений и помарок — и произведение оживет. Между тем мертвенность таится в самой сердцевине прохладно-расчетливого построения. А живая вода, которую его следовало бы sprysнуть, в литературных аптеках не продается.

Произведения такого рода без напряжения читаются, многоглаголиво обсуждаются (чему способствует безобидно-дразнящее

сочетание «актуальности» с обтекаемостью) и легко забываются.

Боюсь, что и сам автор нередко рассчитывает именно на читательскую забывчивость. Например, в «Стрежне», написанном в 1960 году, бездушная Виктория Перелыгина — наследница громких фраз и готовых решений, употребительных в эпоху ее детства. И в изменившейся обстановке («к человеку времена стали ласковее, близостней, а главное, работающие времена») она выглядит таким юным пережитком прошлого. В пьесе «Земля не на китах», опубликованной в 1966 году (в журнале «Октябрь»), заживревший демагог Гымза уже оказывается порождением этих «ласковых» и «работающих» времен. Правда, характеризуются они теперь по-другому: «Время пережили мы нелегкое. Кричали на весь мир: победа, победа, победа! Америку догнали, кукурузу на Луне посадили, целину в тундре подняли... У многих закружилась голова, а у Гымзы особенно». Ну, да ведь «одна правда — она неполная»...

Однако, когда Липатов предложил читателю свою двояковыпуклую правду на пространстве одного небольшого цикла, он, как нам кажется, проявил опрометчивость, хотя и недоказуемую, но очевидную.

И. РОДНЯНСКАЯ.

★

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ПОЭМЫ

Сергей Смирнов. Свидетельствую сам. Поэма. «Москва», № 10, 1967.

Поэтическое воображение причудливо. Образ и слово в стихе не терпят однолинейного, плоского истолкования; здесь возможны самые смелые и неожиданные отлеты от предписаний и законов «прозаической» логики.

Но вот поэма, которую читаешь, то и дело задерживаясь на элементарной бессмыслице, все время испытывая необходимость обратиться непосредственно к автору: «А что вы этим хотели сказать? А как понять такое? Что значит это?..» Приведем несколько образцов языка и слога поэмы С. Смирнова «Свидетельствую сам».

«Смертно ранен снайпер Абдыбеков, Казахстан сын, отец и муж»; «...от жизнелюбия до гроба, может быть, всего лишь только миг»; «подспудно думаю не раз»; «он

(клич.—Г. Б.) тревожит молодых и старых, паритетом сложностей влечет»; «под Москвой, насупившейся строго, демон ожиданья завитал» (это о вражеских самолетах); «без меня вошла в земное лоно... коллективизация земли»; «это — гроздя гнева, а не грусти в пробужденном разуме раба»; «повела цепляющимся взглядом»; «и бредут, бредут куда-то двое, на отлете головы держа» и т. д. и т. п.

А вот уже не отдельные строки, а целые периоды, строфы:

Есть
из дома
временность ухода,
Есть и посерьезнее, когда
Ты уходишь — даже не на годы,
А — всего скорее —
навсегда.

И еще:

Или вой от бомбы. или мины.
Или — цыпк прицельного свинца.
И глядишь — упал
и нет в помине
От тебя, от гвардии бойца...

Нечуткость к слову позволяет С. Смирнову писать так: «Вой осколков — вроде пенья хором»; «мы гранили в нашем коллективе точных слов ударный реквизит». И об отступающих немцах: «Что ни шаг — жестокость показательная...»; трудно поверить, что жестокость гитлеровцев казалась Смирнову «показной», то есть ненастоящей, при творной.

М. Алексеев, прочитав поэму С. Смирнова, напечатал о ней восторженную статью («Литературная Россия», № 2, 1968): «Я... нахожусь по сию пору под сильным впечатлением от прочитанного и пока что, кроме слов благодарности, ничего не имею сказать Сергею Смирнову за его замечательный труд».

Товарищ С. Смирнова по перу не заметил того, чего не заметить, казалось бы, никак нельзя: «показной магии труда», «наставников извне», теплохода, что, «как лебедь, шел по вехам», и многого другого, что составляет не какие-либо крайности стиля поэмы С. Смирнова, а самую его сущность, «материю песни», если уместно здесь определение Гейне. Попробуем и мы, по возможности отвлекшись от «материи», от словесной ткани поэмы (трудная, что и говорить, задача!), разобраться, о чем она, что в ней. Может быть, там, в области содержания, мы и найдем объяснение той высокопарной оценке, которую дал произведению М. Алексеев.

Поэма Сергея Смирнова помещена на страницах журнала, вышедшего накануне великой даты — пятидесятилетия Октября, — и по мысли автора и редакции, насколько можно догадаться об этом, должна была подключиться к юбилейным материалам в качестве личного, «частного» свидетельства о героическом времени.

Подобного рода «увязка» одной судьбы с общей судьбой народа, исторического горизонта с горизонтом переживаний и дум конкретной человеческой личности — в самой природе лиро-эпической поэзии, которая всегда говорит «по личным мотивам об общем быте». Были бы эти мотивы содержательны в человеческом, нравствен-

ном смысле, был бы значителен — и, разумеется, не «служебно», а общественно и духовно — тот человек, который за ними и в них. Было бы, наконец, у поэта — «уж раз такая установка», как выражается С. Смирнов, — умение преобразить разрозненные факты своей биографии в нечто внутренне стройное и завершенное, в образно-психологическое единство, непременно предполагающее обобщение и отбор.

Все это истины достаточно известные, но, не напомнив о них, нельзя говорить о поэме С. Смирнова (хотя уже отмеченными нами свойствами поэма взывает к иному — более непосредственному, без всяких «теорий» — суждению и разбору).

В поэме «Свидетельствую сам» есть прорывающаяся местами и способная вызвать живое человеческое понимание тема человека с отметкой «не годен» в воинском билете, который тем не менее всячески стремится доказать свою пригодность к труду и службе; есть удачно найденные лирические детали, есть неприятельность и простота в описаниях деревенского детства. Но поэма решительно повредил, сведя на нет все частные ее удачи, буквалистски-наивный биографизм.

В самом деле, разве лишь поверхностно-анкетному интересу удовлетворит информация, однозначное сообщение такого рода, которое, кстати, не перестает быть информацией оттого, что автор очень старается ее преподнести в обычной для себя лирико-иронической, как ее называют критики, манере:

А примерно через две недели
Я воспринял в качестве инои:
Младший исполнитель при отделе
Кадров, на заводе номерном.

Мне вменялось с этого момента
Оформлять идущий к нам народ.
А любым преступным элементам —
От ворог
обратный поворот!

(Так уж прямо и «преступным»! Не имело ли здесь скорее место несколько расширительное толкование термина со стороны «младшего исполнителя»?)

Идет рассказ о жизненном пути поэта, героя поэмы. «Мой родитель — мастер фотодела, ярославец, родом из крестьян...», «не транжирия чувств по дешевизне, оженился в дружеском кругу», а затем покинул Крым из-за «костлявой от тифа» гражданской вой-

ны. Дальше—районный городок: «Здесь... я прошел, не сильно и не слабо, девятигодичный курс наук». Сборы в Москву, почему-то связанные с предчувствиями почти трагическими: «Ведь не в гости собираюсь ехать, а навек, рискуя головой». Работа на метрострое. Литературный институт, который «по-солдатски силу набирал, ибо Алексей Максимыч Горький был для нас отец и генерал».

Не будем, однако, следовать за всеми перипетиями этого пути. Скажем только, что здесь, кроме узловых моментов авторской биографии, есть еще огромное множество «приватных» фактов, и они-то и выплескиваются на страницы поэмы потоком ни во что не складывающихся, ничем не контролируемых бытовых единичностей: «оформляю новую прописку, нам и здесь промашка не к лицу»; «вот иду с московским чемоданом. В нем закуска да бутылка вина»; «...мой братец (плод второго брака) погорел с отпетой шантрапой» и т. д. Рассказывая о выездной редакции «Правды» и о своей работе в ней, С. Смирнов не преминет вспомнить и такое: «А за ним (за наборщиком.— Г. Б.) Анюта-проводница, дева столь зажиточных телес, что спецкор старался не влюбиться — да чуть-чуть на стенку не полез...»

Дальше герой говорит о своей войне, о причинах, заставивших его сперва добиваться отправки на фронт («мне пора побыть в солдатской шкуре»), а позднее, в сорок четвертом,—с фронта, домой («я перелистал свои блокноты и предельно ясно стало мне, что пора приняться за работу...»). А в блокнотах — Смирнов их цитирует—вот что: «...Немцы все бросают и бегут! Вы своих позиций не вернете,— вам теперь «капут», а не «зер гут»).

Какой же человеческий характер предстает перед нами в поэме за всем этим разноговореньем? В ней громко декларируется дружеская расположенность к людям, к миру. Но в герое ее, если приглядеться, совершенно отсутствует такая черта, как понимание чужой жизни, контакт с другими человеческими существованиями. Впечатление такое, что он внутренне отчужден от тех, кто встречался ему на его «конкретной дороге». Даже от самых близких людей. И очень часто какое-либо одно слово, один штрих сполна выдают этот холод и отчужденность.

Напомним строки о послевоенной встрече с отцом:

Только бел, как лунь, согбенный батя,
Он полуоглох, полуслеп.
Повторяет, кстати и некстати.
Что имеет пенсию на хлеб...

А почему, собственно, «некстати»? Разве так должны восприниматься сыном слова отца? «Но зато достиг своей вершины славный сын текучих волжских вод» — это тоже из беседы с отцом, беседы, деформированной тем, что критики называют «доброй, лукавой, иронической улыбкой» Смирнова. И сколько в этой «улыбчивой» выпренности непонимания «полуоглохшего, полуслепшего» отца, всей обстановки, в которой происходит встреча с ним!

Или еще одна встреча — с родной бабушкой, и тоже после войны. Второстепенная с виду деталь: поэт рисует бедную («в глинозем смотрящую») избу бабушки, и вдруг такое: «Шли часы. Мурлыкал кот на стуле. Почему-то дуло из окна». «Почему-то! Какое здесь парение над бытом, над практической стороной жизни другого человека!.. Герой пытается изобразить самую пылкую, нетерпеливую заинтересованность в бабушкиной жизни, но вслушайтесь в его обращение к старухе:

Старая,
поведай, сделай милость,
Каково твое житье-бытье?
Что с деревней нашей приключилось,
Где крестьяне — жители ее?

Все эти стилизованно-неживые обороты — «сделай милость», «житье-бытье» и особенно эти «крестьяне — жители ее» — выдают во внуке человека, как нельзя более далекого от подлинных нужд деревни, которую он когда-то покинул, и сегодня лишь подлаживающегося к тому, что сам он считает «деревенским», «народным».

Льстивое и поверхностное представление о «простоте крестьянских нравов» может проявиться в малом — скажем, в рассказе о друге детства пастухе Павле: «Чугунок картофеля «в мундире» — вот его коронное меню», но оно же может и принять собирательные, монументальные формы, и тогда мы встречаем у С. Смирнова пожелание, чтобы «в честь советского крестьянства персональный (?) памятник» воздвигли, ибо

О некоторых же важнейших событиях народной жизни С. Смирнов рассказывает легкомысленно и легковесно. Можно ли, например, такими словами и таким тоном говорить о разгроме гитлеровцев под Москвой: «Не смешны ль такие парадоксы (?) — Гитлер шел походом на Москву. Но, что называется, обжегся...» Удивительно читать и это: «В январе, в победном сорок пятом, кто — кого решающем году...» Разве в сорок пятом решалось, кто кого?

В поэме «Свидетельствую сам» есть две главы, специально посвященные такому сложному явлению нашего прошлого, как культ личности. Автор стремится подчеркнуть, что он отдает себе отчет в серьезности проблемы.

Но лишь потерей всякого чувства общественного, морального такта можно объяснить, на наш взгляд, появление в поэме Смирнова таких строк о похоронах Сталина,

в которых памятные всем трагические обстоятельства (кстати, правдиво описанные Г. Николаевой в романе «Битва в пути») неожиданно приобретают характер «высокого» ритуально-жертвеннического порыва:

И тогда,
 возвышенный над каждым.
Он ушел от нас не одинок:
Сотни душ растоптанных сограждан
Траурный составили венок...

Так выглядит общественная, публицистическая линия поэмы «Свидетельствую сам».

Как видим, Сергей Смирнов написал поэму, по-своему цельную и единую во всех своих элементах — в стиле и смысле, манере и человеческом характере. Но это, к сожалению, тот случай единства, которому радоваться не надо, да и не хочется.

Г. БЕРЕЗКИН.

Минск.

★

СОДЕРЖАНИЕ — ФОРМА — СОДЕРЖАНИЕ

И. Кашкин. Для читателя-современника. Статьи и исследования. «Советский писатель». М. 1968. 562 стр.

Понимаю, что стал на путь бессовестного плагиата, выбрав для заголовка рецензии название одной из известных статей И. Кашкина о Хемингуэе, но лучшего, более точного найти не умею. Эта формула исчерпывающе объясняет суть критического и переводческого метода И. Кашкина: то, что в работах иных литературоведов порой лишь декларируется, в его статьях и теоретических трактатах воплощается въяве, последовательно и неуклонно.

Составители посмертно опубликованного сборника статей И. Кашкина разделили книгу на две части, и это естественно. В первую вошли уже известные нам по литературной периодике исследования о Хемингуэе, Чосере, Амброзе Бирсе, знаменитых поэтах Америки — Сэндберге и Фросте; тут и не публиковавшиеся дотоле статьи о прекрасной американской поэтессе, почти совершенно у нас, к сожалению, неизвестной, — Эмили Дикинсон, этюды, образующие своеобразный триптих, о творчестве английских романтиков — Стивенсоне, Конраде, Честертоне. Вторая часть книги составлена из теоретических работ автора в области художественного перевода.

Однако, несмотря на такую разнохарактерность литературного материала, книга И. Кашкина обладает прочной внутренней цельностью. Читаешь критическую статью автора и чувствуешь, что в создании ее участвовал и Кашкин-переводчик. Углубляешься в теоретические изыскания по части переводческого мастерства и видишь, что пером теоретика и практика — переводчика водила и рука критика. Подобное единство как раз тем и обусловлено, что в обеих литературных ипостасях И. Кашкин верен своему отношению к искусству: в художественном произведении элементы содержания и формы неразделимы.

Вот, скажем, статья, открывающая сборник, — «Перечитывая Хемингуэя». Статья эта хорошо известна, да и вообще работы И. Кашкина о Хемингуэе в дополнительных рекомендациях не нуждаются — необходимой и вполне достаточной служит отношение к ним самого писателя. Хемингуэй, который, как известно, к критикам своим относился довольно небрежно, а то и сердито, Кашкина ценил. И вполне обоснованно включены в сборник два письма Хемингуэя Кашкину, показывающие, сколь вниматель-

но прислушивался всемирно знаменитый писатель к слову русского критика.

Вернемся, однако, к статье из сборника. Вот совершенно рядовой ее абзац. Критик пишет о Роберте Джордане — герое романа «По ком звонит колокол»: «...Поняв, что каждое, даже самое мелкое, порученное ему дело — это звено длинной цепи, что, скажем, взрыв моста может многое значить, может стать поворотным моментом больших событий, а ведь если победим здесь, победим везде,— поняв это, Джордан стал способен на подвиг». Вот эта фраза с вклинившимися в ее текст, формально разрывающими ее структуру и тем самым неизбежно останавливающими внимание словами (а в них лаконично отражен главный смысл жизни и смерти Джордана): «если победим здесь, победим везде», — эта фраза написана как бы в хемингуэвской манере. В подобного рода отрывках мы легко узнаем Кашкина — отличного переводчика «Какими вы не будете», «Нужна собака-поводырь» и других рассказов Хемингуэя. А вместе с тем и Кашкина-критика, утверждающего, что содержание начинается с формы, и как бы подчеркивающего, доносящего до читателя своеобразие этой формы и особой, в манере художника, стилистической интонации. Таких примеров по страницам кашкинских статей разбросано множество. Сдержанность, строгость тона, в котором ведется разговор о Хемингуэе, сменяется романтическими, патетическими подчас интонациями, коль скоро речь заходит об Эмили Дикинсон, стремившейся разрушить в своих стихах строгие каноны пуританизма, в традициях которого она была воспитана, пробивавшейся в своей поэзии к вольному воздуху новой жизни. А Джо-зеф Конрад — этот романтик моря, натурализовавшийся в Англии поляк, ставший первоклассным английским стилистом? Тут критик чаще, может быть, чем в других случаях, передает слово самому автору, чтобы читатель мог острее ощутить его одуховоренный, возвышенно-романтический, музыкальный слог. Но когда И. Кашкин пишет, что «читатель чувствует воодушевление молодости, которое оживляет стареющего, вялого Марло, или отчаяние Джима, или ужас Куртца» и что «все это схвачено и закреплено в словах и интонациях, которые порою казались необычными английскому читателю, звучали для него словно какая-то восточная мелодия», чита-

тель чувствует и другое — все великолепие стиля английского писателя не только понятно и по достоинству оценено в работе русского критика, но и своеобразно отражено им. И это — как и всегда в подобных случаях — вовсе не поза, не натужная попытка поддаться под художника; у И. Кашкина все выходит просто, естественно, непринужденно, ибо — помимо таланта, разумеется, — обусловлено все тем же органическим для него принципом: содержание — форма — содержание.

Верное следование этому принципу и делает столь убедительными критические идеи И. Кашкина, касающиеся уже непосредственно содержания исследуемых им произведений: ведь критику, в согласии с законами жанра, неизбежно приходится анализировать, то есть разлагать художественный синтез содержания и формы в произведении искусства. И как важно выдержать при этом должное чувство такта и меры!..

Автор вступительной статьи к сборнику П. Топер пишет, что внимание И. Кашкина прежде всего «привлекало большое реалистическое и демократическое искусство». Это совершенно верно, я бы только добавил еще — гуманизм. Именно такой подход И. Кашкина к искусству — а он не изменял ему на протяжении всей своей долгой литературной работы — оправдывает название книги: «Для читателя-современника». Ибо именно нынешнее время — пора самого острого творческого соревнования между искусством реализма и модернизма; именно в нынешнее время появляются многочисленные антидемократические, элитарные теории искусства; известно, наконец, сколь остро спорят сейчас о концепции гуманизма в искусстве, как много говорят о «дегуманизации искусства» в XX веке.

Идею высокой гуманистической функции искусства И. Кашкин утверждает настойчиво, темпераментно. Иногда, может быть, слишком темпераментно, требуя подчас от писателей защиты положительных ценностей, утверждения истинных идеалов даже и в таких исторических условиях, когда жизнь просто не давала тому или иному художнику надежных оснований для веры в какие-то реальные перемены. Так, признавая в Амброзе Бирсе большого мастера, И. Кашкин упрекает его за то, что тот не смог «зажечься искренней заинтере-

сованностью в том, чтобы оружием сатиры улучшать, изменять мир». Но ведь Бирс жил в эпоху «позолоченного века», и естественно, что все силы его дарования были направлены на обличение буржуазной морали американской жизни. Это обличение и вылилось в афористические формулы «Словаря Сатаны», отразилось в образах тупых и алчных обывателей местечка под названием Гилбрук («Кувшин сиропа»). Разумеется, критик отдает должное этим и многим другим вещам Бирса, анализ его, как и обычно, ярок и точен, но сама вышеприведенная посылка анализа придает писателю облику Бирса оттенок некоей неполноценности, вторичности. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что статья о нем была написана около тридцати лет назад, причем важно отметить, что вульгарно-социологическое поветрие коснулось Кашкина лишь в незначительной степени. Может быть, поэтому ему было столь несложно покончить с влияниями былых лет. То, что мы читаем в статье о Карле Сэндберге, продолжателе уитменовской традиции в американской поэзии XX века, звучит не только как спор с самим собой, с своими взглядами тридцатилетней давности, но скорее как необходимая поправка к тем взглядам. Последовательно сопоставляя поэтическую манеру и мировоззрение Сэндберга с художественными принципами Уитмена, критик приходит к выводу, что «у Сэндберга нет мощного гуманистического пафоса Уитмена и его непоколебимого оптимизма». Но теперь И. Кашкин развивает тезис: «В изменившихся исторических условиях оптимистический гуманизм Уитмена оказывался необоснованным и приводил лишь к иллюзиям, и самое сильное у Сэндберга — это как раз критика тех условий, которые делали для него невозможным дальнейшее продвижение по уитменовскому пути...» Взгляд этот отмечен исторической объективностью, какая подчас недостаточно ясно выражалась в иных статьях Кашкина тридцатых годов.

Известно, с какой симпатией, любовью относился Кашкин к прозе Хемингуэя. Кажется, главным источником, из которого питалась эта любовь, был мужественный, трудный гуманизм художника. «В нем нет недоверия и презрения к человеку, — пишет И. Кашкин. — Он любит и по-своему сдержанно жалеет своих героев... он желает для них того, что обозначает как «good

luck», то есть хочет для них настоящей, хорошей жизненной удачи, а вместе с тем трудовой, трудной, пусть даже и трагической судьбы».

Известно и другое: сколь требовательно, порой даже чересчур требовательно относился Кашкин к тому, в чем ему виделись органические слабости художественного мировоззрения Хемингуэя. И главная среди этих слабостей — это, как говорит критик, «ущербный характер его (Хемингуэя) гуманизма... Гуманизм Хемингуэя — это безрадостный, стоический гуманизм, гуманизм внутренней победы ценой неизбежного поражения». Тут, на мой взгляд, разговор звучит слишком сурово. Все, кажется, правильно, победитель у Хемингуэя действительно «не получает ничего». И все же правильнее было бы, пожалуй, сделать акцент на «внутренней победе», той самой, что одерживают лейтенант Генри и Роберт Джордан, Филип Ролингс и старик Сантьяго. Цена этой победы неизмеримо повысится, если вспомнить, что альтернативой ей было участие в несправедливой войне, защита ложных идеалов, как в романе «Прощай, оружие!», предательство интересов революции («Пятая колонна»), отступление, в конечном счете, тоже предательство («По ком звонит колокол»).

Гуманизм искусства, его демократичность, реализм — это в представлении И. Кашкина вещи не разделенные, напротив, тесно друг с другом связанные. И. Кашкин пишет о глубоко демократической в своем существе поэзии Фроста, обращенной к уму и чувству простого новоанглийского фермера, о поэзии, утверждающей мужество и братскую солидарность людей, а в подтексте — а то и в тексте — критического анализа все время слышится тема человеколюбия фростовской музы, ее гуманистичности. Или другой пример: в блестящей статье о Джеффри Чосере И. Кашкин пишет о «демократическом гуманизме» английского писателя. с «Кентерберийских рассказов» которого мы начинаем отсчет новой английской литературы. и тут же утверждает — и доказывает это, — что «суть и основа книги — это ее реализм».

Конечно, и в этом плане некоторые утверждения И. Кашкина дискуссионны (что вполне естественно, впрочем). Так, отмечая двойственный характер романтики Конрада, критик явное предпочтение отдает таким его вещам, как «Негр с «Нарцисса»,

«Тайфун», где писатель воспевал романтику «борьбы со стихией, деятельной жизни, долга и трудового подвига» и героем которых «был простой человек». И здесь же критик с удовлетворением отмечает, что эти вещи написаны «не мудрствуя лукаво, в третьем лице, с точки зрения автора», в доброй реалистической манере.

Уже эти симпатии И. Кашкина не безусловны: по-моему, скажем, ни до, ни после «Лорда Джима» (1900) Конраду не даны были те психологические прозрения, каких он достиг в этой книге, да и стиль романа—изысканный, вдохновенный, изысканный—находится на самых высоких уровнях мастерства. Но, может быть, не о том, какая книга лучше, надо спорить—дело вкуса в конце концов. Задевает другое—недоверие, с каким относится И. Кашкин к самой идее психологического анализа у Конрада. С иронией пишет он о «психологических дебрях: от психологической романтики к романтическому психологизму и далее»—и даже роняет столь знакомое слово «упадочный». Впрочем, и тут многое может объяснить дата, которой помечена статья,—1947 год.

И все же, все же, при всех несогласиях, которые нам даются тем легче, что мы богаты опытом последующих лет, нельзя не отдать должного той целеустремленности, с которой И. Кашкин утверждал свои взгляды на искусство. Тем более, что чаще всего он оказывался прав. Тем более, что и здесь—в пристрастии к искусству реалистическому и демократическому—не возникало дистанции между Кашкиным-критиком и Кашкиным—переводчиком и теоретиком перевода.

В рецензируемом сборнике изложена по сути целая теория художественного перевода, определены принципы переводческой школы, которую у нас по справедливости называют кашкинской. Разумеется, по достоинству оценить вклад И. Кашкина в теорию перевода может только профессионал. Однако и у простого любителя литературы должны, думается, вызвать симпатию и уважение та бескомпромиссная последовательность, тот полемический темперамент, с какими автор излагает свои переводческие идеи. В борьбе с переводчиками-буквалистами и переводчиками-импрессионистами И. Кашкин утверждает принцип реалистического перевода, который

советские мастера этого дела наследуют от лучших переводчиков прошлого. Вот определение И. Кашкина: «Реалистическим можно условно назвать перевод, который достигает верности и близости к оригиналу, когда переводчик старается воспроизвести средствами своего языка то, как отражает подлинник правду действительности, увиденную и переводчиком не внешне и формально, а творчески и переданную начиная с основного и главного и вплоть до существенных деталей».

Может возникнуть сомнение: будет ли верным реалистический перевод произведения, написанного по законам иного метода искусства? Точно найденным примером И. Кашкин эти сомнения рассеивает. Привнося в перевод гётевского «Лесного царя» собственные, но в «духе романтического подлинника» обороты («хладная мгла», «к отцу, весь издрогнув, малютка приник»), заменяя в согласии с традицией русского фольклора немецкого лесного царя на лесное чудище братское, Жуковский, как пишет И. Кашкин, «поступает в переводе этого романтического текста как предметно мыслящий переводчик-реалист».

На супере сборника статей И. Кашкина обозначен адрес книги. Она предназначена критикам—они, может быть, лучше, чем кто-либо другой, способны отдать должное огромному труду своего коллеги и, соглашаясь или споря с частными его оценками, оценить прогрессивную методологическую основу его творчества.

И переводчикам-профессионалам—можно принимать или опровергать переводческие принципы И. Кашкина, но не считаться с ними нельзя.

И студентам-филологам—они извлекают из этой книги отличный урок исследовательского мастерства.

И читателям зарубежной литературы, читателям-современникам,—им станут ближе и понятнее выдающиеся намятники английской и американской литературы, изучению и популяризации которых Иван Александрович Кашкин отдал все сорок лет своей литературной работы.

О том, что книга достигла этого последнего и самого важного своего адресата, свидетельствует то, что, едва попав на книжный прилавок, она моментально с него исчезла

Н. АНАСТАСЬЕВ.

Политика и наука**БАНКИ И НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

М. С. Атлас. Развитие банковских систем стран социализма. «Финансы». М. 1967. 240 стр.

Однажды американский финансист-миллиардер Дж. П. Морган давал показания в сенатской комиссии. У него спросили, на чем он основывается, предоставляя кому-либо кредит. Морган решительно ответил: прежде всего на личных качествах клиента. Председатель комиссии переспросил: это важнее размеров его собственности? Последовал ответ: да, важнее. Личные качества за деньги не купишь. И далее Морган рассказывал, как к нему пришел молодой человек, у которого не было никакого состояния, и Морган считал возможным открыть ему кредит на миллион долларов.

Конечно, это был случай из ряда вон выходящий. Размер богатства клиента вряд ли представляет для капиталистического банка меньшее значение, чем его личные качества. И все же рассказ Моргана служит ценным свидетельством трезвого расчета «умного капиталиста».

Кому не известно, что многие перспективные технические идеи долгие годы не находят применения лишь потому, что у авторов нет материальных средств для их реализации. Обычно новая идея связана со значительным риском, и далеко не всякий предприниматель готов поставить на карту даже часть своего капитала. И здесь на выручку приходит банк, который, аккумулируя свободные денежные средства тысяч предпринимателей, в состоянии идти на риск. Излишне доказывать, что и в социалистическом хозяйстве нередки ситуации, когда внедрение новой научной или технической идеи, быстрое расширение производства дефицитной продукции оказывается невозможным без получения значительного кредита. Поэтому значение банковской системы как действенного источника экономического прогресса при социализме отнюдь не уменьшается.

Повышение роли кредита в нашей стране за последние годы не вызывает сомнений. Более быстрый рост кредитных вложений в различные отрасли народного хозяйства по сравнению с темпами роста этих отраслей — достаточно веское тому доказательство. Полезность этого процесса как будто также очевидна: кредит в отличие от бюджетного

финансирования носит возвратный характер и потому должен побуждать ссудополучателей улучшать свое хозяйство, тем более что приходится не только погашать ссуды, но и платить проценты. Мы говорим «как будто» потому, что история нашего народного хозяйства знает немало и таких примеров, когда обильное кредитование являлось лишь одним из способов покрытия финансовых прорывов предприятий и не приводило к укреплению хозяйства. Видимо, дело состоит не в автоматическом увеличении массы кредитов, как это нередко полагают, а в более совершенных формах взаимоотношений банка и хозяйственных предприятий на подлинно экономических основах. В период после сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1965) такие формы постепенно пробивают себе дорогу, проходят стадию экспериментирования. В нахождении путей дальнейшего совершенствования нашей кредитной системы очень полезным является всесторонний и объективный анализ богатого опыта социалистических стран. Поэтому выход в свет книги профессора М. С. Атлас весьма своевременен.

Книга М. С. Атлас — первая в нашей стране обобщающая монография по истории развития банковских систем стран социализма. М. С. Атлас сумела экономно, не останавливаясь на деталях, показать содержание важнейших этапов развития банков и кредита в социалистических странах, особенности этого процесса в каждой социалистической стране. Некоторые приводимые в книге факты мало известны не только широкому читателю, но и специалистам.

Главным звеном капиталистической кредитной системы являются центральные эмиссионные банки. С них социалистическое государство и начинало овладевать кредитной системой. При этом выяснилось, что овладение центральным банком дает возможность обеспечить контроль и руководство и над всеми другими кредитными учреждениями, даже если они остаются в руках капиталистов. Дело в том, что центральные банки — это банки банков, снабжающие их денежной наличностью.

В книге приводятся данные о том, как широко социалистическое государство использовало акционерную форму банков в борьбе за овладение кредитной системой. В некоторых странах до установления народно-демократического строя центральные банки были акционерными и государство владело в них лишь частью акций. Однако эта часть (так называемый контрольный пакет акций) была достаточна, чтобы обеспечить контроль над деятельностью этих банков со стороны государства. Венгерский национальный банк и внешне-торговый банк до сих пор сохраняют акционерную форму. В конце 1964 года учрежден в качестве акционерного Чехословацкий коммерческий банк для обслуживания внешнеторговых предприятий. Акционерная форма банков предусматривалась также и в Польше декретом от 25 октября 1948 года. Акционерный характер могут носить в социалистических странах не только кредитные, но и другие хозяйственные предприятия (в нашей стране в двадцатые годы было много государственных акционерных торговых, торгово-промышленных и промышленных предприятий). Нельзя забывать, что в ряде случаев акционерная форма имеет преимущества по сравнению с преобладающими сейчас формами хозяйственных предприятий, и эти преимущества надо полностью использовать. К сожалению, в экономической литературе до сих пор отсутствует обстоятельный анализ особенностей использования акционерной формы в социалистическом хозяйстве.

Значительный интерес в рецензируемой книге представляет описание развития кредитной кооперации (кредитные учреждения, являющиеся кооперативной собственностью). Автор справедливо подчеркивает значение кредитной кооперации в повышении благосостояния основных масс крестьянства, в борьбе с ростовщичеством, в воспитании у крестьян стремления к объединению. Нам только представляется, что автор напрасно отвергает возможность использования кредитной кооперации (в новых формах) после коллективизации сельского хозяйства. С фактической стороны это неточно. В самой книге приводятся данные о том, что в нашей стране в 1929—1930 годах кредитная кооперация в основном обслуживала колхозы. В Венгрии кредитная кооперация сохранилась и после коллективизации. С другой стороны, извест-

ны примеры, когда она была ликвидирована задолго до завершения социалистической перестройки деревни: в Болгарии в 1951-м, в Венгрии в 1954-м, в Чехословакии в 1952-м, в Румынии еще в 1948 году. Показательно, что в Венгрии и Румынии кредитная кооперация была воссоздана через несколько лет после первоначального роспуска. Не следует обеднять ленинскую идею кооперации и сводить ее только к производственной форме. Возрождение кредитной кооперации в социалистических странах может быть дальнейшим шагом в процессе усиления хозяйственных связей внутри кооперативно-колхозного сектора.

Большую часть книги занимает описание действия кредитной системы в развитом социалистическом хозяйстве. В этой части особенно сказались серьезные сдвиги, которые произошли в нашей экономической науке в связи с проводимыми в социалистических странах хозяйственными реформами. Автор критически подходит, например, к ряду сторон развития банковского дела в нашей стране после кредитной реформы 1930—1932 годов; он правильно отмечает, что некоторые из недостатков этого развития не изжиты и до сих пор. В работе довольно подробно излагаются изменения, которые внесли экономические реформы в банковскую систему социалистических стран. Из книги видно, что для всех стран, проводящих хозяйственные реформы, характерно стремление к повышению роли кредита в хозяйстве, к более совершенным формам связей банковской системы с предприятиями. Теперь банк уже не стремится обязательно определить, как должны предприятия использовать каждую конкретную ссуду: предприятия получают большую свободу в использовании кредита. Но, беря ссуду, им нужно хорошо подумать, смогут ли они ее вернуть: ведь сейчас во всех странах значительно увеличен процент за кредит. Жаль, что, говоря о повышении роли кредита в финансировании капитального строительства, автор опускает очень важный вопрос — о способах его предоставления. Между тем в этом деле уже имеется поучительный опыт. В Чехословакии, Венгрии, Болгарии, ГДР, например, вводится конкурсная система: предприятия соревнуются за получение кредита путем разработки более эффективных вариантов капитальных вложений. В некоторых странах установлена плата за срочные вклады

предприятий. Делается попытка построить отношения между банком и клиентурой на более равноправных началах с помощью введения кредитных договоров.

По некоторым принципиальным теоретическим и практическим вопросам выводы М. С. Атлас аргументированы недостаточно, а порой находятся в противоречии с фактами, которые она сама приводит. К примеру, автор утверждает, что социалистическая система хозяйства непременно требует монополизации кредитования и расчетов Государственным банком (или в крайнем случае двумя-тремя монопольными кредитными институтами). Между тем в самой книге показывается, что банковская система в СССР в определенный период шла в своем развитии как раз в обратном направлении — от однозвенности к многозвенности.

Известно, что после Октября многочисленные кредитные институты были объединены с Государственным банком в единый Народный банк РСФСР. В январе 1920 года он был ликвидирован. С переходом к нэпу кредитная система начала возрождаться, но уже как многозвенная. Отраслевые и территориальные банки все больше брали на себя кредитование народного хозяйства, а Государственный банк СССР постепенно превращался в банк банков. Эта тенденция положительно оценивалась тогда рядом советских экономистов, в том числе тогдашним председателем Госплана СССР Г. М. Кржижановским. Вот как это объясняется в книге М. С. Атлас: «Организация ряда специальных отраслевых и территориальных банков... была связана со специфическими условиями переходного периода в СССР. Предприятия испытывали острый недостаток оборотных средств, а товарно-денежные и кредитные отношения, которые в период военного коммунизма были временно ликвидированы, вначале развивались недостаточно... Предлагалось, что в силу своей акционерной формы и отраслевого либо территориального назначения они будут теснее, чем Государственный банк, связаны с хозяйственными организациями, а потому смогут лучше аккумулировать временно свободные денежные средства и более гибко оказывать кредитную помощь социалистическим предприятиям». То, что отраслевые и территориальные банки теснее связаны с хозяйством и могут более гибко помогать

предприятиям, — трудно отрицать. Но разве все это имеет значение лишь для переходного периода?

Опыт развития нашей экономики в различных областях показал, что монопольное положение того или иного хозяйственного института по отношению к потребителям нередко приводит к ухудшению его работы, самоуспокоенности работников. Развитие здорового соревнования в хозяйстве на социалистической основе является во многих случаях незаменимым средством пробуждения предприимчивости и инициативы, верной оценки эффективности хозяйственного института. Разумеется, сейчас никому в голову не придет отрицать преимущества, связанные с образованием крупных предприятий и объединений. Необходимая тенденция к укрупнению не должна только заходить слишком далеко.

Чрезмерная централизация в кредитной системе также порождает ряд недостатков. Прежде всего отношения между банком и клиентурой не носят равноправного характера. Предприятиям, что называется, некуда деваться и приходится принимать тот порядок кредитования и расчетов, который выгоден банку. К тому же банк и формально наделен административными правами в отношении хозяйственных предприятий, что еще больше усугубляет неравноправное положение клиентов. Добавим два других немаловажных обстоятельства. Во-первых, предприятие в СССР обязано хранить почти все свободные денежные средства в Государственном банке, не получая за это процентов. Во-вторых, значительную часть ресурсов Государственного банка составляет специально планируемое для этой цели превышение бюджетных доходов над расходами, которое предоставляется банку безвозвратно и без всяких процентов. Быть «банкиром» в таких условиях на редкость вольготно и бесхлопотно. Можно понять скромность банковских работников, которые умалчивают о величине рентабельности банковской системы, рентабельности, которая по существу никак не характеризует ее экономической эффективности. Привилегированное положение Госбанка по отношению к клиентуре, обилие и бесплатность подавляющей части его ресурсов не побуждают банковских работников к поиску более эффективных и перспективных направлений использования этих ресурсов. Хозяйственный расчет в банковской системе

в силу этого все еще носит в основном формальный характер.

В промышленности после сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1965) найден удачный способ стимулировать лучшую работу предприятия: производственный план теперь формируется на основе заказов потребителей, и предприятие, имеющее плохую репутацию, рискует потерять заказчика — со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые каждый стремится избежать. Почему бы в той или иной форме не перенести этот опыт и в кредитную систему? Но для этого нужно, чтобы у клиентов была реальная возможность выбора.

Экономическая реформа требует разрешения противоречий между расширением экономической самостоятельности предприятий и жесткой централизацией кредитной системы. Постепенное устранение этой жесткой централизации путем создания крупных отраслевых и территориальных банков, соревнующихся за лучшее удовлетворение интересов клиентов и эффективное вложение банковских средств, — на наш взгляд, задача вполне назревшая. При этом сохранение доминирующей роли Государственного банка как банка банков и единственного эмиссионного института вполне гарантирует проведение экономическими методами единой государственной плановой политики в области кредита и денежного обращения.

Показательно, что в некоторых социалистических странах уже начался процесс усиления многозвенности кредитной системы. В Чехословакии в 1956 году вновь начал функционировать Живнostenский банк для расчетного и кассового обслуживания иностранной клиентуры, а в конце 1964 года — уже упоминавшийся нами Чехословацкий коммерческий банк. В конце 1966 года учрежден Внешнеторговый банк в ГДР.

В этой связи хочется вспомнить статью «Банк и управление экономикой» («Новый мир», № 12, 1967). Ее авторы В. Белкин и В. Ивантер занимают вполне определенную позицию по вопросу о путях совершенствования социалистической экономики, оригинально и в большинстве случаев убедительно ее аргументируют. В частности, это касается доказательства преимущества экономических методов управления, необходимости внедрения реального хозрасчета в банковскую систему, установления зависимости оплаты труда банковских работников от доходов банка, повышения роли банков

в управлении экономикой, превращения денег в действительно всеобщий эквивалент и т. д. Интересна и такая идея авторов: в условиях реформы экономическое регулирование и управление народным хозяйством должен также осуществлять такой экономический орган, как Госбанк, который прямо, материально будет расплачиваться за ошибки управления. Трудно отрицать, что бюджетный характер нынешних руководящих хозяйственных органов — серьезное препятствие на пути улучшения качества их работы. Поэтому идея В. Белкина и В. Ивантера кажется привлекательной.

Но в чем авторы статьи видят конкретное осуществление своего предложения? В статье об этом сказано, к сожалению, немного и недостаточно четко. В. Белкин и В. Ивантер опасаются, что при переходе от материально-технического снабжения к оптовой торговле средствами производства предприятия из-за недостатка информации о конъюнктуре и перспективах рынка окажутся не в состоянии обоснованно составить производственный план и установить рациональные хозяйственные связи. Эту задачу они хотят возложить в каком-то виде на банк, у которого имеется большая информация о таких связях и платежеспособном спросе. Но авторы почему-то упускают из виду, что у банка имеется информация о прошлом, а предприятиям нужна информация о будущем. Главное же заключается в следующем: никто лучше предприятия не может определить, с кем ему поддерживать хозяйственные отношения, хотя бы по той простой причине, что только предприятие может оценить качество работы своего поставщика. А лишить предприятие свободы выбора поставщика — не значит ли это поставить под сомнение один из главных принципов хозяйственной реформы, чего, конечно, авторы статьи не хотят ни в коей мере.

Вовсе не обязательно, как это делают авторы, представлять хозяйственные связи лишь в виде отношений тысяч «атомизированных» предприятий. Это уже сейчас не полностью соответствует действительности, поскольку значительная часть таких связей носит концентрированный характер. А ведь далеко еще не использованы возможности создания крупных производственных и особенно торговых объединений типа синдикатов, которые позволят еще больше упорядочить и «укрупнить» деловые отношения

предприятий, не лишая их главного — свободы выбора.

Банк должен принимать участие в управлении экономикой (наряду с другими хозяйственными институтами). И для этого уже выработались методы, соответствующие природе банковской деятельности. Разве каждое решение о предоставлении кредита не является одновременно и решением по управлению экономикой? Другое понимание задач управления экономикой со стороны банков всегда грозит опасностью, от которой справедливо предостерегают сами В. Белкин и В. Ивантер: «Если пытаться использовать одни и те же... инструменты для решения несовместимых задач, то не только задачи правильно не решишь, но и инструменты испортишь». Поэтому до более подробного объяснения сущности их ориги-

нальной и заслуживающей самого широкого обсуждения идеи мы сохраняем сомнения в отношении целесообразности чрезмерной централизации кредитной системы в условиях хозяйственной реформы.

Самобытность, яркая концептуальность статьи «Банк и управление экономикой» делают весьма трудным, но и интересным спор с нею. Книга М. С. Атлас ей в этих отношениях явно уступает. Однако и то, что она дает читателю — систематическое изложение и обобщение большого фактического материала, — безусловно, окажется полезным для дальнейшего развития и совершенствования социалистической кредитной системы.

Г. ХАНИН.

Новосибирск.



СВОЕОБРАЗИЕ НЕОБХОДИМОСТИ В ИСТОРИИ

О. И. Джиев. *Природа исторической необходимости*. Издательство «Мецниереба». Тбилиси. 1967. 135 стр.

Интерес к проблеме исторической необходимости — симптоматичный факт общественного сознания. Мыслящий человек середины XX века не может не задумываться о закономерностях и путях истории, о судьбах прогресса. Он хотел бы избежать необходимости (или случайности?) таких явлений, как концлагеря, Хиросима, Вьетнам. Он знает, что случайное (или необходимое?) нажатие кнопки каким-нибудь генералом может привести к гибели человечества. Он наблюдает не только громадное распространение социалистических идей, рост сил прогресса и демократии, но и усиление тоталитарных, фашистских тенденций в мире. Он видит, как современная индустриальная цивилизация, кроме стиральных машин и телевизоров, несет обществу, говоря словами автора рецензируемой книги О. И. Джиева. «узкий натурализм, практицизм, отрицание объективного мерила человеческих ценностей, приводящее к «все дозволено» и угрожающее «отнять у человечества Девятую симфонию». Размышляя над всем этим, философская мысль, естественно, обращается к фундаментальным категориям необходимости, цели, свободы, сущего, должного и т. д., наивно подумывает их.

О. И. Джиев считает, что в теоретиче-

ском освоении исторического процесса современные исследователи не всегда оказывались на уровне поставленных задач. В книге приводятся выдержки из некоторых трудов, где естественно-исторический процесс по существу отождествляется с естественным, природным. Между тем в общественной жизни необходимость проявляется иначе, чем в физическом или органическом мире. Своєобразию ее проявления в истории и уделено основное внимание в исследовании О. И. Джиева. «...Если задержка в осуществлении необходимости в сфере органической жизни, — пишет автор, — угрожает организму смертью, промедление в осуществлении исторической необходимости не обуславливает гибели общества, а создает помеху для его дальнейшего развития... общество может в течение более или менее длительного периода оставить нерешенной задачу, поставленную перед ним историческим развитием...»

Отчего это происходит? Оттого, что реальное течение жизни, помимо основных законов общественного развития, подвержено различным частным влияниям; события являются точкой пересечения множества процессов. Здесь автор останавливается на категориях «необходимость» и «случайность». Наполеон мог погибнуть на Арколь-

ском мосту, и этот факт «вычеркнул» бы из истории такую полосу, как наполеоновские войны. Но дело не только в «механических» случайностях. Как указывает исследователь, существенная причина «непредвиденности» многих реальных событий — это цели, которые ставит перед собой человек и которые придают его действиям альтернативный характер, обуславливают (в пределах главенствующей тенденции) вариантность конкретного хода истории. Поэтому личность вовсе не обречена, как когда-то приписывал марксизму Р. Штаммлер, на роль члена общества содействия лунному затмению. Человек — не «винтик» в истории (точнее, у него есть выбор — быть или не быть «винтиком»), он в силах влиять на события. Ему и его поколению не может быть безразлично — как, какими средствами и в какие сроки осуществится историческая необходимость.

Далее автор книги рассматривает другие категории — «необходимость» и «свобода». Известное понимание этой проблемы гласит: свобода есть познанная необходимость. Но значит ли это, что, согласно марксизму, человек должен лишь осознавать объективные, не им созданные общественные отношения и ориентироваться на них? Нет, иначе понятие свободы становится фиктивным, излишним. Допустим, человек решает бороться против существующего строя эксплуатации. Он опирается на теорию, обосновывающую необходимость гибели эксплуатации, хотя эта необходимость осуществится не сегодня (может быть, не при его жизни). С другой стороны, ему противостоит другая, вполне реальная необходимость в виде существующего эксплуататорского строя с его аппаратом насилия, господствующими институтами, предрассудками обманутых масс и т. д. Почему человек руководствуется первой необходимостью, а не второй? Это зависит от его выбора, от его свободного решения «Чтобы человек действовал свободно», — пишет О. И. Джигоев, — он должен в какой-то мере быть независимым от реальной необходимости материального мира, а для этого он должен опираться на необходимость идеальную». Разумеется, свобода от реальной необходимости может быть лишь относительной. Так, борясь против несправедливого общественного строя, человек вынужден в то же время выпол-

нять определенные его предписания — хотя бы для того, чтобы просто существовать.

«Все, что приводит людей в движение, должно пройти через их голову; но какой вид принимает оно в этой голове, в очень большой мере зависит от обстоятельств»¹. Приведя эти слова Энгельса, автор подчеркивает: в очень большой, а не в полной мере. На чем же основан «остаток» в отношении человека к окружающей действительности? В основе его, отвечает О. И. Джигоев, лежат ценностные критерии.

«Ценность» — это специфическая форма освоения человеком мира. Она не есть первичное, непосредственное отношение к предмету (с точки зрения удовлетворения потребности), а вторичное — одобрение или осуждение. Ценность отличается от такой категории, как «истина», которая состоит лишь в утверждении объективного состояния, не включая в себя необходимо оценочный момент.

Но если это так, то не превращается ли ценность в произвол индивидуальных вкусов? Нет, утверждает автор, ценность также имеет объективный характер, и очень важно выявить его. Ибо в основе индивидуальных ценностей человека, общественного существа, лежит родовое — групповое, национальное, классовое и т. д. Таким образом получается шкала ценностей, у которой должен быть и общий, безусловный критерий. Таким наиболее общим критерием, по словам О. И. Джигоева, являются общечеловеческие ценности, то есть ценности, складывающиеся в масштабе всей всемирной истории, а не какого-либо только отдельного ее периода.

Не противоречит ли это утверждение классовому подходу к явлениям? Разумеется, нет. Ведь как обосновывали К. Маркс и Ф. Энгельс историческую миссию пролетариата? Как осуществление великой цели — построение коммунистического общества, в котором будут созданы наиболее адекватные и достойные человека условия, обеспечивающие полное развитие его индивидуальных способностей. Классовый критерий опирается здесь на общечеловеческий. И это несколько не умаляет роли первого, а, напротив, возвышает его. Пролетариат потому-то и является авангардом

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 308.

общества, что в социальной борьбе он перестает быть только отдельным классом, а стремится обеспечить прогресс всего общества, а в конечном счете — всего человечества. Известные слова В. И. Ленина о том, что, «с точки зрения основных идей марксизма, интересы общественного развития выше интересов пролетариата, — интересы всего рабочего движения в его целом выше интересов отдельного слоя рабочих или отдельных моментов движения»¹; как раз и заключают в себе указанную шкалу ценностей.

Соотношение ценности и необходимости, говорится далее в книге, имеет свой этический аспект как проблема «сущего» и «должного». В свое время, критикуя дуализм Канта, Гегель устранил разрыв между сущим и должным. Это имело свое положительное значение, так как абстрактные этические «максимы» Канта оказывались весьма слабо связанными с реальной действительностью. Но в гегелевском решении была и значительная доля консерватизма. Утверждая примат общества над личностью, государства над гражданином, Гегель фактически отрицал всякий этический ценностный подход к социальной действительности, призывал лишь понять ее, жить согласно нравам своей страны и т. д. Для марксиста такой конформизм неприемлем. Марксизм стоит на позициях революционно-критического отношения к действительности. На базе переработанной гегелевской диалектики Маркс, Энгельс, Ленин выдвинули иной, антиконформистский принцип — не только объяснять, но и изменять мир. Этот принцип имеет прямое отношение и к

марксистской этике: человек не только может, но и должен действовать, строить новый мир.

Исследование О. И. Джигоева, без сомнения, найдет заинтересованного читателя. Автор сумел обосновать своеобразие исторической необходимости, — своеобразие, отнюдь не противоречащее объективному характеру исторического процесса. Заслуживает внимания попытка исследователя включить в систему своей аргументации философско-антропологический аспект, по-марксистски осмысляемое понятие «природы человека». «Когда мы утверждаем, что историческая необходимость рано или поздно осуществится, — пишет он, — мы исходим из определенного понимания природы человека. Мы предполагаем, что человек стремится удовлетворить свои потребности, что он предпочитает более благоприятные средства для удовлетворения этих потребностей и т. д.».

Конечно, этот момент в исследовании О. И. Джигоева не претендует на завершенность, равно как и многие другие положения его книги. Думается, например, что в работе, посвященной своеобразию исторического процесса, заслуживала рассмотрения такая категория, как «творчество», которое всегда вносит элемент непредвиденности в развитие человеческой культуры и истории в целом. Тем не менее постанова автором ряда важных и актуальных теоретических вопросов, оригинальный подход к их решению несомненно будут способствовать их дальнейшей плодотворной разработке.

В. ХОРОС.

★

ЭТИЧЕСКИЕ РАЗДУМЬЯ

Евг. Богат. Бессмертны ли злые волшебники. «Молодая гвардия». М. 1967. 304 стр.

Эта книга с наивным заглавием привлекательна тем, что ее автор задался целью сказать нечто о вечных проблемах этики и нравственных явлениях современности, опираясь на свой личный опыт.

Бывают ситуации, когда лишь наивность, свободная от условного словаря, от предсудков и догм, способна на открытие

того элементарного факта, что «король гол». Но наивность двулика: свежесть наивного взгляда сосуществует с простотой неведения. Сила и слабость наивного взгляда заметны в позиции автора рецензируемой книги.

Заглавие книги — вопрос шестилетней дочери автора, обескураженной тем, что добрые феи не всемогущи. Самому автору ясно, что «добро побеждает зло в сложной столетней борьбе». Но что-то останавливает

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 4, стр. 220.

его от такого ответа. Действительно, ответ этот ничего не дает ребенку. На детский вопрос можно ответить сказкой, мифом, рассказом.

Перед нами ответ, состоящий из очерков, репортажей, выписок, эссе, воспоминаний. Сказки Андерсена чередуются с письмами, лирика сменяется публицистикой, портреты «чудаков» — повествованием о несостоявшейся любви. Изложение лишено единого сюжета, и пересказать его невозможно, как скажем, газету. Кстати, автор — журналист, и его профессия чувствуется как в особом вкусе к повседневности, так и в умении за пестрой мозаикой бессюжетной жизни увидеть сквозную, продолжающуюся тему.

Разнородный материал скреплен авторским отношением — наивностью, любовью, добротой. Сознательная этическая позиция автора — «этика, естественно рождающаяся из понимания жизни как чуда». С привлекательной прямоотой и откровенностью автор отстаивает добро. Но быть за добро и формулировать этику добра — вещи разные...

Основная идея первого раздумья — так Е. Богат называет части своей книги — выражена в заглавии: «Сердце и фантазия». Прямая зависимость между сердцем и фантазией преподносится автором в качестве «мирового закона», обнимающего «некую особенность духовной жизни тысяч, миллионов людей». Добрых людей, по его мнению, отличает до старости лет большая фантазия, у злых — не может быть яркой фантазии.

В точности этого наблюдения нельзя не усомниться. Если уж оставаться в рамках навязанной альтернативы, то как раз наоборот! История и современность свидетельствуют об ослепительной фантазии зла, его умении быть привлекательным, заворочить и зачаровать. Не потому ли с избытком зла так часто связано разочарование?

Охваченный пафосом добра, автор упрощает коллизию жизни: «добр» и «сердцу» и «фантазии» (в книге все это — синонимы) противопоставляет примитивное зло, поражение которого предreshено еще до столкновения с ним. Выскочив из действительности, можно, конечно, смотреть на историю как на провиденциальный механизм посрамления зла, но на самом-то деле в нравственном опыте человечества далеко не одни только победы. Острее видеть зло — в интересах добра.

Повествуя о восьми своих героях, автор называет их чудаками. Старый лесник, в прошлом воспитывавший собак для уголовного розыска, отмечен чертами «юной взволнованности», и в его отношении к деревьям автору видится «изумление ребенка, первый раз в жизни попавшего в большой лес и еще не решившего для себя: сказка это или явь». «Юношески худой» литейщик увлекается живописью и мечтает о времени, когда «будет сидеть человек у нуля и, пока машины работают, писать портрет возлюбленной, или читать Шекспира, или наблюдать небо в портативный телескоп — что кому интереснее». Шофер со «странным лицом: анфас — тридцать, в профиль — пятьдесят» лет — подбирает в зимнюю стужу «голосующего» путника и рассказывает, как «в позапрошлую осень по самому что ни на есть непролазному бездорожью» он «вызволил из Чекуновки Александра Ивановича... Доктора русской литературы. Почти неживого, с взорванным сердцем». Слесаря-механика, прозванного «классическим чудаком», манит звездное небо, «волнуют мысли об исчезающих породах птиц и животных»...

Симпатии автора на стороне «чудаков», и они того вполне заслуживают. Вопрос в другом. Что же есть обычное, типичное, современное — тот нравственный уровень, над которым возвышаются эти чудаки? Ответ на такой вопрос предполагал рассмотрение коллизии между чудаком и «общим мнением», врез с которым он действует.

Автор, однако, не признает этой коллизии и объявляет неизбежным для «того старого мира» заблуждением толкование слова «чудаки» в словаре В. Даля. Ему даже кажется, что скоро все будут «чудаками» и останутся лишь отдельные «нечудаки» — «унылые себялюбцы». Но если даже согласиться с подобными парадоксами словоупотребления, они едва ли способны хоть в какой-то мере прояснить те реальные процессы, которые происходят сегодня в нравственной жизни общества.

Проблема столкновения этики и науки («Раздумье второе. Этика космоса») воспринимается автором как соотношение чувственного и рационального, поэзии (искусства) и науки, то есть в известном ключе «физики — лирики». Он за равновесие золотую середину. Вот, например, очерк о молодых электрониках. Они «не боятся быть наивными» и фанатически влюблены

в новую технику. Равновесие, так сказать, налицо, и автор, сам полный любви и восхищения к своим героям, замечает: «Самое волнующее для них в современных, «думающих» машинах — рождение аналогий с живой материей, с вершиной ее — человеком».

Содержание этого последнего предложения представляется констатацией общеизвестной научной установки. К этике она прямого отношения не имеет. Более того, когда один из персонажей книги, также занятый деятельностью, которую Е. Богат характеризует как «очеловечивание техники», — когда этот персонаж делится с автором своими мыслями о «безграничных возможностях математических машин» («Не вечно же мы будем строить наши машины из металла... Белок не дает мне покоя»), то становится как-то холодновато.

Социально-этическая проблема высвобождения живого человека из-под власти машины, преодоление отчуждения между человеком и техникой предстает в книге как техническая задача построения живой машины...

«Что такое человек?» — тема третьего раздумья («Ты»). Вслед за Горьким автор пишет слово «Человек» с большой буквы, слово «личность» выделяется жирным шрифтом. Но когда концепция сопрягается с жизнью, с нею что-то происходит. «У меня найдутся, возможно, оппоненты, но я твердо убежден, — пишет автор, — что для счастья человечества тысячи Иванов Филиппчуков важнее десяти (даже десяти!) Леонардо да Винчи». (Иван Филиппчук — один из героев автора, молодой наладчик и оператор вычислительных машин, по характеристике автора — «новая личность».)

Очевидно, под оппонентами имеются в виду те, кто бы сказал: «Нет, напротив, десять Леонардо да Винчи важнее тысячи Иванов Филиппчуков». Подобное оппонирование вряд ли чем принципиально отлично от первого утверждения. Значительно интереснее отсутствие в авторских раздумьях места для вопроса. что бы это значило — «десять Леонардо да Винчи»? И что это за

понимание личности, позволяющее цифровые операции с ней?

Е. Богата во многом подводит стремление обо всем сказать по-особому. Это подчас ведет к вычурности, безответственному употреблению слов Волшебный «подтекст» действительности, пишет автор, «нуждается в нашей деятельной доброте не меньше, чем слабый весенний росток в оберегающих ладонях ребенка». Любимый словарь автора — «волшебство», «весна», «доброта», «ребенок»... Хорошие слова. Но весенний росток не нуждается в ладонях ребенка. Что хочет сказать автор? То ли об охране живого ростка от детей, то ли о мертвом ростке в руках ребенка...

Говоря о возможности неслыханного нравственного богатства, автор оптимистично обещает: «То, что было раньше уделом избранных — больших писателей, композиторов, ученых, будет общечеловеческой нормой». Но «нравственное богатство» гениев — это не сума за плечами, содержимое которой можно поделить между всеми поровну и создать «норму» для каждого. За этическим возвышением той или иной личности лежит ее конкретная жизнь, поиски и неудачи, лишения и страдания — словом, индивидуальная судьба. Иллюзия о возможности поточного производства нравственно совершенных лиц не учитывает, что дорога к нравственной высоте, как и всякий путь наверх, достаточно терниста и трудна. Если бы легко было быть Сократом, это имя не пробилось бы сквозь века.

Современная тяга к нравственному уяснению и переосмысливанию действительности заслуживает пристального внимания. Попытка подобного подхода отчетливо видна и в рецензируемой книге. Но эмоциональная приверженность добру еще не гарантирует последовательности и убедительности этической позиции автора, — тут сказались, конечно, не только (и даже не столько) просчеты его собственной мысли, сколько некоторые общие слабости современной литературы по вопросам морали, недостаточная работанность в ней многих актуальных нравственных проблем.

В. НЕРСЕСЯНЦ.



ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАУЧНОГО АТЕИЗМА

Б. Х. Цавкилов. Мораль ислама. Кабардино-Балкарское книжное издательство. Нальчик. 1967. 327 стр.

Тринадцать веков существует магометанская религия, которую и сейчас исповедуют миллионы людей. Ислам, после того как он появился на Аравийском полуострове, постоянно стремился расширить область своего влияния. Он подчинил себе многие страны Азии и Африки, рвался в Европу и долгое время держался в Испании, уже в VIII веке проник в Среднюю Азию, в башкирские и уральские ханства, на Кавказ, в Индию, Индонезию и Западный Китай — где мирным путем, по караванным тропам, где огнем и мечом. Пожар «джихада» — «священной войны» — не затихая, бушевал долгие века.

Ислам, в верованиях которого причудливо сочетались роскошь и аскетизм, стремление к просвещению и мрачный религиозный фанатизм, забота о ближних и самая жестокая тирания, не только оставил неизгладимый след в истории человечества, но и продолжает участвовать в ней как религия, ныне действующая. Он определял, да и сегодня во многом определяет жизнь целых народов, их быт и культуру.

Тринадцать веков росла и литература об исламе. Начиная со средних веков — Бируни, Ибн-Хальдун, Абу-Новас, Абуль-ала Маарри — и кончая XX веком, когда появились работы крупных европейских исламоведов В. В. Бартольда, И. Ю. Крачковского, Снука Хюргорнье, Андре Массэ, Игнаца Гольдциера и других, накопилось столько книг об исламе, что они могли бы составить огромную библиотеку, соответствующие разделы которой могли бы занять и книги о мусульманском искусстве, и многочисленные переводы Корана (в том числе и больше десятка русских, начиная с того, который был сделан по повелению Петра Первого, и кончая замечательным переводом И. Ю. Крачковского, осуществленным уже в советское время).

Первоначальный ислам — это прежде всего Коран. Во времена Мухаммеда и первых его преемников он был законом, краеугольным камнем в жизни халифата. Потом, когда выработались установления шарната, Коран сделался книгой для назидательного чтения, так сказать, «учебником жизни». Он и был основным учебником в мусульманских школах. Мусульмане, подобно древним

грекам, из поколения в поколение возраставшим на поэмах Гомера и Гесиода, с детства привыкали видеть мир через призму Корана, воспринимали ту нравственность, ту мораль, которая должна была руководить их поступками.

Среди предписаний Корана и вообще ислама есть немало таких, которые, как всякая религия, несут в себе реакционную социальную идею смирения и покорности. Настойчивые призывы Корана верить в аллаха, в его всемогущество, вездесущность и вечность, требование многократных на день молитв действовали отупляюще на ум верующего.

Отмечая и — с позиций современного гуманизма — справедливо осуждая жестокость некоторых предписаний Корана, нужно вместе с тем помнить, что она отражала жестокость той борьбы за существование, которую принуждены были вести народы, чей жизненный опыт запечатлен в этой книге. Например, в суре 5 (стих 42) Коран рекомендует отсекать руки воров и воровкам. Но представим себе древнего араба-кочевника в пустыне — он все возит с собой, у него каждый предмет в единственном числе, любой из них жизненно необходим. Если украсть у него чашку, нож, плащ или верблюда — это, может быть, приведет его к гибели. Жестокость эта была, таким образом, далеко не бессмысленна, она диктовалась необходимостью и достигала цели: воровство в странах начального ислама было явлением крайне редким.

Для верующего мусульманина Коран — религиозная священная книга. Для нас — это замечательный памятник мировой литературы, который — как «Илиада» Гомера, как «Феогония» Гесиода, как древнеперсидская «Авеста» или буддийская «Дхаммапада», наконец, как Библия — воспитывает в читателях чувство прекрасного, образовательно их ум. Вот, например, в какую точную и художественную форму заключена здесь проповедь человеческой скромности: «И сообрази твою походку и понижай свой голос: ведь самый неприятный из голосов — конечно, голос ослос» (сура 31, стих 18).

Гёте и Пушкин написали стихотворные подражания Корану. Десять стихотворений Пушкина на темы Корана — это шедевр ми-

ровой лирики. Будучи в ссылке в Михайловском, великий русский поэт писал:

В пещере тайной в день гоненья
Читал я сладостный Коран...

Ему же принадлежит замечание, что «многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом».

Обо всем этом я подумал после того, как прочитал книгу Б. Х. Цавкилова «Мораль ислама», — подумал именно потому, что там об этом ничего не говорится. Что это за книга? О философском и литературном уровне ее можно судить хотя бы по следующим выдержкам:

«В Коране много нелепостей. Стих 3-й суры 24-й гласит, что прелюбодей не может брать другой жены, кроме распутной женщины» (стр. 31). Что же тут нелепого?

«Если бы ширские народные массы в поисках свободной и счастливой жизни упали на бога, они никогда не смогли бы подчинить себе законы природы» (стр. 81). Нам представлялось до сих пор, что законы природы можно познать и разумно использовать. «Подчинить» их — это уже не из области науки, а скорее из области религии, против которой обращает свою книгу Б. Х. Цавкилов.

«Религия воспитывает людей в духе наплевизма к общественному добру» (стр. 90).

«Если религия воспитывает презрительное отношение к труду (откуда это видно? — В. А.), то чем объяснить, что верующие люди работают в нашей стране во всех отраслях хозяйства?» (стр. 98). В самом деле — чем же это объяснить?

«Что касается биологической смерти человека, то разве она должна внушать ему ужас и страх, если (!) он твердо уверен в том, что живет только один раз?» (стр. 115).

«Отход масс от религии — сложный процесс. Он, так сказать, связан с отливами и приливами» (стр. 259).

«Теперь бескрайние просторы неба бороздят советские космические корабли с «гяурами» — космонавтами на борту, не встречая на своем пути ни бога, ни его пророков» (стр. 291). Аргумент хотя и популярный, но едва ли достаточный даже для детей младшего школьного возраста...

В самом начале книги Б. Х. Цавкилов подверг сомнению авторство Мухаммеда по отношению к Корану. Что ж, это его право.

Однако ему следовало бы как-то аргументировать свою точку зрения, тем более что существует иная. Крупнейший востоковед-арабист академик И. Ю. Крачковский писал, что, «не говоря об отдельных летаях, в науке нет сомнения относительно роли Мухаммеда в создании этого памятника». Таких промахов в книге Б. Х. Цавкилова немало.

Книга посвящена морали ислама. Опираясь на многочисленные цитаты, автор стремится доказать безнравственность ислама. К сожалению, приемы его критики оказываются порой безупречными не только в научном, но и в нравственном смысле.

Возьмем один из главных вопросов всякой морали — отношение к женщине. Ислам относится к женщине сурово, но не нужно ему приписывать то, чего в нем нет. Б. Х. Цавкилов говорит, что в суре 4 (стих 19) Коран «разрешает мужу убить свою жену за непокорность». Читаем указанный стих: «А те из ваших женщин, которые совершат мерзость, — возьмите в свидетели против них четырех из вас. И если они засвидетельствуют, то держите их в домах, пока не упокоит их смерть или Аллах устроит для них путь». Где тут «непокорность» и где разрешение на убийство? Не слишком ли вольно толкует Б. Х. Цавкилов коранический стих?

Мухаммед восставал против жестокого обычая кочевников-арабов закапывать в землю живыми «лишние рты» — новорожденных девочек, — обычая, диктовавшегося постоянным недостатком пищи и воды. Следует иметь в виду, что обычай убивать «лишних» детей был в древности распространен по всей земле — и среди греков и древних германцев, а на островах Фиджи и в некоторых районах Африки и Крайнего Севера он существовал еще и в XIX веке. Таким образом, Мухаммед восстал против обычая, освященного многими веками. В Коране сказано: «И когда одного из них обрадуют девочкой, лицо его делается черным, и он удручен, скрываясь от народа от горечи того, чем обрадован: удержать ли это на унижение или сокрыть его в прахе? Плохо они рассуждают!» (сура 16, стихи 60, 61). Б. Х. Цавкилов пишет: «Как сказано в Коране, у мусульманина, у которого родилась дочь, «лицо... делается черным, и он удручен». Такое цитирование искажает смысл текста.

Ислам поощряет помощь бедным и нищим. Милостыню должны давать все, не только богачи, но и те, кто имеет возможность поделиться хотя бы куском хлеба. В Коране — суры 3 (стих 86), 9 (стих 122), 4 (стих 42), 58 (стих 14) и другие — прямо предписывается верующим говорить милостыню. Продираясь сквозь любимые Б. Х. Цавкиловым «в силу отсутствия», «в силу догматов», «в силу того», натякаешься на новое искажение смысла коранического стиха. В Коране сказано: «Если вы открыто даете милостыню, то хорошо это; а если скроете ее, подавая ее бедным, то это — лучше для вас и покрывает для вас ваши злые деяния» (сура 2, стих 273). Прочитав этот стих, Б. Х. Цавкилов восклицает: «Вот, оказывается, почему надо помогать нищим! Если вы даже совершите тяжкие преступления, то они вам простятся, если вы подадите милостыню какому-нибудь «ближнему»...» А между тем смысл стиха прост и благороден: помогай беднякам без хвальбы, и если ты способен так поступать, то для тебя не все потеряно.

Тезисы своей книги Б. Х. Цавкилов иллюстрирует материалом, взятым из местной печати. Любопытно, однако, что, посвятив много страниц общей истории ислама, автор ничего не сказал о том, как и когда проник ислам в Кабарду. Между тем история эта любопытна. В другой книге того же издательства читаем: «К концу XV века большинство адыгов, абазин, карачаевцев и балкарцев было язычниками, многие были христианами и лишь незначительная часть мусульманами»¹. А вот еще свидетельство: «В XVIII в. ислам стал господствующей религией кабардинцев. Что касается балкарцев, то к ним ислам стал проникать значительно позже. По этнографическим данным, начало его распространения в Балкарии относится к первой половине XVIII в. Массовое же обращение балкарцев в ислам происходило в конце XVIII в. Этот процесс за-

вершился, видимо, в первой половине XIX в.»¹. В 1557 году Кабарда присоединилась к России, но все же народы Кабарды постепенно обратились к исламу, а не к православию, не подчинившись давлению ни государственной религии, ни содействовавших ей кабардинских князей. Что заставило народ переменить веру? Это вопрос сложный, пока не разрешенный. Однако нельзя, как это делает Б. Х. Цавкилов, обходить его молчанием.

Критику моральных принципов ислама автор сводит в основном к осуждению старинных горских обычаев (отождествляя их с исламом, что едва ли основательно, если вспомнить, когда ислам проник в Кабарду), к рассказу о деятельности мелких сект, последователи которых имеют подчас самое смутное представление об исламе; приводит обширные выдержки из газетных и журнальных статей, где рассказывается о мошеннических проделках, совершаемых некоторыми основателями таких сект. Вряд ли нужно доказывать легковесность подобных аргументов. Научному атеизму чужд азарт поверхностного обличительства, который так характерен для споров между представителями разных религий.

Нет сомнения в том, что навсегда уйдут в прошлое и православие, и буддизм, и ислам, и все другие религии. Активно содействовать этому процессу, подвергая глубокой марксистской критике все стороны религиозного сознания и в том числе религиозную мораль, — нужно и должно. Сам факт выпуска еще одной книги такого содержания (тем более местным республиканским издательством) заслуживает всяческой поддержки. Все дело, однако, в том, чтобы атеистическая пропаганда всегда велась на подлинно высоком уровне — мировая и отечественная атеистическая литература дает в этом смысле сколько угодно прекрасных образцов. В прогивном случае можно добиться скорее нежелательного, обратного эффекта.

Виктор АФАНАСЬЕВ.

¹ А. Т. Тхагапсоев Нравоучения ислама и отношения между народами. Кабардино-Балкарское книжное издательство. Нальчик. 1967, стр. 13.

¹ «История Кабардино-Балкарской АССР». «Наука». М. 1967, т. 1, стр. 298.

СЕРЬЕЗНОЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

М. С. Бедный. Продолжительность жизни. «Статистика». М. 1967. 215 стр.

Демографические процессы, происходящие в мире, в последние годы привлекают внимание не только специалистов, но и широких общественных кругов.

Особенно волнует проблема увеличения продолжительности жизни, так как сейчас уже достаточно популярным стало положение, что искусство продлить жизнь — это искусство не укоротить ее. Увеличение средней продолжительности жизни оказывает влияние на возрастную структуру населения, его здоровье и воспроизводство. Образуется круг тесно взаимосвязанных и довольно сложных процессов, разобраться в которых позволяет книга.

Сначала автор коротко, но весьма квалифицированно вводит читателя в существо излагаемых вопросов. Он дает представление о динамике численности населения мира с 1000 года, а также знакомит с существующими вариантами прогнозов его численности до начала XXI века. Чрезвычайно быстрый темп роста населения, особенно в развивающихся странах, заставляет глубоко задуматься не только демографов и экономистов, но также общественных и политических деятелей.

Поучительна динамика показателей рождаемости и смертности.

Успехи медицины уже в XIX столетии привели к существенному снижению смертности в основных, развитых европейских странах. Особенно резко снизилась детская (младенческая) смертность, что повсеместно обуславливает высокую среднюю продолжительность жизни и рост удельного веса среди населения лиц пожилого возраста. Автор приходит к совершенно справедливому выводу, что общий коэффициент смертности сейчас уже потерял свое былое значение. Базироваться теперь надо только на комплексных показателях, и главным образом на показателе средней продолжительности жизни. На существе и динамике этого показателя автор останавливается очень подробно. Малопосвященному читателю будет небезынтересно узнать, что средняя продолжительность жизни далеко не одно и то же, что средний возраст умерших, и что существуют специальные математические методы, позволяющие определить среднюю продолжительность жизни на основе повозрастных коэффициентов смертности.

Естественно, много места в книге занимает анализ демографических показателей для России и СССР. Автор начинает его с конца прошлого столетия и показывает, как с тех пор снизилась рождаемость, как идет снижение смертности населения и каков уровень его естественного прироста.

Подробно разбирая причины снижения рождаемости, М. С. Бедный на фактическом материале убедительно показывает, что рождаемость у женщин понижается при совмещении домашней работы с производственной, с переходом женщин на работу в город из сельской местности, с переходом трудящихся из категории рабочих в категорию служащих. Автор утверждает, что в ближайшее время у нас нет оснований ожидать роста рождаемости. Наоборот, более вероятно дальнейшее снижение общих показателей рождаемости по СССР главным образом за счет среднеазиатских республик, где уровни рождаемости пока высоки, но постепенно снижаются, приближаясь к среднесоюзным.

По темпам снижения смертности населения Советский Союз значительно обогнал капиталистические страны Западной Европы и Америки.

В результате снижения смертности во всех возрастах увеличивается число людей пожилого возраста. За период с 1896—1897 по 1963—1964 годы средняя продолжительность жизни в СССР увеличилась почти в два с половиной раза (с тридцати двух до семидесяти лет). Одновременно с увеличением средней продолжительности жизни происходят сдвиги возрастного состава населения в сторону пожилого возраста. Население «стареет». Этот факт не может не привлечь к себе пристального внимания экономистов, биологов, гигиенистов, врачей, организаторов здравоохранения. «Постарение» населения затрагивает ряд важных социально-экономических и медицинских проблем, из них ведущая — изменение соотношений в численности трудоспособной и нетрудоспособной части общества. В силу этого возникает очень важный вопрос: какие причины способствуют сдвигам возрастного состава населения в сторону пожилого возраста — снижение рождаемости или снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни? Выяс-

нение его имеет особое значение для прогнозов изменения структуры населения, которые с полным основанием можно отнести к сфере научного предвидения и считать частью новой науки — футурологии.

Ответ на поставленный вопрос М. С. Бедный решил искать на фактических материалах одной из областей Советского Союза — Днепропетровской. На них, как на статистической модели, автор провел углубленный анализ демографических процессов за длительный период времени. Особенно интересны страницы, посвященные влиянию социально-экономических факторов на эти процессы. Такой прием регионального анализа позволил автору сделать ряд убедительных выводов, имеющих далеко не только местное значение.

На основе полученных выводов М. С. Бедный строит содержание двух последних, позитивных глав своей книги, где ищет пути дальнейшего продления жизни человека. Их он видит прежде всего в снижении инфекционных заболеваний, пневмоний, туберкулеза и травм.

Эту задачу можно считать вполне реальной. Хорошо известны огромные достижения в борьбе с заразными болезнями. Одни из них полностью ликвидированы, другие находятся на пути к ликвидации. Не менее успешно идет борьба с туберкулезом — этим извечным социальным бичом. Многие достигнута в сокращении заболеваемости воспалением легких. Сейчас эта болезнь далеко не занимает уже того места, как раньше, среди причин смертности населения. Реальной задачей надо считать решительное уменьшение смертей от травм. Это целиком в наших руках.

Главные причины смертности в настоящее время — сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные опухоли. На борьбу с ними сейчас направлены усилия ученых всего мира.

Книга оптимистична, вызывает много мыслей и, несомненно, с интересом будет принята широкими кругами советской интеллигенции.

*Профессор С. ФРЕЙДЛИН,
заслуженный деятель науки РСФСР.*

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ!

(Ответ М. Гусу)

На статью о романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», напечатанную в «Новом мире» (№ 6, 1968), критик М. Гус откликнулся обширным рассуждением «Горят ли рукописи?» в журнале «Знамя» (№ 12, 1968).

Вопрос, поставленный в заглавии, М. Гус, увлеченный, по-видимому, иными задачами, так и оставил без ответа. Но зато по ходу дела высказал немало примечательного.

Полемика должна быть объективной, и прежде всего следует отметить сильные стороны произведения М. Гуса. Достоинством его статьи представляется мне, в частности, то, что сам роман Булгакова не вызывает сколько-нибудь серьезных опасений или протеста со стороны критика. В первых же строках статьи М. Гус даже ставит имя Булгакова обок с именами Пушкина и Гёте, Достоевского и Бальзака. Как не порадоваться за покойного автора, не избалованного при жизни добрыми отзывами!

Другой особенностью статьи М. Гуса, рождающей во мне живое чувство признательности, является то, что, споря со мною,

он приводит, хоть и с досадной неполнотой, ряд цитат из моего разбора романа. Благодаря этому читатели «Знамени» имеют возможность сравнить некоторые мои суждения с той интерпретацией, какую дает им М. Гус. Критик так учтив, что извиняется передо мною за то, что испещрил выдержки из моей статьи своевольными подчеркиваниями, разрядками. Полноте, стоит ли обращать внимание на такую малость, если речь идет о развенчании «некоторых модных ныне» концепций! Тем более что М. Гус не просто прочел статью, но взял на себя неблагодарный труд выявить то, что «является из всего сказанного в статье прямо и между строк». Особенно «между строк». Не всякому в охотку заниматься столь специальной задачей.

Один из основных мотивов статьи М. Гуса состоит в том, что у критика «Нового мира» — «свой» Булгаков», который разительно отличается от подлинного. «Свое понимание критик приписывает автору романа», он создает «мнимого Булгакова», пишет мой оппонент.

Можно было бы возразить на это, что и мне не совсем нравится «Булгаков М. Гуса», но сознаю, сколь бесплоден был бы подобный спор. Увы, автор «Мастера и Маргариты» уже не сможет разъяснить нам, кто лучше понял смысл его романа — М. Гус или я. Но о написанном мною самим я пока, слава богу, еще в силах высказаться. И потому спешу заметить, что М. Гус истолковал меня «по-своему», прочитав «между строк», в пустых типографских пробелах, все, что ему хотелось. У него «свой В. Лакшин», и, смею заверить, ничего общего не имеющий лично со мною.

Стоило мне, к примеру, сказать, что книга Булгакова, написанная в тридцатые годы, оказалась удивительно ко двору в литературе наших дней, когда «обычному для наших писателей вниманию к социальным проблемам стал сопутствовать особенно острый интерес к вопросу морального выбора, личной нравственности», как М. Гус немедленно делает вывод, что Лакшин «объявляет литературу той эпохи (тридцатых годов.— В. Л.) неполноценной, однобокой...». Стоило произнести мне слова о всемогуществе сатаны в его расправах с мелкими и грязными людишками, как М. Гус спешит заявить, что «В. Лакшин старательно подчеркивает бессилie реальных, земных властей, стоящих в нашей стране на страже порядка...».

Не довольствуясь областью истории литературы, М. Гус хочет поссорить меня с юстицией и милицией.

В таких случаях, откровенно говоря, пропадает желание спорить, и человек, менее привычный к фигурам журнальной полемики, должен был бы воскликнуть: «Вяжите меня, я убил...» Но я давно огрубел, зачерствел и, хорошо зная характер подобного красноречия, продолжаю с интересом изучать статью М. Гуса дальше.

«Воланд, оказывается,— пишет М. Гус, пересказывая мою статью,— есть воплощенные стихии сомнения, отрицания, скептицизма, но позвольте, по отношению к чему?»

Можно просто растеряться от такого вопроса, сухо станет во рту, язык прилипнет к гортани. В самом деле, по отношению к чему? Но спокойствие, спокойствие... Соберемся с силами и ответим М. Гусу как на духу: да ко всему. Ко всему?! Вот именно. Вы не забыли, надеюсь, что булгаковский мессир Воланд —

вельзевул, дьявол, сатана, а по-русски черт. Так что же вы от него хотите? Прочтите любое школьное толкование образа Мефистофеля — и вы узнаете, что публика этого сорта представляет собою не что иное, как художественно-философское воплощение сил зла, метафизический образ вселенского отрицания, к которому напрасно обращать грозные вопросы и увещевания. Хорош, в самом деле, был бы дьявол, если бы он советовался со мною или с М. Гусом, к каким лицам и учреждениям он должен относиться с почтением и какие ему разрешено обливать ядом своего скептицизма!

Впрочем, вопросы М. Гуса и не предполагают какого-либо обсуждения или ответа. Это не более чем род риторического восклицания, способного, однако, накинуть пелену сомнения, внушить подозрение, напустить ядовитого тумана, в котором куда легче «объясниться» с любым оппонентом. Вследствие этого нет смысла подробно разбирать все восклицания М. Гуса, достаточно обратить внимание читателей на метод его полемики.

Широко пользуясь риторическими фигурами и чтением «между строк», М. Гус в то же время редко обращает свой взор к самому тексту романа, послужившему поводом для спора. А когда ссылается на текст, то делает это не совсем удачно. Вот он опровергает, например, мою трактовку Понтия Пилата: «Свой долг Пилат видит в том, чтобы славить цезаря. Признаться, я не нашел в тексте романа ничего подобного. Но ведь «свой» Пилат, «свой» роман у Лакшина...»

Искать цезаря в романе и впрямь дело пустое. И в романе, и в моем комментарии к нему он фигурирует под иным именем — кесарь. Порою то же лицо Булгаков называет императором. Так неужели это и помешало М. Гусу отыскать известное место текста, где Пилат славит кесаря? «На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия! — сорванный и больной голос Пилата разросся» и т. д. Все это написано в романе Булгакова, напечатано на странице 22 № 11 журнала «Москва» за 1966 год, и я обращаю внимание М. Гуса-полемиста на эту фразу. Можно было бы указать также и на иные места текста, говорящие о том же самом, но как-то обидно заниматься этим, если сам М. Гус не взял на себя труда внимательнее

прочтешь книгу, по поводу которой собрался спорить.

Рассуждая о Понтии Пилате и его постыдной трусости, я писал, что даже человека умного, смелого и благожелательного трусость способна обессилить и обесславить. Единственное, что еще может его спасти — это внутренняя стойкость, доверие к собственному разуму и голосу своей совести.

М. Гус находит, что именно в этих моих словах поставлен «кардинальный вопрос о соотношении индивидуального чувства справедливости, собственного разума человека с коллективным разумом его класса, его народа, наконец, его партии, если он к ней принадлежит».

Затрудняюсь сказать, к какой партии мог принадлежать Понтий Пилат и коллективный разум какого класса (возможно, рабовладельческого?) он оправдал своей сделкой с совестью. Ясно лишь, что манера переносить конкретные морально-психологические характеристики и оценки на ближайшую современность, навязывая им единый социальный эквивалент, есть странная смесь вульгарной социологии и того абстрактного подхода, который так не нравится М. Гусу и к которому он незаметно скатился с помощью чтения «между строк».

Такого рода операции над текстом и смыслом моей статьи нужны М. Гусу для того, чтобы сделать вывод, будто я противопоставляю личность — обществу, коллективный разум — индивидуальному сознанию и т. п. Дабы это выглядело убедительнее, критик приглашает себе на помощь некую условную фигуру читателя. «Старая-престарая песня крайнего индивидуализма, абсолютизации абстрактного «Я», скажет читатель. И он будет прав!» — пишет М. Гус. Старый-престарый полемический прием, скажу я. Вкладывая придуманную им хулу в уста читателя, критик затем удовлетворенно восклицает о себе в третьем лице: «И он будет прав!» Только правоты от этого что-то не прибывает.

Не сомневаюсь, что читатели моей статьи верно поймут автора и не смешают защиту самостоятельности человеческого сознания, нравственной ответственности каждого — с эгоизмом и индивидуализмом. Зато сам М. Гус оказывается не слишком тверд в этой проблеме. И что досаднее всего, это то, что свое недоверие к самостоятельности человеческого разума и ответственности со-

вести он пытается обосновать ссылками на авторитет классиков марксизма. Однако сами цитаты из трудов В. И. Ленина, которые приводит М. Гус, свидетельствуют о том, как мало вдумался в них критик, беря их себе в поддержку.

М. Гус цитирует слова Ленина: «Надо иметь собственную голову на плечах, чтобы в каждом отдельном случае уметь разобраться». Превосходный совет! Он приводит также известное суждение Ленина о том, что необходимые партии знания, опыт и чутье вырабатываются «длительной, упорной, разнообразной, всесторонней работой всех мыслящих представителей данного класса». Последние слова не могут быть, понятно, перенесены на спор Иешуа с Понтием Пилатом, но они совершенно точно рисуют соотношение личного и коллективного разума в пролетарском движении.

Однако далее М. Гус обращает особое внимание на подстрочную ленинскую сноску, где говорится, что, пока не развилось на своей собственной основе бесклассовое общество, в каждом классе, «даже в самом передовом», «неизбежно будут — представители класса, не мыслящие и мыслить не способные». Само собой разумеется, что слова эти, констатирующие трезво оцениваемую реальность, Ленин пишет, не испытывая какой-либо радости и удовлетворения по этому поводу. М. Гус, напротив, говорит об этом с торжествующей интонацией, поскольку в самом существовании людей «не мыслящих» он видит основное возражение тому тезису, что все главные вопросы жизни человек должен решать согласно голосу собственного разума и совести.

Что же это будет, если каждый «независимо от его развития, уровня сознательности, жизненного опыта» станет «верховным и окончательным судьей в оценке объективной действительности»? — пугается М. Гус. И мне хочется его успокоить.

Существует, понятно, разница между идеалом и реальностью, между желанным должен и сегодняшним есть. Но это вовсе не ставит под сомнение саму норму, сам человеческий идеал. То, что в любом, даже в самом передовом, обществе можно найти немало людей, «не мыслящих и мыслить не способных», еще усиливает значение призыва к людям «думать и судить обо всем самим» — это азбука социализма

В противном случае мы неизбежно должны прийти к апологии некой духовной элиты, самой природой поставленной над «не способными мыслить» элементами общества. Революция провозгласила лозунг: каждая кухарка должна научиться управлять государством. И если теперь М. Гус склоняется к тому, что призывать к самостоятельной работе мысли и голосу совести каждого — вредно и не нужно, а конечная мудрость жизни состоит в том, что всяк сверчок должен знать свой шесток, то я не решусь назвать эту позицию демократической или тем более марксистской.

Напомню, кстати, что Ленин в одной из последних своих статей назвал «лучшими элементами, которые есть в нашем социальном строе», во-первых, передовых рабочих и, во-вторых, «элементы действительно просвещенные, за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести». Думаю, что всем нам, критикам и публицистам, излишне заботиться о том, чтобы этих истинно сознательных элементов становилось в нашем обществе все больше и больше. Развитие личности в этом направлении, отмеченном Лениным, могло бы идти лишь на пользу социалистическому обществу, социалистическому государству.

Вернемся, впрочем, к М. Гусу. Вершиной его негодования и болезненной подозрительности является, пожалуй, словечко «нонконформизм». В самом деле, ведь, не приклеив ярлычка, нельзя считать работу законченной. Мою статью о Булгакове критик называет «откровенным и прямым призывом к нонконформизму». Слово «нонконформизм» он повторяет на разные лады и с такой настойчивостью, что читатель, даже впервые встретивший этот термин, должен понять, что оппонент М. Гуса отличился в чем-то нехорошем.

М. Гус не однажды походя замечает, что, видимо, я в своей статье «решил отдать дань модному философскому поветрию». Боюсь признаться в своей неосведомленности, но никакой «модной» философии я и близко в уме не держал, когда писал статью. И оттого немного удивился, когда М. Гус, видимо более меня начитанный в этой области, согрешил модным словечком «нонконформизм». Смысл этого слова, объясненный Гусом описательно, с помощью обрезков фраз из моей же статьи, я не сразу сумел оценить. Известно, что новообра-

зования с суффиксом «изм» часто имеют весьма едкий смысл. Но стоило бы все-таки проверить, что же это такое, этот самый «нонконформизм»?

Тут не обойтись без специальных справок. Современные советские философские словари и энциклопедии не дают определения этому недавно народившемуся в западной публицистике и философии понятию. Может быть, тут отмечено хотя бы слово «конформизм»? Нет, и его пока не заметили. Лишь обратившись к новейшему изданию «Словаря иностранных слов», я обнаружил, что конформизм — это:

1) соглашательство, сглаживание различий; стремление к единообразию, к единомыслию;

2) учение англиканской церкви.

Понятия «нонконформизм» в словаре нет, но отрицательная частица «нон», равнозначная нашим «не», «анти», должна, очевидно, дать противоположный ряд значений.

Быть может, М. Гус хотел упрекнуть меня в попытке выступить против англиканской церкви? Нет, это маловероятно. Тогда остается рассмотреть первое толкование слова и его возможные антиподы. Чтобы не оказаться пристрастными, обратимся к авторитетному суждению специалиста.

В книге профессора И. С. Кона «Социология личности» (Политиздат. М. 1967) можно найти следующее определение: «Слово «конформизм» в обыденной речи означает приспособленчество. Более точно, конформность — это соответствие некоему признанному или требуемому стандарту; конформное поведение имеет место там, где в случае расхождения во мнениях между индивидом и группой индивид поддается, уступает групповому нажиму. Противоположным понятием (нонконформизмом) — В. Л.) является независимость, самостоятельность человека, который сам вырабатывает определенное мнение и отстаивает его перед другими» (стр. 83).

Вот так так. Неужели этим и пугал меня М. Гус, заявляя о моем «прямом призыве к нонконформизму»? Или, думая обругать меня похлестче, он не догадывался о смысле слова, каким рискнул воспользоваться?

Вообще говоря, ко всем этим понятиям западного философского лексикона, охотно используемым ныне буржуазной пропаган-

дой, следовало бы, пожалуй, относиться осторожнее и не спешить переносить их в наши споры, на нашу социалистическую почву. Я был бы вполне удовлетворен, если бы вместо слова «нонконформизм» М. Гус воспользовался близкими к нему, но более принятыми у нас понятиями — антидогматизм, нестандартность подхода и т. п. Впрочем, и за «нонконформизм» я не могу быть на него в большой обиде, лишь бы М. Гус верно понимал смысл этого слова.

Со своей стороны я хочу воздержаться от каких-либо определений позиции М. Гуса с помощью модных философских понятий. Обойду молчанием и удивительную защиту М. Гусом давних критиков Булгакова, запечатленных в романе в собирательном образе Латунского, мастера «печатной ябеды», и еще многое другое, с чем скучно всерьез спорить.

Меня, сказать по правде, сильнее всего занимает напоследок один вопрос: «Горят ли рукописи?» В своей большой статье, как уже упоминалось, М. Гус позабыл на него ответить. А между тем самой формой риторического вопроса М. Гус дал понять читателю, что сам-то он не сомневается: рукописи горят, горят превосходно и сгорают дотла, если вовремя поворошить их кочергой. Но, рискуя снова дать повод М. Гусу обвинить меня в идеализме, мистицизме и, конечно же, в нонконформизме, я хочу вслед за булгаковским Воландом еще раз воскликнуть: «Рукописи не горят!»

Роман М. Булгакова живет живою жизнью в нашей литературе, и это одно из частных, но несомненных подтверждений закона справедливости, в котором, кажется, все еще сомневается М. Гус.

В. ЛАКШИН.



КОРОТКО О КНИГАХ



Р. САМОЙЛОВИЧ. На спасение экспедиции Нобиле. Поход «Красина» летом 1928 года. Гидрометеиздат. Л. 1967. 316 стр.

Поход ледокола «Красин» летом 1928 года, предпринятый для спасения экспедиции Нобиле, занимает в истории арктических экспедиций особое место. В годы, когда Советская страна только еще успела восстановить свое хозяйство, правительство нашло необходимым отправить на помощь терпящим бедствие людям суда и самолеты, в том числе самый мощный в мире ледокол «Красин», выделить для этого большие средства, подобрать команды из наиболее опытных моряков, хорошо знакомых с условиями плаваний в Арктике. И сейчас, спустя сорок лет, эта эпопея не забыта. Поэтому переиздание книги руководителя экспедиции на «Красине» профессора Р. Л. Самойловича будет встречено читателями с живым интересом, тем более что предыдущее, третье издание этой книги (1934) давно уже стало библиографической редкостью.

Планируя арктическую экспедицию, фашистское правительство Италии преследовало прежде всего пропагандистские, рекламные цели. Несмотря на это, руководителю экспедиции Умберто Нобиле удалось наметить значительную программу научных исследований, которая предусматривала высадку группы людей на Северном полюсе.

Экспедиция Нобиле, протекавшая вначале вполне успешно, закончилась трагически. 25 мая 1928 года дирижабль «Италия» потерпел аварию вблизи Шпицбергена. Десять человек оказались на льдине (один из них погиб при падении), остальные шесть унесены облегченным дирижаблем.

На помощь терпящим бедствие было направлено много кораблей и самолетов разных стран, в том числе советские корабли «Персей», «Седов» и ледоколы «Малыгин» и «Красин». Поход «Красина», как известно, завершился замечательным успехом — семь из шестнадцати участников экспедиции Нобиле были спасены.

Книга Р. Л. Самойловича по существу является дневником экспедиции. Она документально точна в изложении событий. Вместе с тем в книге очень живо, иногда с

тонким юмором описываются будни экспедиции, приведены яркие характеристики ее участников. Перед нами проходит вереница талантливых, мужественных людей — заместитель начальника экспедиции П. Ю. Орас, прославленный летчик Б. Г. Чухновский, капитан К. П. Эгги, его первый помощник П. А. Пономарев, тридцать два года спустя ставший капитаном первого в мире атомолота «Ленин», и многие другие.

Автор часто делает историко-географические экскурсы, описывает природные особенности полярных областей.

Поход «Красина» дал значительные научные результаты. Несмотря на специфическую задачу экспедиции, все время велись метеорологические, гидрологические и геологические исследования, был собран значительный ботанический и зоологический материал. Удалось доказать, что так называемая Земля Джиллиса, местонахождение которой предполагалось к северо-востоку от Шпицбергена, на самом деле не существует. Очень важным результатом похода «Красина» было преодоление скептического отношения к ледоколам как к средству полярных исследований.

Несколько слов об авторе книги. Профессор Рудольф Лазаревич Самойлович прожил яркую, целеустремленную жизнь. Знакомство с Севером началось для него в молодые годы в Архангельской губернии, куда он был сослан за участие в революционном движении. В 1912—1915 годах он участвовал в исследовании угленосных районов Шпицбергена. С тех пор вся его жизнь связана с исследованием Арктики. После Октября Р. Л. Самойлович руководил многими экспедициями, организовал и возглавил Институт по изучению Севера, который в 1930 году был преобразован во Всесоюзный арктический институт, организовал кафедру полярных стран в Ленинградском университете. Его кипучая, многосторонняя деятельность оборвалась в 1938 году.

Р. Л. Самойлович оставил большое научное наследство, в котором заметное место занимает правдивое и увлекательное описание героического похода на «Красине».

В. Конский.

Одесса.



НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ. Ранней ранью. Повесть. «Молодая гвардия». М. 1968. 160 стр.

Повесть «Ранней ранью», увидевшая свет уже после смерти Николая Чуковского, продолжает ряд историко-революционных произведений писателя, в которых он исследует судьбы и психологию людей, вовлеченных в самый круговорот исторических событий. Люди, казалось бы, бесконечно далекие в своих повседневных делах, заботах и мыслях от истории, на самом деле оказываются тесно связаны с ней — история вторгается в их судьбы, причудливо перекрещивая и направляя человеческие жизни.

Судьба Ксении Муратовой, героини последней повести Николая Чуковского, необычна, даже фантастична. Внучка царского генерала, дочь белого офицера, она волею истории, о которой попросту не знала и не думала, стала батрачкой на мызе эстонского богача Томинга. Случилось так, что в один узел связались судьбы людей, совершенно разных и по своему происхождению, и по тому месту, которое, казалось бы, навсегда определено им было в жизни. Об этих парадоксах истории, в которых в то же самое время отражается непреложная ее закономерность, и рассказывает повесть Н. Чуковского.

Родители Ксении Муратовой после бегства из «большевистского Петербурга» оказались в Эстонии. Они «считали свое пребывание там случайным и временным. Но вышло так, что они остались в Эстонии навсегда». Отец Ксении, мечтая о возвращении в Петербург, создавал вместе с такими же, как он сам, офицерами-эмигрантами «планы новых армий и новых наступлений». А пока что семья жила на болоте, в землянке, в «тяжелой, беспросветной, изнуряющей нищете». Выкинутые из своей среды, Муратовы жили рядом с батраками, поденщиками, лесорубами, рыбаками, и Ксения, родившаяся уже здесь и названная отцом в честь сестры императора Николая II, знала только этот мир. Отец Ксении погиб случайно, утонув в проруби, потом умерла и мать. Перед смертью бывшая воспитанница Екатерининского института, голодная, оборванная женщина, читала романы из великоветской жизни «графа Амори» и «княгини Бебутовой» и, радуясь знакомым названиям петербургских улиц, объясняла дочери, выросшей на болоте, как пройти по Графскому переулку на Фонтанку. После смерти матери Ксении пришлось пойти батрачкой на мызу Томинга. А единственный товарищ ее детства, нищий эстонский мальчик Арви, стал большевиком. И словно в насмешку над судьбой — отец Ксении люто ненавидел и большевиков и «инородцев», «погубителей и предателей России» — Арви и Ксения полюбили друг друга. И сама Ксения, не думавшая прежде «о чужих бедах», захваченная «ветром перемен», в конце концов тоже связывает свою жизнь с революцией...

«В молодости каждого человека бывает один такой особый год, который потом оказывается самым важным годом жизни, — важнее всех предшествующих и всех последующих... Год этот особый потому, что за его двенадцать месяцев человек становится взрослым и окончательно складывается...» — говорит героиня повести.

О том, как человек начинает понимать свою причастность к истории, как рождается у него потребность сознательно взглянуть на свою жизнь, разобраться во всех ее неожиданных поворотах, как «чужие беды и тревоги» становятся близкими, — и написана эта последняя повесть писателя.

И. Гитович.

★

И. И. ГРОШЕВ. Исторический опыт КПСС по осуществлению ленинской национальной политики. «Мысль». М. 1967. 420 стр.

Задача осмысления действительно исторического опыта нашей партии в теоретическом и практическом решении национального вопроса столь важна и актуальна, что законность появления все новых и новых исследований в этой области едва ли нуждается в доказательстве. Однако, как и в любом другом случае, важность темы еще не гарантирует автору подлинного успеха: все дело в том, насколько самобытным и глубоким окажется ее решение.

Первая глава книги И. И. Грошева — теоретическая. Задавшись целью «правильно ответить на вопрос: что такое нация?», автор в популярной форме излагает положения, хорошо знакомые читателю: о том, что «нация — это социальная, а не биологическая категория», и что ее обязательными признаками являются общность территории («длительная совместная жизнь, — справедливо замечает он, — может протекать лишь на общей территории»), а также общность языка, экономической жизни, культуры и быта; что «процесс консолидации людей в нации» происходит «в период капитализма», и «пока у власти стоят капиталисты, эти нации остаются буржуазными».

Глава вторая знакомит читателя со взглядами В. И. Ленина по национальному вопросу. И. И. Грошев в хронологической последовательности называет, цитирует и пересказывает несколько десятков ленинских работ дооктябрьского периода, относящихся к этой теме. Такой порядок изложения имеет очевидные преимущества: он прост и избавляет автора от каких-либо забот о композиции. Беда, однако, в том, что с яркими цитатами, передающими богатство мысли ленинских статей по национальному вопросу, соседствует большей частью уныло однообразный, трафаретный комментарий автора. Так, на странице 48 И. И. Грошев пишет: «В. И. Ленин беспощадно разоблачал реакционный, буржуазно-националистический характер лозунга «культурно-национальной автономии». На

странице 67 говорится: «Защищая и глубоко обосновывая марксистскую программу по национальному вопросу, В. И. Ленин беспощадно разоблачал реакционную буржуазно-националистическую идею «культурно-национальной автономии».» На 70-й читаем: «Выдвигая и обосновывая требование областной автономии, большевистская партия, В. И. Ленин решительно отвергли программу «культурно-национальной автономии»...» Примерно в тех же самых выражениях говорится об этом и на многих других страницах: 35—36, 38, 44, 45, 61, 63, 71, 75... Такого рода повторения, конечно, увеличивают объем книги, но мало чем обогащают читателя.

Третья, четвертая и пятая главы книги посвящены пятидесятилетней истории национально-государственного строительства в нашей стране, экономическому и культурному развитию народов Советского Союза, их сотрудничеству и взаимопомощи. Автор сообщает большое количество фактов, называет множество дат, имен и цифр. Некоторые из них вводятся в научный обиход впервые. Нужно, однако, заметить, что и в этих наиболее содержательных разделах И. И. Грошеву вредит излишняя эмпиричность и безглубина изложения. Многие важные события и факты лишь названы. Быть может, стоило пожертвовать иными второстепенными подробностями, но зато проанализировать, к примеру, ту дискуссию по национальному вопросу, которая развернулась на XII съезде партии в связи с известными письмами В. И. Ленина, написанными им незадолго до смерти. В книге И. И. Грошева об этой дискуссии не сказано ни слова, да и сами ленинские письма приводятся в таких скромных извлечениях, что по ним весьма трудно судить о содержании и значении этих важнейших документов, явившихся своего рода завещанием Ильича по национальному вопросу.

Пожалуй, меньше всего удалась в книге страница, говорящая о развитии культуры и искусства советских народов. В теоретическом плане автор удовлетворяется здесь простым повторением известной формулы нашей культуры как национальной по форме, социалистической по содержанию. В фактическом — тиражами газет и книг, данными о количестве по союзным республикам театров, музеев, библиотек, клубов, стационарных и передвижных киноустановок и т. д. Многие из этих цифр и в самом деле красноречивы, но, во-первых, они уже не раз публиковались, а во-вторых, культура и искусство — такая область, где далеко не все можно измерить средствами статистики...

Книга, таким образом, получилась довольно поверхностная, комментаторская. Это тем более огорчительно, что национальный вопрос, который так остро стоит в современном мире, действительно привлекает к себе внимание широких кругов советской общественности.

Ю. Васильев.

ТАТЬЯНА ГНЕДИНА. Беглец с чужим временем. Фантастическая повесть. «Молодая гвардия». М. 1968. 136 стр.

Может быть, помните — есть такая детская игра «Что было бы, если бы?..». Участники садятся в кружок и шепотом задают соседу вопрос, начинающийся этими словами. И сосед так же тихо отвечает вам, исходя из предложенных ему условий. Как подумаешь, то ведь, в сущности, именно этот принцип определяет и построение произведений фантастического или же научно-фантастического склада, которые всегда, как известно, начинаются с некоего допущения.

В самом деле, «что было бы, если бы», допустим, скорость света была равна не тремстам тысячам километрам в секунду, а всего лишь двадцати километрам в час?

Оказывается, что при этом допущении можно создать такую «модель мира», в которой законы частной теории относительности становятся вполне зримыми и осязаемыми.

Подобную модель и создает автор повести «Беглец с чужим временем» в образе маленького немецкого городка с волшебным названием Гаммельн. Вообще-то обитатели Гаммельна живут вполне нормальной человеческой жизнью. Вот только световая скорость здесь в отличие от всего мира равняется именно двадцати километрам в час! И поэтому здесь, в этом «городке относительности», оказываются возможными такие чудеса, как привычное изменение веса и формы предметов при движении или же продление жизни при помощи путешествий в поезде на скоростях, близких к скорости света (то есть со скоростью, близкой двадцати километрам в час!) и т. п. А героиню повести — славную Анну-Мари — отец вообще называет «девицей без возраста», так как она много ездила в «экспрессах с замедленным временем» и сейчас уже не понять, сколько ей лет — шестнадцать или двадцать, и, следовательно, неизвестно, можно ли ей уже покупать модные бронзовые туфли или же пока еще рано делать это...

Было бы неверно, однако, утверждать, что Татьяна Гнедина, физик по профессии, создавая свою «сказку о теории относительности», ставила перед собой чисто иллюстративные задачи. Слов нет, успешная попытка растолковать «в образах» эту в достаточной степени сложную физическую теорию сама по себе вызывает уважение, и повесть, надо полагать, будет и с этой точки зрения встречена юными читателями с благодарностью. Но смысл произведения гораздо шире. Недаром герой повести — художник Рауль Клемперт — приходит к выводу, что «люди живут в разных временах» и что «два часа в берлинском городском парке и два часа в подвале кирпичного дома гестапо» — это совсем разные по своему значению и наполнению «два часа»... Реальное, не «гаммельнское» время повести — это начало тридцатых годов нашего

века, место действия — фашизирующаяся Германия. Лучшие люди повести — борцы против фашизма. Ибо людям всегда было свойственно желание достичь «лучших времен» — и освободиться от того страшного времени, которое пытаются навязать им фашист Клаус Веске и его хозяева.

И это благородное стремление людей к единению, их желание жить в общем для всех «времени» торжествует в повести. Фашизм в Гаммельне «не состоялся». Каким образом гаммельнцам удалось победить его? Об этом вы узнаете, прочитав повесть Т. Гнединой до конца...

И. Питляр.

★

ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Семнадцать левых сапог. Роман. Предисловие Вл. Лидина. Дагестанское книжное издательство. 1967. 302 стр.

Роман Вацлава Михальского «Семнадцать левых сапог» — четвертая книга писателя, изданная, как и три предыдущих («Ваш корреспондент», «Рассказы», «Да святится имя твое»), в Дагестане.

Герой романа — Алексей Зыков, одинокий старик-инвалид, — доживает свой век ночным сторожем при больнице. Жизнь его сложилась трагично. До самой смерти носит он чужое имя Адама Домбровского и даже своей дочери Лизе, заботясь о ее благе, так и не решается открыться. И, однако же, ничуть не озлобился на людей, на жизнь этот бобыль и трудяга (после смерти у него в сундуке нашли семнадцать левых сапог — правые износил одноногий труженик). Для многих жителей, и прежде всего для соседских мальчишек, всех этих Митек Кроликов, Толянок, Генок и Федек Сморчков, он стал другом, защитником, опекуном, а главное — непререкаемым авторитетом.

И когда старик умер, больше всех горюют по нему дети. Митьку Кролика, возвращающегося с похорон, одолевают серьезные ребячьи думы. Почему так бывает, рассуждает сам с собой парнишка. Остался жить дурной человек завхоз Швабер, остался возчик Степа, жестокий и к людям, и к животным. Даже мерин, глупый больничный мерин, и тот может видеть, как заходит сейчас красное солнце, ржать и хрупать сочную зеленую траву. А хороший человек Адам, который научил всех мальчишек держать слово, взял и умер и уже ничего не может... «Почему не сделать так, чтобы люди жили столько, сколько каждый из них заслужил?» Завершающие строки романа как бы являются ответом на эти мальчишеские мысли. Всегда люди живут столько, утверждает автор, сколько каждый заслужил. Хороший человек Адам прожил свои шестьдесят пять лет и еще проживет семьдесят его, Митиных, и жизнь Федей, и Геней, и Толика, и всех мальчишек.

В умело вкрапленных в текст повести отступлениях раскрывается жизнь, трудно, но

честно прожитая Алексеем-Адамом. В юности он полюбил девушку, которую насильно выдали замуж за постылого ей человека. Но Алексей не отступился от нее. Унизительна и в то же время возвышенна была их «незаконная» любовь. Когда же наконец у них с Марусей сложилась своя семья и родилась дочь — война все разрушила.

Алексей был храбрым и удачливым воином. Но в одном из тяжелых наступлений, когда целый полк полег на поле битвы, контуженный Алексей попал в плен. Трижды пытался он бежать. В последний раз это ему удалось. Но в то время не было пленным веры. В трагических обстоятельствах Зыков лишился ноги. Почти год пролежал в сельской больнице, где бывший военврач Афанасий Иванович не только вернул ему здоровье, но, поверив в человека, помог ему, уже как Адаму Домбровскому, вернуться в родной город. Была надежда: генерал, у которого он служил, поможет Зыкову, вернет ему честное имя. Но и тут не посчастливилось Алексею: генерал к этому времени умер. Целый и глубокий характер Алексея, рассказ о его жизни производит на читателя большое впечатление. Автор воспринимает жизнь не плоско, не пресно, он увлечен анализом сильных чувств, сложных человеческих взаимоотношений, неординарных ситуаций.

Есть в романе вторая, увы, неравноценная линия. Это повесть о любви молодой женщины (Лизы, дочери Зыкова) — любви тоже непростой, несчастливой. Ее мужа-сверстника убивают на войне. Но еще раньше она увлеклась женатым человеком много старше ее, блестящим ученым. В жизни тот оказывается, однако, крайним себялюбом, актерствующей, неискренней личностью (пожалуй, автор, «разоблачая» этого своего героя, переборщил). И нет у Лизы счастья, как не было его и у жены профессора. После смерти жены профессор, кажется, уже склонен жениться на Лизе, но та уходит от него навсегда, исповедавшись в прошальном письме-дневнике, который случайно попадает в руки ее отца и становится причиной внезапной его смерти.

К сожалению, от этой любовной истории веет духом беллетристики, «жестокости романа». Образ мятущейся в любви молодой женщины заметно уступает крепко вылепленной фигуре главного героя Алексея Зыкова.

Вл. Канторович

★

А. ФУРСЕНКО. Династия Рокфеллеров. «Наука». Л. 1967. 295 стр.

Сын мелкого дельца из штата Нью-Йорк, Джон Рокфеллер в середине прошлого века, при начале своей карьеры, мечтал, чтобы когда-нибудь «стоить» сто тысяч долларов. Он скончался в возрасте девяноста восьми лет, оставив состояние, оцениваемое почти в миллиард долларов. Джон Рокфеллер I выделялся среди других промышленников, «как может выделяться материй

вожак из стаи хищников». Он был «хладнокровный, расчетливый делец, ловкий, коварный и беспощадный соперник...». Основанный Рокфеллером в шестидесятые годы прошлого века трест «Стандард ойл» превратился спустя сто лет в гигантского спрута, охватывающего своими щупальцами многие государства земного шара.

Рассказывая историю династии американских миллиардеров, ленинградский историк А. А. Фурсенко показал основные этапы развития монополистического капитала в Соединенных Штатах.

Основатель династии первоначально помышлял лишь о завоевании монополии на производство нефтяных продуктов и торговлю ими. Ныне интересы семьи Рокфеллеров далеко вышли за эти пределы, охватывая автомобильную промышленность, самолетостроение и многое другое. А. А. Фурсенко живо нарисовал картину превращения «Стандард ойл» во всемирную монополию. С острым драматизмом описаны некоторые важные моменты возвышения династии, например, попытки Рокфеллеров наложить свою руку на бакинскую нефть, борьба с англо-голландским трестом Детердинга «Роял Датч Шелл», активное вмешательство Рокфеллера в международную политику в связи с Генуэзской и Гаагской конференциями.

Первый Рокфеллер не помышлял о непосредственном руководстве политикой США. Его наследников уже не удовлетворяет господство лишь в области бизнеса, даже в масштабе всего мира. На примере семьи Рокфеллеров автор старается показать исторический процесс сращивания американских монополий с государственной властью. В былые времена они довольствовались тем, что помогали верным людям добраться до ключевых позиций власти. Теперь же магнаты монополий предпочитают препоручать управление своими банками и предприятиями мекеджерам, а сами занимаются управлением государством.

На политическом поприще подвизалось несколько Рокфеллеров. Один из них — Уинтроп — является губернатором штата Арканзас. Другой — Нельсон — уже в течение десяти лет занимает тот же пост в важнейшем штате страны — Нью-Йорке. Нельсону Рокфеллеру посвящена в книге отдельная глава. И это вполне оправдано, так как этот мультимиллионер и политик представляет собою наиболее колоритную фигуру среди нынешнего поколения династии.

Еще в тридцатые годы он появился в госдепартаменте и играл в нем немаловажную роль в делах, касающихся взаимоотношений США со странами Латинской Америки (семья Рокфеллеров имела там крупные деловые интересы). Позднее, во время второй мировой войны и после нее, Нельсон Рокфеллер занимал ряд правительственных постов. Именно он был одним из инициаторов политики «холодной войны». Его политическая философия несложна. Она осно-

вана на полном отождествлении интересов своего клана с интересами государства. Практические стремления также несложны: Нельсон Рокфеллер ставит своей конечной целью Белый дом. Он намеревался стать президентом, но пока ему это не удалось.

В своих политических планах Нельсон Рокфеллер рассчитывает на поддержку среднего класса. Он часто апеллирует к «среднему американцу» и с раздражением относится к критически мыслящей интеллигенции. Такое распределение симпатий и антипатий достаточно характерно: как известно, реакционные политики охотно прибегают к услугам интеллектуалов, если они не ропщут, критика же в адрес правящих классов немедленно объявляется «интеллигентскими вихляниями». Это «заигрывание со средними классами и неприязненное отношение к интеллигенции являются одним из признаков тоталитаризма», не без оснований отмечает А. А. Фурсенко. И хотя вывод автора, что приход Рокфеллера в Белый дом привел бы к невиданной доселе централизации власти и даже к «насаждению тоталитарных порядков», представляется излишне категорическим, развернутая характеристика этой активной политической фигуры современной Америки в целом убедительна.

А. Денисов.

★

ХО-СУАН-ХЫОНГ. Стихи. Перевод с вьетнамского Г. Ярославцева. «Наука». М. 1968. 126 стр.

До обидного мало знаем мы о литературе Юго-Восточной Азии. Еще каких-нибудь десять лет назад сведения о писателях Вьетнама, Бирмы, Камбоджи, Таиланда отсутствовали даже в энциклопедических справочниках. Языки эти никто у нас не изучал, а значит, не было ни специалистов по литературе, ни тем более переводов с вьетнамского, бирманского, тайского.

Только в последние годы начинает заполняться этот пробел. Появляются переводы современных и классических произведений литературы стран Юго-Восточной Азии. Естественно, что больше всего известно сейчас о литературе Вьетнама, который стал особенно близок нам с того дня, когда там победила революция. Но и здесь список авторов, чьи произведения может прочесть русский читатель, еще невелик. Из классиков это, пожалуй, один Нгуен Зу (1765—1820), автор популярнейшей во Вьетнаме поэмы-романа «Стенания истерзанной души», удачно переведенной А. Штейнбергом и изданной в издательстве «Художественная литература» три года назад. Сейчас к этой книге прибавилась вторая — «Стихи» Хо-суан-Хыонг, поэтессы — современницы Нгуен Зу. Стихи во Вьетнаме расцветали пышнее, чем проза. Даже сюжеты, известные в соседних странах как чисто прозаические, перелегались на вьетнамский стихами, поэтому не удивительно, что знакомство с классикой началось со

стихов и продолжено еще одним поэтическим сборником.

Поэзия Вьетнама во многом находилась под влиянием могучей танской поэзии своих северных соседей. Но читатель, раскрывший томик Нгуен Зу, а особенно Хо-суан-Хыонг, с удивлением увидит совсем иную поэзию, поэзию чувства и размышлений, далеких от традиционных тем дальневосточной поэзии. Вместо по-своему спокойных и очаровательных стихов о сосне, о вечном постоянстве луны или прощании с другом вдруг обнаружит он у Хо-суан-Хыонг стихи озорные, двуплановые и даже, не побоясь сказать, двусмысленные. В них, как правильно подметил автор очень содержательного предисловия к русскому изданию Н. Никулин, в сферу высокого художественного слова прорвалась стихия истинно народной средневековой культуры, «которая давала о себе знать на народных празднествах, на подмостках народного театра, звучала в разговорах улицы, рынка, в песнях отнюдь не невинного содержания».

О чем же пишет поэтесса? О жизни женщины и ее доле, о друзьях, о монахах, о веере, о старом барабане или улитке — всюду читатель найдет намек на ту область отношений между мужчиной и женщиной, о которой молчали блюстители конфуцианской морали и о которой смело, во весь голос заговорила женщина по прозвищу Весенний Аромат. О ней самой почти ничего не известно, не известно даже ее настоящее имя. Так случилось в истории мировой литературы нередко с теми авторами, которые, будучи близки народной стихии, порывали с официально признанной высокой литературой. Порывая с ней, поэтесса Хо зло высмеивает конфуцианских школяров:

Куда, недоумки, чинно-степенно
бредете, что глупое стадо?

Я — старше; подите сюда, поучусь вас,
как делать поэзию надо.

Уж если шмелиное жало зудит,
оно и сухую былинку пронзит;

Козленок, когда пробиваются рожки,
бодает любую ограду.

Это шутивное стихотворение — своеобразное кредо Хо-суан-Хыонг, она сама как бы «бодает любую ограду», воспевая в своих стихах то, что никогда не становилось раньше предметом письменной поэзии.

Ее поэтический стиль так сложен, что стихи поэтессы никогда не переводились ни на один язык, вьетнамские исследователи даже специально подчеркивали эту «непереводимость». Тем значительно творческий труд поэта-китанста Г. Ярославцева и вьетнамиста Н. Никулина, благодаря содружеству которых стихи Хо-суан-Хыонг стали близки советским читателям. Это бесспорно удачная книга поэтических переводов, приятно оформленная художником Ю. Боярским по материалам вьетнамского народного лубка.

Б. Рифтин.

Е. Л. ФИНКЕЛЬШТЕЙН. Фредерик-Леметр. «Искусство». Л. 1968. 256 стр.

Он был французом. Красивым, ловким, веселым и вольным. Он отлично фехтовал, был остер на язык. Ходили слухи, что он надерзил коронованной особе, и было известно, что ассоциация французских кучеров устроила банкет в его честь. История с королевой Викторией подвергалась сомнению, хотя она абсолютно в его стиле. Он умел наказывать ханжество и тупость, ложь и жадность. Умел общипывать перья газетным писакам, защищать свою честь шпагой, а если нужно — пинком. Виднейшая фигура Парижа своего времени, он был принципиально демократичен и антибуржуазен. В дверях его дома постоянно торчал ключ: хозяин у себя, соблаговолите войти. Умер он в нищете, хотя и окруженный друзьями, но вдали от дела своей жизни. На его долю выпали три революции, и в каждой из них он принимал участие — если не шпагой, то словом (естественно, не на стороне правительственных войск). По тому, как была прожита жизнь, он вполне мог стать героем романа Стендаля. Его друзьями были Гюго, Бальзак, Сю, Домье, Готье. Он хранил письма Жорж Санд, Дюма и Ламартина.

Фредерик-Леметр (1800—1876) был великим актером французского театра XIX века. Страстным защитником правды на сцене и человеческого в человеке. Не имея непосредственных учеников, он заложил основы французской школы актерской игры. И когда сегодня мы видим Жана Габена, Жерара Филипа, Жана Вилара и Пьера Брассера (последний, кстати, исполнял роль Фредерика-Леметра в фильме Марселя Карне «Дети райка»), невозможно не вспомнить о традициях Леметра. Сам он вдохновенно играл трагические, комические и водеvilные роли. По словам тонкого критика Теофиля Готье, он нес зрителю «смех и слезы, энергию и мягкость, увлечение и спокойствие, лиризм мечты и грубость действия, изящество и тривиальность». Он мог «с одинаковым превосходством изображать принцев и воров, маркизов и носильщиков, влюбленных и пьяниц, расточительных сыновей и хищных ростовщиков».

Таким предстает великий актер в книге Е. Л. Финкельштейн «Фредерик-Леметр». Это увлекательная книга. Она написана знатоком французского театра — изящно, с юмором, с иронией, если нужно. По крохам, из хулы и хвалы, из легенд и подлинных документов времени автор искусно возрождает «мимолетное видение» актерской игры, оставившее столь резкий и глубокий след в памяти современников. Описание парижских бульваров с их театрами, расценками мест, публикация «реестра оплаты французских актеров за 1821 год», из которого мы узнаем, что наиболее высоко оплачивались «гранд-кокет в теле и с небольшой добродетелью», описание художественных листов карикатуриста Домье и уличных сцен восставшего Парижа. песни Беранже и стихов Гюго — все это создает ту бурную ат-

мосферу, в которой действовал Леметр и вне которой он непонятен, все это становится фоном мучительного пути гениального актера в поисках драматургии по плечу, способной передать прогрессивные идеи времени.

С испугом и восторгом писали современники, что Леметр дал «изображение времени». Он показал его дно и его вершины, падение личности и возможный взлет ее. Леметр создал фигуру Робера Макэра — образ, ставший нарицательным. Лучшей роли актера отданы лучшие главы книги. Кто такой Робер Макэр? Вор, подонок, пройдоха. Почему же этот образ, вначале вызвавший гомерический смех в зале, постепенно сковывал лица зрителей в маски ужаса, неприятия, возмущения?

Польский поэт Тадеуш Ружевич однажды сказал, что лучшим описанием хлеба является голод. То же самое сделал и Леметр. Он изобразил верхушку, живописуя дно. Здесь действовали теми же методами, словами, поступками, двигались те же пружины. Оборванец вел галантно-изысканные объяснения с проституткой. Смешно? Да. А рядом — вот — сидят чопорные представители «высшего света». Направлялась параллель. Так зарождалось сомнение, подвергались переоценке слова, деяния, незбылемые крепости. А тут еще листы Домье: «Сто один Робер Макэр», Макэр — адвокат, банкир, врач, педагог... Это тоже Леметр, тоже влияние его могучего таланта.

Робер Макэр остался в строчках К. Маркса, Леметр — в письмах и заметках Диккенса, Гейне, Флобера, И. С. Тургенева, А. И. Герцена, В. Г. Белинского.

Э. Норкуте.

Ленинград

★

Т. П. КРАВЕЦ. От Ньютона до Вавилова. Очерки и воспоминания. «Наука». Л. 1987. 446 стр.

Статьи по истории физики, составляющие содержание рецензируемого сборника, принадлежат перу Торичана Павловича Кравца, представителя школы Петра Николаевича Лебедева. Эта физическая школа была самой крупной в дореволюционной России; одной из ее особенностей был глубокий интерес к истории науки, который ярко выражен и у самого П. Н. Лебедева, и у его преемника П. П. Лазарева, и у С. И. Вавилова, и у автора этой книги. Ряд статей сборника посвящен школе Лебедева и прежде всего ему самому. Блестящий ученый, слава которого еще при жизни вышла далеко за пределы России, он предстает со страниц книги человеком глубоко интеллигентным, обаятельным и остроумным. Лебедев часто говорил, вспоминает автор, «что у него нет ни одного ученика, и доказывал так: талантливых людей он не учил — они выходили в люди благодаря своему таланту; труд, время и нервы он тратил на людей без дара, а из них все равно ничего не вышло».

Т. П. Кравец делится собственными живыми впечатлениями и о другом выдающемся русском ученом — изобретателе радио А. С. Попове, «человеке больших возможностей и малого честолюбия». Чтение небольшой заметки о нем вновь заставляет задуматься о «драме идей», сопровождающей великие открытия. Автор знакомит нас с действующими лицами еще одного драматического изобретения прошлого века, исключительного по своей значимости. В Архиве Академии наук СССР хранятся необычайно интересные материалы, относящиеся к истории фотографии. Т. П. Кравец, научные интересы которого на протяжении всей его жизни были связаны с физикой фотографического изображения, написал большую вступительную статью к этим документам, опубликованную в 1949 году. Статья воскрешает незаслуженно забытое имя француза Нисефора Ньепса, вклад которого в изобретение фотографии был исключительно велик и, как мы узнаем, намного превосходил заслуги Дагерра.

В качестве вступлений к соответствующим книгам были написаны и другие статьи сборника, посвященные физикам далекого прошлого — Ньютону, Ломоносову, Рихману, Фарадю. Но эти статьи имеют и самостоятельный интерес, вызывая у читателя желание обратиться к творчеству тех, о ком рассказал автор.

Те, кому приходилось слышать Торичана Павловича, вспомнят, что он был виртуозным рассказчиком. Причем живость и естественность его рассказов несколько не мешали их стилистической законченности, опровергая представление о том, что устная речь должна быть не плавной, а в какой-то мере разорванной, «квантовой». Всегда восхищало в нем и то, что в сильной степени испытываешь, читая его посмертно изданную книгу, — глубокая эрудиция, знание не только истории своей науки, но и истории зоологии, ботаники, литературы.

Сборник статей Т. П. Кравца рассчитан на широкие круги читателей и не требует от них специальных физических знаний. Он тщательно подготовлен к изданию коллективом ленинградских ученых, тщательно прокомментирован (жаль только, что неудачно ими назван) и будет с большим интересом прочтен всеми интересующимися историей физики.

В. Френкель.

★

Н. УСПЕНСКИЙ. Образцы древнерусского певческого искусства. «Музыка». Л. 1968. 264 стр.

987 год. Владимир Святославич направил послов своих в Царьград с тем, чтобы они разузнали о вере греческой: хороша ли, плоха ли она. Царь греческий, узнав о цели прибытия русских послов, приказал патриарху: «Приготовь церковь и клир и сам оденься в святительские ризы, чтобы видели они славу бога нашего» «Услышав об этом, патриарх повелел созвать клир, со-

творил по обычаю праздничную службу, и кадила возожгли и составили пение и хоры. И пошел (патриарх.— А. М.) с русскими в церковь, и поставили их на лучшем месте, показав им церковную красоту, пение и службу архиерейскую... Они же (русские.— А. М.) были в восхищении, удивлялись и хвалили их службу» («Повесть временных лет»).

Что же восхитило послов Владимира в греческой службе? Торжественность и «церковная красота». И одним из наиболее сильных впечатлений было впечатление от греческого богослужебного пения. А что мы знаем о греческом пении? Заимствовали русские это пение при крещении Руси или нет, и если заимствовали, то каково было влияние русских певческих традиций на заимствованные песнопения?

Вот вопросы, на которые до недавнего времени не давалось достаточно точных ответов. Основная причина в том, что записывалась эта музыка особым, непохожим на современный способ, так называемым крюковым. Это была система знаков или — иначе — знамен, которыми зашифровывались отдельные звуки, а порой и целые мелодии. Знамена эти не указывали точной высоты звука, в чем и заключалась основная трудность при их расшифровке. Пение по таким нотам называлось знаменным.

С выходом «Образцов древнерусского певческого искусства», собранных и расшифрованных Н. Успенским (некоторые примеры даны в расшифровке М. Бражникова), музыканты-профессионалы, да и все, интересующиеся историей культуры Древней Руси, получили возможность познакомиться с нашей старинной музыкой.

Были и раньше попытки расшифровки древнерусских нотных записей. Во всех работах по этому вопросу мы встречаем отдельные примеры расшифровок. Однако новая книга Н. Успенского содержит несравненно большой музыкальный материал. В ней собрано 118 образцов богослужебного пения, начиная от его появления на Руси и кончая примерами сложного многоголосия XVII—XVIII веков.

Весь материал разбит на пять разделов,

по хронологическому принципу. Во вступительных статьях к разделам автор кратко освещает историко-теоретические вопросы. Так, например, в статье к первому разделу Н. Успенский излагает свою точку зрения по сложной и чрезвычайно интересной проблеме происхождения знаменного распева. По этому вопросу высказывались различные мнения: одни считали, что и само пение, и тексты, и способ нотации заимствованы русскими у греков (Ст. Смоленский, Д. Разумовский, В. Металлов), другие полагали, что все это — результат деятельности русских певчих (В. Беляев). Н. Успенский доказывает, что певческое искусство «на первых порах своего существования было византийским», но «в течение XII—XV столетий русские мастера пения создали свое, по музыкальному содержанию, национальное певческое искусство». Кстати, следует уточнить: певческое искусство было на Руси и до принятия христианства, а в XII—XV веках русские певчие создавали свой стиль богослужебного пения.

В статье ко второму разделу, в котором собраны примеры так называемых путевого и демественного распева, Н. Успенский, анализируя мнения В. Стасова, Д. Разумовского и В. Металлова по вопросу о происхождении этих распевов, приходит к выводу, что «путевой распев — это своего рода разработка попевок знаменного», тогда как демественный создается «за счет использования новых, свежих мотивов народного музыкального языка».

Подробно рассказывается в книге о расцвете певческого искусства в период жизни царя Ивана Грозного в Александровской слободе. В книгу включено несколько фотографий с крюковых рукописных нот, что также представляет интерес для тех читателей, которые никогда не видели подлинников таких нот. Главным же неоспоримым достоинством книги является ее музыкальный материал, обширный и интересный.

Новая книга Н. Успенского, несомненно, восполнит пробел в наших знаниях древнерусской культуры.

А. Майкапар.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

М. Водолагин. Первый тракторный. 112 стр. Цена 14 к.

Герои подполья. О подпольной борьбе советских патриотов в тылу немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Выпуск 2. 560 стр. Цена 1 р. 35 к.

Женщины русской революции. Сборник очерков и рассказов. 574 стр. Цена 1 р. 34 к.

М. Капица. Левее здравого смысла (О внешней политике группы Мао). 192 стр. Цена 31 к.

А. Потапов. Встречи с Марианной. Очерки о современной Франции. 304 стр. Цена 70 к.

О. Яхот. Очерк марксистской философии (Диалектический материализм). 256 стр. Цена 37 к.

«МЫСЛЬ»

А. Глазачев, В. Молдаван. Труд и всестороннее развитие личности. 118 стр. Цена 40 к.

В. Золотухин. Фермеры и Вашингтон. 272 стр. Цена 1 р. 3 к.

Основные этапы развития мирового революционного процесса после Октября. Монография. 612 стр. Цена 1 р. 96 к.

Проблемы рабочего движения. Сборник статей. 502 стр. Цена 1 р. 81 к.

А. Протопопов. СССР, Лига Наций и ООН. 168 стр. Цена 18 к.

В. Рауд. Социалистическая организация общественного труда. 254 стр. Цена 91 к.

«ЭКОНОМИКА»

А. Абатуров. Издержки обращения в советской торговле. 80 стр. Цена 21 к.

М. Баканов, Г. Гофман, С. Капелюш. Проблемы рентабельности торговли. 208 стр. Цена 88 к.

Н. Иванов. Международные экономические отношения нового типа. 214 стр. Цена 68 к.

И. Киселев. Профессиональная ориентация и профессиональный отбор в капиталистических странах. 80 стр. Цена 27 к.

Б. Смахов. Перспективное народнохозяйственное планирование (Проблемы оптимизации). 272 стр. Цена 1 р. 10 к.

Труд и заработная плата в СССР. Сборник статей. 472 стр. Цена 1 р. 88 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ю. Берзин. Конец девятого полка. Повести и рассказы. 262 стр. Цена 35 к.

И. Забелин. Через пороги (Африканские повести). 180 стр. Цена 55 к.

Б. Мулинов. Вербохлест. Стихи. 104 стр. Цена 33 к.

Б. Лавренев. Седьмой спутник. Роман, повести и рассказы. 663 стр. Цена 1 р. 12 к.

М. Лев. Если бы не друзья мои... Две повести. Перевод с еврейского. 440 стр. Цена 69 к.

О. Носенко. В новогоднюю ночь. Сатирические рассказы. Перевод с украинского. 215 стр. Цена 27 к.

М. Рыбаков. Пробуждение.— Лихолетье.— Бурелом. Трилогия. 712 стр. Цена 1 р. 36 к.

Н. Рыленов. Снежница. Стихи. 215 стр. Цена 56 к.

В. Смирнова. Книги и судьбы. Статьи и воспоминания. 472 стр. Цена 37 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Весенние соки. Рассказы. Перевод с болгарского. Составители Д. Фучеджиев и И. Радичков. Предисловие В. Тендрякова. 272 стр. Цена 74 к.

Т. Донджавили. На Алазани. Роман. Перевод с грузинского А. Дмитриевой и Р. Микадзе. Вступительная статья С. Вабыншевой. 448 стр. Цена 85 к.

А. Константинов. Бай Ганю. Невероятные рассказы об одном современном болгарине. Перевод с болгарского Д. Горбова. 215 стр. Цена 1 р. 46 к.

Литература и современность. Статьи о литературе 1967 г. 487 стр. Цена 1 р. 32 к.

Д. Медю. Бибиана. Роман. Перевод с испанского. 288 стр. Цена 85 к.

М. Никитин. Сибирские повести. Предисловие В. Вайниной. 472 стр. Цена 98 к.

С. Орлов. Стихотворения. 239 стр. Цена 60 к.

П. Семьнин. В сложном и простом. Стихотворения и поэмы. Предисловие Л. Озерова. 199 стр. Цена 74 к.

Тикамацу Мондзэмон. Драматические поэмы. Перевод с японского. 408 стр. Цена 2 р. 95 к.

Г. Фрединг. Стихотворения. Перевод со шведского. 95 стр. Цена 10 к.

А. Цейтлин. Роман И. С. Тургенева «Рудин». 80 стр. Цена 14 к.

С. Шаншиавили. Избранное Стихи и драмы. Перевод с грузинского. Вступительная статья Н. Тихонова. 383 стр. Цена 1 р. 55 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Е. Винокуров. Избранная лирика. 30 стр. Цена 11 к.

К. Гайте. За шторами. Роман. Перевод с испанского. 222 стр. Цена 61 к.

Н. Думбадзе. Я, бабушка, Илко и Илларион.— Я вижу солнце.— Солнечная ночь. Романы. Перевод с грузинского. 472 стр. Цена 1 р. 13 к.

Д. Кедрин. Избранная лирика. Предисловие Л. Кедринной. 31 стр. Цена 10 к.

А. Линдгрэн. Пеппи Длинныйчулок. Повесть. Перевод со шведского Л. Лунгиной. 236 стр. Цена 55 к.

В. Незвал. Избранная лирика. Перевод с чешского. Составитель Н. Николаева. Вступительное слово Н. Хикмета. 80 стр. Цена 21 к.

М. Руденко. Волшебный бумеранг. Космологическая феерия. Перевод с украинского З. Крахмальниковой. 384 стр. Цена 46 к.

«ПРОГРЕСС»

К. Альварес. Преступление совершилось в Мадриде. Стихи. Перевод с испанского. 80 стр. Цена 25 к.

Н. Бребан. Франческа Роман. Перевод с румынского. 350 стр. Цена 1 р. 13 к.

Р. Зогович. Упрямые строфы. Стихи Перевод с сербохорватского. 192 стр. Цена 83 к.

Д. Кризи. Тайна «Кунабурры». Повесть. Перевод с английского. 192 стр. Цена 49 к.

К. Мандзони. Побережись, детка! Необыкновенная повесть. Перевод с итальянского. 128 стр. Цена 31 к.

А. Мэрдон. Алое и зеленое. Роман Перевод с английского. 288 стр. Цена 97 к.

Р. Нильсен. Песнь поколения. Стихи. Перевод с норвежского. 112 стр. Цена 46 к.

П. Хагетт. Пространственный анализ в экономической географии. Перевод с английского. 392 стр. Цена 2 р. 32 к.

«НАУКА»

Куба. 10 лет революции. 462 стр. Цена 2 р. 7 к.

А. Маслин. Д. И. Писарев в борьбе за материализм и социальный прогресс. 168 стр. Цена 53 к.

Л. Фрейман. Творцы высшей математики. 216 стр. Цена 65 к.

Г. Цветаева. Сокровища Причерноморских курганов. 126 стр. Цена 36 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Л. Алексеев. Единство правовых и моральных норм в социалистическом обществе. 72 стр. Цена 11 к.

Г. Мальцев. Социалистическое право и свобода личности. 144 стр. Цена 53 к.

А. Эпштейн. Льготы для работников Крайнего Севера. 112 стр. Цена 17 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Г. Абашидзе. Долгая ночь. Грузинская хроника XIII в. Перевод с грузинского В. Солоухина. Тбилиси. «Мерани». 374 стр. Цена 86 к.

Ш. Амиранашвили. Грузинское искусство. Тбилиси. Издательство Тбилисского университета. 42 стр. Цена 70 к.

Д. Вааранди. Люди смотрят на море. Стихи. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти раамат». 151 стр. Цена 1 р. 50 к.

М. Вагиф. Лирика. Перевод с азербайджанского. Баку. «Азернешр». 99 стр. Цена 33 к.

Габровские улыбки. Сборник юмористических миниатюр. Перевод с болгарского Минск. «Беларусь». 111 стр. Цена 15 к.

Голоса уйгурских поэтов. Сборник стихотворений. Перевод с уйгурского. Алма-Ата. «Жазушы». 135 стр. Цена 42 к.

А. Дадашзаде. Молла Панах Вагиф. Очерк жизни и творчества. Баку. «Азернешр». 38 стр. Цена 6 к.

История мордовской советской литературы. В 2-х томах. Т. I Саранск. Мордовское книжное издательство. 416 стр. Цена 1 р. 27 к.

М. Нарпенно и В. Сиротина. Слово в художественной речи М. Горького. Киев. Издательство Киевского университета. 142 стр. Цена 43 к.

М. Миронов. За счастливой строкой. Литературно-критические этюды, раздумья о современной литературе. Донецк. «Донбасс». 136 стр. Цена 37 к.

Мы живем на одной планете. Стихи поэтов Азии и Африки. Переводы. Ташкент. Издательство художественной литературы им. Гафура Гуляма. 544 стр. Цена 3 р. 30 к.

Проблемы поэтики. Коллектив авторов. Ответственный редактор Р. Шагинян. Ташкент. «Фан» (Самаркандский университет). 168 стр. Цена 70 к.

М. Симашко. Хроника царя Канада. Исторические повести. Алма-Ата. «Жазушы». 253 стр. Цена 33 к.

Сказки Омской области. Записаны С. Корочкиным от А. Кожемякина. Редактор Н. Каргаполов. Новосибирск Западно-Сибирское книжное издательство. 107 стр. Цена 27 к.

Б. Сруога. В тени исполина. Драмы. Перевод с литовского. Вильнюс. «Вага». 617 стр. Цена 1 р. 29 к.

А. Токомбаев. Перед зарей Роман Перевод с киргизского. Фрунзе. «Кыргызстан». 298 стр. Цена 1 р. 56 к.

Т. Усакина. История, философия, литература (Середина XIX в.). Саратов. Приволжское книжное издательство. 296 стр. Цена 1 р. 18 к.

Б. Шалабаев. История казахской прозы. Сюжет и характер. Алма-Ата. «Жазушы» 312 стр. Цена 2 р. 20 к.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

СОРОК ПЯТЬ ДНЕЙ НА «БАРЖЕ СМЕРТИ»

В № 10 журнала «Новый мир» за 1967 год были опубликованы воспоминания тов. Бартова «Побег из колчаковской тюрьмы».

На той же самой барже, где находился тов. Бартов, был среди заключенных и я. Мне хочется рассказать о том, что произошло после восстания заключенных и успешного побега с баржи тов. Бартова. Но прежде кратко о себе, о том, как я попал в заключение к белогвардейцам.

В июле 1917 года, выписавшись из госпиталя после ранения, я отправился в места, где жил с детства, и начал работать в поселке Фабричное Туринского уезда. Здесь было деревообрабатывающее предприятие Демидовых, где командовали бывшие служащие владельцев завода. Советской власти здесь и не чувствовалось. Это побудило передовых рабочих и бывших фронтовиков организовать и включиться в революционную работу.

Вскоре после Великой Октябрьской революции, в ноябре 1917 года, на заводе был создан вооруженный отряд Красной гвардии, который взял на себя охрану поселка и провел демонстрацию под лозунгами «Вся власть Советам», «Мир хижинам, война дворцам». Вечером того же дня был организован поселковый Совет рабочих и красногвардейских депутатов. Председателем Совета избрали рабочего Перевалова, членами — меня, Сажина и др.

Этот Совет был первым в Туринском уезде.

В январе 1918 года были созданы Советы и в других населенных пунктах Туринского уезда. В феврале создан был уездный Совет, который на съезде в Туринске делегатов от сельских и поселковых Советов вынес резолюцию о переходе всей власти в уезде в руки Советов.

В этот первый период существования советской власти в Туринске я был членом президиума уездного исполкома и по поручению партии выполнял обязанности политического комиссара фабричного, а также военного комиссара и комиссара труда уездного исполкома.

Вскоре наступило тревожное время — зашевелились белогвардейцы. В июле 1918 года мы узнали: белогвардейцы приближаются к Туринску. Началась эвакуация ряда учреждений. Руководящий состав уездного комитета партии и Совета был оставлен для подпольной работы в тылу врага.

Выполняя задание председателя уездного комитета большевика Битте, я и красноармеец Алехнович отправились в уезд. Добрались до д. Тумба, где нас задержали кулаки и повели к старосте.

Это оказался член исполкома, левый эсер (как он себя именовал), работавший со мною ранее в военкомате, — В. И. Сафронов.

Я подумал — мы спасены. Но оказалось, что Сафронов — предатель, он командовал местным белогвардейским отрядом.

После этого начались мои мытарства по белогвардейским тюрьмам: Тавда, Тобольский централ, тюменская тюрьма и затем баржа.

Когда мы на барже узнали, что начальник конвоя в разговоре с фельдфебелем сказал: «Доедем до Покровского, вызовем из Тобольска отряд и разделаемся с красными заговорщиками», то стало ясно, что ждать нечего, надо сбить охрану и бежать. К этому мы и начали исподволь готовиться.

27 июля 1919 года на перегоне Сазоновское—Покровское заключенный Зубов, бывший комиссар земледелия Тюменской губернии, скопал: «Наверх!» По этому сиг-

налу заключенные должны были кинуться на палубу одновременно из двух люков, на корме и на носу баржи.

В корме сидели заключенные тюменской тюрьмы. Они дружно кинулись вверх, набросились на охрану и сразу же обезоружили шесть человек. А на носу прозевали момент, и солдаты успели загрузить люк так, что сорвать его снизу мы не смогли, кормовой же люк был уже взят под обстрел.

Те, кто успел выскочить из люка, увидели, что подмоги нет, стали прыгать в воду и вплавь добираться до берега, среди них был и тов. Бартов.

Находившийся в это время на корме провокатор Хворов опустил якорь и остановил баржу, что позволило конвою без промаха стрелять по прыгающим в воду.

Попытка бежать стоила нам 160 жизней товарищей по заключению, среди погибших был и тов. Зубов. Спаслись — единицы.

Лично я бежал к носовому люку. В это время кто-то меня сильно толкнул, я упал с лестницы и на время потерял сознание. Когда пришел в себя, уже все было закончено...

Нас, оставшихся в живых, повезли дальше — в темноте, сырости, духоте... Бывало, что не кормили по трое суток.

В Тобольске добавили в баржу еще 100 человек. Среди них был член Тобольского Совета коммунист А. В. Козин, с которым я уже вместе сидел — в Тобольском центре в 1918 году.

Из Тобольска нас повезли вниз по Иртышу. Начали понемногу кормить. «Питание» состояло из восьмушки так называемого хлеба, испеченного давно. Хлеб был сложен кучей на палубе, его мочили дожди, обогревало солнце, весь он превратился в гнилое месиво. От духоты, зловония, сырости и гнилого хлеба начались массовые заболевания, главным образом дизентерией.

Ежедневно умирало по 5—10, затем 15—20 и даже до 80 заключенных.

К нечеловеческим условиям существования добавились расстрелы. Каждый день расстреливали по 5—15 человек. Их и умерших от болезней выбрасывали за борт. Вот так и тянулись мучительные дни и ночи, которых мы почти не различали.

Некоторые товарищи от всех этих ужасов сошли с ума, например тов. Меринов. Солдаты подняли его на штыки и выбросили за борт.

Вот таким было наше подневольное путешествие с 25 июля по 5 сентября 1919 года от города Тюмени до Томска. Из посаженных на баржу в Тюмени 1350 заключенных и добавленных 100 человек в Тобольске до Томска доехало всего 388 человек. Это были уже не люди, а живые трупы.

Как потом стало известно, нас хотели из Томска везти куда-то дальше в поезде, но везти оказалось уже некого.

Трое суток баржа стояла у причала, пока решалась наша судьба. За это время скопилось на палубе больше двухсот трупов. Живых, таким образом, осталось всего 147 человек, которых пришлось перевезти в больницу томской тюрьмы.

Условия здесь были немногим лучше, чем на барже. В конечном итоге выжили всего 8 человек из почти полутора тысяч, отправленных из Тюмени.

В томской тюрьме я пробыл три с половиной месяца. Красная Армия начала наступать, белые стали быстро отходить к востоку, и администрация тюрьмы, понимая, что бежать некуда, стала относиться к заключенным несколько лучше. Мы получали из-под полы и газеты, правда белогвардейские, но и они между строк давали понять, что делается вокруг.

Томская подпольная большевистская организация устраивала побеги заключенных, в первую очередь коммунистов, которым грозила смерть при эвакуации тюрьмы. В числе тех, кто спасся таким образом, был и я.

Оказавшись на свободе, я принял участие в подготовке вооруженного восстания в Томске.

И. Г. БУРОВ,

член КПСС с 1917 года, персональный пенсионер.



ОТ РЕДАКЦИИ

Редколлегия журнала «Новый мир» обсудила вопрос о выдвижении кандидатур на соискание Государственной премии СССР 1969 года и приняла решение:

1. Выдвинуть на соискание Государственной премии СССР в области литературы и искусства роман Федора Абрамова «Две зимы и три лета».

Роман Ф. А. Абрамова «Две зимы и три лета» повествует о первых послевоенных годах. Герои этой книги — Михаил Пряслин, его сестра Лиза, сельские коммунисты Иван Лукашин, Илья Нетесов и другие люди деревни, на чьи плечи всей своей тяжестью легло восстановление колхозного хозяйства, — по-настоящему хорошие люди. Органическое знание современного крестьянского языка, труда и быта, психологически тонкое воспроизведение разнообразных внутридеревенских отношений (и в первую очередь непростых, но исполненных человечности, доброты и поэзии отношений в большой дружной крестьянской семье) — делают роман Ф. Абрамова значительным произведением современной советской прозы.

Рассказ о Пекашине и пекашинцах вырастает в повествование об исторических судьбах русской советской деревни. Оставаясь верным жизни в ее исторической, социальной конкретности, роман несет в себе значительное гуманистическое содержание.

2. Выдвинуть на соискание Государственной премии СССР в области науки книгу Д. С. Лихачева «Поэтика древнерусской литературы».

Книги историка культуры и литературоведа члена-корреспондента АН СССР Д. С. Лихачева «Человек в литературе Древней Руси», «Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого», «Текстология» и другие, его публицистические статьи, пропагандирующие древнерусскую культуру, призывающие беречь памятники старины, вызывают живой интерес и пользуются заслуженным успехом не только у научной и литературной общественности, но и у широких кругов читателей.

Новая работа Д. С. Лихачева «Поэтика древнерусской литературы», как и другие его труды, отличается глубиной исследования, оригинальностью суждений и блестящей литературной формой. В книге исследуется характер и особенности существовавшей в течение семи веков древ-

ней русской литературы, рассматриваются ее связи с изобразительным искусством и фольклором, говорится об отношении литературных жанров между собой, о зарождении литературных направлений и стилистических систем.

Многие наблюдения и мысли автора заставляют по-новому взглянуть не только на литературу Древней Руси, но и на ее искусство вообще. Книга дает представление об эстетических идеалах русского человека средних веков, является своеобразной художественной энциклопедией русского средневековья. Доступность книги читателю-неспециалисту ставит ее в ряд научных трудов, следующих демократической традиции отечественной науки.

3. Ввиду того, что поэма Ю. Марцинкявичюса «Стена» в прошлом году не была принята для обсуждения (сроки публикации поэмы не соответствовали установленным правилам приема кандидатур), редколлегия вновь подтверждает ее выдвижение на соискание Государственной премии СССР в области литературы и искусства.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1968 ГОД

Основоположник научного коммунизма. V—3.

ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Елизавета Драбкина. Зимний перевал. X—3.

Письма трудящихся В. И. Ленину (1917—1919). Публикация И. Брайнина. IV—174.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

Федор Абрамов. Две зимы и три лета. Роман. I—3; II—10; III—68.

Наталья Баранская. Два рассказа: Проводы; У Никитских и на Плющихе. V—77.

М. Белкина. На реке. Очерк. XII—117.

В. Белов. Мазурик. Рассказ. II—123.— Плотничьи рассказы. VII—7.

Янка Брыль. Из записных книжек. Перевел с белорусского Дм. Ковалев. IV—90.

Василь Быков. Атака с ходу. Повесть. Перевел с белорусского автор. V—10.

Николай Воронов. Юность в Железнодорожье. Повесть. XI—3; XII—31.

Е. Герасимов. Весна в Дубках. Повесть. VI—5.

Фазиль Искандер. Дедушка. Рассказ. VII—62.

В. Каверин. Школьный спектакль. Повесть. XII—3.

Г. Комраков. За картошкой. Повесть. IV—5.

Анатолий Кузнецов. Артист миманса. Рассказ. IV—58.

А. Кургатников. На факультете. Рассказ. X—111.

Виктор Лихоносов. На улице Широкой. Повесть. VIII—3.

А. Марьямов. Североморцы. Очерк. V—109.

Виктор Некрасов. Дедушка и внучек. IX—42.

В. Овечкин. Невыдуманные очерки: Елисей Булка; Земля. «Аблакат». Из газеты «Сын Отечества»: Этого больше не будет; После боя; На всю жизнь. Фронтовые встречи. Из записной книжки. С. Залыгин. Г. Троепольский. О Валентине Овечкине. IX—3.

Натала Саррот. «Золотые плоды». Роман. Авторизованный перевод с французского Р. Райт-Ковалевой. Послесловие В. Лакшина. IV—113.

Виталий Семин. В сорок втором. Из воспоминаний. Хозяин. Рассказ. V—92.

И. Соколов-Микитов. Звуки земли. X—96. Александр Тарасов. В семье. Рассказ. VI—54.

Анатолий Ткаченко. Новоселье. Рассказ. IV—73.

Ю. Трифонов. Два рассказа: Самый маленький город; Голубиная гибель. I—74.— В грибную осень. Рассказ. VIII—67.

Роберт Пенн Уоррен. Вся королевская рать. Роман. Перевел с английского В. Голышев. VII—80; VIII—76; IX—66; X—120; XI—119.

В. Шукшин. Из детства Ивана Попова; Миль пардон, мадам! Рассказы. XI—98.

Н. И. Крылов, дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза. В боях за Одессу. Послесловие А. Твардовского. VII—152; VIII—131; IX—121.

В. Шверубович. Люди театра (Из воспоминаний). I—121; II—74.

*К 100-летию со дня рождения
А. М. Горького*

Великий художник. III—3.

Валентина Ходасевич. Таким я знала Горького. III—11.

СТИХИ

Ираклий Абашидзе. Новые стихи. Перевел с грузинского Юрий Ряшенцев. VIII—61.

Маргарита Алигер. Стихи разных лет. IX—36.

Белла Ахмадулина. Снегопад; Метель. Стихи. V—74.

Петрусь Бровка. Из лирики. Стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский. VI—3.

Дебора Вааранди. Из книги «Хлеб прибрежных равнин». Стихи. Перевела с эстонского Анна Ахматова. I—89.

Михай Ваци. Три стихотворения. Перевел с венгерского Дм. Сухарев. IV—110.

Анатолий Вертинский. Чужак человек. Стихотворение. Перевел с белорусского Григорий Куренев. XII—115.

Расул Гамзатов. Пять стихотворений. Перевел с аварского Н. Гребнев. IV—55.

Василий Глотов. Два стихотворения. VII—59.

Юлия Друнина. В праздник. Стихи. XI—96.

Анатолий Жигулин. Из лирики. Стихи. IV—88.

Л. Завальнюк. Память. Стихотворение. V—76.

М. Исаковский. Из новых стихотворений. II—6.

Ф. Искандер. Два стихотворения. XI—116.

Василий Казанцев. Из лирики. Стихи. V—72.

Михаил Квливидзе. Продолжение следует. Стихи. Перевела с грузинского Б. Ахмадулина. XII—29.

Мирдза Кемпе. Хлеб насущный. Стихотворение. Перевела с латышского Лариса Романенко. IV—72.

Н. Кислик. Два стихотворения. V—90.

Давид Кугультинов. Новые стихи. Перевели с калмыцкого Семен Липкин и Юлия Нейман. V—8.

Кайсын Кулиев. Колосья и звезды. Стихи. Перевел с балкарского С. Липкин. VII—3.

Гюнтер Кунерт. Из книги «Незванный гость». Стихи. Перевел с немецкого В. Куприянов. I—94.

В. Леонович. Возле станции Иня. Стихотворение. VI—67.

Михаил Луконин. Мои товарищи. Стихотворение. X—94.

С. Наровчатов. Три стихотворения. III—133.

Саломея Нерис. Стихи разных лет (1926—1943). Перевели с литовского Юнна Мориц, М. Квятковская и Н. Астафьева. V—104.

Сергей Орлов. Четыре стихотворения. II—3.

Дмитрий Осин. Три стихотворения. VI—52.

Константин Павлов. Пасторальное. Стихотворение. Вольный перевод с болгарского Константина Симонова. IX—39.

Миклош Радноти. Стихи разных лет. Предисловие Антала Гидаша. Перевел с венгерского Николай Чуковский. II—70.

Расул Рза. Скажи глазам твоим. Стихотворение. Перевела с азербайджанского М. Павлова. III—67.

Владимир Соколов. Два стихотворения. IX—40.

Максим Танк. Из новых стихотворений. Перевел с белорусского Яков Хелемский. XII—111.

Иван Тарба. Пробуждение; Горы. Стихи. Перевела с абхазского С. Кузнецова. VI—69.

А. Твардовский. Памяти Гагарина. Стихотворение. IV—3.

Веселин Ханчев. Баллада о Хозе Санчо. Перевел с болгарского А. Опульский. VII—60.

Марис Чаклайс. Поступь; Как спят дети; Осенней ночью; В час воров. Стихи. Перевел с латышского Петр Вегин. X—108.

Вадим Шефнер. Три стихотворения. VII—57.

Александр Яшин. Новые стихи. I—68.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Даниил Гранин. Два лика (Заметки писателя). III—214.

А. Дорохов. Молодежь революции. X—176.

И. М. Майский, академик Из лондонских воспоминаний (1925—1927). IV—195; V—153.

С. Маршак. Дом, увенчанный глобусом. Публикация подготовлена И. С. Маршаком. IX—157.

Анатолий Медников. Сила и цельность души (Об Эм. Казакевиче). VIII—234.

Ю. Флаксерман. Страницы прошлого. XI—208.

Алексей Эйсер. Двенадцатая, интернациональная. VI—70.

К пятидесятилетию Вооруженных Сил СССР

С. Бланк, Д. Шинберг. По дну Ладоги. Предисловие Маршала Советского Союза И. Баграмяна. II—160.

Д. А. Драгунский, дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант танковых войск. В конце войны. II—133; III—150.

ПУБЛИЦИСТИКА

А. Бирман. Суть реформы. XII—185.

Н. Верховский. В одном целинном районе. VII—205.

А. Волков, Г. Лисичкин. Способность привлекать людей. I—164.

Е. Гнедин. Масштабы и характеры (Заметки о современном буржуазном обществе). X—211.

Г. Козлов. Школа управления. VIII—201.

Г. Лисичкин, кандидат экономических наук. Смелые решения (Заметки о сельскохозяйственной экономике). IX—148.

Ю. Черниченко, Ржаной хлеб. XI—177.

В. Яновский. Человек на Севере. VI—228.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

В. Берков. Исландия — без гейзеров. Очерк. I—198.

А. Желуховцев. «Культурная революция» с близкого расстояния (Записки очевидца). I—97; II—204; III—181.

И. Кон. Размышления об американской интеллигенции. I—173.

Илья Константиновский. Австрийские встречи. Из путевых записок. XII—138.

А. Мелик-Симонян. Страна тринадцати месяцев. XII—205.

Гоффредо Паризе. Несколько слов о Вьетнаме. Перевела с итальянского Ю. Добровольская. VI—204.

В МИРЕ НАУКИ

Н. Конрад, академик. Письма русских путешественников. VI—253.

М. Петров, А. Потемкин. Наука познает себя. VI—238.

В МИРЕ ИСКУССТВА

Игорь Золотусский. Добавление к эпосу (Толстой в романе и Толстой в фильме). VI—269.

В. Лакшин. Посев и жатва (Трилогия о революции в театре «Современник»). IX—182.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. Буртин. О частушках. I—211.

И. Виноградов. На краю земли. III—227.

В. Кардин. Служитель Совестного суда. XI—242.

В. Лакшин. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». VI—284.

Ю. Манн. К спорам о художественном документе. VIII—244.—Базаров и другие. X—236.

Симон Маркиш. Античность и современность (Заметки переводчика). IV—227.

В. Огнев. Мерани — вблизи и вдали. IX—236.

Э. Соловьев. Цвет трагедии (О творчестве Э. Хемингуэя). IX—206.

А. Твардовский. О поэзии Маршака. II—233.

М. Туровская. «Преступления века» и «массовая цивилизация». VII—217.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из литературного наследия Женни Маркс. Публикация Полины Виноградской. IV—217.

Георгий Шторм. Поиски продолжаются (Новые страницы из книги «Потаённый Радичев»). III—137.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных журналов

Н. Наумов. В поисках читателя. VIII—226.

Дм. Сухарев. Чистая наука и грязная война. VIII—219.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В. Богомазов, гвардии майор в отставке. **Б. Заславский,** майор. Необходимые уточнения (Два письма на одну тему). IV—285.

И. Г. Буров, член КПСС с 1917 года, персональный пенсионер. Сорок пять дней на «барже смерти». XII—277.

А. Каждан, доктор исторических наук. Осторожно — история! IX—285.

К. Князев, инженер, директор Братской ГЭС. Изобретения и предприимчивость. IV—276.

М. Костенко, академик. Повесть моего друга. IV—281.

О. Михеева, старший преподаватель филологического факультета МГУ. «Аврора стояла у плетня...» IV—282.

Валентина Юдина, главный зоотехник совхоза «Арманский» Магаданской области. Наши заботы. VI—357.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

Ю. Айхенвальд. Поэт и его переводы (Я. Хелемский. Вторая половина дня. Книга лирики. Я. Хелемский. Ключ. Страницы белорусской лирики. Сборник переводов). XI—255.

О. Аладын. Плодотворный результат (А. Бабореко. И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917)). VII—258.

Н. Анастасьев. Содержание — форма — содержание (И. Кашкин. Для читателя-современника. Статьи и исследования). XII—245.

Л. Антопольский. Борозда Онакия Карабуша (Ион Друцэ. Бремя нашей доброты. Роман. С молдавского. Перевод автора). VII—242.

С. Бабенышева. Один человек... это очень много (Иосиф Герасимов. Пять дней отдыха. Повесть). XII—228.

Г. Березкин. По поводу одной поэмы (Сергей Смирнов. Свидетельствую сам. Поэма). XII—241.

И. Борисова. Возвращение Бекова (Тимур Пулатов. Прочие населенные пункты. Романтическая повесть). XI—253.

И. Варламова. В поисках утраченной души (Симона де Бовуар. Прелестные картинки. Повесть. Перевод с французского Л. Зониной). IV—251.

И. Виноградов. Чужая беда (Валентин Распутин. Деньги для Марии. Повесть). VII—246.

А. Горбунов. Хозяин и владелец Йокнапатофы (У. Фолкнер. Осквернитель праха. Роман. Перевод с английского М. Богословской-Бобровой). X—262.

А. Деметьев. Роман о Маяковском (Анатолий Никольков. На планете, мало оборудованной. Роман). VI—323.— Книга о советской эстетике (Из истории советской эстетической мысли. Сборник статей). VI—253.

Иван Дзюба. Подлинность слова и жизни (Иван Сенченко. Вишневый листок. Рассказы. Перевод с украинского). III—254.

Э. Елигулашвили. Дорога к вершинам Грузии (Мих. Луконин. Корни гор. Стихи о Грузии и переводы). IX—249.

В. Жданов. Новый альманах (Прометей. Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». т. 1, 1966; т. 2, 1967; т. 3, 1967; т. 4, 1967). V—171.

М. Злобина. О пользе и неудобствах пешего хождения (Семен Бабаевский. Белый свет. Роман). IX—252.

Л. Зонина. Особые приметы (Хуан Гойтисоло. Особые приметы. Роман.

Перевод с испанского Л. Синьянской и П. Глазовой). I—252.— На смерть матери (Симона де Бовуар. Очень легкая смерть. Перевод с французского Н. Столяровой. Послесловие С. Великовского). XI—267.

В. Кардин. Коварство жанра (Вл. Пименов. Занавес не опущен. Литературные портреты). IX—257.

В. Келдыш. Новые письма Горького (Архив А. М. Горького. Том IX. Письма к Е. П. Пешковой. 1906—1932. Подготовка писем к печати и комментарии Е. П. Пешковой). III—248.

В. Ковский. Дагестан Абу-Бакара (Ахмедхан Абу-Бакар. Ожерелье для моей Серминаз. Повесть). V—168.

А. Кондратович. Юноша из Острогжска (Василий Кубанев. Идут в наступление строки. Стихи. Фельетоны. Дневники. Письма). II—256 — Дневники военных дней (Борис Полевой. В большом наступлении. Дневники военного корреспондента). VIII—255.

З. Крахмальникова. Отцу и отечеству (Аду Хинт. Берег ветров. Роман. Книга IV. Перевод с эстонского А. Боршаговского и Ж. Сольба). IX—245.

В. Кубилюс. Поэт высокого драматизма (Винцас Миколайтис-Путинас. Дар бытия. Перевод с литовского). X—256.

Л. Лазарев. Путь военной литературы (Л. Плоткин. Литература и война). II—252.— Не только для детей... (В. Драгунский. Рыцари и еще 57 историй). V—176.

А. Лебедев. Реалистическая фантастика и фантастическая реальность (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Улитка на склоне. Ч. I — сборник «Эллинический секрет». Ч. II. «Байкал», №№ 1, 2, 1968). XI—261.

И. Левидова. Бернард Маламуд рассказывает разные истории (Б. Маламуд. Туфлы для служанки. Рассказы. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой). VI—329.

Ф. Левин. Добро вам, люди! (Николай Атаров. Не хочу быть маленьким). III—252.— Три поездки писателя (Д. Гранин. Примечания к путеводителю). VI—317.

А. Липелис. Проза Вадима Шефнера (Вадим Шефнер. Запоздалый стрелок. Повести и рассказы). XI—258.

Г. Макаров. Ноль информации (Татьяна Гончарова. Страда. Роман). III—259.

Ю. Манн. Живорожденная мысль (Аполлон Григорьев. Литературная критика). IV—245.

Ал. Михайлов. Слово — это дело (Н. Леонтьев. У песенных родников. Стихи). X—259.

А. Наркевич. Поэзия науки (Александр Ивич. Поэзия науки. О литературе научно-популярной и научно-художественной) I—248 — Классик английской литературы (Джейн Остин. Гордость и

предубеждение. Перевод И. С. Маршака). IX—260.

Мирон Петровский. Возвращение Даниила Хармса (Даниил Хармс. Что это было?). VIII—258.

Л. Поляк. Большая жизнь (М. Кнебель. Вся жизнь). V—179.

Ст. Рассадин. «Своих стихов миндальный торт» (Юрий Панкратов. Светлояр. Книга лирики). IV—242.

Б. Рифтин. Путешествие в страну китайской поэзии (Л. Эйдлин. Тао Юаньмин и его стихотворения). VII—260.

И. Роднянская. К спорам вокруг Анискина (Виль Липатов. Деревенский детектив. Три зимних дня. Повести Виль Липатов. Лосная кость. Кто уезжает, а кто остается... Развод по-нарымски. Панка Волошина. Рассказы). XII—235.

К. Рудницкий. Пьесы и сценарии Александра Володина (Александр Володин. Для театра и кино). I—239.

Ф. Светов. Специфика иллюстративности (Виталий Закруткин. Сотворение мира. Роман. Книга вторая). II—259.— Ночь после битвы (Юрий Давыдов. Глухая пора листопада. Роман. Книга первая). XII—231.

А. Сидоров, член-корреспондент Академии наук СССР. Мастерство штриха (Н. Кузьмин. Штрих и слово). IV—248.

Ник. Смирнов, Книга о Бунине (О. Н. Михайлов. Иван Алексеевич Бунин. Очерк творчества). I—250.

В. Соколов. Горизонты правды (Григорий Бакланов. Военные повести). IV—238.— По совести (А. Боршаговский. Ноев ковчег. Рассказы). VIII—260.

Е. Старикова. Старости у них не было (Татьяна Комарова. Старости у меня не будет... История одной жизни). V—170.

И. Травкина. Естественность прозы (Евгений Носов. За долами, за лесами. Рассказы и повесть). I—245.— Конфликт или склока? (В. Дягилев. Микстура Икс. Повесть). VII—250.

А. Турков. Заслуженный успех (А. Македонов. Николай Заболоцкий. Жизнь. Творчество. Метаморфозы). X—260.

М. Хитров. «Полесская хроника» продолжается (Иван Мележ. Дыхание грозы. Из полесской хроники. Роман. Перевод с белорусского Дм. Ковалева). VI—312.

Л. Черная. Непримируемость (В. Кёппен. Теплица. Роман. Перевод с немецкого). III—263.

В. Швейцер. Памятник Пушкину (Марина Цветаева. Мой Пушкин. Подготовка текста и комментарий А. Эфрон и А. Саакянц. Вступительная статья Вл. Орлова). II—264.— Семейная история (Нора Адамьян. Вторая жена. Роман). VI—320.

А. Л. Штейн. Рыцарь театрального реализма (Т. Князевская. Южин-Сумба-тов и советский театр). II—269.

И. Ярославцев. Веселый гений смеха (Л. Евстигнеева. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы). VIII—265.

Политика и наука

Виктор Афанасьев. Первый шаг (Церковь в истории России (IX в.—1917 г.). Критические очерки). IV—267.—Этнографическое изучение современного села (Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева. Культура и быт колхозников Калининской области. Кубанские станицы. Этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани. Л. М. Сабурова. Культура и быт русского населения Приангарья (конец XIX—XX в.). X—270.—За пределами научного атеизма (Б. Х. Цавкилов. Мораль ислама). XII—258.

Л. Баженов, М. Слуцкий, кандидаты философских наук. Философия и современное естествознание (Структура и формы материи). IV—258.

Р. Баландин. Наука — техника — производство — общество (Новая литература о научно-технической революции и ее социальных последствиях). III—266.

Э. Беляев. Свободное время: его объем и использование (Б. Грушин. Свободное время. Актуальные проблемы). V—184.

В. Борнычева. Наш семейный бюджет (И. Я. Матюха. Статистика бюджетов населения. Г. С. Саркисян, Н. П. Кузнецова. Потребности и доход семьи. В. А. Васильева. Бюджеты рабочих прежде и теперь). IV—261.—Ленин и статистика (В. Е. Овсиенко, Е. Г. Виталина. Вопросы статистической науки в трудах В. И. Ленина. А. С. Либкинд. Анализ американских сельскохозяйственных цензов в работах В. И. Ленина. И. Г. Малыш. Вопросы статистики народного потребления в трудах В. И. Ленина. И. Ю. Писарев. Вопросы статистики труда в работах В. И. Ленина. С. М. Гуревич. В. И. Ленин и статистика социалистического государства). VI—332.

И. Виноградов. Экзистенциализм перед судом истории (Э. Ю. Соловьев. Экзистенциализм и научное познание. Э. Ю. Соловьев. Экзистенциализм (Историко-критический очерк). Статья первая — «Вопросы философии», № 12, 1966; статья вторая — «Вопросы философии», № 1, 1967). VIII—276.

С. Владимиров. Психология открытия (В. Н. Пушкин. Эвристика — наука о творческом мышлении). VI—348.

Г. Водолазов. Эстетическое наследие Грамши (Антонио Грамши. О литературе и искусстве. Перевод с итальянского. Вступительная статья А. Лебедева). I—258.—Ленинский принцип историзма (Ю. А. Красин. Ленин, революция, современность). VI—336.

В. Война. Анатомия американского характера (В. Э. Петровский. Суд Линча. Очерк истории терроризма и нетерпимости в США). VII—270.

В. Выгодский, кандидат экономических наук. Метод и практика (Методологические проблемы экономической науки). II—274.

В. Георгиев. Экономика и право (В. П. Шкредов. Социалистическая земельная собственность. В. П. Шкредов. Экономика и право. О принципах исследования производственных отношений в связи с юридической формой их выражения). X—278.

Е. Гнедин. Механизм фашистской диктатуры (А. А. Галкин. Германский фашизм). VIII—272.

А. Грунт, кандидат исторических наук. Октябрь в Петрограде (Октябрьское вооруженное восстание. Семнадцатый год в Петрограде. В двух книгах). IX—262.

А. Давидович, С. Покровский, кандидаты юридических наук. Актуальные проблемы советского права (В. М. Чхиквадзе. Государство, демократия, законность. Ленинские идеи и современность). XI—270.

В. Ермаков. Уроки истории (Л. И. Гинцберг. Тень фашистской свастики. Как Гитлер пришел к власти). I—262.

Н. Жданов. Мужество Ленинграда (Д. В. Павлов. Ленинград в блокаде). VII—262.

А. Желоховцев. Политика, чуждая социализму (Корни нынешних событий в Китае. Ж. Видаль. Куда ведет Китай группа Мао Цзэ-дуна. Перевод с французского. Н. И. Капченко. Пекин: политика, чуждая социализму. Л. П. Делюсин. «Культурная революция» в Китае. Г. Елисеев, А. Крушинский, В. Милютенко. Кричащие батальоны. Так называемая «великая пролетарская культурная революция» Китая (вблизи). Вл. Жуков. Куда ведет политика Мао. X—265.

О. Знаменский, В. Старцев, кандидаты исторических наук. История февральской революции (Э. Н. Бурджалов. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде). III—270.—Накануне краха (В. С. Дякин. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны (1914—1917). IX—273.

А. Каждан. Из истории северного соседа (А. Я. Гуревич. Свободное крестьянство феодальной Норвегии). VII—268.

Вл. Канторович. У истоков экономической реформы (По новым книгам экономистов). XI—275.

Ю. Кирьянов, С. Тютюкин, кандидаты исторических наук. Рождение новой морали (В. Ф. Шишкин. Так складывалась революционная мораль. Исторический очерк). IV—255.

В. Кулиш, доктор исторических наук. Подвиг и его истолкование (Александр Верт. Россия в войне 1941—1945. Авторизованный перевод с английского). III—273.

И. Миндлин. Реформация католицизма (М. П. Мchedлов. Эволюция современного католицизма). II—281.

М. Михайлов. Рекомендации, не сулящие удач (Индивидуальная работа с верующими). X—274.

А. Некрич. Англия: между прошлым и будущим (Н. А. Ерофеев. Закат Британской империи. В. Осипов. Британия. 60-е годы). I—265.

В. Нерсисянц. Этические раздумья (Евг. Богат. Бессмертны ли злые волшебники). XII—255.

И. Пешкин. Наблюдения, побуждающие к действию (Н. Смеляков. Деловая Америка. Записки инженера). IV—268.

Л. Пономарева. Монархия, республика, диктатура (Хосе Гарсиа. Испания XX века). VI—343.

Э. Рабинович, кандидат технических наук. Второй закон термодинамики и человечество (П. К. Ощепков. Жизнь и мечта. Игорь Забелин. Человечество — для чего оно?). V—193.— История мысли — история мужества (Б. Данэм. Герои и еретики. Политическая история западной мысли. Сокращенный перевод с английского). IX—266.

Н. Рабкина. Еще о двенадцатом годе (А. Г. Тартаковский. Военная публицистика 1812 года). VIII—268.

В. Разумовский, профессор. Путь трудный и славный (Первые женщины-инженеры. Сборник воспоминаний). IX—264.

Ю. Рюриков. Инфляция дефиниций (С. Лаптенко. Мораль и семья). III—278.

В. Савин. Парламентаризм на современном этапе (Парламенты. Сравнительное исследование структуры и деятельности представительных учреждений 55 стран мира. Перевод с английского). V—187.

Ф. Светов. Глазами «футуролога» (Н. М. Кейзеров. Власть без будущего. Критика буржуазных теорий о будущем государства и права). I—271.

Т. Смирнов. Знание против предрассудка (И. Я. Бирман. Оптимальное программирование). V—182.

Наталья Соколова. Загадки сфинкса будут разгаданы (Рэм Петров. Сфинксы XX века). I—269.

А. Стреляный. Непоследовательность (И. Ф. Суслов. Экономические проблемы развития колхозов (Темпы роста и условия расширенного воспроизводства). VII—264.

А. Таланов. Искусство популяризации (По страницам журнала «Знание — сила»). IX—270.

Ю. Тихомиров, кандидат юридических наук. Общество, управление, наука (Научное управление обществом. Выпуск I. А. А. Годунов. Введение в теорию управления. Система промышленного производства). I—256.

Н. Трифонов. Дилетантизм и неряшливость (А. Елкин. Луначарский. «Жизнь замечательных людей»). II—276.

Г. Федоров, доктор исторических наук. Где был Медвежий угол (Б. Носик. По Руси Ярославской). VI—340.

С. Фрейдлин, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Серьезное демографическое исследование (М. С. Бедный. Продолжительность жизни). XII—261.

В. Френкель, кандидат технических наук. «...Наука самая занимательная» (Альберт Эйнштейн. Собрание научных трудов. Тома I—IV). VII—273.

Г. Ханин. Банки и народное хозяйство (М. С. Атлас. Развитие банковских систем стран социализма). XII—249.

В. Хорос. Своеобразие необходимости в истории (О. И. Джигоев. Природа исторической необходимости). XII—253.

Ф. Цанн, кандидат философских наук. Социология и личность (И. С. Кон. Социология личности). XI—273.

В. Яшков, контр-адмирал. С. Осокин, капитан 2-го ранга. Морские богатыри (П. Болгари, Н. Зоткин, Д. Коониненко, М. Любчиков, А. Ляхович. Черноморский флот. С. Захаров, М. Захаров, В. Багров, М. Котухов. Тихоокеанский флот. И. Козлов, В. Шломин. Северный флот. Н. Гречанюк, В. Дмитриев, Ф. Криницин, Ю. Чернов. Балтийский флот). II—271.

В. Яковин. Рукописи не горят! (Ответ М. Гусу). XII—262.

КОРОТКО О КНИГАХ

П. П. Елизаров. Марк Елизаров и семья Ульяновых.— История международных отношений и внешней политики СССР. 1917—1967 гг. В 3-х томах.— О. Б. Мокиевский. Нусантара. Записки биолога об экспедиции в Индонезию.— Н. Эйдельман. Ищу предка.— Рут Фёрст. 117 дней. Рассказ о пережитом в одиночной тюремной камере. Перевод с английского.— История советского общества в воспоминаниях современников. Аннотированный указатель мемуарной литературы. Часть 2. Вып. 2. Журнальные публикации 1928—1957 гг.— Н. Задорнов. Желтое, зеленое, голубое... Роман.— Ливну Дамиан. Корни. Перевод с молдавского.— Виктор Некрасов. Путешествия в разных измерениях.— В. К. Кюхельбекер. Избранные произведения. «Библиотека поэта» (Большая серия).— И. Рахтанов. Пестрая книга.— Л. Малюгин. Насмешливое мое счастье. Сценическая повесть в письмах — в двух частях.— Аугусто Роа Бастос. Сын человеческого. Роман. Перевод с испанского.— З. Орджоникидзе. Путь большевика.— Олег Ласунский. Книжный знак. Некоторые проблемы изучения и использования. I—274.

Незабываемое. Воспоминания о Великой Отечественной войне.— Борис Четвериков. Навстречу солнцу. Роман.— А. Н. Геласимова. Записки подпольщицы.— Михаил Водопьянов. Друзья в небе.— Елена Благинина. Окна в сад. Книга стихов.— Николай Хохлов. За воротами слез.— А. Рубакин.

Рубакин (Лощман книжного моря).— Ант. Ладинский. Последний путь Владимира Мономаха. Исторический роман. II—284.

И. Дубинский. Летопись памятных дней. Рассказы, воспоминания.— «Сибирские огни». Указатель содержания. 1922—1964 гг.— В. А. Ачаркан. Государственные пенсии.— Матвей Грубиян. Лодка и течение. Стихи. Авторизованный перевод с еврейского.— Письма фронтовые. (Под редакцией Р. Ф. Лобановой).— Ефим Дорош. Живое дерево искусства.— Пьер де Лятыль, Жан Ривуар. С небес в пучины моря (Профессор Огюст Пиккар).— Древнерусская литература и ее связи с новым временем.— И. Аугуста. Великие открытия. Перевод с немецкого. III—282.

И. Ионенко и И. Тагиров. Октябрь в Казани.— А. Гозенпуд. Центральный детский театр. 1936—1961.— И. Соловьева, В. Шитова. Жан Габен. Мастера зарубежного киноискусства.— Г. Ренар. В тени Альгамбры. Путешествие по Испании. Перевод с немецкого.— Р. Беньяш. Пелагея Стрепетова.— М. Гарднер. Этот правый, левый мир. Перевод с английского.— Герман Занадворов. Ветер мужества. Главы романа, рассказы, дневник, письма. Владислав Занадворов. Ветер мужества. Стихи, рассказы, письма.— Лев Гумилевский. Вернадский. Серия «Жизнь замечательных людей». IV—271.

В огне революционных боев (Районы Петрограда в двух революциях 1917 г.). Сборник воспоминаний старых большевиков-питейцев.— Антон Сорокин. Напевы ветра.— А. Китайгора, К. Рыскин. В прифронтовой зоне.— Ганс Якоб Кристоф Гриммельс-Гаузен. Симплиссимус! «Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. Составитель полковник В. И. Дашичев.— А. Д. Сухов. Философские проблемы происхождения религии.— Ф. Кривин. Ученые сказки.— Дмитрий Стонов. Раннее утро. Повести и рассказы.— Дмитрий Семеновский. Иней. Стихи.— В. М. Жданов, Г. Выгодчиков, Ф. И. Ершов, А. А. Ежов, Н. Б. Коростелев. Занимательная микробиология.— К. Саймак. Прелесть. Перевод с английского.— Н. К. Гей. Искусство слова. О художественности литературы. V—198.

Г. Тринчер, К. Тринчер. Рутгерс. Серия «Жизнь замечательных людей».— Лидия Латвева. Страна, из которой мы все пришли.— Борис Гусев, Дмитрий Мамлеев. Смерть комиссара.— А. Студитский. Разум вселенной. Роман.— С. Н. Артановский. Историческое единство человечества и взаимное влияние культур.— С. Иванов. Схватка с роботом.— И. Е. Верцман. Проблемы художественного познания.— Э. Мурзаев. Путешествие в жаркую зиму. Записки географа.— А. А. Елистратова. Английский роман эпохи Просвещения. VI—351.

Е. Лаговская. Ради тебя, человек.— Николай Фомичев. Годы — не птица. Рассказы.— Леонид Лиходеев. Цена умиления.—

В. Л. Израэлян, Л. Н. Кутаков. Дипломатия агрессоров. Германо-итало-японский блок. История его возникновения и краха.— В. С. Нечаева, В. Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1842—1848.— И. И. Бенедиктов, В. И. Плотников. Философия и медицина.— Поэты революционного народничества.— Е. Герасимов. В родном лесу. Повесть.— Владимир Огнев. Легенда о Монтивиле, или Памятник Неизвестному поэту.— И. Д. Воронин. Достопримечательности Мордовии.— Д. Мак-Дональд. Фарадей, Максвелл и Кельвин. Перевод с английского.— Майя Данини. Живые деньги. Повесть и рассказы. VII—279.

Б. Г. Кузнецов. Физика и экономика.— А. Мэддисон. Экономическое развитие в странах Запада. Перевод с английского.— А. Таланов. Большая судьба.— «Слово о полку Игореве». «Библиотека поэта» (Большая серия). VIII—284.

И. Т. Леонов, Г. Н. Каминский. «Медицина».— Александра Ложечко. Григорий Каминский. Документальная повесть.— Степан Бугорков. Лесная девушка. Рассказы.— Ирина Кнорринг. Новые стихи.— О. Н. Вилков. Ремесло и торговля Западной Сибири в XVII веке.— «Литературное наследство». Том 79. Песни, собранные писателями. Новые материалы из архива П. В. Киреевского.— А. П. Денисов. Леонтий Филиппович Магницкий. 1669—1739.— Ф. Джинджихашвили. Антимоз Ивериели (Антим Иверяну). Жизнь и творчество.— Н. И. Леонов. Александр Федорович Милдендорф.— Н. Н. Померанцев. Русская деревянная скульптура. Альбом.— Юрий Рюриков. Три влечения. Любовь, ее вчера, сегодня и завтра.— Ефим Добин. «Гамлет» — фильм Козинцева.— Карл Штейнбух. Автомат и человек. Кибернетические факты и гипотезы. Перевод с немецкого С. А. Бигдаша, Ю. А. Диденко, Р. О. Исаенко.— Матильда Юфит. Старая тетрадь в клетку. IX—276.

Н. А. Гвоздецкий. Советские географические исследования и открытия.— Януш Корчак. Как любить детей. Перевод с польского К. Сенкевич.— Владимир Козин. Четырехрогий баран. Рассказы.— Александр Борин. Нужен привереда. Экономические диалоги в пяти опровержениях и четырех историях — героической, лирической, семейной и судебной.— В. Бобсыркин. Александр Фадеев. Литературный портрет.— Ю. Овсянников. Солнечные плитки. Рассказы об изразцах.— Генри Каттнер. Робот-защайка. Сборник научно-фантастических рассказов. Перевод с английского. Предисловие Ю. Кагарлицкого.— Н. Мар. Люди как скалы. X—282.

В. Баранченко. Гавен.— В. И. Лебедев. Булавинское восстание 1707—1708 гг.— Л. Е. Минц. Проблемы баланса труда в СССР.— М. Поступальская. Вечно живой.— А. В. Луначарский. Воспоминания и впечатления.— П. Косенко. Павел Васильев. Повесть о жизни поэта.— С. Великовский. .. К горизонту всех людей. Путь

Поля Элюара.— А. Кугель. Театральные портреты.— В. Б. Мириманов. Африка. Искусство. XI—281.

Р. Самойлович. На спасение экспедиции Нобиле. Поход «Красина» летом 1928 года.— Николай Чуковский. Ранней ранью. Повесть.— И. И. Грошев. Исторический опыт КПСС по осуществлению ленинской национальной политики.— Татьяна Гнедина. Беглец с чужим временем. Фантастическая повесть.— Вацлав Михальский. Семнадцать левых сапог. Роман. Предисловие Вл. Лидина.— А. Фурсенко. Династия Рокфеллеров.— Хо-суан-Хыонг. Стихи. Перевод с вьетнамского Г. Ярославцева.— Е. Л. Фин-

кельштейн. Фредерик-Леметр.— Т. П. Кравеш. От Ньютона до Вавилова. Очерки и воспоминания.— Н. Успенский. Образцы древнерусского певческого искусства. XII—267.

Памяти Валентина Овечкина I—285.

От редакции. I—283.—V—206.—XI—286.—XII—279.

«Новый мир» в 1969 году. VI—365.

Книжные новинки: I—287; II—288; III—288; IV—287; V—207; VI—367; VII—287; VIII—287; IX—287; X—287; XI—287; XII—275.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 4/XI 1968 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 10/II 1969 г.
A 06011. Формат бумаги 70×108^{1/16} 26,06 уч.-изд. л. 9 бум. л. (35,20 усл. печ. л.)
Зан 3513. Тираж 118.800 экз

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636